

ДОКТОР ЛАПТЕВ

ПРОЛОГ: август 1914

Побудка! Под последнее хриплое взлаивание горна ротный фельдшер Лаптев стряхнул остатки сумбурного сна, а когда барабанщик уже невдалеке повторил «зарю» – тотчас же вспомнилось ему, где оказался и что вокруг происходит. Спал Адриан, подстелив шинель, прямо на земле. С вещмешком в обнимку, под головой санитарная сумка. В сапогах. Ноги как следует не отдохнули после вчерашнего, зато теперь обуваться не нужно. Одиночную полевую палатку не расставлял: кто ж с нею возится в ведро? Вокруг вповалку солдаты, тоже продирающие после побудки глаза. И не маневры это – война! Сегодня, дай бог памяти, понедельник. Ну, не важно теперь... А число? 10 августа 1914 года. Его 13-й пехотный генерал-фельдмаршала князя Волконского Белозерский полк вот уже шестой день как перешёл российскую границу и бредёт по немецкой земле, по этой самой Восточной Пруссии. Земелька богатая, что тут скажешь! Дома на хуторах и деревнях кирпичные, в два этажа, крытые черепицей, во дворах порядок и удобства такие, каковых в польском повятовом городе не сыщешь, не говоря уже о российском уездном. И надо же! Столь благополучное немецкое население бежало, оставив своё имущество, а скотину бросив в каменных сараях и на лугах. Разумеется, передовые на походе части 4-ой пехотной дивизии... как там дальше...? 6-го корпуса 2-ой армии генерала Самсонова уже всем, чем смогли, успели воспользоваться, тогда как Белозерский полк, шедший в середине колонны, довольствовался жалкими обедками. Однако и сейчас, при пробуждении, ноздри некурящего Адриана щекотал сигарный дым, да и кухне его 12-ой роты доставался кое-какой прусский приварок, без свежего мяса не обедали.

Правда, полевая кухня, ротный котёл на колёсах, привозит сваренный обед в роту в лучшем случае в сумерках, в худшем, как сегодня, уже на рассвете. Кашевар звал, колотил черпаком по котлу, но Адриан поленился просыпаться окончательно, а тем более вставать: слишком устал за день марша. Сейчас остатки обеда безнадежно остыли, но во второй раз ими пренебречь не хватало совести. Разумеется, как и всякий старослужащий, ротный фельдшер к лету, когда дивизия обязательно выводилась из казарм в летние лагеря, а оттуда на маневры, запасался сухарями, воблой или сушеным лещом. Поэтому и

на войну вышел не с пустыми руками. Вот только не подтвердилась на сей раз пословица, пущенная в ход, вроде, славным Суворовым. «Тяжело в учении, легко в бою», говорите? А тут совсем да наоборот: война оказалась не в пример тяжелее маневров. Главное, на мирных учениях угадывалась разумность в передвижении войск, на войне же господствует невероятный бардак, и созревало у Адриана убеждение, что начальники не знают твёрдо, куда им вести солдат. Полк везли верст шестьдесят по железке, а потом пришлось рядом с той же непривычной для русского глаза, узкой рельсовой колеёй возвращаться пешим порядком. При этом навстречу пехоте, занимая середину дороги, пёрла артиллерия и тянулись обозы. Не удивительно, что своя полевая кухня безнадёжно отставала и терялась. Ротный фельдшер Лаптев, в том от рядовых не отличаясь, скоренько приел сперва НЗ (у российских солдат как-то не прижилось представление, что это запас и в самом деле неприкосновенный), а потом ощутимо опустошил и приватный мешочек для сухарей. Именно поэтому сейчас он заставил себя подняться с земли и набросить на плечи шинель. С котелком в руках, прихватив на всякий случай всё своё, то бишь свёрнутую походную палатку, вещмешок и санитарную сумку, повлёкся на запах еды и тотчас же обнаружил полевой котёл. Возле него маячил кашевар Пафнутьич и важно докуривал сигару.

– Ротным акушерам наше с кисточкой! – приветствовал он фельдшера.

– А ты как – к победе над германцем успеешь ли разродиться? – столь же привычно отшутился Адриан, намекая на прикрытый грязно-белым фартуком большой живот Пафнутьича.

– А нас, поваров, от одних съестных паров раздувает, – в сотый уже, наверное, раз объяснил кашевар и прикрикнул. – Давай котелок, не телись!

Заглянул Адриан в котелок – и челюсть у него отвисла.

– Это какой ж бурды ты мне налил, пузатый? А ещё земляк!

– Ничего себе бурда! Борщ на свинине и курятине по высшему разряду!

– А бурый отчего?

– Так я задля вкусу четыре фунта какавы бухнул!

Отошел Адриан на десяток шагов, прилёг на пригорке. Достал ложку из голенища, осторожно отведал варева. Убедил себя, что надобно съесть, и съел. Постановил себе обязательно помыть котелок, как выдастся случай. И почему бы какой-нибудь мудрой штаб-офицерской голове в интендантстве не придумать полевой кухни с двумя котлами: один для каши или борща, второй для чая или киселя? И чтобы кашевар сразу и чай в крышку котелка наливал? Ведь явно не успеть до начала движения самому вскипятить воду для чая. Чай чаем, но и побриться было бы не грех...

В казарме три года прожив, полюбил Адриан составлять, пополнять и лелеять свой собственный, выделяющий его из солдатской серой массы набор личных вещей. Некурящий, он поднакопил денег, и со временем в его «сидоре» рядом с заветными книжками занял почётное место дорогой кожаный несессер с мелочами, корявым, но точным военным языком названными «принадлежностями для содержания чистоты и опрятности». Где такое мог он вычитать? Разве в «Полевом уставе для унтер-офицера». Но думать сейчас об этой брошюрке Адриану не хотелось, неприятно стало почему-то... Он просто развязал свой «сидор», засунул в него руку. Нашупал под толстой свиной кожей несессера край круглой картонной коробочки с зубным порошком, прямоугольные очертания жестяной мыльницы с почти непечатым брусочком мыла «Идеал» внутри... Сразу стало легче на душе и без чая. А когда снова затявкали горн, приказывая строиться, и со всех сторон загремел солдатский мат, потому что никто в роте, наверное, не успел вскипятить воду, ротный фельдшер Лаптев ощутил даже некоторое самодовольство собственной предусмотрительностью.

В походном порядке 12-ой роты не было у ротного фельдшера постоянного места, и в этом при желании можно усмотреть одно из преимуществ перед простой солдатнёй. Имея же толику свободы выбора, хоть и малую, сам Лаптев предпочитал шагать в хвосте, рядом с ротной подводой, держась левой рукой за её продольный брус. Когда ездовой, старослужащий Курицын пребывал в настроении, он сам предлагал фельдшеру присовокупить санитарную сумку и «сидор» к чемоданам офицеров, походным пожиткам унтеров и ротному запасу. Хоть в полностью снаряженном медикаментами виде сумка и неудобна в носке, Адриану на марше всё едино приходилось легче, чем солдатам и унтер-офицерам, он ведь не тащил винтовку в четверть пуда с лишним и сто двадцать патронов в подсумках.

Вот и занял Адриан привычное место у телеги и, на сей раз самовольно, закинул свой «сидор» и сумку на ротную кладь. Теперь придётся выстаивать уже на дороге, дожидаясь, пока передние роты уйдут вперёд. Вот и двинулись, слава Богу. И почему это на марше, в дороге всегда легче служивому, не в пример вольготнее? Не потому ли, что от тебя только и требуется, что передвигать ноги, а мозги свободны? А вот для чего свободны, это особый вопрос. Чтобы тарашиться по сторонам, насыщаясь новыми впечатлениями после почти трёхлетнего почти безвылазного сидения в польской уездной Ломже? Но поблекла уже новизна этой самой заграничной земельки, Пруссии, да и шла колонна с самого утра обычным немецким шоссе, обсаженным на сей раз не яблонями или грушами, а бесполезными клёнами, а вокруг – только поля сжатой пшеницы. Шоссе гравием засыпано, канавки по бокам. Это чтобы в дожди проезжая часть не раскисала, а

вот для чего белые камни по сторонам выложены? Посмотрел Адриан ещё раз влево, но за поклажей в кузове телеги не многое разглядел. Посмотрел ещё раз вправо – те же поля за темными с белыми полосами стволами тянутся, хутор появился на горизонте, но чего-то там не доставало, что должно было быть... Справа успел появиться ещё один хутор к тому времени, когда понял Адриан, отчего ему не по себе. Ни разу не заметил он с боков колонны и следов боевого охранения, вот почему. О боковом дозоре и говорить не приходится: из походной колонны его не разглядишь.

Конечно же, простому солдату-пехотинцу о таких вещах заботиться не пристало, но у Лаптева на погонах красуются две узкие нашивки, точно такие, как и у младшего унтер-офицера. А раз так, обязательным для себя счёл он овладение хотя бы азами военной науки. Если уж у нашего умника-разумника таким манером жизнь складывается, что только азами всякой науки он и овладевает... За первые полгода в армии прошёл Адриан курс обучения молодых солдат, однако последующее зачисление в фельдшерскую школу, где пришлось всласть погрызть сахару-рафинаду медицинских знаний, отвлекло его от науки военной. Зато, когда в прошлом году в полк поступило несколько брошюрок «Полевого устава для унтер-офицера», одну Лаптев выпросил у ротного фельдфебеля Стручкова себе на прочтение. Нашёл там не только солдатские заповеди, вызубренные бездумно ещё в первые месяцы службы: «Лезь вперёд, хотя бы и передних били», или «Сам погибай – товарища выручай (а товарищ тебя выручит)» – ага, выручит он тебя, товарищ, можно подумать! Предназначена такая лубочная премудрость замшелой деревенщине (а в пополнении, по мобилизации пришедшем, уйма неграмотных) или просто каменным лбам, способным поверить и такой благоглупости: «В бою бьёт, кто упорнее и смелее, а не кто сильнее и искуснее». Видать, писатель в генеральских погонах никогда в жизни даже и на кулачки не бился... Однако нашёл там Лаптев и действительно полезные для себя рассуждения о действиях пехоты в походе и в бою. Пришлось попотеть, пока разобрался.

Понятно, почему унтер-офицерам приказано учиться тем же премудростям вождения войск, что и обер-офицерам: ведь если в роте перебьют всех офицеров, придётся старшему из унтеров подразделением командовать. Тут ухмыльнулся Адриан в свои короткие, щеточкой, усы. Уж если офицеры выбиты, сколько же солдат в той роте может остаться? Едва ли больше взвода, которым теперь командует унтер. Выходит, баш на баш? Выходит, перестраховалось армейское начальство, и нет смысла мордату унтеру, от усердия глаза выпучив, зубрить «Полевой устав»? Нет, шалишь, ведь остатку роты придётся выполнять ту задачу, которую получила полная рота. И если каждый солдат должен знать свой маневр, то уж унтер-офицер тем более! Так вот, именно в сочетании

своём не нравились ему тогда две вещи. Первая: очень на то было похоже, что наше начальство пренебрегало разведкой, столь необходимой на войне – в чём в чём, а в этом унтер-офицерский полевой устав Адриана убедил. Впрочем, могло стать и такое, что разведывание неприятеля на самом деле проводилось, вот только чересчур мнительный ротный фельдшер его не замечал. И едва ли это так важно, что вчера за день дважды жужжал над головой аэроплан с прусскими крестами на крыльях. Поскольку не бросал немец с небес ни ручных гранат, ни стальных стрел, явно это была их разведка. А вот своих воздушных летунов Адриан с самого начала войны не видел. И ещё его тревожило, и тут уж не «Полевой устав» был причиной, а картинки в журналах из прошлых войн, сильно было ему не по душе очень уж опрятное отступление немцев. Ни брошенных повозок не видно, ни лошадей убитых, ни пушек на одном колесе, как бывает после отступления. Значит это, что немец отходил без паники, спрятался где-то и может в любой момент...

– Эй, фельшар, позычь табачку!

– Не курю я – знаешь ведь, Софронов, – мягко напомнил Адриан. Ему сейчас вовсе не улыбалось забирать с телеги свою поклажу.

– Так ведь всенародно курим...

– А у меня вот душа не лежит.

– Без трубочки в зубах – какой же ты русский солдат? Да и для здоровья табачок не в пример полезителен.

– Да разве, Софронов?

– Ну и недотёпа же ты! А ещё фельшар... Я вот проснусь, снаряжу трубку, затянусь – и как начну кашлять, отхаркиваться! Всю дрянь, всю гадость эту утреннюю из нутра выбивает – а ты говоришь... Батюшки-светы!

Это пули нежно так, сладенько запели. Если ты слышал пулю, то она уже не твоя. Едва успел припомнить Лаптев солдатскую премудрость, как и выстрелы слева бабахнули, а в пугающей близости громко застучало и зачмокало глухо. Это новые германские подарочки успели прилететь, и раздалась с той же стороны настойчивая трескотня пулемёта. Опешивший было, Лаптев заставил себя прикрыть рот (зубы лязгнули) и почувствовал, что уворачивается от падающего с облучка Софронова, а заодно сдёргивает с телеги свою санитарную сумку и вещмешок. Действовал он с достаточной ловкостью, споро, однако ж безотчетно, словно кукла на пружинах. А в голове вот что крутилось. Удачно, мол, пристроил поклажу: на левой стороне была бы испорчена, как вещички в офицерских чемоданах.

По-прежнему бездумно повесил на плечо сумку и склонился над ездовым. Парфёнов дёргался, сучил ногами и плевался кровью. Явно, по всем признакам лекарской науки, кончался ездовой, помогать следует другим. Вой и стоны раненых повисли над колонной, а восклицания не задетых пулями, скорее изумлённые, чем испуганные, перекрывал высокий голос ротного командира капитана Княжицкого, приказывавшего лечиться и заряжать. Потом капитан замолчал, а его команды подхватили грубые голоса унтеров, уже с матерной добавкой. Прозвучал нестройный залп из русских винтовок. Потом справа лопнула в воздухе шрапнель и запели, словно бы заблеяли, её осколки и пули.

Лаптев подхватил с земли свой «сидор» и выглянул из-за телеги. Противника не разглядел, а походная колонна роты уже растянулась густой цепью вдоль левой обочины дороги. Кое-кого не задело, и эти баловни судьбы отстреливались из-за стволов придорожных старых клёнов, а многим совсем не повезло: лежали неподвижно, и капитан Княжицкий среди них. Лаптев бросился к раненым, принялся перевязывать. Легкораненых он обязан отправлять на перевязочный пункт своим ходом, но вот где он сейчас, тыл? Поэтому кричал каждому: «Вали к полковому лекарю на своих двоих!». Однако куда брести раненым? Назад по дороге, по которой пришли? Но немцы ведь ударили слева... Лаптев думал об этом, переползая позади цепи по канавке вдоль шоссе и перевязывая наскоро. Один из новобранцев, принявши его, видать, за немца, едва не пришиб прикладом, второй, целый, без заметных повреждений, вцепился в плечо и не хотел отпускать. Многие легкораненые уже сами перевязались, или товарищи им помогли. Лаптев успел ещё подумать, что индивидуальные перевязочные пакеты – большое подспорье для ротного фельдшера. Тут шрапнель разорвалась прямо над дорогой, кое-кто из раненых был добит тяжелыми пулями, остальные не пострадали. Большой осколок снаряда воткнулся в ствол дерева – и показалось Лаптеву, что перед самым его носом. К следующему раненому подполз и, перевязывая его (руки сами делали привычную работу), вдруг сообразил, что до сих пор не испугался. А перед его глазами красиво вырезанные листья клёна медленно опускались на землю и на солдата рядом, упавшего лицом на свой винтарь.

Потом цепь закончилась, а дальше вдоль дороги зеленели лежащие редко тела, и темнели брошенные трёхлинейки. Куда подевалась одиннадцатая рота? Кто-то быстро подползал к нему с той стороны по канавке. В фуражке, рубаха зелёная: значит, наш, а не немец. Лицо изумлённое, белое, как мел, и совершенно незнакомое. Из одиннадцатой роты, ну да, конечно. Что пытается сказать?

– Помоги... живот... мать его...

Приподнялся Лаптев, присмотрелся: а за солдатиком сизые кишки, да полоса крови, быстро тускнеющая в дорожной пыли. Чем тут поможешь? Здесь и учёный чудотворец доктор Пирогов не смог бы помочь... Крякнул Лаптев – и где пополз, а где и побежал, согнувшись, к своим.

Там цепь поредела. Кое-кто из солдат роты уже разобрался, где тыл, и отползал за дорогу. Другие ещё отстреливались. Лаптев рассмотрел это, укрывшись за толстым стволом дерева. Свободным оказалось укрытие, и винтовка валялась под деревом. Он вдруг сообразил, что ещё ни разу не взглянул на наступающих немцев – а ещё хвастался перед собою, что не испугался. Преодолевая нелепую боязнь, повернул голову налево и присмотрелся. Немецкие остроконечные каски виднелись в полуверсте, не меньше. Немцы не наступали сейчас, стреляли с колена. Лаптев представил себе, как поднимает винтарь, берёт его наперевес, выскакивает из-за дерева и в полный рост бежит на немцев. И свой крик «В атаку! Ура!»...

– Заснул, фелшар! Где носилки твои?

Голос хриплый, но по заковыристому мату, завершившему вопрос, Лаптев определил, что за сапог его ухватил ротный фельдфебель Стручков. Кто ж ещё в роте, кроме Стручка, про «двенадцать боженят» вворачивает? На ругань наплевать, но ведь обижает!

– Я тебе не санитар, чтоб с носилками!

– Плевать! Ранен последний офицер в роте, подпоручик... Давай вывози его благородие, а я буду людей к хутору отводить. Авось там зацепимся... – это уже из-за спины прозвучало, и опять с неизбежным бессмысленным завершением.

– Подпоручик – Миллер или Пыпин?

– Миллер убит... Пыпин на телеге. Застряла чего-то... Да беги ты, наконец!

Словно в речку с берега ныряя, шлёпнулся Лаптев животом на тёплый гравий дороги. В сумке звякнули пузырьки с йодом. Он дополз до ближайшего трупа, передохнул, потом к следующему бедолаге, а там и дерево... Таким манером воротился ротный фельдшер в конец колонны и обнаружил ротную повозку уже развёрнутой в обратную сторону и, хотя сажень на двадцать дальше от того места, где оставил (или показалось?), но и в самом деле неподвижной. Ага... А как она двинется, если Звёздочка лежит, не дёргается уже, бедная, а с облучка в кузов откинулся навзничь солдатик? Не новобранец, потому что обмундирование застиранное. Но не узнать, кто именно из ротных старослужащих: хорошо осколок над лицом потрудился... Зато подпоручик Пыпин жив, но без сознания, и рана в ноге сильно кровоточит. Лаптев огляделся, расстегнул на неудачливом вознице ремень и крепко перетянул подпоручику бедро

повыше раны. Теперь ему ничего не оставалось, кроме как уносить раненого в тыл на себе. Вот только куда? Тут снова нежно запели пули, стукнуло в доску кузова, расщепило оглоблю... Думать было некогда, и Лаптев принялся взваливать офицера себе на спину. Не выходило: «сидор» и шинельная скатка мешали. Когда «сидор» оказался у него на плечах? Лаптев совершенно не помнил, как всовывал руки в ляжки. Пришлось снять вещмешок и скатку, натянуть шинель, повесить «сидор» на одно плечо, а на спину взгромоздить-таки раненого. Тут же в ребро ему упёрлась тупая железка. Вернул подпоручика на солому Лаптев, вытащил у него из кобуры пистолет и сунул себе за пазуху. Коротко подумал – и бросился, согнувшись под живой поклажей в три погибели, бежать по дороге назад, в ту сторону, откуда с полком пришёл. Пока не задохнулся, перебирал в башке резоны, отчего сюда рванул, а не с ротой к хутору. Ну, по стерне – какой может быть бег? Здесь же, на шоссе, хоть придорожные клёны прикрывают. А главное: если где и можно надеяться разыскать батальонный перевязочный пункт, так только на этой дороге, а уж никак не за тем хутором, куда фельдфебель Стручок намеревался отвести остатки роты. И ещё одно немаловажное обстоятельство принял Лаптев к сведению: именно в той стороне, откуда они пришли, не слышно было выстрелов. А что войска не наступают ровно, как по линейке, это он давно уж уразумел.

Теперь не бежал Лаптев, еле плёлся, пыль сапогами месил, и всё едино в глазах у него темнело. Однако, когда поднялось в очередной раз шоссе на холмик, увидел он стоящую на обочине в ложбинке двуколку с намалёванными со всех сторон на парусине красными крестами. Вот он – полевой перевязочный пункт! Из последних сил дотащил подпоручика, успевшего вроде свинцом налиться, до двуколки, вместе с бледным, как смерть, ездовым засунул его вовнутрь. Возле полковой санитарной двуколки юлой вертелся маленький ростом и тощенький старший врач Широков. Был он в мешковатом белом халате и белой шапочке на голове и, как только подпоручика устроили на одну из двух парусиновых коек, нырнул под брезентовый навес.

А ротный фельдшер Лаптев рухнул на землю. Почти тотчас же подполз к двуколке, спиной оперся на колесо, вдыхая жадно родные запахи йода и карболки. В голове у него сияла блаженная пустота, к тому ж испытывал он облегчение, понятное только военному человеку: начальник нарисовался, а значит, не нужно уже самому решать, что и куда. Но не успел он толком отдышаться, как выяснилось, что радовался рано.

– Эй, братец! Ты ведь – Сапогов?

Прищурился Лаптев – и вместо красного пятна возникло перед ним потное лицо старшего врача под офицерской фуражкой.

– Так точно, ваше высокоблагородие. То есть... Никак нет, Лаптевы мы.

– Я хотел спросить, ты какой роты? Запомнил я, братец, какой роты Пыпин... Ты вот что, братец. Подпоручика ты правильно обработал. Глядишь, ногу ему и сохранят в лазарете. А ты давай, беги к своим, притащи ещё раненого. Не могу я возвращаться в лазарет с одной только занятой койкой.

Лаптев скрипнул зубами. Приказ старшего врача мог отменить разве что командир нестроевой роты подпоручик Базилевич. А этому не объяснишь, что на дороге, небось, уже немцы...

– Так почему бы не сбегать вашим санитарам, ваше высокоблагородие? С носилками?

– Не вернулись санитары... – и насупился старший врач, вот-вот закричит. Но не закричал, а взвизгнул. – Исполнять!

– Хоть ездового дайте!

– Молчать! Не рассуждать мне тут!

Ездовой отвёл глаза от Лаптева, губы у него дрожали. В глазах у пристяжной, упитанной трофейной лошади с коротким хвостом, увидел Лаптев только кроткое недоумение: из-за чего это сыр-бор разгорелся? На лекаря в мундире не хотелось ему смотреть: по разумению начитанного в уставах ротного фельдшера, ездовой, к настоящей военной службе не годный, был в своем праве перетрусить – в отличие от старшего врача, по чину равного армейскому капитану и в сапогах со шпорами.

– Есть! – козырнул Лаптев и отправился по дороге назад.

– Эй, «сидор»-то оставь! – вякнул за спиной ездовой. – Нахрен тебе его туды-сюды таскать?

Лаптев не счёл нужным отвечать дураку. Как только спустился в ложбину и, оглянувшись, убедился, что двуколка скрылась за бугром, тотчас же залёг в канавке. Прислушался. Ружейные выстрелы трещали теперь справа, бой шёл возле хутора. Пулемёты молчали, не слышно и разрывов шрапнели. Так... И вдруг в голове у Лаптева мгновенно прояснилось, и в течение примерно полуминуты он мыслил столь чётко, быстро и бесстрашно, как никогда раньше в прошлой жизни. Итак, тяжелораненые двенадцатой роты остались, конечно, на дороге. Вопрос только в том, есть ли там сейчас немцы. Идти туда необходимо. Он либо вытащит ещё одного раненого, либо нарвётся на немцев – а тогда плен. Это в лучшем случае. Кивнул Лаптев и тотчас же проверил белую повязку с красным крестом на рукаве – не съехала ли? Но на левом рукаве никакой повязки не обнаружилось. Похолодел ротный фельдшер, а потом припомнил, что натягивал впопыхах шинель, а повязка, стало быть, оказалась под рукавом шинели. Пришлось переодеть шинель, сзади всю в тёмных пятнах, и покрепче привязывать

повязку с красным крестом. Задумка мелькнула: снять фуражку, выдернуть из тыльной стороны околыша иголку с ниткой и пришить повязку к рукаву шинели... Ладно, и так сойдет. Зато вещмешок закинул на спину, а санитарную сумку – на шею крестом вперед. Хотел уже подниматься и идти, как вдруг почувствовал неудобство на животе. А-а-а, это пистолет подпоручика теперь прижат к животу сумкой. Одни неудобства от железки!

Лаптев присел на корточки, из пазухи вытащил пистолет и наскоро осмотрел. Личным оружием подпоручика Пыпина оказался браунинг на малый патрон, но назывался он почему-то «Victoria». Победа, стало быть... Ну, ну... Для дамской самозащиты, разве что. Не худо бы и Лаптеву пистолетиком обзавестись, да только на годовое жалование в двадцать два целковых в год не разгонишься. И что она может, такая пукалка, против винтовки Маузер? Мелькнула у него догадка, для чего могла бы пригодиться подпоручику его дорогая игрушка, но тут же заставил себя думать о другом. Это каким же надо быть обалдуем, чтобы замышлять самоубийство, когда вся до зубов вооруженная германская армия на тебя зубами скрежещет, желает тебя жизни лишить?

Вздохнул Лаптев, в последний раз полюбовался браунингом – и выбросил чужую собственность за спину, не глядя. Причин медлить больше не нашлось, он поднялся на ноги. Побрёл по шоссе, поднимаясь на бугор. Думал, что быстро вернётся к месту, где остались раненые, но дорога затягивалась. Тогда далеко казалось, потому что подпоручика на горбу тащил, а теперь почему? Осторожничают, вот и не торопится?

Поднялся Лаптев на бугор. Ой-ё-ёй... Почему-то не слишком и удивился, увидев перед собою, шагах в десяти, нескольких немцев в остроконечных касках. Вот только не блестели они, эти каски, потому что в суконных чехлах. Звено это, небось, половина отделения. Все усатые, кроме одного бритого, ни одного с бородой. У бритого на штыке кровь – яркая, свежая. И за спинами германских солдат, на дороге никакого шевеления. Господи! Что, что он говорит?

Это передний немец, унтер, наверное. Поднимает дуло винтовки с затвором непривычного вида, вот-вот прицелится. Тут до Лаптева дошло, о чём германский унтер прокаркал. Прежде показав на повязку с красным крестом, поднял он руки и просипел давно уж заготовленное на такой вот, немислимый случай:

– Же сюи фельдшер. Ля конвенцион де Женев!

Не на латыни же к ним обращаться? Господа офицеры батальона в мирное время, когда в Ломже полк стоял, всегда веселились, услышав, как выговаривает на французском ротный фельдшер Лаптев, и для такого развлечения вызывали его на свои пирушки, где и подносили чарку, отсмеявшись. А какое ещё произношения могло у него быть, если вызубрил в своей глухой Усть-Воже учебник французского, подаренный добрым

учителем Онежского двухклассного училища Василием Ивановичем? Сейчас же немцы только скривились, словно от кислого, а унтер ещё и спросил, по-простому, так, что и Лаптев понял, не француз ли он.

– Нон, же сюи рюсе.

Потом пальцем показал немецкий унтер на вещмешок Лаптева, и чтобы скинул. Потом, чтобы развязал, и уже самолично вытряхнул его на дорогу. Горестно воззрился Лаптев на свои заветные книжки, нырнувшие в дорожную пыль, на драгоценный его рукописный «Травник», упавший сверху – и не сразу понял, зачем неприятельский унтер, закрихтев, нагнулся и выдернул из его бедняцкого бельишка роскошный кожаный несессер.

Заорал непонятное вражеский унтер, тыча Лаптеву в нос его же имущество, и вдруг до того дошло: немец обвиняет его в мародёрстве и что он дорогую вещь у прусского мирного населения своровал. Вот тут-то Лаптев наконец испугался, впервые за весь этот страшный день.

I

На третьи голодные сутки Адриан обнаружил, что в голове воцарилась замечательная ясность, природа вещей представляется простой и понятной, а соображение действует с четкостью механизма часов-ходиков. Получалось у него, что вернулся в то состояние духа и мысли, которым мог похвастаться даже и не до армейской службы, а до возмужания в деревенских условиях и, в частности, до увлечения усть-вожской девкой Феклой Ефимовой с фигурой, как у гитары. А с казарменного пребывания какой спрос? Там ведь специально взращивают молодцеватых недоумков. Теперь Адриан готов был предположить даже, что в армейское котловое довольствие тайно домешивается какая-нибудь химическая дурь. А может быть, солдатское питание уже одной дешёвой обильностью своею мозги человеку затуманивает. Впрочем, несмотря на всю ясность мышления, опять его вынесло на воспоминания про еду, а этого допускать нельзя.

Однако голодному трудно забыть о мешочке с сухарями и половиной сушеного леща, отобранном при пленении! Окаянная и предательская зависимость мыслящего человеческого существа от желудка приводила к тому, что утраченный запас провианта занимал сейчас мысли Адриана, хотя куда поучительнее было бы обдумать ситуацию, когда человеческая слабость едва не погубила его. Вот когда она аукнулась, дурацкая его тяга к роскоши не по карману и не по чину! Ведь хотели германцы уже пристрелить за мародёрство. Только показав на несессере медную пластинку с фамилией владельца

фирмы, выбитой неизвестными иноземцам русскими буквами, удалось убедить немецкого унтера, что он на свои кровные купил и ещё в России. Ему разрешили собрать свои вещи в «сидор», сверху падали на них принадлежности для гигиены и опрятности, с издевательским гоготом выброшенные унтером из несессера, а именно круглая картонная коробочка патентованного зубного порошка Маевского, обмылок и зубная щетка, всё остальное погребло. А когда исчез сухарный мешочек и что немцы сделали с отобранной у него санитарной сумкой, это от внимания ускользнуло.

Вообще же остаток своего первого дня в плену Адриан прожил как бы во сне или смертельно пьяным. Погнал его германский солдат дальше по дороге, а там уже живых не осталось. Адриан не заметил даже, как оно вышло, что идёт не один, с ним двое безоружных русских, а потом трое. И вот уже в целой толпе пленных брёл он по дороге, но и немцев-конвоиров прибавилось. Потом привели германцы их в местечко, а название его уже впоследствии удалось прознать. Ружейная трескотня совсем смолкла тогда, только вдали орудия погромыхивали.

Мирных немцев не видно было в местечке, одни военные. Толпу пленных остановили на городской площади, возле ряда каменных лавок, сплошь запёртых. С правой стороны площади собирали русских пленных, а с левой – русские артиллерийские зарядные ящики. Видно, у аккуратных германцев так установлено было: трофейные передки свозить и от конной тяги отцеплять в одном месте, русские пушки в другом, винтовки складывать в третьем, а пленных солдат стонять в четвертое место. Весь день набивали площадь орудийными зарядными ящиками, и к вечеру заполнили добрую половину её. Каждому из русских пленных на площади, кому мозги не отбило, одного только количества захваченных зарядных ящиков было достаточно, чтобы уразуметь, какое страшное поражение претерпела непобедимая российская армия.

А солдат сюда столько было натыкано, что ночью никто и не попытался лечь или сесть, стояли, друг к другу прижатые. На оправку немцы не выпускали, так что мочой воняло со всех сторон. Несмотря на смрад, многие в темноте подкреплялись. Слышно было тогда Адриану, как хрустят сухари и как чавкают перекусывающие счастливицы: и хотелось бы им поесть бесшумно, да не умеют! Понятно, что не все сохранили вещмешки, но что-то не заметил Адриан, чтобы кто-нибудь предлагал сухарик соседу. И ему не предлагали, да он и не просил. Казённое наставление «Сам погибай, а товарища выручай!» не очень-то, выходит, здесь признавалось. Более того, Адриан получил кулаком под рёбра, когда перед рассветом заснул стоя и в бессознательном состоянии навалился на соседа справа. Проявления войскового товарищества пока не заметны были по причине численного перевеса лапотников-новобранцев, кроме того, имея на погонах унтер-

офицерские нашивки, Адриан вызывал не лучшие чувства у рядовых. Вот если бы и унтер-офицеров немцы держали отдельно от солдат, как, судя по всему, офицеров, кто-нибудь из усачей обязательно подкормил бы ротного фельдшера. Он не сомневался также, что пленные офицеры сейчас делятся едой и куревом друг с дружкой: не раз видел на ученьях, как по-братски держалось в своем кругу на биваке младшее офицерство, обер-офицеры.

А когда рассвело, принялся поглядывать Адриан на бесконечную россыпь зарядных ящиков, а если точнее, так на русский пулемёт «Максим», торчавший неизвестно зачем на какой-то брочке, приткнутой как раз с краю, перед артиллерийским имуществом. Вот если бы в пулемёте осталась лента, а какой-нибудь храбрец, вроде севастопольского матроса Кошки, оказался бы среди пленных! Он тогда выскочил бы из толпы, обезоружил бы или перестрелял бы немецкую охрану и, раздав охочим немецкие винтовки, вывел бы толпу пленных к своим. Пустые это были мечты – и потому, в частности, что герой вроде безумно смелого матроса Кошки едва ли сдался бы в плен, да и с места Адрианова никак не разглядеть, вставлена ли в пулемёт лента. Кроме того, орудийные передки немцами вроде и вовсе не охранялись, а охрана пленных представлялась Адриану явно недостаточной, вели же себя конвоиры беспечно. Следственно, далеко отступили свои, и убежать с площади – это ещё не значит убежать из плена. Хорошо хоть, что в утренних глупых мечтах не себя видел он за пулемётом, а сказочного матроса-храбреца. Тошно было и вспоминать вчерашнее дурацкое желание подобрать винтарь и поднять остатки роты в атаку. Единственно, за что мог бы похвалить себя Адриан, так это за то, что своё награждение георгиевским крестом за подвиг не успел вообразить, а если быть честным перед собою, то успел-таки немножко... Однако тут же и высмеял себя за глупость.

Тем солнечным утром, топчась в плотной толпе небритого шинельного люда, пришёл Адриан к выводу, что между вчерашними и сегодняшними замыслами и фантазиями есть различие, и немалое. Задумка вчерашняя глупа изначально. Уж коль ты на войне в составе своего полка, то и действуй по уставу. Уставы ведь не дураки писали. Если потрафило тебе не винтовку таскать, а в ротных фельдшерах служить, то и выполняй свои обязанности. Геройствовать желаешь? Геройствуй в своем санитарном деле. А кстати, ведь он вчера не струсил, выполнил нелепый приказ труса Широкова, а мог ведь, посидев в ложбине, вернуться и доложить, что на позиции роты уже немцы. Ведь не соврал бы: тяжелораненых немцы тогда уже прикололи. Адриана передернуло, хоть в толпе, несмотря на утренний холодок, было тепло. Уже этот поступок германцев подсказывал, что и пленным от них ничего хорошего ожидать не приходится. Напрасно

какой-нибудь деревенский дядя благодарит сейчас Бога за то, что в плен попал и тем спасся от смерти неминуемой на поле битвы. Рано Господа благодарить! А утренние его полу-мечты, полу-сны об освобождении из плена русским отчаянным героем при всей своей нелепости основаны на разумном, правильном мысленном стержне. Пусть и не геройски, но надо бежать к своим. Установить сначала, где наши войска, в каком направлении, как они далеко, раздобыть съестных припасов, а тогда и решаться на побег.

Не стоило вспоминать о съестных припасах! Тотчас же перед умственным взором Адриана явился бронзовый котелок с дымящейся ячневой кашей. Ещё пытался он силой воли стереть эту соблазнительную картину, как сильно и неприятно качнуло и повело в сторону. Это в многоголовом и многоруком теле солдатской толпы произошло движение. Раздались ругательства: кто-то не устоял на ногах, кому-то наступили на «любимую мозоль». Не сразу сообразил Адриан, что германцы выводят пленных солдат с площади. На ходу толпа растягивалась в походную колонну, дышать становилось полегче, а там и за околицу местечка вышли, потянулись обычным прусским шоссе, обсаженным старыми яблонями. По сторонам шли конвоиры с винтовками наперевес, к яблокам, густо краснеющим на ветвях, не допускали. Сзади хлопнул выстрел, но что там произошло, не удалось рассмотреть. По солнцу определил Адриан, что гонят их на северо-запад – и не удивительно!

Ближе к полудню голова колонны свернула с шоссе налево. В той стороне вдалеке темнел хутор, и теперь пленные поднимали пыль на просёлке. Где-то на полпути до хутора начался впереди изумленный, нет, скорее тревожный ропот, снова зазвучал мат. Подойдя поближе, увидел Адриан, что колонна втягивается в большой загон для скота. А когда уже сам проходил через ворота, рассмотрел, что загон устроен недавно, жерди, едва оструганные, вкопаны абы как, зато колючей проволоки на обмотку строители не пожалели. Вся колонна была втиснута внутрь, ворота заперты. И оказалось тогда, что на одного пленного места столько же отведено, сколько овце в загоне: хочешь – сиди, хочешь – лежи, хочешь – поброди между лежащими. Только к проволоке без приказа не суйся: на первый случай немецкий часовой окликнет, не отбежишь – выстрелит.

Поначалу Адриан, как и многие, поспешил воспользоваться вновь возникшей свободой перемещения, при этом, снуя в новой, разряжённой по сравнению с площадью толпе, он и свой, фельдшерский долг пытался исполнять. Легкораненые подзывали его к себе, к иным он и сам подходил, увидев грязные бинты. Когда была возможность, пытался делать перевязки, извёл на бинты свою запасную нижнюю рубашку. Пару раз удавалось выпросить у соседей раненого неиспользованные индивидуальные пакеты. Как пригодилась бы сейчас его санитарная сумка! Не удивило Адриана, что раненые, все как

один, жалеют отдать для перевязки свое собственное чистое бельё, у кого есть, и что каждый из них уверен, будто «заживёт, как на собаке». Дай-то Бог! На Бога одна надежда, когда нечем обрабатывать раны, хотя бы промыть. Пришло тогда ему в голову, что в офицерском лагере нашлись бы и не пустые фляжки с коньяком или водкой – ещё одно доказательство того, что богатому и знатному всюду полегче. В солдатских фляжках давно уже и воды не было. Ничего не оставалось ротному фельдшеру, как обещать, что «до свадьбы заживёт» и слёзно просить раненых, чтобы берегли по возможности раны от грязи.

Толкаясь среди пленных, старался Адриан держать ушки на макушке. Услышал он, как какой-то усач из старослужащих, гордый собственным открытием, объявлял во всеуслышание, что пригнали их сюда из Танненберга. Понаторев в иноземных буквах, ведь увольнительные отгуливал в польской Ломже, мужик сумел прочитать название местечка на вывеске запертой лавки, перед которой, в толпе зажатый, проторчал больше суток. Тоже мне нашёлся знаток немецкого языка! Но Адриан знал в той же Ломже провизора Берга, и название Танненберг (Таня и Берг) на всякий случай запомнил. Подходя же на разрешённое расстояние к огороже, прислушивался и к гелгеканью охранников-немцев, надеясь услышать что-нибудь полезное. Повторялось там одно слово, и звучало оно как «концентрационслагер». Сгоряча решил он, что это название хутора, в виду которого устроили германцы загон для пленных. Потом припомнилось ему французское «концентрацион». Сдаётся, означает словцо это заковыристое «собрание вместе». Что ж, это так немцы загон для пленных называют. Лагерь для собрания. Сборный лагерь. В слове как таковом – ничего страшного.

Да уж, в слове – ничего страшного нет. Чего не скажешь о творении премудрой европейской мысли, словом этим заковыристым называемом, о самом лагере, о предусмотренных здесь условиях существования. Устроено обиталище было столь экономно, словно содержать в нём германцы собирались не грешных русских солдат, а воинство ангельское, бесплотных серафимов да херувимов. Не предусматривалось там отхожего места, не собирались и кормить. Первое неудобство объяснялось проще: или всех пленных вскорости предполагается уничтожить, во что поверить никак не хотелось, или же недолго собирались их в лагере держать. Но на третий день голодовки, когда, как уже упоминалось, замечательно прояснилось у Адриана в голове, он сумел придумать и объяснение, почему германцы не кормят русских пленных, только раз в день завозят в лагерь бочку с водой.

Нет, колбасники не замыслили уморить всех голодом, они просто рассчитывали, что русские пустят в ход личные НЗ, о которых, разумеется, знали. Очевидно,

законопослушные немцы и представить себе не могли, что кто-то сможет без разрешения начальства и без крайней надобности слопать «неприкосновенный запас». Кроме того, поставить на довольствие большое количество пленных – дело непростое для интендантства любой страны, вот немецкие военные чиновники и пишут пока бумаги да ждут приказов от начальства. Можно было бы и другие объяснения придумать, но голодовка продолжилась и на четвертый день плена, и тогда в голове у Адриана снова затуманилось. Думалось-то ему по-прежнему ясно и прозрачно, вот только придуманное сразу же забывалось. Пришлось прекратить тогда свои фельдшерские обходы. Ноги теперь с трудом поднимались, а главное, возможности для свободного движения по лагерю сильно ограничились. Теперь загибался каждый клочок свободного пространства, а забить место для новой лёжки становилось всё трудней. В последний раз, когда попытался Адриан сделать это, расстеленная им на земле походная палатка испарилась, а на её месте возникли кучки дерьма. Соседи в ответ на упрёки Адриана только отворачивались. С трудом удалось найти новое место, и вот его незадачливый мыслитель старался уже не покидать. Теперь он улёгся в критической близости от изгороди, и эту позицию занял нарочно. Приметил, что тут солдаты не решаются оправляться. И ещё пришло ему в голову, что немцы обязательно должны будут использовать пленных медиков, ведь при таком разгроме русской армии были захвачены, конечно, и полевые госпитали с ранеными, а кому-то ведь надо их лечить? А теперь его повязка с крестом сразу бросится немцам в глаза. Но пока немцы на него внимания не обращали, зато он имел возможность воспользоваться первыми проявлениями лагерного товарищества.

Не желали пленные в первые дни делиться сухарями, зато не жалели друг для друга духовной пищи, лагерных новостей. Передавались они шепотком, из уст в уста, как говорится, и понять, где в этих слухах правда, а где ложь, было поначалу абсолютно невозможно. Чего только не доводилось в первые дни выслушивать Адриану! И что главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, тот самый, высокий и тощий, изволил вконец осерчать и собирает сейчас всё русское войско в кулак, чтобы шарахнуть по пруссакам, и что наши войска полностью разгромлены, и что германцы захватили уже всю российскую Польшу... Едва успевал Адриан переварить очередную новость, как сосед справа или слева уже помавал ему узловатым пальцем, предлагая наставить ухо. Постепенно среди вестей недостоверных и сказочных (германский «Цепелин» одной огромной бомбой уничтожил целый полк донских казаков, или вроде того) прорезались новости более конкретные и явно, как об этом со временем догадался Адриан, услышанные от немцев. Передавал их всегда сосед справа, крепко сбитый усач в рыжей

щетине и с неприятным запахом изо рта, и постепенно сообразил Адриан, что в той стороне, где-то у самой колючей проволоки, расположился такой же лагерный умник, как он сам, вот только понимающий немецкие между собою разговоры. Умник этот, рядовой или унтер, проживал до солдатской службы среди российских немцев, в Митаве, к примеру. А мог это быть и жидок из пополнения, взятого в Ломже. Непонятно почему, но у местных жидов своё наречие очень похоже на немецкое. Хорошо бы дознаться, как такое диво могло получиться, да только не лучшее для таких разысканий нашёл он место.

Принялся тогда Адриан выделять исходящие из этого немецкого, в конечном счёте, источника слухи, и даже попытался сложить их в общую картину. Увы, картина получалась печальная. Русское наступление в Пруссию провалилось, в том никаких сомнений быть не может. 2-я армия, а в ней 4-ая пехотная дивизия, в составе которой действовал Белозерский полк, разгромлена, из окружения вышли немногие, а в плену оказалось необозримое количество солдат и офицеров. Командующий, генерал Самсонов, то ли убит в окружении, то ли сам застрелился. Немцы завладели чуть ли не всей артиллерией и обозами 2-ой армии. Зато 1-я армия под командованием генерала с длинною немецкой фамилией дошла до самого Кенигсберга (солдаты называли его Кролевцом, позаимствовав понятное название у поляков), но теперь вынуждена была отступать назад, к русской границе. Когда началась война, ропот в войсках поднялся, что уж слишком много немцев среди генералов и офицеров, как же теперь с немецким неприятелем воевать? И не будет ли от своей немчуры измены? А вот вишь, как получилось! На деле-то генерал с русской фамилией оказался рохлей: и войско загубил, и сам погиб. Служилый же немец давно уже славится как настоящий российский герой: за подвиги в Китае и на русско-японской войне получил он два георгиевских креста и от царя золотое оружие за храбрость, да и в Восточной Пруссии не подкачал! Справный командующий, он и немцев побил, и отступить сумел в порядке. О покойном Самсонове как-то мало говорили солдаты, стеснялись вроде бы его позорной смерти, и представлял себе его Адриан, никогда командующего не видевший, этаким бородатым толстячком, похожим на усть-вожского попа отца Павлина, только в золотом мундире и при сабле. О Ре-не-н-кам-пфе (вот, вспомнил же!) солдаты говорили, что это крепкий хромой старик с устрашающими усами, в стороны торчащими, будто колья. А охромел после битвы под Лаоляном, когда чуть ногу не потерял. Иногда принимался Адриан мечтать о том, как кто-нибудь из русских правильных военачальников (то представлялся ему в этой роли то усатый богатырь Ре-не-н-кам-пф, то верста коломенская седой великий князь Николай Николаевич), что славный русский полководец соберётся с мыслями, придумает

хитроумный план нового наступления на германцев, мощным ударом разгонит их и спасёт всех пленных, но неизменно сам начинал смеяться над этими своими бреднями.

Тем временем германцы испугались-таки, надо думать, гнева грозных русских полководцев, потому что соизволили кормить пленных. Сперва пошёл слух, что к хутору, точнее, к его бетонному колодцу подтягивают захваченные неприятелем русские полевые кухни, а там и сам Адриан увидел, как в той стороне поднимаются дымки. Одновременно другие германцы принялись перестраивать лагерь, для чего сперва разделили его кольями с колючей проволокой на две половины и всех пленных перегнали в одну. Стало быть, полежать теперь мало кому удалось бы, если бы немцы одновременно не устроили бы сортировку, не отобрали бы пленных ростом повыше и покрепче. Большую их часть этих счастливых, оставивших вонючий лагерь, немцы построили в колонну и угнали, как определил Адриан, в северном направлении, а с десятков оставили в лагере как работников для его перестройки.

Стояли оставшиеся солдатики, смотрели, как кволые их товарищи вкапывают рядом с первым второй ряд кольев, и пытались уразуметь, для чего бы. Внимательно выслушивал и Адриан предположения, которые удавалось расслышать, сам ворочал мозгами. Однако догадался, что к чему, только когда немцы почти уже закончили работу. Да и потому только смикитил, что уж больно похоже было построенное на загон для купания овец. Конечно же, пленных очень не помешало бы выкупать, но германцы озаботились устройством для справедливой кормёжки. Это чтобы никто из русских не смог бы схитрить и шельмовски получить две порции. Высказал Адриан свою догадку, и было ему без разницы, услышал ли кто. Однако стоявший рядом невысокий рядовой без фуражки поднял на него тёмные смеющиеся глаза и ответил:

– Точно так и есть. Ordnung!

– А что оно такое, «орднунг»? – поинтересовался Адриан, помедлив. Погоны у говорившего окаймлены трехцветным кантом, стало быть, не простой солдат, а вольноопределяющийся. Из образованных, это уж точно.

– Да порядок ихний, порядок... Вот что оно значит. Немец без дозволения начальства и отлить у забора не посмеет.

– Следственно, надобно нам немедленно проталкиваться к выходу из этой половины загона.

Собственно, толкаться особенно не пришлось. Адриан с темноглазым «вольнопёром», успели протиснуться почти до выхода из забитой пленными половины лагеря, когда в ту же сторону ринулась вся масса, и передних прижало к дощатой калитке, а кое-кого и к колючке. Толпа заворчала, начала плевать матерком. Ещё с четверть часа

довелось промяться, пока калитка не распахнулась, и в огражденный колючей проволокой коридор не влетел стоявший первым долговязый унтер в мохнатой папахе. Очередь у выхода из коридора оказалась не такой тесной, вскоре перед Адрианом открылась вторая калитка, и он, уже приготовивший котелок, должен был продиктовать толстому немцу с нашивками на погонах свои имя и фамилию, какой роты, батальона, полка и дивизии. Лишь после этого допущен был к полевой кухне, где чумазый пленный повар в чистейшем белом фартуке налил ему полкотелка еле тёплой похлёбки из брюквы.

Давешний «вольнопёр», свою порцию сберегая в грязной банке из-под консервов, поджидал его в пустой половине лагеря, недалеко отойдя от входа. Перемигнувшись, они заняли места подальше от калитки, но на чистой полосе перед внешним забором. На голой земле, потому что трава давно уже выщипана и высушена на курево. Уселись, мгновенно оба осушили посуду и ложками вытащили разваренные куски брюквы.

– Ничего себе разговелись после строгого поста! Из одного этого угощения исходя, не жду я от здешнего пребывания ничего хорошего, – заявил «вольнопёр», облистав ложку.
– Меня, между прочим, Климом кличут.

– А я Адриан Иванов сын Лаптев, – не отрывая унылого взгляда от днища котелка, сообщил Адриан. – Был ротным фельдшером в армии его императорского величества, и не сообразил покамест, остаюсь ли оным в настоящее время. Приятно мне познакомиться.

– Тогда я вольноопределяющийся Клим Петрович Каликин. По собственной своей воле определившись, как полагал я, прямо в георгиевские кавалеры, послужил я недельку писарем в штабе дивизии и вот – возлёт в здешнем свинарнике. То есть мне тоже очень приятно.

Уж где приятно было теперь у Адриана, так это в брюхе: хоть и скудные, питательные вещества тёплого отвара брюквы ласкали ссохшийся от голодовки желудок. Кровь прилила сейчас к органам брюшной полости, оставив мозги на голодном пайке, и всё же Адриан сумел сообразить, чем любезен ему разговор с Климом: ведь впервые после пленения он слышит русскую речь без мата. Но сказал он о другом.

– Лестно для меня знакомство с образованным человеком, господин вольноопределяющийся, чего уж там.

– Едва ли, вылетев из восьмого класса классической гимназии, я имею право так называться... Зато держаться поближе к медику в этой клоаке весьма полезно. Я безо всякой лести, господин ротный фельдшер.

– Семь классов гимназии – это же ого-го! – хотел было присвистнуть Адриан, да не вышло, хотя вроде и смочил губы. – Вот ведь вам счастье привалило! А я? Что я из себя

представляю? Без санитарной сумки – какой с меня медик? Разве что присоветовать что-нибудь всухую. Вон и перевязок не делаю больше – совсем уже нечем.

Собеседник ответил ему не сразу. Сперва залез в карман гимнастёрки, достал серебряный футляр, толщиной в два винтовочных патрона, снял крышечку и протянул его Адриану – тот только рот разинул. А «вольнопёр» пожал плечами, вытащил зубную ковырялку и поработал ею над своими желтоватыми зубами. Поднял на Адриана смеющиеся снова глаза:

– Даже и не спрашиваю, не найдётся ли у вас закурить? В чудеса мне как-то не верится...

– Я не курю.

– Из медицинских соображений исходите? Ну, насчёт вреда табака имеются различные мнения.

– Наши предки не курили, – буркнул Адриан, – а нам тогда зачем? Впрочем, мне и не хотелось никогда.

Он лукавил. На самом деле в его родной Усть-Воже никто не курит. У старообрядцев с этим строго, а церковные в этом отношении привычно равняются на них. В своё время Адя выслушал от приёмного отца противную старообрядческую историю о происхождении табака, будто бы из кала блудницы, согрешившей с чёртом, и долго не мог смотреть на табак без отвращения... О чём там «вольнопёр» балагурит?

– Увы, обозревая прискорбное невежество нашего народа-богоносца, облачённого в солдатские шинели, я и сам уже не раз сокрушался о собственном легкомыслии, заставлявшем меня манкировать занятиями в гимназии. Вы же, как я заметил, наделены способностью к соображению и, в чём я уж точно не сомневаюсь, имеете обыкновение... О чём то есть я? Ага... Все возможности для образования, каковые даёт вам жизнь, использовать до упора.

Ухмыльнулся Адриан, припомнив, какие житейские обстоятельства имеют в виду серошинельные представители народа-богоносца, употребляя в речи это «до упора». Припомнилось ему тотчас соответствующая картинка общения с противоположным полом, но странно как-то, будто о совместном, без разделения полов, детском купании в Воже речь... О чём это чудак?

– ...и отсутствие медицинской помощи вот-вот начнёт сказываться. Вы заметили, наверное, когда стояли в очереди... Рванули все наши служивые к кормушке, а полтора десятка так и остались лежать.

– Да нет, не заметил. На трубу полевой кухни вылупился. Однако в здешней грязи все раненые рискуют подхватить сепсис, и уже завтра-послезавтра многих из них можно будет спасти только ампутацией поражённой конечности.

– Сепсис?

– Заражение крови, если по-простому. Даже лёгкие раны успели загноиться, а я ничего не могу поделать. Нужен хирург и лекарства. Антисептики нужны. Я мог бы пустить в ход кое-какие лесные травы, но где их здесь взять? Что и было на поле, давно выщипано.

Объяснил Адриан, что к чему с ранеными, и сам приуныл. И это вместо того, чтобы порадоваться хорошему – уж какая ни есть, а началась кормёжка, а главное, товарищ появился, с которым теперь хоть словцом можно будет перекинуться. Да и место для лёжки есть кому покараулить, если понадобится отойти. А кстати...

– Прощения прошу за любопытство, быть может, неуместное. А откуда вы, господин вольноопределяющийся, немецкий язык знаете? Уж не жид ли вы часом? Я почему спрашиваю? Да потому, что в гимназиях учат французский...

– Ну, не совсем оно так... Можно изучать и немецкий, и французский из живых языков, можно какой-нибудь один. Меня отец записал на французский, потому что я немецкий и так знал.

– Вот, а я что говорил...

– У меня бонна была немка, няня то есть. А вы что ж – антисемит? Быть может, и в «Союз русского народа» записаны?

– Тоже мне догадка... Я, по некоторым семейным причинам, твёрдый интернационалист. Просто привык, что поляки в Ломже ваших иудеев без каких-либо обид жидами называют. А вы, небось, из богачей-толстосумов?

– И где вы видели еврея с фамилией Каликин? Что же касается богатства, то толстыми сумами владел мой весёлый отец и в те самые баснословные времена, когда меня бонна-немка обслуживала. В настоящее время мы полностью разорены, и единственное, друг мой, о чём я сейчас жалею, так о том только, что по юности лет не успел принять надлежащего участия в разбазаривании... что не я пустил по ветру семейное достояние. Было бы хоть о чём вспомнить! Только представить, какие фемины могли бы сопутствовать моей роскошной жизни! Ибо сейчас, оставаясь человеком беспутным и крайне легкомысленным, ваш покорный слуга ниц и гол, не владею и солдатским котелком, как изволите видеть.

Догадался тогда Адриан, что его нечаянный товарищ тоже соскучился по нормальному собеседнику, а именно по этой причине ляпает языком даже и лишнее.

II

Протянулись ещё несколько лагерных дней, и процедура раздачи бурды из брюквы стала уныло будничной, к тому же брюкву вскоре сменила гнилая капуста. Теперь уже, как только ни ухитрялись Адриан с Климом, безжалостные солдатские локти отталкивали их в хвост бесконечной очереди, и похлёбка непременно доставалась им вконец остывшей. Поскольку дневная порция не становилась сытнее, хроническое недоедание лагерных обитателей продолжалось и усугублялось. Зато проблема избытка тягостного лагерного времени исчезла сама собой: ожидание обеда поглощало весь невольный досуг и не то что занимало все мысли, но как бы доказывало непреложно, что мышление пленных уже искажено голодовкой.

Наступил конец августа. Одним далеко не прекрасным утром, с пробуждения начиная и болезненное предвкушение кормёжки испытывая, новые приятели несколько часов проспорили, какое число у них по российскому календарю. Настаивал Адриан, что 29 августа с утра, то бишь Усекновение главы Иоанна Предтечи, а по расчёту Клим выходило, будто уже 30. Как ни считай, однако осень на пороге, а за нею и зима, зиму же на голой земле и на таком рационе не пережить. Первые же заморозки убьют многих раненых, тех, которых не погубит к тому времени грязь. Вообще же лагерная антисанитария оказалась не столь грозным врагом, каким мнилась ротному фельдшеру поначалу. Через день после того, как задымили полевые кухни, собравшись так сяс с силами, а главное, опасаясь получить от нового товарища упрёк в бездеятельности, Адриан возобновил свои обходы раненых – и с радостным удивлением обнаружил, что у многих страдальцев легкие раны закрылись сами собой и без правильных перевязок, а у всех остальных в ранах завелись черви.

– Какой ужас! – всплеснул своими тонкопалыми руками Клим, услышав о червях. – Ведь теперь мужикам капут, Андриан.

– Сколько раз тебе повторять: Адриан я, не Андриан. А ещё в гимназии учился... Червей же бояться не следует. Про белых червей в ранах нам на фельдшерских курсах доктор Назаров рассказывал, что они как раз ранам не вредят. Напротив, объедая омертвевшие ткани...

– Фу ты, гадость какая!

– ...способствуют заживлению, говорю. Вот пойдут дожди, тогда и начнутся казни египетские.

И как напорочил. После полудня небо заволокло тучами, а в сумерках полил нудный прибалтийский дождь. Всю ночь пленные простояли, сгорбившись под шинелями, походными палатками на одного и башлыками, у кого были, иные просидели на корточках. Лагерь не в низине был устроен, слава Богу, однако же и уходить воде там некуда. К рассвету дождь утих, но Адриану всё казалось, что шум его продолжается: это перемерзшие пленные вокруг дружно стучали зубами.

– Ты спишь, Адриан? – спросил дрожащим голосом «вольнопёр» и, не дождавшись ответа, заныл. – Вот читал я у Гаршина, что на войне интеллигент легче переносит физические страдания, чем простой мужик. Но если я так страдаю, представить страшно, какие мучения сейчас терпят простые мужики...

Хотел спросить Адриан: «А кто это здесь интеллигент?». Хотел он спросить, но только хмыкнул. Ему, конечно же, студено было тогда, промозгло, но в деревенском детстве, на Севере отбытом, приходилось мёрзнуть и похуже. Главное, уверен был, что уж он-то не простудится. А сам тогда приглядывался к немцам, пытаясь решить главный вопрос: желает ли их начальство, чтобы русские в этом лагере медленно вымерли – или имеет всё-таки более человеколюбивые намеренья? Несколько успокаивало, что с появлением кухонь в немецкой охране произошла смена: перестройкой лагеря, как разглядел это со временем Адриан, чрезвычайно удивив этим наблюдением нового приятеля, занимались уже не прежние, молодые и молодцеватые служивые в остроконечных прусских касках, а пожилые, обрюзгшие либо, напротив, болезненно худые и чаще не в мундирах, а в тиковых куртках и в бескозырьках вместо касок.

Постовые германцы, они тоже промокли, поэтому разожгли для просушки костёр. Немцы сушились долго, и их фигуры во всё ещё непривычной для глаза форме перекрывали тепловые лучи от костра, порой достигавшие ближайших пленных. Потом пар перестал подниматься над немецкими шинелями, но, как заметил Адриан, охранники продолжали подбрасывать хворост. Тут смикитил он. Оглянулся на приятеля и, ватными ногами, спотыкаясь, поспешил к выходу из их половины лагеря. Так они оказались в первой партии пленных, допущенных к костру, чтобы наскоро обсушиться. «Вольнопёр» устроил при этом настоящее представление: снял шинель и, задом повернувшись к огню, растянул её на спине вверх тормашками. Немцы принялись крутиться вокруг него, загалдели по-своему, и Клим бойко отвечал им на немецком же. Клоунский поступок товарища только ненадолго отвлек Адриана от созерцания огня, как всегда, заворожившего. Но он понимал, что ненадолго допущен сушиться, что в очереди едва ли не тысяча промокших. Поспешно, глаз от костра не отрывая, тоже снял шинель. Чуть не сунул её при этом в огонь, но вовремя отшатнулся, когда перед ним поднялось облачко

кислого пара. Именно тогда, всматриваясь в вольное, загадочное и в любой стране, что дома, что на чужбине, одинаковое огненное волшебство, понял Адриан, что необходимо бежать.

Об этом он и сказал вольноопределяющемуся Климу, как только протолкали их от костра, сказал невпопад, не отвечая на хлынувший от Клим, но почти даже и не расслышанный до конца поток жалоб:

– Бежать надо, а то конец.

Чудак блеснул навстречу ему глазными белками, странно выделявшимися на замурзанной, неумытой физиономии. Крякнул:

– Я вам о том, что из-за благотворительной сушилки обед неминуемо опоздает, а вы в философские глубины изволите нырять.

– Это отчего ж в философские, уважаемый Клим? – изумился Адриан.

– А какие ж ещё? Свободы ведь алчете, господин ротный фельдшер, желаете ведь отринуть рабство у иноплеменников и обрести свободу. Разве нет?

Адриан надел в рукава шинель, застегнул пуговицы. Вот где ощущение свободы исчезло, так это сзади на шее: грубый, твёрдый воротник снова впился в неё. Зато полусырое шинельное сукно, не отдавшее ещё тепло костра, славно прогрело спину. Свобода? Адриан наконец-то сосредоточился на сказанном товарищем и с облегчением отвлёк свои мысли от кормёжки, и в самом деле, теперь запаздывающей. Заговорил медленно, запинаясь:

– Я принимал присягу... То есть обязан, если от германцев убегу, вернуться к своим... А где вы там, в российском храбром войске, свободу увидели? Уж позвольте... Уж позвольте на сей счёт полюбопытствовать, господин вольноопределяющийся.

– Да бросьте, – улыбнулся Клим. – В сравнении с этим Konzentrationslager'ем наше с вами бывшее солдатское житьё даже на марше сравнимо с курортом в Гаспре.

– Ага, с курортом... Вы ведь сами изволили пойти добровольцем. А я служу срочную и, если бы не война, в этом году уволился бы с действительной воинской службы. И эта самая служба для нижних чинов российской армии, согласно моему разумению, есть только облегченная форма тюремной отсидки. Единственно, что: в остроге жив останешься, если не станешь с уголовниками задираться, а тут сам обещаешь, что и жизни за государя императора не пожалеешь. Как там в присяге? «Верно и нелицемерно служить, не щадя живота своего...»

– «...до последней капли крови», – подхватил «вольнопёр» превесело. – Но ведь это только так говорится, друг Ан... Адриан! Уверен, что не каждый новобранец понимает, что оно такое – «не щадя живота своего».

– Не понимает, так унтер ему пудовым кулаком разъяснит. Но там же, в присяге, и настоящая загадка есть, вот уж точно не для унтер-офицерских мозгов. Дайте припомнить... Ага. «...И всё по совести своей поступать...».

Тут внезапно устал Адриан от умственных усилий и отвлёкся. Тем самым невольно подчеркнул свою принадлежность, нашивками на погонах подтвержденную, к тупым унтерам. На самом же деле в животе засосало невыносимо, и взгляд не затуманенных сытостью глаз устремился в ту полусферу серо-голубого прусского неба, где давно пора бы появиться дымкам от полевых кухонь. Но пусто там, а это значит, что на костёр-сушилку пущен был хворост, запасённый для готовки. Ничего себе! А ведь чудак-«вольнопёр» успел что-то умное сказать...

– Извините, господин вольноопределяющийся, нельзя ли повторить? Не могу даже тем оправдаться, что задумался. Кишки такой марш сыграли, что все мысли из головы вышибли.

– И зачем было напоминать о жратве! Кстати, во мне ещё теплится надежда, что сегодня вместо баланды сухари выдадут. А говорил я вот о чём... О чём же, дьявол, я говорил? Ах, да, о совести. То есть, принимая присягу, мы клялись на Евангелии поступать «по совести своей». И что же сие означает? Боюсь, что в общем верноподданном смысле присяги: «по совести» – то есть, как тебе начальство велело.

– А мне кажется, уважаемый Клим, что речь там о внутреннем рассуждении каждого. При чём тут начальство вообще, если «по совести своей»? Начальство принудило нас присягу принять, при чем тут совесть? И то подумать: ежели «по совести», так разве я обязан за Николашку Кровавого отдавать жизнь?

Вольноопределяющийся боязливо оглянулся, вызвав покровительственную усмешку Адриана. Вокруг них ведь пусто. Очередь двигалась медленно: шинель просушивать – это тебе не пустой котелок кухонному мужику протянуть... Некстати припомнил он, что Клим незаметно обзавёлся сносной фуражкой и умеренно помятым котелком: то ли купил, то ли обменял, то ли с мертвого, за колючую проволоку ещё не вытащенного, снял. Нет, ты посмотри, «вольнопёр» и вправду смутился! Вот заговорил, наконец, глядя в сторону:

– Едва ли стоит, господин ротный фельдшер, распускать язык даже здесь. Мы же не на веранде собственного дома над рюмками шартреза покуриваем. А если к слову пришлось, уж не эсдек ли ты?

– Мне социал-демократы как раз очень симпатичны. Партия самая справедливая и наиболее близкая к основам науки. Но я не член партии их, сочувствующий только, – снова усмехнулся Адриан. – А здесь чего нам бояться? Над нами сейчас другой император

властвует – германский Вильгельм. И чем же он нашего лучше? Мне, знаете ли, не верится, что наши начальники вот именно так измываются над германскими пленными.

Тут и «вольнопёр», в свою очередь, снова осмотревшись, расхрабрился:

– Что Вильгельм, что наш – одна бражка, родичи ведь. Я знавал поручика с Калужского 5-ого пехотного императора Вильгельма Первого полка. Мы должны о себе подумать, о своей жизни.

– И то.

Хотел было рассказать Адриан, как чуть голову не сложил, исполняя присягу, да промолчал. Потому промолчал, что был почти уверен, что «вольнопёр» не смог бы ответить подобным рассказом. Вообще же Адриан не замечал за собой особенной деликатности. В данном случае срабатывало, видимо, уважение к более образованному товарищу по мытарствам. Проговорил быстро:

– Сдаётся мне, тут о желании бежать следует помалкивать, чтобы не донесла какая сволочь, желая перед новыми господами выслужиться. Я понял, что и вы не прочь, господин вольноопределяющийся, так давайте это дело порознь обмозгуем. А при следующем безопасном случае тайно обговорим.

Но в лагере не удалось им возвратиться к разговору о присяге и побеге. Скучная кормёжка восстановилась, но с таким малым количеством питательных веществ, получаемых организмом, нечего было и надеяться далеко отмотать от лагеря. Допустим, проползти под колючкой можно бы и часовому ночью на глаза не попасться, а вот дойти до своих... И где они, свои? Гул оружейной пальбы, долго ещё доносившийся с юга, давно уже стих. Однако судьба, воплотившись в волю германского лагерного начальства, не позволила Адриану околеть на голой холодной земле.

В середине сентября, когда шинельное население лагеря успело сократиться чуть ли не наполовину, Адриан и новый его приятель были выведены из него в очередной партии пленных. Человек восемьдесят, вроде неполной роты, не сразу сумели построиться в две шеренги на тропе, вытопанной из лагеря к хутору. Толстый германский унтер произнёс перед ними речь, а сгорбленный рядовой перевёл на русский. То ли переводчик плохо знал русский язык, то ли настолько его презирал, что не старался говорить правильно, только понять его было непросто.

Вслушиваясь, усвоил Адриан основное в сказанном. Русские-де свиньи (так вот что означает это их «швайне» да «швайне»!) разорили и испохабили часть Прусской земли, поэтому им надлежит самим и восстанавливать разрушенное. Вторая мысль: на хозяйственных работах убежать, ясное дело, легче, чем из лагеря, однако пойманные будут тотчас же расстреляны. Ну, что такое «шизен», мы уж успели узнать...

После того, как на вопрос переводчика, поняли ли, мол, пленные ответили нестройно, что так точно, уразумели, скомандовал им унтер: «Рехт!». И ты смотри, сообразили мужики, что надо повернуться направо, в сторону хутора. Ещё «Фёрвертс марш!» – и зашагали. Выбрались за осточертевшую колючую проволоку, и то слава богу. Но тут же и дружный ропот раздался: из трёх полевых кухонь, стоявших между колодцем и лагерем, дымили только две, а это означает, что здесь кормить убывающих уже не собираются.

Пока проходили через хутор, многие ногу потеряли, и строй сбился. Вместе со всеми Адриан жадно насыщал глаза мирными, не лагерными картинами: аккуратными кирпичными домиками, крытыми соломой, штатским бельишком на верёвке, а главное, немочкой лет тридцати в длинном тёмном платье с белым передничком. На крылечке, щедро увитом плющом, болтала прелестница с двумя немцами – не с «бауэрами», а со служивыми в белых поварских колпаках. За других Адриан ручаться не мог, но сам он и не пытался проникнуть взглядом под одежду этой скорее некрасивой белокурой молодайки: восхитительной казалась сама возможность рассматривать её, словно тяжелому больному после выздоровления возвращалась одна из радостей жизни.

Миновали хутор, и раздался общий тяжелый вздох. Дорога, обсаженная пожелтевшими уже буками, была пуста до самого горизонта и, само собой, обещала немалые тяготы для оголодавших пленников. Тем утром скудное прусское «бабье лето» хоть не мучило жарой, но очень скоро Адриан почувствовал, что ему с каждым шагом всё труднее поднимать ноги. Если бы шёл в одиночку, непременно уже остановился бы и прилёг, как только начало темнеть в глазах, но в колонне это было невозможно. Сознавал, что его запросто затопчут, если приставит ногу и опустится на землю, и впоследствии никак не мог сообразить, действительно ли перешагнул через лежащего доходягу или ему в беспамятстве привиделось. Вначале помнил, что лагерный товарищ бредёт справа, ответственность за него испытывал и готовность поддержать, если упадёт, потом охватило безразличие даже и к собственной участи. Теперь упасть не боялся, а остатки сознания на том сосредотачивал, чтобы поднять, выдвинуть вперёд и опустить очередную ногу.

Однако, видимо, всё-таки отключился на ходу (заснул, что ли?), потому что очнулся на твёрдой холодной земле. Рванулся было подниматься, пока не подстрелили или не прикололи штыком – и с облегчением установил, что вокруг разлёгся такой же шинельный народ, а кое-кто, как нос тотчас же о том засвидетельствовал, и сапоги стянул. Привал, стало быть! А голову вправо повернув, увидел прямо перед собою небритую грязную щеку и под нею погон с потускневшей окантовкой. Жив курилка!

– Клим, как ты?

– Опомнися, слава Богу! Уж боялся я, что без товарища остался... А я вот заставляю себя усилие сделать... Заставлю себя – и повернусь к тебе.

– Я, похоже, закемарил на ходу. Невозможная вещь!

– А я вот с трудом теперь понимаю, что возможно, а что невозможно... Однако нас последние вёрсты православное воинство сзади подталкивало. Немцы слух пустили, что на привале будет кухня с завтраком.

– Да ну? А я что ж – проспал?! А ты почему...?

– Надурили колбасники народ православный, вот почему.

– Не удивляюсь...

– Но кое-что, господин ротный фельдшер, вы изволили-таки проспять...

Собрался ротный фельдшер с силами, напряг мышцы шеи... Невероятная вещь – на глазах осунувшийся «вольнопёр» ехидно ухмылялся!

– Тут рядом, в придорожной канаве, дождевая вода собралась. Так наш народ-богоносец столь звонко лакал из лужи, аж сюда доносилось. Пока не вылакали и котелками не вычерпали, понятно.

Получалось, что товарищ и его, медика, считает способным пить вместе с тёмными мужиками из лужи. Адриан не обиделся, предпочёл пустить в ход свои знания:

– Первым ещё можно было рискнуть, пока вода не замутилась. А уж потом... – махнул рукой. – Опасно стало и губы мочить.

А сам поискал глазами конвоиров. Те, в почтенных своих летах вынужденные маршировать с тяжёлыми винтовками и в полном снаряжении, тоже притомились. Выставив часовых вокруг пленных, устроили и себе бивуак, а в данный момент кипятят на двух кострах непрерывный немецкий кофе. Что цикорный кофе это, а не чай, свидетельствует запах. Кое-кто, горячего питья не дожидаясь, уже жуёт свой сухой паёк. Винтовки с примкнутыми штыками не поставили в пирамиды, каждый свою при себе держит. Пока по крышкам для котелков разольют, пока выпьют... Имеется ещё время. Он смежил веки... В ушах тихонько зазвенело, перед глазами замелькал заяц, изо всех сил убегающий по снежной поляне. Он спит, и во сне тоже – это же надо? Суровый батя будит его, трясёт за плечо. Приходится просыпаться... Печка прогорела ночью, в лесной избушке холодно. Адя спал одетый, он зевает, едва не вывихнув челюсть, отбрасывает лоскутное одеяло, засовывает ноги в валенки... Вот он уже в зимнем лесу. Светает. Морозно. Адя ставит на снег ведро. Оглядывается опасливо и, с места не сходя, проделывает в сугробе жёлтую трубочку, на глазах замерзающую. Его передёргивает: ведь часть тепла выпустил только что из тела. Запахивается плотнее и застёгивает все крючки на шубе. Дело Пашки было ещё с вечера заготовить хворост, Созя сейчас растапливает

печь, а он, Адя, должен принести с болота воды для утренней готовки. А вот и болото. Как быстро он сегодня дошёл! Адя уже заносит деревянное ведро, чтобы разбить его торцом лёд в бочажке, когда вдруг соображает, что в сапогах сегодня, стало быть, можно пустить в дело каблук... Почему батя продолжает будить, ведь проснулся уже давно, уже ведь на болоте?

– Поднимайтесь, Лаптев, баланду привезли!

Да уж, наяву потеплее... Полевой котёл остановился на обочине, едва не доехав до середины колонны, так что Адриан с напарником оказались в первой двадцатке, и баланда им досталась даже не тёплой, а почти горячей. И более наваристой, чем обычно, оказалась: с половиной картошки в каждом котелке и даже с радужным пятнышком жира. Ещё в очереди ротный фельдшер вспомнил о своем медицинском долге и на расстоянии попытался прощупать взглядом оставшихся лежать прямо на гравии дороги. По крайней мере, трое из восьми не шевелились совсем. Доев же и в меру насладившись тёплой тяжестью в желудке, заставил себя подняться. Тыча указательным пальцем левой руки в крестonosную повязку на правой, обошел всех лежавших. Выпрямляясь над мёртвыми, складывал перед собою руки крестом. Уже возвращался на своё место, когда увидел, что толстый германский фельдфебель подзывает его к себе.

– Же сюи фельдшер Лаптев, – представился Адриан. И отрапортовал. – Тру морт, хик са ун конносэнс, герр фельдфебель.

Фельдфебель дёрнул щеточкой усов, пожевал под ними бледными губами, кивнул и, от Адриана отведя оловянные глаза, показал подбородком, чтобы шёл на место. А когда Адриан снова устроился возле «вольнопёра», вылупившегося на товарища по плену, будто впервые увидел, к нему пришлёпал немецкий рядовой и протянул ломоть хлеба. Тонко отрезанный, следует уточнить, ломоть. Адриан тут же разделил его с «вольнопёром».

– Есть идея! – объявил тот, торопливо дожёвывая – с закрытым ртом дожёвывая, воспитанный человек.

– Ну?

– Сейчас уже не выйдет, засветились мы, а на следующем привале притвориться мертвыми. Немцы же отставших не добивают, мы ведь не слышали сзади выстрелов, правда?

Адриан стряхнул нахлынувшую было снова сонную одурь и собрался с мыслями. Покачал головой. Вот чего бы ему не хотелось – по своей воле повторить ужасный момент сдачи в плен. Снова ожидать мучительно, убьёт тебя германец или помилует. Нет уж! Однако сказал о другом:

– Не стреляли на просёлке позади, ладно. Но вы хоть о том подумайте, почему у них штыки у всех примкнуты? Ведь даже те примкнули, которые, как дурачки, на шее винтовки носят.

– Как дурачки? Это «по-драгунски» называется... Да ладно уже, после этого привала такая хитрость у нас уже точно не проскочит.

И как в воду глядел. Потому что, никакого следующего привала немцы колонне пленных не позволили, наземь все дошедшие повалились только в конечном пункте марша, на железнодорожной станции. Но сначала выбрели на дорогу пошире и с деревьями, старыми каштанами, по бокам уже повыше, чем на просёлочной, подковки сапог, у кого ещё не оторвались, застучали по булыжнику, потом прошелестело по колонне: «Бург какой-то...» и «Не разобрать...». А там уже и Адриану явилось вдали, над головами передних, чудное видение: повис как бы в воздухе немецкий городок, складный такой, будто нарисованный: церкви на иноземный лад, со шпилями, дома в несколько этажей, какие кирпичные, а какие белые, оштукатуренные, но все под рыжими черепичными крышами. Однако до городка колонна не дошла, вокзал оказался ближе.

Конвоиры устроили пленным привал прямо на асфальте перрона, рядом с двупутной колеей, сами встали вокруг с винтовками наизготовку. Штатских немцев не было видно, кроме железнодорожных служащих. Вскоре и загудело вдалеке, застучали по рельсам колёса, а там и пузатый паровозик пропыхтел, протаскивая мимо перрона пустые с виду теплушки. Когда поезд остановился, немцы после минутной заминки принялись свистеть, объявляя тем самым посадку в две теплушки из трёх, прицепленных к паровозу. Адриан постарался не потерять Клима в суматохе, и они нацелились на один вагон. Стоя в очереди, Адриан отметил, что дощатые стенки теплушки сплошь записаны и размалёваны мелом, а когда присмотрелся к корявым рисункам на широкой сдвижной двери, матюгнулся про себя. Слева поднимает руки, сдаваясь в плен, укакавшийся бородач в русской военной фуражке, справа он же, повешенный на виселице, отрыгивает целой колбасой... Надо же!

Первым счастливым удалось захватить место на нарах (попытавшихся улечься спутники тотчас же заставили сесть), остальным пришлось усаживаться на пол. Наконец, дверь теплушки с лязгом задвинулась. Пленные замерли, ожидая, что вот-вот в очередной раз сработает замечательная немецкая любовь к порядку, и поезд немедленно отправится в путь. Однако время тянулось и тянулось, хваленый немецкий «орднунг» дал где-то сбой, и в теплушке поднялся ропот. Солдаты ворчали, что на станции не позволили им оправиться, а теперь неясно, замкнут ли конвоиры перед отправлением двери. Адриану тоже давно уже припекало по малому делу, однако не пожелал он ронять себя болтовней о

столь низменных материях. Зато спросил у «вольнопёра», сумел ли тот прочитать, чего там колбасники на вагоне-то понаписывали.

– Не всё, – помолчав, ответил «вольнопёр» вполголоса. – И не уверен, правильно ли я понял немецкого грамотея. Ну, что этот вагон для «русских трусишек», а над виселицей почему-то – «Вспомогательный звук». И вроде: «Останьтесь с нами!». Шутка юмора.

– Остряк поганый! Ничейной колбасы пожалел...

– Как оно там в Писании? «Нынче ваша воля, и власть тьмы». Зато я услышал название города и станции. Вартенбург это. Может пригодиться.

– Может, почему бы и нет, – тут Адриан и вовсе зашептал. – Машина прицеплена справа, поедем, стало быть, на север. А когда в лагерь нас гнали, то шли мы на юг. И чтобы это значило, господин вольноопределяющийся?

– Тогда ещё первая армия воевала севернее, вот нас и отводили в тыл. Теперь же пушки на севере замолчали. Значит, первая армия то ли отступила, то ли тоже разбита, а мы немцам нужнее сейчас внутри... В глубине то есть Прусской земли. Нашим с тобой планам, господин ротный фельдшер, такое едва ли на пользу.

Адриан кивнул, соглашаясь. Планы их насчёт побега были слишком расплывчаты, чтобы их сейчас обсуждать, да ещё и когда вокруг столько чужих ушей. Поезд всё не отправлялся, два окошка на двери, забранные стальными прутьями, пропускали в набитую битком теплушку слишком мало света. Настроение у Адриана падало – хотя, казалось бы, куда уж ниже ему падать? Это в прежней жизни любое начало пути обещало свежие впечатления, встречи с умными людьми – и новые знания в близком будущем...

Наконец, раздался мощный свист. Потом паровоз загудел, зашипел, теплушка дёрнулась, остановилась, лязгнув буферами, снова дёрнулась и продвинулась на сей раз уже подальше. Ещё один рывок, не кончаясь, перешёл в постоянное движение. Колеса всё быстрее застучали по рельсам. Выяснилось, что никто не слышал, как конвоиры возились с замком, и вскоре дверь была отодвинута беспрепятственно. Народ так ревно к ней подался, что кое-кого едва не вынесло наружу: поперечного бруса перед дверью, как в русских теплушках, тут почему-то не оказалось. Справив свои насущные дела, пленные приободрились.

III

Железнодорожное путешествие, начавшись с непонятной задержки, так и продолжалось – ни шатко, ни валко. Каждая остановка затягивалась надолго, и возле

каждого вагона до самого отправления маялись германские конвоиры, винтовки с по-прежнему примкнутыми штыками держа наготове. На одной из станций, название которой Адриан не успел прочитать, пятерым счастливым из вагона разрешили собрать фляжки и сбегать к водокачке. Уже темнело, когда к очередному полустанку подъехала полевая кухня, и каждому пленному досталась порция баланды.

Ночью сквозь полудрёму Адриан услышал, как поезд прибыл на станцию. И название чудное, Гордаун вроде, проникло ему в уши прежде, чем забылся снова. А когда проснулся на рассвете, трясаясь от холода, название станции всплыло в его сознании. Он снял со своей груди ногу вольготно раскинувшегося долговязого бородача, осторожно ступая, подобрался к окну и прильнул к одному из окошек. Так вот оно что! Снаружи клубился туман. Чтобы увидеть станцию и, если повезёт, город, он поднялся на цыпочки, но ничего, кроме тумана, не разглядел. Стало понятно, отчего так зябко в теплушке, хоть и должны были её за ночь нагреть тела полсотни мужиков.

Тут и заверещали невидимые германские свистки, пленный поднимая. Отсчитывая по десять человек, конвоиры сводили их в местный сортир, потом двери вагонов задвинули и, грозясь прикладами, запретили самим открывать. Ещё через час послышалась снаружи суматоха, дверь теплушки со скрежетом отъехала в сторону, и Адриан с Климом оказались в числе двух десятков русских, которым было приказано покинуть вагон. С вещами – значит, насовсем.

Туман рассасывался уже, нависал клочьями, когда колонну пленный, построенную по трое в ряд, конвой провел мимо двухэтажного вокзала, в розовый цвет покрашенного, приземистого, похожего чем-то на беременную бабу, и погнал прямой, будто по линейке проведенной улицей в направлении люторской церкви: её высокая квадратная башня краснела над черепичными крышами. Пустовато было на тротуарах, и уж точно ни одной молодки не встретилось, чтобы на ней отдохнуть глазам, изголодавшимся в исключительно мужском обществе. Но и до церкви не было суждено им дойти: пленный остановили на площади и построили в шеренгу по одному. Поставили спиной к памятнику, колонне с орлом сверху, его любознательный Адриан не успел рассмотреть, а лицом к линии двух- и трехэтажных щеголеватых и аккуратных каменных домов.

Под ближайшим таким зданием, в три этажа и с высоким остроугольным чердаком, переминалась с ноги на ногу шеренга гражданских, мужчин и женщин. Стояли эти немцы и немки неровно, выглядели не по-городски, да и одеты были вроде принарядившихся польских крестьян. При появлении колонны прекратили они между собой разговоры и теперь беззастенчиво тарасились на русских. Адриан же предпочёл обсмотреть здание: ведь не напрасно же поставлены были и пленный, и немцы подле именно его. Трёхэтажка,

на первом этаже вроде веранды, а слева в арке лестница вела на второй. Между первым и вторым этажами – короткая надпись на штукатурке.

– Слышь, Клим, а что на доме-то написано? – спросил Адриан громким шёпотом.

– Не разберу сразу, – ответил напарник ещё потише. – Но не ратуша, это уж точно. Хотя... Ну, конечно же, «Гостиница «Райх»». Всё этот их дурной готический шрифт...

Смешно и думать, что их поселят в гостинице. Однако сообразил Адриан, где могли бы пленные расположиться. Если стояла в городке войсковая часть, то её казармы сейчас свободны. Неужто доведётся снова поспать на койке, а не на голой земле?

Раздался стук подков по булыжнику, все немцы разом повернули головы направо. Это подъехала к гостинице щегольская лакированная пролётка, а с неё сошел упитанный господин в начищенных крагах, в котелке на голове. Толстяк-фельдфебель гаркнул своё «Ахтунг!». Гражданские, неизвестно зачем военным подражая, тоже вытянулись.

– Городской голова, небось, – шепнул «вольнопёр».

Начальник неспешно поднялся на три ступеньки по лестнице, повернулся к гражданским и начал выкрикивать. При этом несколько раз вскидывал руку, показывая налево от себя, от пленных же направо. И Адриан глянул в ту сторону – а там (батюшки-светы!) целая линия домов без крыш, дырами-окнами на площадь смотрящая, кое-где только трубы над стенами торчат.

– Спроси, фельшар, у товарища своего, чего лопочет? – это бородач справа от Адриана. А он подтолкнул локтем вольноопределяющегося.

– Да лает нас, что город порушили... Русских варваров чихвостит, в общем.

Теперь и Адриан понял, к чему эти без конца «руssiше» и «барбар». Вот только чем мы перед ним провинились, ведь это не мы, пехота, гвоздили по городку из пушек? А городской начальник уже закончил свою речь, но остался на месте, по-хозяйски оглядывая площадь, на которой тем временем образовалась реденькая цепь местных зевак. Фельдфебель же подозвал к себе крайнего в шеренге гражданских немецкого мужика и подвел его к пленным. Клим и Адриан, как ростом не шибко высокие, стояли ближе к левому флангу. Потому, когда немец проходил мимо них, он уже и не смотрел на пленных, а за ним плёлся русский солдат, человек-гора.

– Ни хрена себе! – выдохнул бородач, интересовавшийся содержанием речи городского головы. А ещё через минуту и его выдернул из строя коренастый краснощёкий немец в длинном пальто.

С изумлением наблюдал Адриан, как чёрно-серая толпа гражданских под гостиницей разбавляется русскими солдатами в грязно-зелёном обмундировании. Их с Климом всё никто не выбирал, и не понять было, к лучшему это или совсем плохо.

Но вот все селяне мужеского полу обзавелись своими пленными. Помедлив, толстый фельдфебель и деревенских немок подпустил к остаткам русской шеренги. Тут уж смешки пошли среди гражданских и конвойных, подшучивания, небось. А подле Адриана так резко запахло сладкой какой-то дрянью, что в носу запершило. Он скосился влево – а там чернявая немка средних лет заставила Климана открыть рот и пальцы туда суёт. Адриан отшатнулся. Немка же потянула «вольнопёра» к себе, а тот вдруг ухватил Адриана за локоть и, не отпуская, залопотал по-немецки. Немка ответила ему довольно визгливо, а там и фельдфебель подвалил, пролаял своё. Подбоченившись, немка и ему выдала, визгливо повторяя одно и то же. Наконец, фельдфебель важно наклонил голову и отвернулся от немки.

Когда же все пленные получили своих, надо думать, хозяев, их снова построили, теперь уже вперемешку, русских с немцами, и к ним обратился с речью фельдфебель. Он вещал бестолково, жевал одно и то же, и Адриан даже запомнил слова, которые толстяк выкрикивал чаще других, «флюхт» и «верботен». Из них понятно ему было только второе, означающее запрет, однако что именно запрещается? Оставалось надеяться, что по дороге Клима, с которым придётся теперь вдвоём коротать время плена, объяснит, о чём речь.

Вот замолчал, наконец, фельдфебель, принял стойку «смирно» и зачем-то козырнул. Потом нашёл взглядом своих солдат, гаркнул им распоряжение (или разрешение?) и направился к городскому начальнику. А пленных, перешедших в подчинение к немецкому мужичью, новые хозяева погнали, ворча и подталкивая, в угол площади, сплошь заставленный подводами. Адриан вдруг осознал, что не успевает осмыслить происходящего, со стороны наблюдает, словно не с ним это. И про памятник-колонну за оградкой забыл, хоть и появилась теперь возможность рассмотреть.

Тем временем визгливая немка подвела свою двуногую добычу к подводе с высокими дощатыми бортами, отвязала от столба с кольцами лошадь и, показав Адриану с Климом, чтобы забирались в кузов, сама села на облучок. На дне кузова нашлось немного соломы. Пока напарники устраивались поудобнее, успела телега проехать уже почти через весь город и оказалась подле завода с высокой толстой трубой – по вкусному запаху судя, пивоваренного. Дальше дорога, деревьями обсаженная, как тут водится, вела уже в поля.

– Мал городок, да богат. Везде кирпич и камень, – промолвил Адриан, оглядываясь на краснокирпичные двухэтажки, выглядывающие из желтой и оранжевой осенней листвы. – Даже пешеходные дорожки везде камнем выложены.

– Гердауэн называется, – буркнул напарник. – А здешние жители вообще богаты, не нашим лапотникам чета.

– Гер-да-уэн... Слушай, а чего там фельдфебель запрещал?

– А... – Клим поскущел. – Чтобы, мол, не вздумали сбегать с сельских работ. За бегство – «шизен». Расстрел! И что нас будут проверять по хуторам этим, на месте ли мы, субчики-голубчики.

– Ну, это вот, за что «шизен», не «шизен», успеем ещё обсудить...

Отложив важный этот разговор, Адриан с новым любопытством принялся оглядываться. Сам-то городок посреди лесов лежит, а дальше уже потянулись поля. Стерня сжатой пшеницы, и рядом несжатые полосы, полегшие после дождя. Хутора появлялись и исчезали на горизонте, одни вроде и не затронутые вовсе войной, а вот другие – чернеющие пожарищами. Так что война прокатилась и здесь, по уезду, не только уездный город повредила... Чего это она хочет, сварливая эта баба?

А немка-хозяйка, нос себе зажав левой рукой, правой показывала, весьма энергично, и непонятные, но обидные упрёки из себя извергая, чтобы убирались с подводы.

– Отпускает, что ли? – радостно изумился Адриан.

– Держи карман пошире! Велит, чтобы не воняли у неё под носом.

Адриан пожал плечами. Каурая упитанная лошадь, коротким хвостом помахивая, рысила ходко, и хоть держались пленные за зад тележного кузова, пришлось не так шагом поспешать, как подбегать. Не те были после голодовки у них силы, и Адриану почти тотчас же не до любопытства стало, а там и в глазах начало понемногу темнеть. Ещё через четверть час он осознал пустоту справа, на том месте, где висел на тележном ящике, ногами только перебирая, побледневший «вольнопёр». Оглянулся: Клим лежал на дороге неподвижно, под себя неловко ногу подложив. В тот момент пленённый ротный фельдшер снова в себе ощутил медика. Страхнув смертную усталость, гаркнул хрипло:

– Стой! Стой, тебе говорят!

Обернувшись с облучка немка, заверещала в ответ, но Адриан и вслушиваться не стал. Отцепился от тележного кузова и вернулся к товарищу. Отдышавшись, потрепал субтильного вольноопределяющегося по щекам и привёл в чувство. Потом помог ему взобраться на телегу, визгливые протесты немецкой бабы во внимание не принимая. Кончилось тем, что немка повела лошадь под уздцы, Адриан пошёл за телегой пешком, но уже шагом, а Клим, как барин, разлёгся на соломе. В этой новой диспозиции и свернула телега на просёлочную дорогу. Ещё четверть часа – и просёлок упёрся в кирпичный хутор, темнеющий посреди по-осеннему жёлтого сада. И не то, чтобы целы совсем постройки, но и от войны пострадали только частично. Впоследствии Адриан убедился, что с первого взгляда правильно оценил военные повреждения: разрушены были (возможно, что и одним-единственным снарядным взрывом) подвал и сарай, стоявшие рядком, а в самом

жилом доме только крыша с одной стороны оказалась не в порядке: сверху голые стропила, а книзу черепицы сгрудились в извилистой тесноте, напоминая спущенный женский чулок.

Вот и в усадьбу въехали, огороженную штакетником. Залаяла собака, овчарка. Лаяла беззлобно, подавая на всякий случай сигнал о появлении чужих: а вдруг хозяева не заметили? Сразу замолчала, когда старик, бедно одетый, погрозил ей пальцем и сказал негромко несколько слов. На пороге двухэтажного жилого дома стояла уже старушка в тёмном, на руках держала маленькую девочку в белом чепчике, возле неё стоял чистенько одетый мальчуган лет пяти-шести. Старик коротко переговорил, сняв шляпу, с хозяйкой, потом принялся распрягать лошадь. Клим довольно бодро выбрался из телеги и встал рядом с Адрианом. Мальчик, бросившийся было к матери, остановился на полпути. Разглядывая страшных русских, сунул палец в рот – и вдруг басовито заплакал. Девочка на руках у старушки залилась слезами за компанию. Немка-хозяйка принялась успокаивать детей.

– Старики – они ей кто? – спросил вдруг Клим вполголоса.

– Сам не пойму: батраки вроде. А не то родители? Тогда держат их тут в чёрном теле.

Адриан даже чуток рассердился на товарища, отвлекавшего его на второстепенные подробности. Ведь из головы не выпускал более лёгкую теперь, с хутора, возможность бежать, и сейчас лихорадочно пытался рассортировать всё увиденное и услышанное сегодня, определить в этой каше впечатлений действительно существенные: ведь они могут пригодиться для удачного побега. Куда их поставит немка на ночлег – вот что по-настоящему важно...

Долго ломать голову над этим не пришлось. Для спанья им отвели хлев. Пустой, а стойла в нём на шесть коров – для двух человек просторно, но это было чуть ли не единственное достоинство помещения. Воняло там понятно чем, зато, когда драили новые жильцы бетонный пол, грязная вода стекала с него наружу, во двор. Стало быть, хоть дожди не будут заливать это пристанище. Пришла овчарка, понюхала пленных и вильнула хвостом, как бы одобряя наведение в хлеву порядка.

– Ни дать людям отдохнуть с дороги, ни накормить, наконец, по-человечески... – зашипел Клим, когда Адриан, пыхтя, притащил в хлев очередное ведро воды.

Адриан только мрачно кивнул. Его сейчас куда больше возмущала необходимость зачерпывать грязным ведром воду из той самой бочки с дождевой водой, из которой им было дозволено напиться по приходе. Бочка стояла у стены под водосточной трубой, и уже когда опускали в неё котелки, навстречу им со дна поднималось облачко мути.

Пока не стемнело, русские продолжали возиться во дворе на пустой желудок. Единственно, что трудились для собственного благоустройства. Носили в бывший хлев прессованную солому, а потом под руководством старика вытаскивали из разбитого сарая обломки досок, вытягивали клещами гвозди и в другом сарае равняли на наковальне. Из бормотанья старика, расшифрованного Климом, явствовало, что из деревяшек им позволят завтра сколотить для себя лежаки.

Вечером валялись они в темноте на соломе и молча принюхивались к вкусным запахам ужина, из отворённой двери кухни волнами веющими по двору. Наконец, дождались. Двор пересекла старуха с горящим фонарём, в другой руке держала за длинную ручку кастрюльку. Не заходя в сарай, произнесла длинную фразу, «вольнопёром» переведенную коротко: «Давай, фельдшер, котелок!». Увы, это была всё та же похлёбка из брюквы, разве что немного погуще, чем в лагере.

Очнувшись на рассвете, Адриан не сразу сообразил, где он. Все кости ломило. Приоткрыл он двери и выполз на свежий воздух. Ожидал увидеть на страже давешнего старичка с каким-нибудь дробовиком и в том ошибся. Никакой охраны, ранним утром во всяком случае. Уже лучше. Однако напрасной была бы надежда прикорнуть ещё на часок другой – хutorяне поднялись по-крестьянски рано. Через двор метнулась старуха в белой ночной юбке под висевшим на ней мешком тёмным халатом. Глухо стукнула дверь – сортира для прислуги, не господского же. С другой стороны двора донеслись квакающие вроде звуки. Поскольку сортир всё едино занят, потащился Адриан посмотреть, что там квакает. Оказалось, что за углом старичок качает огромным железным рычагом воду из закрытого колодца, и это насос так квакает, а точнее если, то коротко рыдает и всхлипывает.

Завидев пленного, старый батрак прекратил нажимать на рычаг, позвал Адриана и приставил к насосу. Впрочем, ведра с водой потащил в дом сам, и навстречу ему донесся изнутри визгливый голос хозяйки, приглушенный стенами. Отдышавшись, Адриан удивился хозяину-немцу, терпевшему норовистую жёнку. Однако кто же знает? Быть может, и не терпел немец вовсе, а жили они так: с утра отвесил от души затрещину супруге – и полдня тишь да гладь...

После того, как жители хutora позавтракали, старик отвёл пленных разбирать развалины сарая, а сам устроился невдалеке и принялся из отобранных вчера обломков сбивать для них лежаки. Клим так рьяно принялся за работу, что Адриану пришлось его останавливать:

– Остынь! Чем быстрее здесь закончим, тем скорее новую работёнку подкинут – глядишь, и потяжелее.

Уж лучше бы ошибся он, право. И в самом деле, не успели пленные разобрать сарай, как старый немец уже показал им на руины погреба, пребывавшего в виде ещё более жалком. Наружные его кирпичные стены, за исключением задней, были разрушены, а яма, не облицованная кирпичом, обвалилась внутрь. На сей раз уже Климу пришлось удерживать товарища – столь усердно Адриан орудовал лопатой, раскапывая погреб! Ясное дело, что домочадцы визгливой хозяйки давно достали оттуда съестные припасы, до которых смогли добраться, однако Адриан никак не мог выбросить из головы сумасшедшую надежду найти и припрятать что-нибудь съестное для себя и Клим.

И ему повезло – удивительно, невероятно повезло! Старика как раз не случилось возле пленных, стучал молотком возле хлева, когда под хорошо наточенным лезвием лопаты мелькнул белый кругляш.

– Не подпускай к погребу! – прошипел, отбросил лопату, присел на корточки... За спиной уже клацали по кирпичным ступеням подковки на сапогах «вольнопёра». Тот, видно, сперва подрастерялся, замешкался, а потом бросился выполнять распоряжение.

Кругляш оказался покрытой грязью верхушкой круглой сырной головки. В подвале тотчас же запахло – вкусно, съестным! Не был Адриан никогда любителем сыра, а сейчас у него слюнки потекли... Не прошло и минуты, как он откопал и всю головку – фунта два, не меньше. Времени на долгие раздумья не было, успел, однако, сообразить, что острый запах не позволит спрятать сыр в хлеву. Скрипнув зубами, вернул отрезанное на место и аккуратно заделал кругляш в земляную стену.

– Тильзитером повеяло, ну, сыром здешним – или я уже с ума схожу? – громким шепотом спросил сверху Клим.

Адриан повернулся к нему и прижал палец к губам. Потом присел на корточки, закрывая спиной пятно свежей земли на стене подвала и постарался отдышаться. Сам крестьянского воспитания, он прекрасно понимал, что обитатели усадьбы пересчитывали сыры, укладывая их на полку подвала, равно как и вытаскивая их после бомбардировки. Теперь, стало быть, пристанут, требуя недостающий. Однако где наша не пропадала! Он был уверен, что на здешнем рационе все мечты о побеге останутся только мечтами. Но если бы удалось прихватить с собою сыр...

До самой кормёжки мечты о побеге перебивались у Адриана надеждами насчёт большой основательности питания на хуторе, а после разочаровавшего в этом разрезе обеда (хлёбово оказалось не сытнее, чем вчера) мозги пленных заняло такое важнейшее событие, как помывка, обещанная им хуторянами. Как только хозяева и батраки поели, в хлев заявился старый батрак и давай распоряжаться. Климу пришлось конопатить старое деревянное корыто, Адриан же выкачал три ведра воды и заполнил выварку белой жести,

поставленную на остывающую печь в летней кухне. Уже опускались сумерки, когда по команде старика принесли они выварку под хлев, брякнули на цементированный сток, рядом с корытом, и выслушали речь новоявленного начальника – Клим, стоя навытяжку, Адриан в положении «вольно».

Ушёл старый батрак, и Адриан спросил небрежно:

– И чего же хотел старинушка?

– Вот этот кипяток даётся нам для мытья. На двоих. И ещё Гюнтер предупредил, чтобы использованную воду не выливали, а замочили в ней свою одежду. Надо же... Завтра будем сами стирать.

– Мы? Когда две бабы в доме? Ладно... А как его бабу зовут, старуху? Инга? Ну, ладно... И как они на хуторе без бани-то живут? Ведь незаметно, чтобы была у них, да снарядом разбило...

Клим пожал плечами.

– Бань у них не водится. Будто и сам не знаешь? Мне рассказывали, как у нас в России банятся немцы-колонисты. Тоже дома кирпичные, крыши из оцинкованного железа, а моются по-дурному. Одно корыто, в нём сперва детей купают, потом мужики моются, потом бабы, а в остаточной воде тоже замачивают бельё. Но у тех хотя бы вода мыльная...

– Мыла-то у меня кусочек найдётся, – нехотя пообещал Адриан. И вдруг рассмеялся невесело. – А робёнком-то из нас кто будет? Кого первым будем в корыто сажать?

Сошлись на том, что мыться будут по очереди, каждый в своей половинной доле воды, а кому первому заливать корыто, решили, бросив жребий. Учítывая, что к вечеру похолодало, да и вода быстро остывала, купанье оказалось не столь приятным, как представлялось. Адриан к тому же, вытащив короткую щепочку, мылся вторым. Потом пришлось, кроме серого заношенного белья, замочить невероятно грязные гимнастёрки и шаровары. У Климa, в отличие от военфельдшера, пустившего в лагере запасное своё бельишко на перевязки, нашлось хоть чего натянуть под шинель. Адриану оставалось только, стуча зубами и обдирая и без того зудящее тело жёстким шинельным сукном, поглубже зарываться в солому. Однако, едва согрелся достаточно, чтобы завести разговор, тотчас и спросил, не допрашивал ли старичок о пропавшей в подвале головке сыра?

– Да нет, молчал пока. А почему ты думаешь, что спросит?

Адриан объяснил. Клим – поскучевшим голосом:

– По-твоему, нам так его и не съесть? Оставить там, где ты нашёл?

Кто мог бы их здесь подслушать? А если и подслушает кто из хуторян, разве что-нибудь поймёт? Но Адриан невольно понизил голос:

– Съедем, а то как же! Да только надо придержать, пока на побег не решимся. Ждать нельзя. Побег нельзя откладывать, говорю.

Клим так долго молчал, что заставил Адриана сомневаться, уж не задремал ли его товарищ. И у него самого уже начинала вертеться перед глазами всякая чушь, когда вдруг услышал:

– А оно надо ли – бежать?

– Как можно не бежать? – с Адриана вся дремота слетела. – Ты, что же, загнуться здесь хочешь?

– Вот сразу – загнуться...

– На нашем рационе мы работаем пока, да и жить продолжаем, потому только, что расходует питательные вещества, запасённые ещё в армии, до плена. Это ежели по медицинской науке. Ещё пару дней промедлим – и бежать не будет смысла, сил не хватит. Тогда уже точно не стоит и рыпаться.

– Можно и не бежать.

Адриан покачал головой, хоть и знал, что собеседник его не видит. Заговорил убеждённо, потому что много раз уже продумал сказанное и даже, на пальцах, правда, просчитал:

– Напрасно, что ли, мы так исхудали? А это наш организм, извне пищи не получая, начал рассасывать сначала подкожные жиры, а потом и мышцы. Пока хоть какие-то малые силы остались, надо бежать, Клим. Да и то подумать, выживем ли мы на кипяченой водичке с брюквой в хлеву зимой. Не коровы же мы с тобою, право.

– Будто сам не знаешь, что русские крестьяне, как наступят трескучие морозы, и скотину в избу пускают. А для наших лежачков найдется место хоть бы и в батрацком флигеле, у старого Гюнтера и этой, как её, Леони.

Крякнул Адриан, однако промолчал. Возможно, господин вольноопределяющийся и не хотел его, крестьянина, обидеть. Тот продолжил уже задиристо:

– А главное, забыл ты, друг мой, про «шизен». Оно тебе надо, чтобы немцы поймали тебя и расстреляли за побег, как унтер грозил, помнишь?

– Вот дед придёт, в мешке унесёт? Так, что ли? Тогда пусть поймают сначала. Когда хуторские увидят, что мы сбежали, им ещё надо отправить телегой донос в город, что нас нет. Из города, дело ясное, германские солдаты не начнут нас искать, приедут для того на хутор. А мы уже далеко уйдём. К тому ж придумал я одну штуку...

И тут прикусил язык Адриан. Потому что вдруг сообразил: опасно раскрывать все планы «вольнопёру», коль ясно становится, что не горит тот желанием рвать когти из хутора. А вдруг, драгоценную свою персону спасая, выдаст тебя немцам?

– Какую такую штуку? Чего стоит твоя штука против немецкого «орднунга»? Я и сам не пойду, и тебе решительно не советую. Благодарю Бога, что хоть из лагеря выбрались.

– Ладно. Вольному воля, как говорится... А не боишься ли остаться, если я в одиночку сбегу?

– Не боюсь, – отрубил Клим.

Адриан снова крикнул. Отказ Клима вначале смутил его, а потом, надо признаться, вызвал и чувство облегчения. Не забыл он, как «вольнопёр» скис на пути из городка на хутор, а тащить слабого товарища на себе – что в том хорошего? Да и дело предстояло опасное, а в таком случае лучше, как полагал он, отвечать за себя только. Ну, вдруг поймут их обоих, вместе... Допустим, не расстреляют колбасники, а определят куда-нибудь в штрафники. Каково тогда будет выслушивать попреки Клима или ловить одни только укоризненные взгляды? Упрёк упрёку рознь, конечно, и правильно говорится, что брань на ворота не виснет, но... Если сам понимаешь, если совесть твоя подсказывает, что упрёк справедлив, наказание ещё горше переноситься будет. Немного саднила у него совесть: план ведь сложился у него в голове, когда собрал он в одну картинку, будто из детских кубиков, всё, что услышал некогда Клим в штабе дивизии в последние дни наступления и о чём рассказывал в лагере, пытаясь заполнить пустоту лагерного существования.

Сейчас Клим молчал. Адриан заново обдумывал свое положение, притом не забывая и себя похваливать: вот, не болтает ведь лишнего. Мысли его отрулили постепенно от трудностей побега, вспомнилось, как на него несправедливо накричал старший врач Широков, и он принялся прикидывать, удалось ли этому трусу в офицерском звании не угодить тогда в плен к немцам.

IV

Угрелся Адриан под шинелью, бритая рожа старшего врача Широкова расплылась перед ним в ширину, а усы закрутились, как стебли у вьюнка. И выглядывал он теперь уже не из полковой санитарной двуколки, а из зарослей огромных сказочных цветов, словно Бова Королевич на пожелтевшей лубочной картинке... Что?

А это Клим вдруг заговорил. И такое понёс, что Адриан тотчас же и забыл свой начавший уже завязываться затейливый сон. Мелькнула было у него догадка, будто товарищ по германскому плену грезит наяву, однако почти сразу же решил отложить её до диагноза посерьёзней.

– ...а потому, друг мой, что я надежду большую имею на Лизу... Ах, да, ты без понятия, небось, что нашу хозяйку Лизхен зовут.

– А как собаку кличут? – невпопад, наверное, отозвался Адриан.

Клим хмыкнул.

– Удо овчарку кличут. Это пёс, если ты не приметил. Так вот, не знаю, засёк ты это или нет, однако Лизанька на меня глаз положила ещё на площади. Ты уж мне поверь! Она меня в обиду унтеру не даст, так что уходи спокойно, фельдшер. Я так думаю, что и сыр весь себе заberi в дорогу. Я тут от голода не пропаду...

– Гм. Спасибо, конечно. Однако... В таких... с бабами, то бишь... делах уверенность нужна.

Если правду сказать, то именно в таких вот делах ротный фельдшер Лаптев, полных двадцати двух лет, чересчур скверно разбирался, так что не ему бы давать советы. Коль не считать полудетской влюблённости вприглядку в деревенскую красотку Фёклу Ефимову с фигурой, похожей на гитару, весь кавалерский опыт его ограничивался неудачными попытками приволокнуться за белошвейками-полячками в увольнительные, а также позорным, следует признаться, посещением борделя на Краковской в той же Ломже. Позорным не с моральной или христианской точки зрения (у медика, тем более военного, вырабатывается особая мораль), а по итогам похода, о чём и вспоминать не хочется. Впрочем, он вовсе не думал, что на любовном фронте всё для него потеряно. Хоть и с некоторой горчинкой, Адриан положительно оценивал свою внешность и не без основания полагал, что в русской компании, общаясь с противоположным полом, сумел бы нейтрализовать её недостатки занимательным и в меру учёным разговором...

– ...это ты, друг мой, напрасно. После двух таких пламенных с её стороны взглядов как же мне было не занять уверенности? Ведь Лизхен уже втрескалась в меня на полную катушку, влюблена, как кошка! Прямо тогда, на площади в Гердауэне этом, тотчас же, как увидела, так и втрескалась. Ты помнишь, как она у меня зубы проверяла? А знаешь ли, почему?

– Видать, и у колбасников таков обычай при лошадиных покупках, – буркнул Адриан.

– И вовсе нет! Я уже потом смекнул, что у мужа её изо рта скверный запах, и Лизхен, когда я ей лицом уже приглянулся, решила проверить, как у меня с этим дело обстоит. У тебя-то ведь зубы не проверяла!

Крякнул Адриан. А ведь не проверяла у него зубы эта чернявая стерва, точно! И слава богу, что не совала грязных своих пальцев ему в рот. Ведь неизвестно, мыла ли она с утра руки. И чистит ли сама зубы, а вот Адриан на свободе чистил их каждый день. Согласно последним требованиям медицинской науки! Зубным порошком Маевского чистил, и под счёт про себя. Как досчитает до двухсот пятидесяти, так щётку изо рта долой, и переходим к полосканию... Эх, были же времена! И после еды всегда полоскал рот, как отца Павлина когда-то в семинарии учили, а он такое правило для учеников своих усть-вожских установил.

– ...пачулями надушилась. Ты, я ещё заметил, нос воротил. А зачем надушилась? Скажешь, для того, чтобы вони от пленных русских не слышать? Не настолько же наша немочка умна и предусмотрительна. Не станем же мы ей приписывать, чего у неё нет, правда? Лизхен заранее замыслила, что выберет себе из пленных любовничка, вот почему надушилась. Понял теперь, друг мой?

Кивнул оторопело Адриан в темноте и тут же вслух согласился: да, понял, дескать. Поскольку в женской тактике насчет употребления духов он разбирался примерно так же, как в японской чайной церемонии, приходилось положиться на мнение товарища. Тут встрепенулся Адриан.

– Послушай, Клим, ты же сам что-то брякнул о муже хозяйки. Вот вернётся немец... Не подложит ли своим мужем эта твоя Лиза тебе свинью?

– Волков бояться – в лес не ходить... Есть такая опасность, есть. Да только Франц её солдатом служит, в армию его забрали перед самой войной, когда у них тоже мобилизация была. Где-то далеко служит, я пока не понял, где... У них и во время войны солдат отпускают домой на неделю-другую, но этого так скоро не отпустят. Ничего, я уж как-нибудь выкручусь, Клим. Можно, например, стариков, Гюнтера и его старуху, Леони задобрить, чтобы не донесли. Вряд ли они своего хозяина так уж сильно любят.

Адриан хотел спросить, а есть ли у батраков резоны так уж сильно любить хозяйку, чтобы скрывать её шашни от мужа-фронтовика? Хотел спросить, но удержался. Он прекрасно помнил, как в предобеденное время чернявая стерва визгливо отчитывала старуху, однако понимал, что не имеет достаточных оснований судить об отношениях между жителями хутора. Буркнул, что Клим совершенно напрасно торопится с этим, гонит лошадей... Что можно узнать о людях за два неполных дня – даже если с пятого на

десятое разуместь их язык, как Клим немецкий? А кстати, Клим ведь заглядывал в господский дом, как оно там, у немцев, внутри?

– Да меня на минутку только Лизхен впустила... Господский? Внутри скорее, как у наших мещан среднего достатка. Керосиновая лампа в люстре, шкаф с посудой... Ручка на двери бронзовая, фигурная. Что изумило, так это скамья под стеной – точно такая, как в русских избах, ножки только точёные. А тебе к чему их обстановка, Адриан?

– Любопытно мне, не было ли там на стене карты этой самой Пруссии. Это раз.

– Карты? Понял... – и тихий смех «вольнопёра» прошелестел. – Вот только к чему той же Лизхен карта? Да припомни хотя бы – видал ли ты карты в избах наших мужиков?

– А вдруг? Европа всё же... А второе мое соображение вот какое. Если обстановка мебели у них европейская, культурная, стало быть, тогда ожидать следует, что и нравы культуре соответствуют. Мягкие то есть, человеколюбивые. Представь себе только, как с тобой обошёлся бы дикий обитатель Кокандского ханства, если бы ты, пленник, вздумал приударить за его женой.

Теперь Клим промолчал – а что мог он тут сказать? Адриан же решал, задавать ли следующий вопрос. Ведь не о чём-то серьёзном хотел спросить, руководствовался больше пустым любопытством. Эх, где наша не пропадала! И – с полным к товарищу уважением:

– Ладно, её, Лизу эту, я ещё понимаю. Ты, Клим, парень видный, можешь понравиться женщине. А вот твой интерес в сей истории – загадка для меня. Неужели эта визгливая и, ты уж прости меня, невзрачная немка тебя зацепила? Ещё раз прости, быть может, это я к ней толком не присмотрелся...

Клим снова зашелестел смехом. Насколько и вправду было «вольнопёру» весело, в темноте не рассмотреть.

– Ах, друг мой, эта уж твоя врождённая деликатность! Иногда ты напоминаешь мне мою тётушку Наталью Семёновну, старую деву, та с мужским устройством если и знакома, то по анатомическому атласу только. Почему ж не спрашиваешь ты прямо, в лоб, что я нашел в этой безобразной и крикливой бабе? В этой старухе – ведь Лизанька чуть ли не в два раза меня старше?

– Хороши шутки...

– А как ещё иначе относиться к таким вещам, друг мой? Признаюсь тебе, как на духу, что не испытываю к Лизхен ничего, кроме специфического любопытства. Так уж вышло, что именно немку мне раньше не доводилось... того, оприходовать. А доводилось слышать об их любовных забавах нечто завлекательное. Как и тебе, небось. Европа! Что же касается Лизиного безобразия, то зададимся вопросом, почему тогда именно её выбрал в жёны этот самый Франц и сделал её матерью своих законных детей?

– Хутор в приданое получил, вот почему, – буркнул Адриан. Сам он предпочёл бы поговорить о любопытстве к женщине-иностранке. Быть может, именно поэтому он выбрал в борделе полячку Мими, хоть ему и казалось тогда, что руководствуется иным, глупым резонном: перед иноземкой будет не так стыдно.

– А хоть бы и хутор! Но очень может быть, что вместе с хутором досталось ему в Лизхен нечто, что мы оценить не можем, пока сами не попробовали.

– Нет, уж меня ты уволь! – хохотнул Адриан. Ему на мгновение показалось, будто он в казарме и, против обыкновения, вмешался в вечерний матерный трёп о бабах.

– Уволью, пожалуй, хоть и не ревнив... Так вот, вполне возможно, что для трудяги Франца по ночам его крикливая и некрасивая жёнушка оборачивалась сказочной принцессой. И это тот случай, когда я могу дать такому чуду научное объяснение. Жаль, что не вижу, друг мой, какую ты сейчас скорчил рожу! Ведь это ты на науку прям молишься. Но и я не всегда лаптём щи хлебаю, кое-что и я из учёного чтива штудировал, то есть мне интересное.

– Ну, ну...

– Извини, если что по-своему переиначу... В общем, у наших предков все бабы были уродливы, да ещё и шерстью везде покрыты. Вот тогда и возник обычай совокупляться по ночам, в темноте. Мужик вместо лица своей бабы видел только смутное пятно, а благодетельная природа, желая его наградить за труд по производству детей, насылала в его воображение прекрасные иллюзии. Вот мужик и воображал на месте расплывчатого пятна лицо самой прекрасной женщины, которую он когда-нибудь видел. Этак вот примерно.

– Гм.

– А ещё об этих некрасивых бабах Достоевский здорово написал... Вот не знаю, доводилось ли тебе читать этого писателя, Достоевского?

– Доводилось, Клим.

– Ага, а это в романе «Братья Карамазовы». Читал?

– Нет, этого не читал.

Вообще-то у скандально знаменитого писателя Достоевского Адриан только с одной вещью познакомился, и то не роман вовсе был, а рассказ «Скверный анекдот». Не имел военный фельдшер времени на толстые книги: ведь мог только заглянуть на пару часов в читальню благотворительной библиотеки в Ломже, где солдатам книги на вынос не доверяют. Там и попросил у чудаковатого библиотекаря что-нибудь из Достоевского покороче, и получил потрёпанную книжку или, как с почтением высказался бородатый молодой человек, третий том из полного собрания сочинений в двенадцати томах.

Приложение к журналу «Нива», кажется. Тёмно-красная книга с вытесненным портретом писателя на переплёте, а в ней повести и рассказы. Сам уже выбрал по признаку краткости «Скверный анекдот», ожидая к тому же в нём чтение лёгкое и забавное – и был потрясён смелостью, с которой автор, уже наказанный каторгой, но не покоровшийся, обличал пороки и высокого начальства, и маленьких людей.

– Я тоже, правду сказать, от начала и до конца не осилил – большая, уж очень длинная книга! Но, когда в одном разговоре услышал, нашёл это место... Сказано по поводу хромоножки или босоножки деревенской, и говорит помещик – отчаянно противный, надо сказать, старикашка! И вот что он говорил, пьяненький, ручки потирая и гадостно хихикая: в любой мерзейшей бабе надо уметь найти что-нибудь интересенькое, в ней затаившееся, а тогда и ты своё удовольствие сможешь получить. Каково, а?

– Это он, старикашка, о себе, небось...

– А по мне, его слова в одну мишень бьют с научным пониманием дела. И заметь, Лизхен тебе не хромоножка какая-нибудь.

На этом непроверяемом соображении прыткого, как оказалось, мыслями вольноопределяющегося они пошабалили. Дружно отключились, и Адриан очнулся только на рассвете, обнаружив, что во сне выкатился голым из-под своей шинели. Славно поклацал зубами, пока согрелся, так что если и приснилось ему что-нибудь игривое, удивительными рассуждениями Клина вызванное, то не вспомнилось холодным утром.

Тем более, что пришлось натянуть на себя казённое тряпье полусырым, и досушивать на своём теле. А голову занимать планом побега. Коль решил уже не обсуждать его с непредсказуемым Климом, то следовало в обдумывании положиться только на самого себя. В этом новом умственном положении находил Адриан и кое-что решительно приятное своей новизной. Ведь чуть ли не впервые в жизни он должен был сделать осознанный выбор – и судьбоносный выбор, на самом деле, без дураков. Теперь от него только зависело дальнейшее течение его жизни. А в то же время эта умственная новизна и пугала несколько: а если самостоятельное решение, да ещё принятое, как в присяге сказано, «по совести своей», окажется неправильным? Однако приходилось рискнуть.

Весь день Адриан провёл как бы в полуобморочном состоянии или в лёгком подпитии. Натыкался на стволы старых яблонь во дворе, цеплялся плечами за углы построек. Всё продумывал свой план, и главный вопрос был: можно ли доверять сведениям о положении на фронтах, подслушанным пленными от немецких солдат? Сведениям двухнедельной давности? И если ещё вчера его остро интересовали иноземные обитатели хутора, их обычаи, быт и нравы, то в тот день он воспринимал этих немецких

баб и старика, детей и собаку как уже оставшихся позади на его жизненном пути. И даже Клим вызывал теперь у него похожее чувство. Вот если бы не ночной разговор... Но теперь он уже чувствовал себя бесповоротно отделённым от мечтателя-«вольнопёра». Хотя и стыдился этого, правду сказать.

Днём вдруг неожиданно похолодало – ещё и поэтому необходимо бежать! Адриан, укрываясь от пронизывающего ветра, накинул шинель. Он поставил уже ногу на первую кирпичную ступеньку в погреб, когда почувствовал лёгкое прикосновение к спине. Если бы спустился ниже, подумал бы, что это пёс Удо ткнулся чутким носом... Оглянулся. Там стояла Лизхен и как раз отдёргивала свой тонкий палец. Адриан мгновенно вспомнил всё, что говорилось о ней ночью, и почувствовал, как краска стыда заливает ему лицо и шею. Глаза немки от удивления расширились, она по обыкновению визгливо выкрикнула несколько слов.

– Что там нашей хозяйке не по нраву? – не поворачивая к товарищу головы, осведомился Адриан.

– Да шинелька у тебя грязная, в засохшей крови. Велит постирать.

– Скажи ей, что это кровь подпоручика Пыпина, я его вытащил с поля боя к санитарному фургону. И что шинели не стирают, а я свою потом почищу.

Запинаясь, обратился Клим к немке, но о подпоручике Пыпине не перевёл. А у Адриана, с прохладцей орудовавшего лопатой, перед глазами стояло лицо Лизхен. Белое, несмотря на крестьянские занятия, и, как ему показалось, с тонкой нежной кожей. И уж, во всяком случае, не безобразное – откуда он это взял? Наверху хозяйка хутора хмыкнула и пошлёпала по своим делам. Андриану же пришло в голову, что уходить надо будет в тайне не только от неё, но и от Клим. Дождаться, пока он заснёт – и только тогда уж...

Собираться не нужно, всё имущество Адриана лежало в «сидоре». В мыслях о побеге время пролетело стрелой, и даже похлёбку из брюквы он проглотил, не чувствуя вкуса – ещё вчера такое было бы невозможно. Странно, но и Клим вёл себя необычно: помалкивал, думал о своём, отвечал невпопад... Котелки и ложки они помыли, когда уже почти совсем стемнело. Не только пленные, но и хозяева улеглись спать с курами: на хуторе сэкономили керосин.

Неизвестно, спала ли хозяйка, заснули ли её батраки, но пленные уж точно не наслаждались сном. Адриан лежал себе тихонько и обижался лениво на невезение: в кои-то веки получил нарочитое место для спанья, да только не судьба попользоваться. Опять пойдут ночёвки на голой земле. И вдруг догадался он, что и Клим только притворяется спящим. Неужели тоже дожидается, пока товарищ заснёт? И тут «вольнопёр» вздохнул и

зашуршал соломой, поднимаясь с лежака. В темноте намотал портянки, натянул сапоги. Мелькнул светлый прямоугольник двери, дважды скрипнуло.

Адриан подождал немного, поднялся, босиком по холодному цементному полу подкрался к двери. Вскоре от хозяйского дома донеслись звуки тихой возни, а в ней прорезалось бормотанье товарища. Происходило уговаривание бабы, необходимая составная часть, как это понял он ещё из ночных солдатских распотякиваний в казарме, взрослой мужской игры. Вот только зачем же уговаривать, если бабы, как говорите, и сами хотят, аж писают? Уже обутый и в шинели, Адриан услышал, наконец, как тихо стукнула входная дверь. Надо полагать, Лизхен решила продолжить беседу в доме.

Пришлось подождать для верности. Во дворе стояла сельская ночная тишина, только ветер шумел изредка листвой. Адриан, с «сидором» за спиной, выбрался из хлева, подтягивая дверь кверху, чтобы несмазанные петли не выдали. Осторожно переставляя ноги, добрался до погреба, в полной уже темноте нашёл на земляной стене место, куда вчера вернул головку сыра, и руками откопал. Как раз развязывал «сидор», чтобы спрятать добычу, когда над ступеньками возникла невысокая тень. Ребёнок? Нет, собака. Немецкая овчарка Удо.

Почти полная луна как раз вышла из-за облака, и глаза пса засветились. Молчал пока Удо, и то хорошо. Не торопясь, глядя псине в глаза, Адриан отделил от головки горбушку, отрезанную лопатой, разломал и протянул половинку. Удо не сразу, а после некоторого размышления взял-таки подачку в зубы и, улегшись у входа и по-прежнему перекрывая пленному проход, принялся, держа в передних лапах, уписывать. Адриан тем временем спрятал головку сыра в «сидор».

– Удо – умная собачка, – зашептал ласково. – Удо, что тебе сказала Лизхен? «Вот, она сказала, эти руссишен будут жить у нас. Сторожи их, как и нас сторожишь». Ведь так она сказала, Лизхен? Разве мы не свои на хуторе? Разве не спим здесь? Не работаем, не получаем еду? Мне разрешено ходить, куда я хочу. Как и тебе ночью, понял, Удо? Как и старикам-батракам, вот. Я как Гюнтер и Инга, понял, умник?

Дошептал беглец, в душе перекрестился. Поднялся по ступенькам и осторожно обошёл пса. Тот, кажется, только покосился. Однако тут же рыкнул негромко. И поди знай, что сказал Удо на своём собачьем языке? То ли: «Иди уж, куда собрался». То ли: «Вот прикончу твою подачку, догоню тебя и верну туда, где тебе ночью быть положено». Хорошо бы, если: «Сам же дал, так не вздумай отбирать!»

Как почти всякий деревенский, Адриан не боялся собак и был убеждён, что хорошо их понимает. Поэтому, выйдя за изгородь усадьбы, он надал по дороге со всей скоростью, на которую был тогда способен. Чем дальше от хутора, тем дальше от тех

мест, где Удо считает себя не только сторожем, но и хозяином собачьего пространства – и тем с меньшей уверенностью будет действовать, если всё-таки решится догнать. И надо поскорее выйти за пределы полей, принадлежащих Лизхен, ведь и их Удо может считать за собой, если мышкует в окрестностях хутора или охотится на кроликов.

Успел запыхаться, прежде чем убедился, что ушёл достаточно далеко, и уж точно клыкастый взяточник не появится за спиной. Смешно ему стало, что последнюю нить зависимости от чужих людей он порвал, когда избавился от страха перед их собакой. Теперь командир и даже главнокомандующий над самим собой принялся исполнять выстроенный на хуторе, в тайне даже от «вольнопёра» Клим, план бегства. Стоило вспомнить об оставленном среди немцев товарище, как защемило сердце. Посмеялся Адриан над собой, ведь в данный момент Климу, в объятиях загадочной Лизхен избывающему тяготы голодного воздержания, можно только позавидовать. Постарался выбросить Клима из головы, потому что впереди зашумели не опавшей ещё листвой вереницы деревьев (как припомнилось, буков), высаженных вдоль шоссе, и надо было в последний раз, на местности уже, определиться, в какую сторону повернуть.

По плану побега должен был беглец повернуть налево, в сторону Гердауэна, но уже на шоссе вдруг решил на всякий случай пройти в обратную сторону, чтобы запутать возможную погоню. Поэтому он прошагал по шоссе порядочно направо, в противоположном от городка направлении, а затем спустился в придорожную канаву с водой на дне, чтобы уже по ней возвратиться и какое-то время продвигаться к Гердауэну. Жаль было терять драгоценное время, не верилось в скорую погоню, однако предпочёл перестраховаться. И не напрасно, как оказалось. Не успел он и нескольких верст одолеть по канаве в сторону городка, как услышал далёкий собачий лай, а с просёлочной дороги, что вела к хутору, мигнул огонёк.

Адриан оторопел. Опомнившись, выбрался из канавы и побежал в поле. Спрятаться было негде, и он лёг на стерню, надеясь, что останется незамеченным. А на просёлке уже скрипели колёса телеги, оттуда доносился визгливый голос Лизхен – а он-то надеялся больше никогда в жизни его не услышать! На выезде к шоссе телега остановилась. Видно, будут спускать пса, чтобы искал след. Он присмотрелся. Хозяйка сидела на козлах, старик держал ружьё наготове, а Клима был с фонарём. Значит, не ошибся Адриан: это его неясное бормотанье он слышал. Хорош, однако, товарищ!

Удо залаял, и фонарь начал отдаляться. Адриан решил не двигаться пока с места. Через четверть часа телега вернулась. Беглец думал, что хуторские возвратятся на просёлочную дорогу, однако телега проехала поворот и покатила по шоссе в Гердауэн. Преследователи проехали достаточно близко, и Адриан разглядел сгорбившегося Клима,

старого Гюнтера, державшего дробовик, словно на белку охотился, и расслышал, как ругается Лизхен. «Вот для того, чтобы больше не слышать твоего “руссише швайн”, – подумал Адриан, дрожа от холода, – я и убежал от тебя, сельская мадам!» Конечно же, Лизхен едет в город, чтобы доложить начальству о бегстве русского пленного и неудачной попытке поймать его по горячим следам. Стало ясно, что, планируя побег, он недооценил ответственность за пленных, взятую на себя законопослушной немкой, и переоценил – увы! – кавалерскую неотразимость Клима. О том, как он сам поступил бы на месте «вольнопёра», Адриан решил поразмыслить когда-нибудь попозже.

Кряхтя по-стариковски и чертыхаясь, поднялся беглец с холодной земли, перебрёл канаву, выбрался на шоссе и, пытаясь согреться, споро заковылял вслед за телегой, огонёк фонаря на которой успел затеряться вдали. Ему просто ничего другого не оставалось, как продолжать выполнять свою задумку. Она состояла в том, чтобы бежать не на юг, а на восток и выйти к позициям Первой армии, которой командует генерал с длинной немецкой фамилией, а не в Польшу, куда откатились остатки Второй армии. А добираться он решил железной дорогой, перехватив товарный поезд за Гердауэном, на подъёме каком-нибудь, где машинист вынужден будет уменьшить скорость.

Стустилась уже особая, предрассветная темень, когда на горизонте возник тёмный силуэт городка с немногими освещёнными окнами. Адриан, едва поднимая ноги от усталости, свернул на первый же идущий вправо просёлочек и завертел головой, высматривая местечко, где можно будет укрыться до новой темноты: ведь понимал, что при дневном свете к железке лучше и не соваться. Слава богу, с востока Гердауэн окружают леса, и беглец сумел найти подальше от опушки ложбину, полузасыпанную палыми листьями. Вот когда пригодилась бы походная палатка, сгинувшая в лагере для военнопленных! За отсутствием её Адриан улёгся прямо на землю как был, в шинели, а сверху набросал на себя, сколько удалось, палых листьев и хвороста. Когда рассвело, он попытался усовершенствовать свою маскировку, а затем, утомлённый дальним переходом, как-то незаметно забылся сном.

Разбудил его выстрел. Потом услышал Адриан звонкий собачий лай, а затем снова бахнуло. Уже полностью проснувшись, распознал он по короткому, отрывистому звуку, что стреляли не из винтовки, а из охотничьего ружья. Уже легче... Вспомнил Адриан виденную в Ломже рекламу немецких охотничьих ружей, знаменитой компании «Sauer», а на ней красномордого мужика в шляпе с пером и в зелёном кафтане – и с собакой, понятно: не может такой истребитель ворон и кроликов обойтись без клятой собаки. Вот и он, этот пёс, уже здесь рядом! Маленький, дворняжка, небось, носом и лапами, ворча, узорные дубовые листья разгребает... Вот что важно: успел ли немец перезарядить свою

двустволку? Если она шомпольная, есть ещё шанс... Юркий нос пса уже рядом листьями шебуршит. Показалось, что в нескольких вершках от головы Адриана, не далее. Охотник, неуклюже топоча, приблизился к лощине. Теперь не слышно его шагов, остановился, стало быть.

– Фауст! Фауст! Фу! – и добавил «асс» какой-то, а потом вроде «Сушись!».

Пёсик взвизгнул, зарычал недовольно и убежал. Адриан перевёл дух. Что-то здесь не так!

V

В те годы не знал ещё Лаптев таких слов, как «символ» или «символика», однако надолго задумался, когда немец-охотник отозвал собаку и сам убрался на другой конец леса. Можно ли понимать как предзнаменование то незавидное и даже позорное обстоятельство, что довелось укрыться в лощине, где лежала уже падаль –дохлый кролик или, быть может, ёж? А если да, что именно тогда было посулено? Успех побега или, напротив, скорый и незавидный конец жизненного пути? Как случилось, что он сам не учуял запах падали? Ну, нос заложен, ладно... И к лагерной вони капитально притерпелся, этого тоже не отнять. В конечном счёте, придумал он истолкование происшествия, полезное для дальнейшего побега. Знак свыше это был, вот что. Охота, мол, на него будет напрасна, и он, новые страдания претерпев, выйдет из вражеских пределов к своим. И, поскольку положение бесправного, на грани жизни и смерти балансирующего беглеца из плена само по себе унизительно, то и невзгоды на пути домой ждут его мелкие, грязные – не такие, чтобы о них когда-нибудь, если доживёт, пристойно будет рассказать внукам, старческой спиной прислонившись к теплему зеркалу голландской печи.

Досадные неприятности не заставили себя ждать. Начать с того хотя бы, что задолго до вечера беглеца начала мучить жажда, а там и голод принялся донимать. Фляжка пуста, а есть рядом с падалью теперь, когда её запах неизбежно стоит в ноздрях... Вывернет ведь. И как это он не догадался загодя наполнить фляжку на хуторе? Когда забывался полусном, в ушах начинали звучать всхлипы и рыдание колодезного насоса. Наконец, стемнело. Он выбрался из кучи прелых листьев, вышел на опушку. По остаткам заката определился, в какую сторону идти, однако прежде решил подкрепиться. Присел на пенёк и мгновенно умял остаток горбушки от сыра. Завязал уже «сидор» и собрался в путь, когда приятная тяжесть в животе вдруг сменилась острой болью. С ужасом понял, что желудок, привыкший за месяц плена к жидким отварам брюквы или капусты, бунтует теперь против жирной и острой пищи.

Только через час, и всё ещё согнувшись в три погибели, сумел Адриан покинуть опушку. Ещё через час примерно вышел он, как и рассчитывал, к насыпи железной дороги. Рельсы тускло поблескивали. Тупо удивился узости колеи – будто раньше немецкой узкоколейки не видел. Определился ещё раз – и побрёл вроде бы на северо-восток прямо по колее, стараясь ступать на шпалы. Дорога еле заметно шла под уклон, в чём беглец усматривал и хорошую сторону: на дне низины может протекать речка или ручей. Однако первая встреченная на пути низина оказалась сухой. Начался пологий подъём, Адриан преодолевал его, с надеждой оглядываясь, но попутный поезд так и не появился. Зато, уже ближе к полночи, прошёл встречный, задолго дав о себе знать стуком машины и колёс, а вблизи и пыхтением. У Адриана было достаточно времени, чтобы укрыться в поле. Во всяком случае, мог быть уверен, что невзначай под колёса не попадёт. И почему это в любой ситуации он обязательно выискивает что-нибудь хорошее для себя? Теперь попутный поезд мог выйти на колею, только разъехавшись в Гардауэне с этим встречным.

Не желая терять времени, побрёл Адриан по колее, преодолевая тяготы лёгкого подъёма. Потом начался такой же пологий спуск. На сей раз под насыпью в лощине журчал ручеёк, взятый в трубу. Принюхался ротный фельдшер, но не распознал никаких особенных запахов – или, всерьёз уже страдая от жажды, не пожелал услышать. Набрал во фляжку воды, вдоволь напился и снова наполнил фляжку. Это был первый успех этой ночи, не считая развязки приключения с охотником и его псом. Правда, лучше бы подождать радоваться, пока не выяснится, как ответит желудок. Однако обошлось. Было бы здорово, что и питательные вещества сыра успели хоть в малых количествах раствориться в организме прежде, чем прихватило живот.

Адриан одолел примерно половину подъёма, запыхался и решил отдохнуть. Заодно и поразмыслить. Как поступить – продолжить путь, пока не найдёт места для следующей днёвки, или же остаться здесь, ожидая очередного попутного поезда? Беспокоило, что не знает, каким образом на ходу, пусть и медленном, в гору, прицепится к вагону и как сумеет удержаться на нём для ночной поездки. В казарме слышал рассказы о странствиях железкой бесплатно, «на буксах», однако тогда не поинтересовался, что они такое, эти «буксы», из себя представляют. Солдаты-горожане бахвалились, как в Питере на ходу запрыгивали на подножку трамвая, но уроженец Усть-Сожи не только никогда такой лихой штуки не проделывал, но и живого, не на картинке, трамвая ещё не видел. Пришлось продолжить путь в надежде, что на следующем подъеме дороги удастся найти укромное место, где можно будет и попутного состава дожидаться, и спрятаться, если не повезёт, на следующую днёвку.

И беглецу удалось найти такое место. Под мостиком в низине, в большой трубе для пропуска дождевой воды, а тогда сухой. С двух сторон труба прикрыта кустами – вот и защита. К сожалению, поезд из Гардауэна прошёл уже на рассвете, и пытаться им воспользоваться было бы бессмысленно. Во время днёвки натерпелся он страху: над головой вначале протопал путевой обходчик, а потом, уже ближе к вечеру, прокатилась лёгкая повозка. Сначала Адриан запаниковал, услышав издали странные ритмичные звуки, потом вспомнил, что рассказывали о железке бывалые, большой мир повидавшие односельчане, и даже название повозки вспомнил. К счастью, и пешего обходчика, и немецких железнодорожников на дрезине интересовали только рельсы, под мостик не спускались. Под вечер отрезал себе Адриан кусочек сыра, запил водой из фляги. Вода желтоватой оказалась, а в животе поныло-поныло, и тем дело кончилось. Хоть и подкрепился, но мнилось ему, что силы уходят с каждым часом, и начинал уже пенять на свою, очень даже возможно, что и неудачную задумку бежать по железке, да ещё в расползение Первой армии. Однако, едва ступились новые сумерки, как Лаптеву впервые по-настоящему повезло.

Ночную захолустную тишину пререзал далёкий стук паровой машины, а там и рельсы над головой, на мосту тихонько загудели. На подгибающихся ногах Адриан выскочил из-под моста, брякнулся на живот и буквально вжался в насыпь. Фонари на паровозе успели его ослепить – не пожалели колбасники керосина! Ничего не оставалось лежащему ничком беглецу, кроме как молиться, чтобы его не разглядели из железного домика, будки. Вот паровоз пропыхтел вперёд, и мимо медленно потянулись вагоны. Какое счастье! Были они не пассажирскими, не теплушки то были, набитые немецкими солдатами или русскими пленными, и даже не запечатанные товарные вагоны, а платформы, на которых темнели стволы деревьев. Пропустив от неожиданности парочку платформ, похожих на длинные подводы на железных колёсах, побежал рядом с очередной – и сам не понял, как сумел на неё забраться.

Подъём закончился, колёса залязгали чаще, а самозванный пассажир принялся определять своё новое положение в пространстве. Машинную железнодорожную вонь перебивал родной запах сосны, не так давно спиленной, с наскоро обрубленными ветвями. Стволы сосен лежали на платформе, удерживаемые ограждением, как карандаши в школьном пенале, и можно было не бояться скатиться вместе с ними. Сгоряча Адриан улёгся на стволы, но сучки впились в него, и пришлось сесть, найдя мало-мальски удобное для того место. Шинель была безнадежно испачкана живицей, но огорчение, от того испытанное, ему самому показалось смешным. Снявши голову, по волосам не плачут! Главное, что не ноги бил по прусской земле, а ехал железкой. Заставил-таки

немецкую технику служить себе, жалкому пленному, сбежавшему от их проклятого ордунга! Спать почти не хотелось, он ломал голову, решая для себя, в каких случаях придётся спешно покинуть платформу. Ещё до света, это непременно. Если будет остановка и обход, надо будет по возможности тихо слезть с противоположной стороны. То же, если поезд выедет на разъезд – и тогда удирать раньше, прямо прыгивать на ходу в случае, если, не дай того бог, встречный уже дожидается. И, конечно же, никак нельзя позволить завезти себя на станцию – там уж всенепременно схватят!

А товарняк всё катил и катил сквозь прусскую сельскую темень, и паровоз неизвестно для чего пугал задрёмывающего Адриана грозными и оглушительными в ночи гудками. Дважды гудки раздавались, когда паровоз въезжал в лес. Возможно, чтобы согнать с рельсов косуль или кабанов. А вот последний гудок показался странно радостным, будто немец-машинист приветствовал кого-то или сообщал заранее о своём прибытии. Пассажир платформы встрепенулся, присмотрелся – и ахнул: впереди по ходу колебалось бледное зарево, и это была вовсе не утренняя заря. Товарный поезд, деловито постукивая колёсами, приближался к какому-то городу и, судя по ширине подсвеченного его ночным освещением неба, был тот куда больше Гердауэна.

Адриан прекрасно помнил, как густо даже возле маленькой станции натыкано в землю столбиков и прочих железнодорожных причуд вроде торчащих из земли железных рукояток неизвестного предназначения – запросто разобьёшься или напорешься брюхом, прыгивая в темноте. Поэтому он покинул платформу тотчас же. Не удержался на ногах и, хоть больно ударился, поднялся с гравия, вроде бы ничего себе не повредив. Ощупал себя – кости целы, спасибо и на том. Постоял, оценил зарево над городом, куда ему хода нет. Может быть, это Инстербук, последний большой прусский город, взятый храбрым российским генералом с длинной немецкой фамилией, а может, и нет. Теперь надо обойти город справа, найти укрытие для днёвки, а вечером пуститься на восток, в направлении, противоположном закату.

Остаток ночи превратился для беглеца в настоящий кошмар. Он пересекал убранные поля, перебредал вброд бесчисленные ручейки и очень боялся оказаться утром на открытой местности. Наконец, вышел на мощёную дорогу и решился продвигаться по ней. Уже начало светать, когда шоссе, на счастье Адриана, пошло через рощу, и он снова устроился переждать день в лощине, на сей раз тщательно осмотренной. Зарылся в сухие желтые листья и мгновенно отключился. Проснулся как будто через минуту, но снова в ночном лесу, и не было над ним слоя листьев. Как это могло случиться? Неужто лесник нашёл его во время обхода, сам не решился хватать, а отправился за подмогой?

Очнувшись окончательно, он понял, что сам стряхнул с себя листья, но на всякий случай решил сначала отойти подальше от места днёвки, а потом уже попить и поесть.

Через час примерно оказался беглец на развилке. Шоссе под прямым углом поворачивало влево, на город, и в той стороне стояло над лесом зарево, вправо же уходил просёлок. Адриан решил не проламываться сквозь лес, свернул направо. Вскоре вышел на луг и снова взял своё направление. И оказался перед ним не то мост через широкую реку, то ли плотина, пересекающая вытянутое в нитку озеро. Беглец залёг на лугу и долго всматривался. Никакого движения не обнаружил, перекрестился и осторожно подполз к началу сооружения. Оказалось оно старым деревянным мостом, и доски под ногами скрипели громко, будто на много верст вокруг. Последние сажени моста он пробежал, сразу же на выходе взял вправо и укрылся за кустом. Как раз из-за облаков выглянула луна, и открылся перед беглым пленником пейзаж, чью романтическую красоту он сумел бы оценить разве что лет через десять. Слева светились городские огни, справа темнел лес, а впереди луга или поля. Там клубился туман, а сквозь него едва пробивались два слабых огонька. Хутор, небось. Вроде Лизкиного. Почему в душе такая чугунная уверенность, что сварливая немка и её хутор для него сейчас в тридесятom царстве, в тридевятом государстве? Да потому! Уж если, не дай того бог, поймают его, в батраки к бабе уж точно не вернут. Справа темнел лес, и Адриан очень надеялся, что именно за этим лесом проходит железка, и по ней он подъедет ближе к линии фронта. Решил продвигаться вдоль леса, чтобы в случае чего было где укрыться. Благо опушкой змеилась едва различимая под луной тропка.

Холмистая пошла тут местность, и потому высокий человек нарисовался впереди внезапно. Адриан рухнул на землю, переждал сердечный приступ и, только когда рассеялась муть перед глазами, пригляделся. Луна, как на грех, снова ушла за облака, однако он успел рассмотреть, что встречный не сдвинулся с места, пока кололо в сердце, и что выглядит тот чересчур уж страховидно. Ибо на месте головы красовался у пруссака лошадиный череп, и единственная нога слишком уж тонкой выглядела для человека. И не сразу сообразил беглый пленник, что не вражеская полевая нежить заступила ему путь, а чучело. Немецкое пугало, только и всего ...

И что ж это за детство такое – словить колотё в сердце из-за пугала, тогда как настоящие, жизни угрожающие опасности не вызывали таких последствий! Адриан поднялся на ноги и подкрался к страшиле. По густой траве подошёл, ведь чучело поставлено на границе крестьянского надела, чтобы отпугивало ворон. Нога-шесть поверху обмотана рядом, вроде юбки, а вот на плечах-палке – истрёпанный пиджак и под ним драная фуфайка. Пришла было беглецу мыслишка сменять свою шинель на тот пиджачок,

да почти тотчас же от неё отказался. Жаль ему стало шинельки, потому что потеплее бросовой немецкой одежки, не хотелось снимать повязку с красным крестом, да и просто побрезговал Адриан. А после знающие люди его просветили. Как выяснилось, переодевшись хоть бы и частично в цивильное, подверг бы себя беглый русский пленник большей опасности. В случае поимки осуждён был бы не за побег уже, а за шпионаж, а там приговоры известны.

Но тогда, как снова пустился Адриан в путь, пришло ему в голову по дороге, что свершилось очередное знамение. Неприятельская прусская земля пугала его, желая остановить, да не сумела. С этой доброй мыслью преодолевал он ночные немецкие пространства, пересёк с бережением просёлки, упирающийся в лесную опушку, и вброд преодолел ручей с топкими берегами. Посреди ручья, постояв неподвижно достаточное время, чтобы поднятая его сапогами муть осела, снова наполнил фляжку. И вышел-таки к железной дороге. Не раздумывая, побрёл по ней вправо, оставляя слабые огни большого города за плечами, но до рассвета не догнал его поезд, и пришлось устраиваться на днёвку в сыром овраге недалеко от колеи. Наскоро поел, выпил с некоторым опасением новой воды – и тотчас же заснул, побеждённый каменной усталостью. Проснулся уже в сумерках, услышав, как трясётся земля и стучат колеса. Осторожно выглянул, ещё не до конца отрезвевший от сна: со стороны города приближался состав, при этом фонари на паровозе ещё не были зажжены. Адриан решил, выбрался из оврага и улёгся уже на краю его. Поезд шел медленно, и за паровозом темнели не вагоны, а как ему показалось, уже почти родные платформы с брёвнами.

Вот паровоз пропыхтел уже мимо, и сменили его платформы, да только оказались на них орудия и зарядные ящики. А когда замерцали там красные точки солдатских сигарок, то и вовсе вдавился он в землю. В обычную железнодорожную вонь вклинился опасный запах табачного дыма. Военный эшелон уже удалялся, совсем бесполезный для беглеца, и он поднял голову, чтобы приглядеться к последнему, товарному вагону. Будет ли уже безопасно выйти на колею и продолжить путь пешком? Не поверил своим глазам и протёр их тыльной стороной ладони. На площадке горел фонарь, но не было часового! Мгновенно решившись, Адриан побежал. Из последних сил догнал вагон и забрался на площадку. Сначала стоял, ошеломлённый неслыханной удачей, потом догадался откинуть сиденье. Надо же! Разве это не маленькая победа после стольких унижений? Гордые мысли вернулись. Снова ведь сами немцы с удобствами везут его – и теперь домой, к своим.

Радовался он недолго, едва ли больше пары часов. Уже начинал задремывать, когда вагон со скрежетом остановился. Беспочинно, прямо в поле, как показалось Адриану.

Тотчас же прозвучали голоса немцев, и он скорее почувствовал, чем услышал, как справа тяжелые сапоги ударились об землю, а потом зашуршали гравием, приближаясь. Это часовой возвращался на свой пост, несомненно. В ужасе, но стараясь действовать бесшумно, Адриан спустился с противоположной стороны площадки и бросился в темноту. Видно, чем-то выдал себя, потому что сзади бахнул винтовочный выстрел и затем:

– Хальт!

Лежал Адриан ничком и старался не шевелиться. Про себя костерил разными словами незадачливого немца-часового. Неужто не понимает дурак, что теперь ему придётся объяснять начальству, почему покинул на предыдущей остановке свой пост? Однако суматоха улеглась, паровоз свистнул раз, другой, и эшелон отправился. Поднялся Адриан на дрожащие ноги и первым делом огляделся. В опасной близости светились вечерние огни города, поменьше предыдущего, зато колея уходила прямо в середину красных светлячков. Если бы не остановился немец-машинист, завёз бы его прямо в осиное гнездо... Мысленно стал военфельдшер Лаптев во фронт и сам себе скомандовал: «Отставить панику! Убирайся побыстрее отсюда!». И тотчас соображение вернулось. Ничего больше не оставалось, как снова обходить город и выходить на колею. И тут он увидел табличку на железнодорожном столбике. «Gumbinnen». Гум-би-нен! Тот самый прусский город, где русский генерал с длинной немецкой фамилией побил пруссаков! Стало быть, тот город, побольше, что сзади остался, именовался Инстербургом. Адриан обрадовался, как будто оказался в тёмной комнате, и хозяин покуражился, покуражился над ним, да и сжалился, показал, наконец, выход.

Легко сказать – обойти Гумбинен! Если под Инстербургом русские и немецкие войска только проходили, а неубранные следы немецкого отступления ночью и не разглядишь, то здесь произошло настоящее побоище. Перелопаченная взрывами земля, чуть ли не на каждом шагу разбитые зарядные ящики и обозные подводы. Трупы давно убраны, но тяжкий запах мертвечины порой ударял в ноздри, перебивая сладковатый запах падали. Туши убитых лошадей оставались на полях и лугах под Гумбиненом, и на одну из них, споткнувшись, беглец едва не упал. Земля была усеяна воронками, и он всерьёз боялся сломать ногу. И без того уже хромал: влетел ногой с размаху в железный обод пушечного колеса. Дважды довелось пересечь обсаженные деревьями типичные прусские шоссе. Как раз переходил второе, когда выглянула луна и осветила обстриженные осколками снарядов кроны грабов, похожих теперь на веники. Действительно серьёзным препятствием стала река, когда он внезапно вышел на её заболоченный берег. Ночью и с испугу показалась река очень уж широкой. Пройти вдоль

берега до первого моста? Вполне возможно, что в этой местности мосты уже охраняются. Кроме того, велика вероятность, что они разрушены в ходе боёв и отступления сначала немцев, а потом и наших. Адриан решил переплыть, найдя для того место поудобнее.

Разделся, собрал сапоги, шинель и всё, что было на нём, в узел, нашёл вроде бы не топкий участок берега. Поднял узел над головой и шагнул в холодную воду. На самом деле речка оказалась вовсе не глубокой, и только дважды попал он на яму и окунулся до сосков на груди. Выбрался на противоположный берег, посидел на камне, дрожа от холода, а когда подсох, оделся и обулся. Очень не помешал бы тогда костёр, но не было у Адриана ни спичек, ни старозаветного огнива. Когда одевался, заметил, что гимнастёрка и шаровары стали что-то очень просторны. Теперь, если не удастся найти гвоздик, чтобы провертеть дырку в ремне, как бы не пришлось поддерживать шаровары рукой.

Чтобы согреться, заспешил Адриан, пустился через убранное поле чуть ли не бегом, и добежался: голова у него закружилась, а очнулся уже на земле. Горячее дыхание на щеке, и показалось, что кожи коснулся жёсткий язык... Он оторопел. Жёлто-зелёные глаза светились в нескольких вершках, со всех сторон слышны неясные шорохи. Собака? Волк? Волки? Он резко поднял голову. Животное отскочило, заворчав. Адриан неуверенно поднялся на ноги, быстро огляделся. Разноцветные и разномастные пары глаз светились на различной высоте от земли. Собаки...

– Да пошли вы! Фу!

Собаки оставили его, собрались в стаю, потрусили прочь. Знают, немецкие шавки, чего им ожидать от человека в форме, отучились и брехать без толку на такого. Явно брошены были бауэрами на фермах и хуторах, и Адриану не хотелось догадываться, какой именно пищей приходилось им довольствоваться через две недели после боёв. Ладно, обошлось же, забыть теперь о трупоедах.

На востоке над горизонтом светилась и неуклонно расширялась красная полоска, а на севере он то ли разглядел, то ли угадал высокую ровную насыпь. Что ж это, ежели не железная дорога? И он поплёлся туда из последних сил. Взобрался на насыпь, когда вокруг начало сереть. Сразу не поверил своим глазам, протёр их, присмотрелся снова к рельсам. Они не блестели! Заржавели рельсы, и ржавчина на них не свежая, яркая, потемнела она и потускнела. Прощайте, надежды доехать до линии фронта немецким поездом!

Надо было срочно искать убежище для днёвки, и прежде чем сойти с насыпи, Адриан осмотрелся. Насыпь окружали пустые поля, и только справа вдалеке темнело какое-то поселение, хутор или ферма. Тотчас же он присел на корточки и поскорее спрятался за насыпью. С этой её стороны было достаточно воронок от немецких тяжёлых

снарядов, и в одной из них на крайний случай можно бы укрыться. Однако Адриан нацелился на небольшое разрушенное строение из красного кирпича в нескольких саженьях от насыпи. Был то, конечно же, домик путевого обходчика, и Адриан очень надеялся, что сам старательный немец в железнодорожной форме не лежит там под обломками черепичной крыши.

Согнувшись в три погибели, беглец подобрался к сторожке и не обнаружил в ней ни живых, ни мертвых. Только на усеянном обломками крыши и кирпичной крошкой полу валялись грязно-белые ленты бинтов и кровавые куски ваты, а под ногами перекатывались россыпи патронных гильз. Ясно, что сторожка использовалась под перевязочный пункт и под укрытие для пулемётчика, но в какой именно последовательности, Адриану сейчас было безразлично. Куда больше заинтересовал его матрац, валявшийся на разбитой в щепки деревянной кровати. Когда стряхивал с него обломки кирпича, обнаружил среди них куклу – маленькую, однорукую. «Неужто целая семья жила в этом сарае на одно окно?» – изумился Адриан, но как-то вскользь. Его совсем не озаботила тогда и участь самого ребёнка, возможно раненого или убитого, а в лучшем случае бездомного теперь.

Оправданием такой бездушности русского беглого пленника могло служить разве что одно грустное обстоятельство. Тогда он мучительно копался в своей памяти, пытаясь установить, доел ли остаток сыра или же незаметно для себя потерял в пути. Уж лучше бы доел! Смакуя каждый глоток, он выпил воды из фляжки, забаррикадировался расколотой столешницей и целыми черепицами и уснул на голодный желудок. Вроде и недолго спал, но очнулся уже в темноте. Разбудили его звуки, которые могли быть только дальними разрывами снарядов. Вот он, фронт, его уже слышно! Не успел обрадоваться, как тотчас же нахлынули опасения. Сумеет ли туда добраться? Сумеет ли перебежать к своим? Очень беспокоило, что не имеет представления о том, как на самом деле выглядит российско-германский фронт. То мерещилась ему прусская граница в мирные времена, когда проходила в тридцати верстах от Ломжи, и все в городке знали, что польские контрабандисты, играючи, пересекают её по несколько раз в день. То бастионы ему грезились, оцетинившиеся пушками, а перед ними – рвы с вонючей водой. Однако отступить значило снова сдаваться немцам, и Лаптев пустился в путь. Вернулся для того на железнодорожную колею, на сей раз безжизненную.

Фронт приблизился внезапно, когда и до конца ночи, согласно соображениям беглеца, оставалось ещё много времени. Стрельба слышалась очень редко, зато над дальним лесом взлетали осветительные ракеты. Теперь Адриан передвигался от воронки до воронки, а перед очередным броском долго всматривался в ночь. Тоскливое ржание немецкого битюга вовремя остановило его, а то вышел бы прямо в расположение

пруссских обозников. Незамеченным удалось проползти между немецкими батареями, однако, совершив сей подвиг, беглец сильно запыхался. Вздохи и хрипы собственного дыхания оглушали его, поэтому завершение передышки оказалось полной неожиданностью. Тяжелое костистое тело внезапно навалилось на военфельдшера, в поясницу больно вонзилось что-то твердое, наверное, подсумки с патронами, а шею, перекрывая дыхание и заламывая голову вверх, зажала рука в жёстком и колючем шинельном сукне.

– Горенко, не спи! Кляп ему в рот засовывай, суке!

Не дожидаясь, пока какой-то Горенко заткнёт ему рот кляпом, Адриан таким же злым шёпотом пояснил, что он ротный фельдшер 13-го пехотного Белозерского полка и что бежал из плена у пруссаков.

– Горенко, не спать, мать твою! Отставить, Горенко! А чего ж ты, ротный фельдшер, позабыл на нейтральной полосе?

Не зная, что такое «нейтральная полоса», несчастный фельдшер пробормотал, что хочет к нашим. Тут невдалеке зашипело – и та же тяжёлая рука, что мгновение назад отпустила его шею, прижала голову Лаптева к земле. Всё вокруг осветилось белым химическим светом, но немного увидел он, носом уткнувшись в чахлый кустик бурьяна. Озаботило только, что зашипело слишком уж близко, и вряд ли в русском окопе.

– Коль живым с нами доползёшь, попадёшь к нашим. Ежели убьют тебя, тут и бросим. Прости великодушно, но твой труп вытаскивать нам не с руки, и так пупки надрываем, пленного германца волоча. Как погаснет немецкая лампа, поползём. Держись за моими сапогами, а ты, Горенко, опять замыкающим. Всё, пошли!

Трудновато было потом вспоминать Лаптеву, что происходило с ним, пока не настал радостный миг, и не скатился невредимым в русскую траншею. Вроде бы проползал через проволочные заграждения, а колючую проволоку, ранее разрезанную, поднимал перед ним, судя по матерным комментариям, тот самый унтер. Вроде осветительная ракета взлетала снова, и снова разведчики распластывались неподвижно. Вот только запущена была ракета уже с места подальше, в чём усмотрел Лаптев добрый знак. Тогда и такое случилось: заполз он в большую воронку и не хотел из неё вылезать, так что пришлось тому самому Горенке засветить ему прикладом по пятке. Как ни странно, боль помогла освоиться и подавить страх. Видимо, поэтому не очень-то его испугала очередь, запущенная немецким дежурным пулемётчиком, когда пули прошелестели низко над головой.

VI

В тёмной траншее пахло уже своим, русским духом. Квасом, что ли? Вот только откуда на передовой взяться кваску? Щи вспомнились, готовки его приёмной матушки, Олимпиады Ефимовны, вот оно что... Сидел Адриан на дне траншеи, не мог пошевелить пальцем. И все разведчики, его спасители, в таком же изнеможении пребывали, и связанный немецкий офицер в этом их остроконечном шлеме, наверное, тоже. Умом понимал ротный фельдшер, что надо бы поесть и попить, но не у разведчиков же просить? Он впал в полузабытьё, а очнуться заставил прозвучавший в траншее новый голос – звонкий, молодой, правильно выговаривающий слова. Офицер? Давешний унтер уже докладывал, и Адриан тоже с трудом поднялся и встал во фронт.

Почти совсем рассвело, и он хорошо рассмотрел офицера, когда тот оказался напротив. Русский! Поручик. И в самом деле молодой. Свежевыбрит, усики тоненькие, одеколоном от него пахло. Адриан доложил о себе, а в ответ услышал:

– Вольно! Ну, и исхудал же ты, братец! И в чём только душа держится?

– Так голодом же морили проклятые немцы, Ваше благородие. Меня бы подкормить... А ещё бы лекарю показаться. Каши бы мне, Ваше благородие.

Поручик задумался. Потом улыбнулся.

– Где ж я тебе спозаранку каши добуду, Лаптев? Ну да ладно, подожди здесь, покамест я разведдонесение напишу, а потом уж тебя вместе с немцем-«языком» в Шталлупёнен отправлю. Там и покормят, и врач тебя посмотрит.

Как ни измучен был Адриан, но тут приободрился. Видно, не такие уж плохие у наших дела, если после отступления они этот прусский город с непроизносимым названием удерживают! Снова уселся он на дно траншеи, но задремать не успел. Помешал давешний поручик. Сунул в руку мелкую какую-то вещицу и снова исчез в блиндаже. Адриан поднёс маленький твёрдый предмет к глазам. Оказалась то плитка шоколада, такие он раньше видел только в витринах лавок в Ломже. На обвёртке нарисован немецкий мальчонка в рабочем фартуке и даже с галстуком. В левой ручке надкусанная плитка шоколада, в правой – дубинка. Зато рядом напечатано уже по-русски, и видеть, только видеть родные сызмальства буквы отечественной азбуки было бывшему пленному невероятно приятно. Прочёл вслух: «Эйнемь. Шоколад. Ну-ка отними!». Похоже, честно заработал немецкий малолетний ремесленник свою плитку дорогущего заморского лакомства, но ведь и русские солдаты немало у здешних немцев добра поотнимали. Припомнил он тогда последний свой армейский завтрак с «какавой», и в животе привычно

засосало. Не решился ротный фельдшер последовать примеру мальчугана и отломить себе кусочек: вспомнились колики после сыра. Нет уж, сначала показаться врачу!

Очнулся он уже на въезде в тот самый Шталлупёнен. Лежал на соломе, подстеленной в длинной, с высокими бортами, немецкой подводе. Рядом растянулся неподвижно солдат, весь обмотанный бинтами, ещё один раненый, унтер с рукой на перевязи сидел на облучке рядом с ездовым, нестроевым солдатиком. Адриан повернул голову влево и увидел сидящего на дне полка по-прежнему связанного немецкого офицера, а за ним – солдата-конвойного, держащего между коленями винтовку с примкнутым штыком. Подводу тянули упитанные прусские битюги с высоко подрезанными хвостами.

Огляделся он и понял, что городу сильно не повезло. Предместье ещё сохранилось, и пустая, ни паровозов там, ни вагонов, железнодорожная станция тоже, похоже, не пострадала, зато городские улицы разрушены. То ли российскими снарядами, то ли немецкими. Многие дома потеряли крыши, а от красивых, высоких зданий в три-четыре этажа частенько осталось только по одной стене. Чудом уцелевшая длинная водосточная труба висит на остатке стены, вывески лавочек и магазинов целёхоньки, а за ними только битый кирпич... Кому же это надо было, разрушать город? Адриан и спросил об этом вслух. Вроде как бы сам себя спросил, цоканье копыт по булыжнику не перекрикивая.

– Кому же, как не самим германцам? – не оборачиваясь, прокричал ездовой. – Нарочно сносили своё же добротное жильё, чтобы нашим не досталось. Обыватели местные, те давно ушли к своим.

– Они, германцы, рушат своё же бесстрашно, потому что потом моментально снова отстраивают. Ну, прямо как муравьи! Начальство ихнее сгоняет толпы народа, старого и малого, и первым делом кирпичи собирают и в опрятные штабели укладывают...

А разговорчив этот легкораненый! Ездовой прервал его:

– А ты, паря, откуда знаешь?

– Так видел же в Инстербуке. Немец там решил, что для них войне конец, и давай сразу же ремонтироваться... Эй, дядя, правь к штабу! Я только поручикову бумагу отдам, а Федоров – пленного, и повезёшь нас остальных его благородию господину лекарю сдаваться.

Как и штаб, госпиталь разместился в одном из немногих уцелевших общественных зданий Шталлупёнена. Вдохнул ротный фельдшер родной запах йода и карболки, покрутил блаженно головой – и наконец-то ощутил себя в полнейшей безопасности. Стоило только присесть на табурете у стеночки, тотчас же и задремал. Когда у военврача Шумило дошли до него руки, пришлось подручному санитару Адриана будить.

– Вольно, вольно, Лаптев! – пробурчал седой врач, усаживаясь, не глядя, на ловко подставленный ему санитаром венский стул. – Можешь не подскакивать. А вот до пояса раздёнсья.

Ловко выстукав пальцами Адриану грудь и спину, послушал его и в стетоскоп. И без каких-либо тебе размышлений:

– Практически здоров ты, братец. Худ только чрезмерно, будто в последней стадии ТБЦ.

– Чахотки?! – изумился Лаптев.

– Дурак ты! Я же сказал: «будто».

– Покорнейше прощения прошу, Ваше благородие.

– Угу. Так, так... А росту в тебе сколько?

– Сейчас припомню... Два аршина и фут, Ваше благородие.

– Уткин! На весы его, и назад ко мне.

Видно, задумался о более важных своих делах Шумило, потому что только блеснул стёклами пенсне на Уткина, когда тот вернулся с докладом.

– Какие два с половиной? О чём ты, братец?

– Так что ротного фельдшера взвесил, Ваше благородие. Два с половиной пуда.

– Феноменально! Пусть в сапоги не влезает, а напротив, снимет и исподнее. А ты снова взвесь.

Получив новый результат, военврач хмыкнул. Чистый вес Лаптева – два пуда, тринадцать фунтов. По метрической системе не дотягивает до тридцати девяти килограммов, это при росте даже выше среднего. Комиссовать его невозможно как здорового, но и служить при таком истощении ему не по силам. Н-да... Однако вспомнил военврач одно обстоятельство и воспрянул духом. И месяца не прошло, как в войсках учреждена должность верховного начальника санитарной и эвакуационной части, а на неё утверждён принц Александр Петрович Ольденбургский. Без малого двадцать лет тому назад довелось Шумило послужить под началом принца в Противочумной комиссии, где этот строевой генерал прекрасно себя зарекомендовал. Уважал мнения медиков, по их советам принимал скорые и разумные решения, а когда эпидемия угасла, проявил себя как энергичный и дальновидный организатор российской медицины. Любит Его высочество все вопросы решать самолично, до мелочности опускаясь, как о нём злословят – так пусть и этот решит!

– Ты вот что, Лаптев, – проговорил военврач, уже прикидывая, как составить телеграмму принцу. – Тебя сейчас Уткин отведёт на свободную койку, отлёживайся пока.

Есть тебе разрешаю только суп, и то по полкотелка через четыре часа. Отдохни, а там поглядим.

В обед разбудил Лаптева однорукий сосед по палате. В столовой повар только покосился на его мятый котелок и налил варева в казённую глиняную миску. Из полной миски настоящего русского солдатского супа пахнуло на Адриана ароматным парком, а на дне нащупал он ложкой и кусочек говядины. Не удержался на половине, всё позволял и позволял себе в виде исключения зачерпнуть ещё хоть четверть ложечки, и в результате выхлебал суп досуха и ещё кусочком хлеба внутренность миски вытер. Вот когда заполонила его настоящая сытость – голову туманящая, сладко тело сковывающая... Еле успел добраться до койки, разуться и раздеться.

Полностью отрезвился Адриан только в поезде. Не на платформе, не в теплушке, а в пассажирском вагоне третьего класса. Рядом клевал носом санитар Уткин. Вагон был набит простым бедным людом, дышалось в нём тяжело.

– Здоров же ты спать, Лаптев, – промолвил санитар недовольно. – Мы уже к Ковно подъезжаем, а ты всё дрыхнешь...

– А едем куда? – равнодушно осведомился Адриан. Он как раз прикидывал, не сон ли это продолжается. Да нет, вряд ли... В палате воняло по-иному.

– В Барановичи, ужели забыл? – и добавил, понизив голос. – То бишь в Ставку Верховного главнокомандующего. Это большая тайна, куда мы едем. Смотри, не проболтайся. Все бумаги твои у меня, Лаптев. Тебе под моей опекой быть приказано, покамест твое дело не решится.

Он пожал плечами. Повернул голову так, чтобы увидеть угол пыльного вагонного окна. За ним мелькали хатки, по-видимому, предместья. Паровоз загудел. Нерусский народ в вагоне сорвался с мест и стеснился у выходов.

– Здесь конечная маршрута, – пояснил санитар и зевнул. Адриан послушно поднялся и тоже, за компанию зевнул. Едва челюсти не вывихнул.

Разумеется, и в Ковно, и в Вильно, куда серошинельные пассажиры прикатили пополудни, было чего посмотреть, но под суетливым началом санитара Уткина Адриан не покидал пределов железнодорожных перронов, где они блуждали от кубовой до военной комендатуры, чтобы, наконец, тупо ожидать на платформе очередного поезда. Но вот, заскочив одним из первых в вагон почтового «Вильно-Ровно», Адриан сумел занять место у окна. Колея была проложена между древними зданиями старого города, иногда в просветах мелькал костёл или башня старинной крепости. Адриан пообещал себе, что обязательно вернётся в Вильно уже вольным, неторопливо вдумчивым путешественником и обязательно осмотрит здесь всё, заслуживающее интереса. Отличному его настроению

благоприятствовала и сладостная тяжесть в желудке. На виленском вокзале они выстояли небольшую очередь к армейской полевой кухне, где Адриан, уступив свою порцию каши санитару-опекуну, снова расправился с полным котелком наваристого супа. Радовало и то обстоятельство, что больше пересадок не предвидится. И даже обычное для провинциала опасение проехать невзначай нужную станцию его не беспокоило. Вон Уткин то ли сам вызвался командовать, то ли доктором назначен старшим, так пусть у него голова и болит.

Посреди ночи они высадились в Барановичах: Уткин не подвёл. Оказалось, что тут две станции под названием «Барановичи», и им нужна именно эта, «Барановичи-Полесские». Так сказал унтер, начальник патруля, когда тотчас же после высадки проверял у них документы. Они скоротали время до утра на скамейках в зале ожидания, а утром обнаружили, что гражданских на станции и вокруг неё почти нет, один русский шинельный народ, военные в серых шинелях, железнодорожники в чёрных. А ларчик просто открывался: именно недалеко от этой станции, отсюда в двух шагах, как сообщил им по секрету мужик-белорус, сосед по скамье, и расположилась Ставка Верховного главнокомандующего.

Добыв в кубовой кипятку, Уткин заварил чай и выпил его вместе с подопечным. Оставил Адриана дожёвывать пайковый сухарь в зале ожидания, а сам отправился разыскивать штаб принца Ольденбургского. Адриан почувствовал себя довольно неловко, ведь из всех документов с ним была только сильно потрёпанная в плену солдатская книжка. А вдруг патруль? Впрочем, он тут же вспомнил, что ночью патруль уже проверял у них с Уткиным документы, и успокоился: ведь сменится наряд только вечером. И уже привычно, чувством безопасности наслаждаясь, задремал себе.

А там и опекун его прибежал. Отдышавшись, тут же повёл с собою. По дороге рассказал, что для главного санитарного начальника России сейчас готовят поезд, из него и будет командовать, по армейским тылам разъезжая. Пока же принц со своим штабом расположился в Барановичах, занимает местный театр-синема «Едом», нет, «Эдем». Через адъютанта принц приказал Лаптеву немедленно явиться к нему. Как ни спешили Лаптев с Уткиным выполнить приказ, Адриан не забывал и по сторонам посматривать. Улицы показались ему слишком уж извилистыми, и было несомненно, что застраивали Барановичи не по строгому плану, а как будущему владельцу здания бог на душу положит. И фатально не замощено местечко, их сапоги застучали подковками по булыжнику уже в виду самого театра-синема. Здание поразило Адриана, давно не выдавшего вблизи прекрасных творений современной архитектуры, своей вычурностью. Огромные полукруглые окна забраны поверху цветными стёклами, над окнами полукругом огромная надпись «Театръ Эдемъ». Над фасадом полукруглые каменные

корзины с ручками. Однако разглядеть пристальнее корзины не удалось: подбежали уже под самый театр, и пришлось огибать стоящие возле него моторы, большой, блистающий черным лаком лимузин и авто попроче. Водитель лимузина, весь в чёрной коже и сам жгучий брюнет, встретил их неожиданно заинтересованным взглядом.

Часовой у роскошного входа в театр молча пропустил прибывших. В глазах у Адриана ещё стояли ажурные решётки по бокам от двери и навес, устроенный в форме лебеда с крыльями из пластин-перьев разноцветного матового стекла. А тут новое диво: в окошечке кассы, где бы сидеть барышне-билетёрше, виднелся чёрный ус и краешек золотистого обер-офицерского погона. Поручик, впрочем, тут же покинул кассу и вот уже явился в дверях, ведущих во внутренность театра.

– За мной, быстро! – бросил. – Его высочество изволит ждать.

Они прошли в зал для зрителей. На таковой же в «Одеоне» города Ломжи он похож был разве что только низкой площадкой напротив двери с занавесом над нею во всю стену и роялем справа от неё. Стулья здесь были аккуратно сложены в левом углу, в правом углу сгрудились шесть или семь походных кроватей, перед площадкой же стоял письменный стол с креслом, а перед ним – полдюжины разномастных кресел поплоче, сейчас занятые офицерами. Один из них, с аксельбантами поперёк груди, тотчас же подскочил, махнул рукой Уткину, прогоняя, подбородком показал Адриану, где ему встать, а сам поспешил в дверь слева от подмостков, декорированную плюшевой портьерой.

– Ты Лаптев? Так запомни, Лаптев, – протянул поручик, успевший занять одно из пустующих кресел. – К Его Высочеству генералу от инфантерии и генерал-адъютанту свиты Александру Петровичу принцу Ольденбургскому следует обращаться коротко: «Ваше Высочество». Это ежели изволит задать вопрос.

– Так точно, Ваше благородие.

Тут портьера на двери слева резко откинулась, и в зале показался высокий седой старик в генеральской форме, а за ним давешний адъютант. Первым делом принял Адриан стойку «смирно», и тотчас же давай высматривать знаменитую палку принца, о ней Уткин успел ему рассказать в спешной проходке. Палка, которой старик не стеснялся поколачивать и генералов, если проштрафятся, оказалась тонкой тросточкой. Своей кривой головкой она держалась на костистом, дочерна загорелом запястье высокородного начальника.

– Господа офицеры! – провозгласил подполковник в пенсне, развалившийся было в своем кресле, и первым подскочил и вытянулся.

Поздоровались по форме, старик показал офицерам, чтобы селились, вольно, мол, и сам уселся за стол. Лаптев же продолжал стоять во фронт, глаза выпучив и чувствуя себя дурак дураком.

– Вольно, бхатец, – обратился к нему лично принц. – Расскажи тепех, как попал в плен, как жил в плену и как убежал. Кохотко, по-военному. Даю тебе десять минут.

Адриан прежде представился, как положено, потом рассказал. Пока говорил, присматривался к принцу. Хорошее, честное лицо у принца, глаза между толстыми, будто вспухшими веками понимающие, сочувствующие. Такой без вины не обидит. И выправка настоящая военная. Видно, что служит с ранних лет и службу знает досконально. Замолчал Адриан.

– Что скажете, подполковник?

Тут поднялся с кресла давешний штаб-офицер в пенсне. В особенном, лейб-гвардейском мундире, но вот знаков отличия на нём не густо. Лицо его, хоть и облагороженное круглыми стёклышками, умной своей жуликоватостью показалось Адриану похожим на хитрую физиономию знакомого торговца лошадьми: всё, мол, знаю, всё постиг, а ты, если не хочешь со мною дела иметь, катись колбаской.

– Ваше высочество! Познакомившись с телеграммой доктора Шумило, я, правду сказать, размышлялся. Вот думаю, сотворю-ка я из отощавшего ротного фельдшера второго Козьму Крючкова! Прославятся сии живые мощи у меня на всю Россию! Крючков – наш простонародный герой-воёнка, а Лаптев – будет российский мученик германского плена. Лаптев, ты чего вытаращился? Не слыхал, что ли, про богатырский подвиг донского казака Козьмы Крючкова?

– Никак нет, Ваше высокоблагородие.

– Ты его славу в плену просидел. Ничего, ещё расскажут тебе. Послушав сейчас нашего ротного фельдшера и посмотрев на него вживую, отказался я от своей задумки. Кто же спорит, 39 килограммов веса при росте 170 сантиметров – это впечатляет. Думаю также, что если Ваше высочество прикажет Лаптеву раздеться до пояса, увидим поразительную худобу. Однако Лаптев настолько коренаст, у него такой тип телосложения, что в обмундировании выглядит сейчас со смертельно опасным для себя, как понимаю, весом абсолютно нормально.

– Позвольте доложить, Ваше высочество. Гиперастеническое у меня телосложение, Ваше высокоблагородие.

Седой старик ухмыльнулся. А хитрюга-подполковник обрадовался, неизвестно чему:

– Вот-вот! Слышите, Ваше высочество? Слышите, господа? У этого субъекта такое телосложение, название которого большинство офицеров и выговорить не смогли бы, а он знает это слово! И с виду наш скелетоподобный ротный фельдшер чересчур сметлив. Пошлешь такого по городам и весям лекции читать об ужасах германского плена, а народ поглядит-поглядит и скажет: надувает нас начальство, больно уж рожа хитра у этого мученика. То ли дело святая простота, написанная на физиономии кудрявого и усатого казака Козьмы!

Седой старик махнул на подполковника свободной рукой и вдруг закудаhtал. Тогда и офицеры его свиты позволили себе кто рассмеяться, кто улыбнуться. Смахнул слёзы старик и выговорил уже серьёзно:

– И что вы предлагаете, подполковник?

– А что я могу предлагать, Ваше высочество, – с неожиданной горечью промолвил подполковник, – если состою на должности начальника военно-цензурного отделения и занимаюсь своим важнейшим и самонужнейшим делом на птичьих правах, всего лишь по устному распоряжению Верховного? Я убедительно просил бы вас, Ваше высочество, вмешаться в ситуацию и поговорить в Ставке о необходимости чёткой организации и осмысленном планировании нашей военной пропаганды.

– Зятьев, запиши, – буркнул старик. – И всё-таки, подполковник... Не желаете предлагать, Бох уж с вами. Тогда ваше видение ситуации.

– Дело в том, что я получил распоряжение Верховного показать ему беглеца из немецкого плена в 18.00. До сего времени сумею организовать, чтобы Лаптева в Ставке побанили, постригли, побрили, дали новое обмундирование и сапоги. Напомнить высшему начальству о бедствиях войны всегда полезно, Ваше высочество.

Старик скривил губы, однако кивнул. Подполковник продолжил:

– Думаю, что после аудиенции показания Лаптева о германском плене следует задокументировать. Пусть своею рукою и по своему разумению изложит, потом наша барышня на ремингтоне перепечатает, а он все экземпляры подпишет. Записать показания и на фонограф, на пару валиков. Снять с феноменальной худобы фельдшера фотографии, анфас и профиль, а по возможности и сделать синематографическую фильму. И – отложить все документы до... *ad caleandas grecas*. То есть до распоряжения начать компанию по разоблачению ужасов германского обращения с пленными. Сейчас, по моему мнению, такая шумиха несвоевременна, Ваше высочество.

Седой старик кивнул. Не сразу, помедлив.

– Во-первых, слишком мало свидетельств, Ваше высочество. И кое-что недоказательно. Вон Лаптев не видел своими глазами, как германские конвоиры на марше прикалывали отставших пленных. Ведь так, Лаптев?

– Своими глазами не видел. Однако же германцы имели штыки примкнутыми, и на штыках кровь видел вот именно своими глазами, Ваше высокоблагородие.

– Но не как добивали. И несвоевременно было бы начинать такую компанию, Ваше высочество. Не стоит напоминать публике о разгроме 2-ой армии, когда германцы взяли десятки тысяч пленных. Тем более, если имеем такие успехи на Юго-Западном фронте. Австрийцы отступили в беспорядке. Оккупирована чуть ли не вся Галиция. Оккупирована, а мы будем вопить, что освобождена, конечно. Благодарю за внимание, Ваше высочество.

Важный старик подумал, уставившись почему-то на рояль. Потом произнёс:

– Быть по сему, подполковник. Разумеется, выполняйте приказание Верховного, а когда все процедуры закончите, возхватите Лаптева сюда, и я решу, как с ним поступить. Это если Верховному он не понадобится. Вообще же история ротного фельдшеха, сбежавшего из пхусского плена, вызывает на важные соображения... Зятьев, стеногхафируй! Или палки захотел?

– Слушаюсь, Ваше высочество! – и адъютант склонился над молниеносно выхваченным из кармана блокнотом.

– Пехвое. Гехманцы отнесли к российским пленным по-свински, содежали их в неподобающих условиях и морили голодом. Тем самым они показали, что им плевать на свою репутацию в наших глазах, им безразлично, что расскажут об их обращении наши пленные, когда вехнутся домой. Ещё бы! Они ведь убеждены в собственной культухности. В цивилизованности своей! наших же солдат принимали за дикахей, за стадо в шинелях. И не всегда в том ошибались. Напримех, Лаптев показал, что в его роте продовольственный НЗ был всеми съеден, как только на походе произошла пехвая заминка с полевой кухней. А ты, Лаптев, когда съел свой НЗ?

– Когда и все солдаты в роте, Ваше высочество. То есть когда полевая кухня припозднилась с горячей пищей.

– Значит, и ты захаботал взбучку! – потряс в воздухе своей тросточкой грозный старик. – Но я тебя помиловал, поскольку не для того же ты сбежал из пхусского плена, чтобы отведать дома палки, хоть бы и от генерала от инфантехии. А скажи нам, с какой стати ты, старослужащий вроде хазумный, слопал свой НЗ раньше времени?

– Прошу прощения, Ваше высочество, но про это в казарме сразу же узнаёт каждый рекрут от старослужащих. Что НЗ можно приесть, как только вышли на учения. Извините, что рассердил вас, Ваше высочество.

– Зятьев, не спать мне тут! Вывод: в солдатской словесности вопросы санитарии, быта и хозяйственные следует изъяснять так же, как и военные заповеди. Многократно и самым пхостецким языком, буквально на пальцах. Напримех: «Вот индивидуальная плащ-палатка. Она тебе выдана для того, чтобы ты мог уберечься от дождя...». И прочее. Это удобно делать, показывая выкладку имущества для инспектохского смотра. Второе. Тут, Зятьев, поставь «Nota bene». В отличие от пруссаков, нам здесь, в Российской империи, приходится доказывать окхужающему миху, что мы народ культухный. Что не поджариваем пленников на вехтелах, а медведи, сидя у костров, не дают нам, порыкивая, кулинахные советы. Посему мне следует проследить, чтобы пленные у нас обеспечивались пходовольствием по тыловым нохмам, а жили в пожаробезопасных бараках, зимой пхотопленных. Тогда, разойдясь после войны, пленные разнесут по странам, гоходам и весям всего света добхую славу о России и нашем хусском находе. Есть ли вам что добавить, господа?

Офицеры остались неподвижны, только адъютант продолжал чёркать в блокноте, а подполковник медленно покачал головой. После повторения военных церемоний важный старик исчез в той же двери за портьерой, откуда появился, а ошарашенный Лаптев позволил себе встать по-настоящему «вольно».

Подполковник непривычным жестом поднёс к глазам дорогушие наручные часы.

– Вполне успеваю. Лаптев, за мной! Аллюр три креста!

Так, рысью, покинул Адриан «Эдем» и сердцем чувствовал, что навсегда. Кивком указав запыхавшемуся Адриану, чтобы садился рядом с шофёром того мотора, что похуже, подполковник дождался, пока шофёр блестящего авто откинет перед ним заднюю дверцу и развалился на заднем сидении. Шофёр, унтер в форме инженерных войск, вернулся за своё рулевое колесо и подудел. Потом первый мотор затрещал, окутался сизым дымом, завонял, как погашенная керосиновая лампа, и отправился в путь. За ним и второй, с военфельдшером. на мягком кожаном сидении. Адриан окаменел. Впервые в жизни едет он в авто, а быть может, и в последний раз. Да не снится ли всё это? Моторы попетляли по местечку, проехали совсем близко от вокзала «Барановичи-Полесские»: Адриан не мог не узнать причудливые треугольные крыши над его башенками и пузатую водонапорную башню невдалеке. Он всё поглядывал на грушу рядом с рулевым колесом, надеясь, что шофер ещё раз подудит. Однако не надобно было тому дудеть, потому что

шламбаум в проезде через забор – недавно поставленный, из белых досок, перед мотором подняли и без гудка.

– Забыл тебя предупредить, Лаптев! То, что Ставка Верховного главнокомандующего устроена именно здесь – сие есть большой военный секрет. Так что молчок, если не желаешь попасть под военно-полевой суд. Уразумел, Лаптев?

– Так точно, Ваше высокоблагородие!

Отчеканил это Лаптев, а сам и думает: «Я-то никому не скажу, а мирному здешнему населению, евреям, в основном, как успел приметить, им что – языки будете привязывать?». Мотор уже остановился у среднего из трёх одинаковых бревенчатых барачков, по виду и по запахам, солдатской казармы. И точно, с крыльца с ведром и тряпкой скатился дневальный.

– Эй, братец, позови Герасименкова! – приказал ему подполковник и Лаптеву кивнул, чтоб высаживался. – Теперь он, Герасименков, тобой займётся, ты, наш герой дня.

Авто с новым треском укатили, и восхитительная поездка Адриана на автомобиле благополучно закончилась. Герасименков не появлялся, у его будущего подопечного возникла возможность оглядеться. Ставка расположилась в сосновом лесу, уже частично застроенном и во все стороны пересеченном грунтовыми дорогами и железнодорожными колеями. Прямо напротив барачков белела церковь. Приятно пахло не только живой сосной, но и недавно обструганными досками: обустройство ставки явно продолжалось.

– Ты – Лаптев? – вдруг явился перед ним унтер небольшого росточка с хитрой рожей. – Тот болезный ротный фельдшер? Для тебя давно всё подготовлено. Ты у меня выпорхнешь под светлые очи Его высочества, как из кухни белая лебёдка на господский стол.

Адриан крикнул. Но в следующие три четверти часа пришлось ему убедиться, что выработанное в мирные годы представление о русской армии как кондовом царстве бардака дало трещину. Не доводилось ему доселе наблюдать в деле солдат из полков, непосредственно охранявших членов августейшего семейства, а он оказался в расположении отдельного гвардейского кавалерийского полка. Вымыт, побрит, пострижен он был мгновенно, и мгновенно же облачён в новое, прямо из склада обмундирование и снаряжение, при этом складки на гимнастёрке и шароварах были при нём разглажены паровым утюгом. Но что в особенности поразило ротного фельдшера в самое сердце – так это выданное ему по полному списку, словно солдатику-первогодку, всё казенное бельишко вместо изведённого на перевязки в лагере для военнопленных.

Вот Лаптев и в тупичке, вырубленном в редком сосновом лесу. Здесь укрыт поезд из нескольких жёлтых вагонов первого класса, а стоит Лаптев перед расположенным в

середине низеньким и в немодных медных завитушках вагоном Верховного главнокомандующего. Он уже знает, что это личный салон-вагон великого князя Николая Николаевича, и что он делит его с младшим братом великим князем Петром Николаевичем. Что именно здесь живут высокие персоны, и по той примете понять можно было, что перед выходами прочих вагонов устроены простые сходни, а к этому прирублено чуть ли не крыльцо.

По левую руку от Лаптева вытянулся унтер Герасименков, небось, так же пожирает глазами блестящие от чистоты окошки заветного вагона. Вот за стеклом ближнего окошка дернулась и отодвинулась портьера, вот поднялся угол белой кружевной занавески.

– Лаптев, смирно! – свистящим шепотом приказал унтер. – Отдать честь!

А Лаптев и без команды вытянулся до невозможности. Показалось ему тогда, или и в самом деле разглядел за бликующим стеклом длинное и скорее неприятное с виду бритое лицо?

– Лаптев, гимнастёрку и рубаху долой! – это снова унтер.

Сбросил одёжки на руку унтеру, снова вытянулся.

– Лаптев, повернись! Неспешно эдак, чтоб рассмотреть с удобством!

Да пожалуйста. Для дружка – и серёжку из ушка. А возвращаясь в первоначальное положение, увидел он, как падает за стеклом угол занавески.

– Лаптев, направо! Шагом – марш! Вольно, одеваться.

Когда уже покинули они тупичок, осмелился Адриан спросить:

– А почему бы, господин унтер-офицер, не показать меня Его высочеству в моем натуральном форменном виде, как есть истаскавшимся в плену и в невзгодах бегства из ононого?

Герасименков ответил не сразу. И заговорил уже не командным голосом, не свысока, а вроде как и по-человечески.

– Ты ведь старослужащий, Лаптев, а важных вещей для соблюдения собственной личности до сих пор не усвоил. Пространство военной службы устроено таким манером, чтобы начальству было сподручнее тобой управлять, а вовсе не для того, чтобы ты сподобился начальству показать, какой ты умный. Поэтому уже в том твое счастье, что свой вопрос направил ты мне, а не, скажем, его высокоблагородию полковнику Логинову. Отвечу же я тебе по своему разумению. Первое. Господа генералы, когда решения принимают, во внимание берут столько причин и обстоятельств, что тебе, умнику, и не снилось. Дело это не твоего, солдатского соображения. Начальству понятнее и по душе ему, если ты о себе заботу выявляешь, а если об общей пользе, оно подозрительным становится. Второе. Его высочество интерес имел к твоей жалостной худобе, Лаптев, а то

тряпье, в которую ты превратил выданную тебе справную форму, его высочество только разозлило бы и отвлекло бы. Его высочество, как и всякий генерал, обожает порядок и разгильдяйства не терпит.

– Благодарствую за разъяснение, господин унтер-офицер.

– И вот что, Лаптев. Смекаю я, когда отделаешься ты у господина подполковника, когда тебя на карточки снимут, будет начальство решать, как с тобой теперича поступить. Хочешь добрый совет?

– Заранее благодарен, господин унтер-офицер.

– Мне довелось пройти и японскую ещё войну. Был в нашем полку случай, когда солдатик угодил в плен к японцам и сумел от узкоглазых извергов убежать. Он получил тогда месячный отпуск на родину, вот какое получил награждение. И слушай мой тебе совет. Ежели новое назначение не по душе будет тебе, напхни о том случае. Можешь и на меня сослаться, не брехня ведь это, – и Герасименков подкрутил свой гвардейский ус. – Ежели же тебе новое назначение больше приглянется, чем ехать на деревню пустые щи хлебать и волам хвосты крутить, а потом в свой полк возвращаться... Ты в каком полку служил?

– В 13-м пехотном генерал-фельдмаршала князя Волконского Белозерском полку, – отрапортовал Лаптев.

– Нет, не знаю, где они теперь, твои белозерцы. В общем, в таком разрезе. У тебя появилась возможность хоть и хреновенького, однако выбора всё-таки, а такое в прохождении службы нижних чинов редко бывает. Грех не воспользоваться.

И Лаптев с искренней благодарностью принял совет доброго унтера. Вот только едва ли мог бы ему последовать, ведь через день получил на руки уже готовое, на ундервуде напечатанное предписание. Ему надлежало убыть в город Старобельск Харьковской губернии и занять должность военного фельдшера при тамошнем казённом водочном заводе. Перед самым отъездом его уже на станции «Барановичи-Полесские» разыскал запыхавшийся подполковник-цензор и вручил от имени Верховного главнокомандующего серебряные карманные часы. На тыльной крышке было вырезано красиво «За отличное несение службы» – и от кого.

VII

Старобельск несколько разочаровал Лаптева. До этого уездного города нельзя было доехать железкой, пришлось трястись на подводе от ближайшей железнодорожной станции в слободе Сватовой Лучке. Сам же Старобельск представлял из себя чуток

урегулированное только в центре, а в общем беспорядочное скопление возведённых по принципам мещанской экономии низеньких домишек, крытых в большинстве своём соломой и камышом, на местном языке «окугой». Одноэтажная застройка самодержавно господствовала в архитектуре Старобельска. Даже в «городе», как называли местные жители несколько центральных кварталов, расчерченных улицами на квадраты, преобладали одноэтажные лавки и купеческие особняки, так что единственное здесь трёхэтажное и, следует признаться, довольно несуразное здание городской думы казалось небоскрёбом. Лаптев не обнаружил в Старобельске ни сумрачного, как он теперь понимал, северного очарования отечественной Онеги, ни грязноватого европеизма Ломжи. Местные подрядчики не жаловали колонн, кариатид, рельефов с мифологическими сценами, и даже за завитушку завалящую какую-нибудь не часто цеплялся взгляд заезжего вояжера по казанной надобности, прибывшего из засекреченной Ставки. Но это было только первое впечатление. В дальнейшем же Лаптев убедился, что немало самобытных двухэтажных краснокирпичных или заштукатуренных зданий разбросано по Старобельску, да и одноэтажные не все так уж просты по стилю и способны подбрасывать сюрпризы, хотя бы и в декоре ставень или обводах фасадов. Оценил он и здешнюю духовную достопримечательность – большой женский монастырь с двумя каменными церквями, увы, совсем недавней постройки. Название у него непривычное – Скорбященский или Свято-Скорбный, по богородичной иконе «Всех скорбящих радости». Напротив монастыря на Таганрогской высился и второй обнаруженный Адрианом старобельский небоскрёб – пятиэтажная мельница. Украшало город, несомненно, и краснокирпичное пожарное депо с пятью выездами и высокой каланчой.

И, особь статья, как могла не потрафить приезжему здешняя природа? Очень зелёный, конечно же, летом, Старобельск во все времена года украшал себя маленьким, полудиким, но уютным парком и сосновым бором сразу за северной околицей. Любопытна была для северного уроженца и украинская степь, окружавшая город с юга. А тогда городская растительность цвела всеми красками осени, отчего весьма живописно выглядела и местная речка Айдар, узкая, правду сказать, и неглубокая. Однако главное и весьма своеобразное украшение Старобельска составляют меловые горы. Они высятся над речкой на правом, незаселённом её берегу. Горами этими Адриан имел возможность любоваться сколь угодно в присутственные часы. Ведь на них выходило окно кабинета, отведённого для военного фельдшера в Старобельском винном заводе, горожанами он чаще назывался казённым спиртзаводом или просто монополией. Поскольку водку надлежало готовить, используя мягкую речную воду, солидное это, из красного кирпича,

заведение было возведено как можно ближе к Айдару в конце Монастырской улицы, однако на возвышенности, чтобы не заливалось во времена коварных здесь весенних наводнений. Прежний военфельдшер отбыл в действующую армию вместе с большей частью личного состава Старобельского 202-го резервного батальона, и в кабинетик, как бесхозный, всегда полупьяные заводские рабочие успели нанести всякого ненужного хлама. Новому хозяину помещения пришлось самому вычищать этот сор, и, увы, не обнаружил он в нём жемчужного зерна – если не считать помятый походный самоварчик. И в новом военном фельдшере управляющий заводом, коллежский ассессор Тимофей Михайлович Ханенков, не увидел никакой особой ценности для себя и для водочного производства, о чём и дал понять при первой же встрече. В обязанности военфельдшера при заводе входила выборочная проверка качества водки, отправляемой на армейские склады, потому что кому-то из высокого интендантского начальства пришло в голову, что для армейского потребления необходим с особой безукоризненностью очищенный продукт. Эту идею Ханенков, выглядевший скорее, как купец средней руки, считал нелепой, поскольку конечный продукт на заводе и без того достаточно строго проверялся обычными методами, и военный фельдшер со своим добавочным спиртометром выглядел фигурой чисто декоративной.

Иное дело, что с объявлением перед самой войной в Российской империи «сухого закона», когда производство водки сократилось, а потребности армии в ней остались прежними, значение армейского контролёра несколько возросло. Ведь под видом армейской поставки можно был пустить больше продукта налево, в сеть закусовых, блинных, трактиров и прочих значных мест, где, в отличие от ресторанов, торговать водкой теперь воспрещалось. Следует заметить, что по дороге, размышляя о новой своей должности, Адриан предугадал, что ему будут предлагать взятки, и обдумал свою линию поведения. Однако при первой их беседе Ханенков никаких взяток ему не предложил, намекнул только, что личные потребности фельдшера в дважды очищенной, её же и монаси приемлют, готов в разумных пределах удовлетворять из казённого склада. Адриан признался, что практически не пьёт. Впрочем, добавил, для медицинских целей ему может понадобиться спирт, но это пока предположение только. Управляющий, замученный своими работягами-выпивохами, взглянул на фельдшера с симпатией и пообещал, что решит все вопросы, пусть только господин фельдшер обращается прямо к нему.

Путив в ход выписку из экстраординарного приказа принца Ольденбургского, где ему на полгода назначался двойной паёк, Лаптев стал на довольствие в пустующей солдатской столовой резервного батальона. Побывав на приёме у воинского начальника, пожилого майора, потерявшего руку на японской войне, он получил для проживания в

казарме батальона одну из свободных унтерских не так комнаток, как каморок. Помещение, малое по площади, зато вполне отдельное и на удобном расстоянии от мест общего пользования. В казарме остался только один взвод для несения караульной службы у батальонных складов, и Лаптеву даже показалось, что из неё успели выветриться густые солдатские запахи. Воду для чая он кипятил на щепках в том самом самоварчике, своими руками починенном. Вернул, стало быть, и с избытком, уровень житейского комфорта, которым располагал в Ломже, и только горько сожалел о потере своего заветного несессера. Без этой красивой, добротной вещицы и в отдельном жилье чувствовал он себя сиротливо. Следует признать, наградные серебряные часы утешали его только частично. Потому, быть может, что не сам их выбирал.

Устроившись таким манером в Старобельске, Адриан решил, что дурак был бы, если бы потратил полученную передышку (полугодичную, как он рассчитывал) на восстановление веса и даже отращивание заново молодого брюшка, или того пуще, на пристальное изучение процессов производства водки. Не будучи дурак, Адриан вернулся к своей давней заветной мечте – подготовиться к сдаче экстерном экзаменов на гимназический аттестат. Он знал уже, где и сдавать сможет эти экзамены, – в далёкой Тифлисской губернии, а именно в мужской гимназии города Кутаиси, где, как говорил по секрету ему один вольноопределяющийся ещё в Белозерском полку, самые снисходительные и неприставучие экзаменаторы во всей Российской империи.

Не теряя драгоценного времени, военфельдшер записался в старобельскую общедоступную библиотеку, однако гимназических учебников на её полках не оказалось. Библиотекарша Марфа Павловна, сутулая девушка лет тридцати в пенсне, сама огорчилась. Зато, перевернувши подшивки газет и журналов «Нива» и «Огонёк», Адриан начитался-таки корреспонденций о подвиге своего несостоявшегося соперника в хитроумной российской военной пропаганде казака Кузьмы Крючкова. Нет, такой известности он не хотел бы для себя. И, прежде всего, потому, что она отнюдь не обещала самому герою долгого продолжения жизни: ведь придётся подтверждать славу новыми невероятными деяниями.

Продолжив поиск учебников, Адриан познакомился с библиотекарем Старобельской мужской гимназии и сумел расположить его к себе. После долгих уговоров, оставив в залог большую часть своего месячного денежного содержания, получил он для штудирования потрепанные, но ещё годные учебники. Каптенармус резервного батальона Миллер взялся подучить любознательного военфельдшера немецкому языку: немец, он чувствовал с началом войны холодность сослуживцев, а

общение с Лаптевым поднимало степень его самоуважения. Это была неслыханная удача, ведь теперь конфуз, случившийся с его франсезем, не повторится.

Покидая по утрам свою казарменную келью для манипуляций со спиртометром на заводе, Адриан всё оставшееся светлое время суток учился и зубрил, а вечерами, лёжа в экономной темноте (с началом войны керосин, оказывается, здорово подорожал), повторял по памяти выученное. Прирождённое упорство не давало ему отступить, и казалось уже, что приближается осуществление мечты, когда произошло событие, едва не разрушившее все планы новейшего Ломоносова. Его угораздило влюбиться. Втюриться, врезаться, втрескаться! И до чего же не вовремя...

На казённом спиртном заводе служили и девушки. Известно, что есть такие рабочие места, куда мужчину никогда не возьмут, потому что там необходимы чисто женские качества – терпение и прилежание. Например, только женщины заворачивают конфеты, мужик такую работу не перенесёт, свихнётся, запьёт по-чёрному. Оказалось, что и в водочном производстве есть такая чисто женская должность – калибровщица. Ухватив пальцами каждой руки по две полных бутылки, она должна переставить их с одной движущейся матерчатой ленты на другую, по пути проверив, нет ли в какой ёмкости сору и все ли наполнены доверху. Вернулась к первой ленте, а там уже новые четыре бутылки подплывают. После «сухого закона» осталось на заводе только три калибровщицы – Фенька, Оксана и Катя. Первая была развязная на язык мещанка, очень некрасивая, вторая – типичная малороссиянка, и говорила порой такое, что Адриану и не понять. А вот третья, Катя, была очень скромна и молчалива, её тонкая фигурка в грубом брезентовом фартуке вызывала у Адриана лёгкую жалость. До поры до времени только лёгкую жалость...

Проходит как-то Адриан со своим спиртометром через светлую калибровочную. На ходу:

- С добрым утром, красавицы!
- Здравия желаем, господин фельдшер!

И смех, конечно. Только Катя на этот раз не рассмеялась. Адриан оглянулся на неё – этак рассеянно, о своих тангенсах и косинусах размышляя. И его будто по голове бутылкой ударило, чуть спиртометр не упустил на пол. Выскочил в тёмный, заставленный ящиками коридор, и попытался понять, что же случилось. А то случилось, что Катя на него через плечо поглядела – так, будто на пустое место, и не распознала даже, быть может, кто это топчет по калибровочной. Однако вот ему она точно и полно, будто на моментальной фотографии, напомнила позу, положение головы и даже выражение лица, с которым бросила на него презрительный взгляд проститутка Мими в борделе на

Краковской в Ломже уже почти год тому назад. Это когда в её крохотной комнатке раздевался. Не из-за этого ли взгляда и приключился тогда с ним срамной конфуз?

Но вот теперь... Коту под хвост пошли тем утром занятия Адриана! Сложилось так, что именно тогда начинал он не только уже отъедаться, две пайки как никак употребляя, но и в прочих отношениях возвращался в нормальное своё состояние. Вновь стали посещать его страстные сны, вот только не бесплотные, на сухую, без всяких физиологических проявлений, таковые и в лагере для пленных бывали, но полноценные, и даже казённую простыню разок довелось замочить. А когда, закрыв за собою дверь в калибровочную, застыл он в полной прострации в темноватом коридоре, ощутил вдруг, что его живой спиртометр, в противоречии с общим состоянием организма, дёрнулся и, как умел, напомнил о себе. Пришлось даже пережить, нарочито охлаждая непокорную плоть, для чего заставил себя вспоминать значения тригонометрических функций. Кое-как справился он тогда со своими обычными спиртоизмерительными обязанностями, хоть и отвечал на вопросы заводских невпопад.

Зато уже на обратном пути в казармы наваждение вернулось. Всю недолгую дорогу пустынными старобельскими улицами перед Адрианом стояла тонкая фигурка Кати, лицо же оставалось пленительно неясным, непонятно было даже, не Мими ли он на самом-то деле вспоминает, и на кого из двоих направлено сейчас его животное, культурного человека недостойное, по-видимому, желание. И ещё удивительным ему казалось, что вот же всю жизнь нравились девушки крепенькие, полненькие, этакие воспроизведения приснопамятной Фёклы Ефимовой с фигурой, как у гитары, а втрескался сейчас в тощую, субтильную девицу.

Запершись на крючок в своей каморке, он плюхнулся на койку, покрытую серым солдатским одеялом, и пустил мысли в вольное плавание, надеясь всё-таки и трезвое свое соображение задействовать. Вопрос о том, достойно ли это стремящегося к образованию человека XX века – испытывать столь сильную похоть, готовую снести все преграды на своём пути, пришлось оставить открытым. И потому, прежде всего, что Адриан всерьёз засомневался, имеет ли уже право называться современным культурным человеком. Деревенский увалень, вот он кто, черпавший сведения об отношении между полами из матерных частушек и срамных сказок для взрослых, а также из подглядываний за соитиями людей и случками животных. Обескураживающая и даже прискорбная истина, что в жизни и литературе это совершенно разные вещи, открылась ему в те ещё, подростковые годы. Да и сейчас не смог бы, снова не заглянув в книжку, определить, испытывал ли Онегин в своей страсти к Татьяне Лариной такое, как он ныне. Или сама

Татьяна в любви к Онегину, случившейся несколько ранее. Впрочем, Татьяну в сторону, дай бог хоть в мужских чувствованиях как-нибудь разобраться.

А если даже ограничиться мужчинами, всё же полнее баб воплотившими в себе высокий образ Божий, то у них телесную страсть приходится отнести к животному началу в человеке, изначально унаследованному от хвостатых предков, – если прав, конечно, дерзкий мыслями англичанин Дарвин. Изначальное родство здесь, кстати, проявляется и в тёплых чувствах дружбы и доверия, порой связывающих человека и собаку, человека и лошадь. А также в случаях удовлетворения человеческой похоти с животными, с козой или свиньей. Отвратительно такое безобразие, но случается, увы... Тотчас же его в сторону занесло, и ни с того ни с сего возникла перед глазами Мими, стоящая на четвереньках (или всё-таки Катя?) в похабно задранной на заднице рубашонке. Тьфу ты, сгинь, наваждение! От упомянутых же чисто телесных влечений никуда не деться, их надо покорно удовлетворять – с научной медицинской точки зрения это, говорят, самое благоприятное решение, если желаешь сохранить здоровье. Куда опаснее казалась тогда Адриану психологическая (вот именно психологическая!) основа охватившего его неистовства.

Ведь он не просто вот так, ни с того ни с сего, на пустом месте бешено возжелал вдруг эту Катю-калибровщицу, но возжелал не столько в качестве её самоё, но как некое новое воплощение полячки Мими, которой он так и не сумел по-мужски овладеть, хоть и сполна, наперёд оплатил бандерше час её недешёвого времени. Было ли это желанием мести? Но такая месть бессмысленна не только в отношении ни в чём перед ним не повинной Кати, о которой, кстати, он равным счётом ничего не знает, но и в том едва ли вероятном случае, если мстить собрался женскому полу вообще. Да уж, его продолжает заносить. При чём здесь женский пол вообще? И тут с горечью осознал Адриан, что за идеей мести, за желанием подчинить себе незнакомую фактически девушку, потоптать её, как петух топчет курицу, скрывается кое-что ещё похуже. По большому счёту ему плевать на Мими: у той, быть может, уже и нос провалился, или зарезал её сумасшедший пользователь. Да нет, едва ли за год тот тонкий иноземный носик провалился, но уж очень хочется, чтобы негодяйка сдохла под забором. Бог с ней, с Мими, не стоит так злобствовать. Вот уж точно, что эта ненависть смешна. И не так уж сложно было бы успокоить взбунтовавшуюся внезапно плоть. Ведь он на армейской службе, ведь идёт война, разрушаются целые города, горят мирные деревни, народы Европы испытывают неслыханные лишения. Сам ведь был близок к голодной смерти. Вот и потерпел бы. Тем более, что запойные занятия той же математикой преотлично выбивают из головы всякую дурь.

Но задето его самолюбие! Неудача с Мими подтачивает, как жучок мебель, и разъедает, будто моль сукно, да что там – уничтожает напрочь его самоуважение. Повторить ситуацию и на сей раз оказаться на высоте – вот о чём он на самом деле мечтает. Неужели всё так просто? Адриан уже знал, что старобельский исправник разогнал городской бордель на следующий же день после того, как резервный батальон походными колоннами промаршировал на Сватову Лучку, чтобы с тамошней железнодорожной станции эшеленом отправиться на фронт. Что ж, давай тогда, начиная расспрашивать о местных бланковых Лаисах, которые подешевле. Найди тощую блондинку, похожую на проклятую ту Мими – и вперёд к психологическому равновесию! Но тут опять явилась ему внутреннему взору во всей своей победительной наготе не то злая Мими, не то неизвестно какая, только демонски соблазнительная Катя, и все рассуждения страдальца накрылись медным тазом.

Не сумев заснуть, Адриан израсходовал драгоценную спичку, чтобы осветить циферблат наградных часов. Половина третьего ночи, ничего себе дела. Той же спичкой затеплил огарок свечи на треснувшем блюдечке, заменявшем ему подсвечник. Он давно смастерил себе светец и обходился бы лучинами, если бы не боялся насмешек батальонных унтеров. Вздыхнул – и со скрежетом зубовным раскрыл учебник математики. Дважды прочитал строчку – и ничего не понял. Поднял голову. Ухватил за хвост промелькнувшую в момент чтения мыслишку, что не худо бы, о конспирации предупредив, порасспросить про Катю управляющего заводом, всезнающего и себе на уме Тимофея Михайловича. Утвердился в этой мысли и тотчас же начал понемногу успокаиваться.

Утром, почти не спавший, и оттого от двойного солдатского завтрака осоловев, притопал Адриан на завод. Снова ему проходить через калибровочную. Снова на ходу, только на сей раз петуха запустив:

- С добрым утром, красавицы!
- Здравия желаем, господин геройский фельдшер!

И смех, конечно. А Катя снова не рассмеялась. Осмелился взглянуть на неё Адриан – она снова печальна, и глаза вроде заплаканы. Сдуру пришло ему в голову, что девушка прознала, в каких видах грезилась ему этой ночью, оттого обиделась и огорчилась. И прежде чем уразумел абсурдность догадки, бросило его в жар. Пришлось топтаться в тёмном коридоре, ожидая, пока на лице густой свекольный цвет (знал ведь, как именно краснеет) не переменится на обычный.

Отделавшись в лаборатории, Адриан притопал по тому же коридору к кабинету заведующего. Постучал, отчего-то надеясь, что того нет на месте.

– Войдите!

Он вошёл и поздоровался по-военному, с мыслями в тот момент собираясь. Ханенков ответил, предложил садиться, а взгляд его из безразличного переменился чуть ли не на осуждающий. Серые глаза, во всяком случае, сузились, а рот недовольно скривился. Адриан вдруг догадался, о чём подумал Тимофей Михайлович. Что фельдшер за взяткой наконец-то появился, вот чего управляющий вообразил. Адриан почувствовал, что снова, и опять катастрофически, краснеет. Необходимо тотчас же заговорить.

– Тимофей Михайлович, я к вам по делу довольно деликатному. И желая избежать огласки... Я хотел бы навести у вас справку об одной вашей работнице, вот что.

Ханенков тотчас же прищурился ласково, этак вроде покровительственно, заулыбался.

– И о ком это, господин военфельдшер?

– Да о Кате-калибровщице. Мне б узнать, кто у неё родители, к примеру.

– А... Беда с этими девицами на мужском производстве. Вот Феньку хотя взять. На язык несдержанна, матом так и кроет. Личиком скорее дурнушка, но формы имеются. И почему бы военному человеку и не притиснуть такую по-быстрому в тёмном уголке?

– При чём же тут Фенька, позвольте полюбопытствовать?

– А при том, молодой человек, – пояснил управляющий тоном едва ли не отеческим, – что зимой мои мастеровые, больше спяну, вот именно и решили её приголубить. Зимой работу заканчиваем ведь уже в сумерках, да... Так Фенька тем троим... поклонникам чуть глаза не выцарапала, пришлось разбираться и ребят штрафовать. Или Оксанка... Оксана у нас роскошная деваха, правда ведь? Я и сам, будь чуток помоложе, не преминул бы приударить. Да вот только у нашей черноокой... и с отменными буферами... У Оксаны, говорю, жених на фронте. Приедет в отпуск, ухажёру рожу начистит. Парень здоровенный. Знаете шансонетку? «Я так люблю военных, красивых, здоровенных!».

– Тимофей Михайлович, я ведь о Кате вас спрашивал...

– А что Катя? Я ведь к Кате и подвожу. Катя не для вас, молодой человек. Поищите себе лучше шлюшку какую, только пригородную. Меньше шансов тогда, что сплетни пойдут.

– И куда вы всё сворачиваете, Тимофей Михайлович? Я спрашивал о родителях вашей работницы Кати, только и всего...

– Не только и всего, Андриан... э-э-э...

– Иванович. И Адриан, с вашего позволения.

– Так вот, Андриан Иванович, наша Катя, Екатерина Епифановна Сколимовская, столбовая дворянка. Епифан Винцентрович Сколимовский был тут у нас после японской войны предводителем дворянства. А по матери своей Катя – из рода старейшей у нас и весьма уважаемой дворянской фамилии Деменковых. Провинциальная аристократка, так сказать. Да, можно сказать.

Адриан крякнул. Помолчал. Потом спросил, постаравшись за ехидством скрыть разочарование:

– Тогда зачем же она, эта ваша старобельская аристократка Катерина Митрофановна, перетаскивает у вас тут с места на место по четыре полные бутылки за раз?

Ханенков поднял полуседую бровь. Очевидно, отозвался таким образом на «Митрофановну», однако предпочёл не предавать значения деталям.

– А вот зачем. Он, ведь разорился, её отец. Основная причина – неурожай, прочих изъяснять не буду. Когда выдал замуж самую старшую дочь, и с большим приданым, любил повторять в клубе: «Мои девки ещё пустят меня по миру». Ну, не одни дочери... Сколимовский и сам вынужден был пойти служить. Бумажки теперь перекладывает в нашей уездной земской управе. И это будучи в чине статского советника.

– Что ж не подмогли ему женины родичи? Те старейшие здесь Демичевы?

– Деменковы? Да они ведь тоже разорены. У них и поместье уплыло в потомственном их владении Каряковке. И дом роскошный, прямо напротив Покровского собора, Катиному деду пришлось продать. Но их, Деменковых, по-прежнему все в городе крепко уважают, к ним всегда прислушиваются. Входят они в наш старобельский, с позволения сказать, ареопаг. Не на ту девицу вы глаз положили, Андриан Иванович.

– Что ж, благодарю за сообщение, Тимофей Михайлович, – встал и поклонился Адриан. – Позволю себе высказать надежду, что разговор останется между нами.

– Разумеется. А я всегда рад помочь молодому человеку.

Глаза Ханенкова смеялись. Адриан с облегчением душевным ретировался из его кабинета. Не поднимая глаз, прокрался через калибровочную и заперся в своей камерке. Было о чём поразмыслить. Кому приятно, когда тебя щёлкают по носу? В чине статского советника, говоришь? Но не сама же Катя пребывает в чине статского советника? И кто знает, Мими не дочь ли тоже какого-нибудь разорившегося шляхтича? Адриан криво улыбнулся. Лучше бы не думать в том направлении, что и Катя, и Мими – обе трудящиеся девушки: для Кати шибко обидно. Уже и то игривый оттенок всему происшествию придаёт, что эта тоже по отцу полячка. Однако столбовая дворянка Катя вынуждена работать, как простая пролетарка, на водочном заводе, и здесь возникает его

единственный шанс. Шанс добраться до неё, вот какой шанс... И тут Адриан снова погрузился в эротические мечты, но теперь в них Катя представала уже не покорной одалиской, а строптивой партнёршей, желающей господствовать над ним в стыдном деле... Отрезвившись, он с горечью констатировал, что установленное в империи столь прискорбное сословное неравенство формирует по-своему даже его заветные грёзы. И что Катю, какой бы она не была на самом деле, даже в сокровенных мечтах трудно было себе представить сливающейся с ним на трёхцветном флаге Великой Французской революции и в пароксизмах страсти восклицательной: «Либерте! Эгарнитэ! Ах, фратернитэ...».

Впрочем, он тут же вспомнил, что знает в Старобельске ещё одну трудящуюся девушку, которая, возможно, не прочь поучаствовать, пусть и силою воображения только, в такой сцене. Старовата уже, правда, но чем чёрт не шутит? Решил вернуться к реальности и пришёл к выводу, что именно эта передовая девица, городской библиотекарь Марфа Павловна Люлькина, сможет рассказать ему о семье Сколимовских такое, о чём умолчал по каким-либо причинам даже насмешник Ханенков. Да и кто, как не старобельские девушки, осведомлены друг о друге? Решено, он пойдёт в библиотеку тотчас, как она откроется. Адриан вытащил из нагрудного кармана новой гимнастёрки часы и откинул их крышку.

VIII

Читателей в библиотеке не оказалось, а Марфа Павловна при появлении Адриана постаралась выпрямить свои поникшие плечики. Он, поздоровавшись, сразу взял быка за рога. Марфа вскинула на свой напудренный носик пенсне, висевшее на шнурке, и внимательно рассмотрела Адриана. Переспросила:

– Стало быть, вы, Лаптев, просите меня рассказать подробнее о семействе Сколимовских? И кто же вас в этом пресловутом семействе заинтересовал конкретно?

– Ну... На водочном заводе со мною рядом служит простой работницей некая барышня, Сколимовская Екатерина. Желательно мне узнать, как такая диковинка витанцевалась, что дочь бывшего предводителя дворянства возится с бутылками. И, коли уж на то пошло, почему вы, Марфа Павловна, назвали эту семью пресловутой?

– Садитесь, Лаптев, и посплетничаем вдоволь, пока читатели не набежали. Да, кстати, лучше называйте меня по фамилии, как у нас среди своих принято. Я ведь в прошлый ваш приход вас правильно поняла? – и она смешно пригнула голову к столу. Перешла на громкий шёпот. – Вы ведь сочувствующий эсдекам, а именно большевикам?

– Так точно, – подтвердил он. И оглянулся на дверь.

– Брат мой Михаил учился в Харьковском университете, а на его каникулах мы с ним в революцию пропагандировали местных селян, подбивали на бунты и захваты земель. Распространяли литературу, само собой, даже кое-какие прокламации печатали на гектографе. Крепкая устроилась группа РСДРП, да только все в кутузку угодили. В здешней тюрьме (видели её уже, уродину?) мы просидели недолго. Погнали нас отсюда до Сватовой Лучки по июльской жаре пешком, чтобы везти железкой на суд в Харьков. Родичи и друзья чуть ли не полдороги провожали, будто на Голгофу. Меня-то, подержав, отпустили, потому что наши олухи с «селёдками» не предоставили на меня доказательств, а Миша загремел в тюрьму. Так до сих пор и не закончил, бедный, университетский курс, хоть и восстановился одно время в Казанском... А я тут, в милом отечестве, обрастаю паутиной. Ну, о Сколимовских кое-что мне небезызвестно. У меня в библиотеке, знаете ли, этакий клуб из постоянных читателей составил. Вот мы, нет, чтобы новейшие романы или последнюю брошюру Ленина обсуждать, и чешем здесь языки, прополаскиваем косточки землякам. А куда чаще землячкам, понятно.

– Отсутствие железной дороги мне удивительно, – пробурчал Адриан. – Таки до вас доходят последние брошюры главного большевика?

– Доживите здесь до первого дождя, и вы увидите, в какое болото превратятся не мощёные улицы Старобельска. А дотянете до весны, помокнете в нашем ежегодном наводнении. Относительно же брошюр... – она коротко взглянула на дверь. – Доходят брошюры, Лаптев. И кое-что снова делалось и в нашей глуши, пока самых передовых рабочих не загребли по мобилизации. Но вы спрашивали о Сколимовских.

И трудящаяся девушка достаточно толково рассказала о Катиной семье, при этом наговорила и много лишнего, точнее, ненужного в тот момент Адриану. Нужно же он постарался вспомнить и упорядочить, лёжа вечером в тёмной своей камерке. Итак, отец Сколимовского был выслан в Старобельск из Польши после последнего польского восстания, да здесь и остался. Прижился, разбогател и даже в православие перешёл. Единственный сын его Елифан Сколимовский, женившись на родовой Деменковой и получив большое приданое, стал центром светской жизни старобельского дворянства, что и сыграло свою роль на выборах предводителя. Азартный игрок, на картах профукал большую часть приданого жены, пришлось продать и добротный дом на Соборной. Поскольку крепко задолжал партнёрам в клубе, переключился на пари, а их затевает со знакомыми и незнакомыми при первой возможности. Как-то промежду раздачами карт Господь осчастливил его четырьмя дочерьми. (Хотя, нет, разве могла так сказать передовая Марфа Люлькина? А вот это именно и сказала). На старшей дочери, Саша, женился местный чиновник, и вскоре увёз её в Питер, куда устроили ему перевод

влиятельные столичные родственники. Библиотекарша училась вместе с Сашá в высшей начальной школе для девочек и рассказывала о ней больше, чем о её сёстрах, но не о Сашá ведь желал Лаптев услышать. Следующая по возрасту дочь поступила уже в кстати открывшуюся Екатерининскую женскую гимназию на площади Гоголя, роскошное современное здание, там даже паровое отопление есть! Крещена Зинаидой, дома её называют Зизи, гимназический аттестат не помешал ей стать сейчас героиней скандальной хроники города. На образование Катишь («Катишь? Ну, ну...») денег уже не достало, и она после начальной школы ходила ещё только в монастырское заведение для благородных девиц, где учат домоводству и шитью. Теперь помогает отцу содержать семью, уродуясь на водочном заводе. О самой младшей сестре, Манó, известно только, что после школы сидит безвылазно дома, ухаживает за больной матерью. Адриан тогда пробурчал: «Похвально». И, естественно, попросил подробно изложить те страницы скандальной летописи Старобельска, где отметилась сестра Катишь. Бросая, между прочим, тень и на своих добродетельных сестёр.

– Бросая тень, говорите? – подняла тут Марфа Павловна свои почти незаметные бровки. – Разве что с точки зрения тупого мещанства. Провинциального мещанства, а значит, тупого вдвойне.

Оказалось, что Зизи влюбилась в местного телеграфиста, хроменького и очень застенчивого молодого человека. А точнее, так это он первым в Зизи втюрился и начал писать ей любовные письма. («Посылать телеграммы», – подхватил Адриан). Да нет, о телеграммах ничего не известно. Они встретились на пикнике и к вечеру, когда вся молодёжь была уже под шофе, уединились в лесу. Это случилось в мае, и свидания сладкой парочки не прекращаются до сих пор. В прошлое воскресенье Зизи видели на Старотаганрогской поблизости от квартиры её телеграфиста, при этом квартирная хозяйка его, известная в городе вдова-купчиха Панфилова, уходила тогда на базар. Город прямо кипит. Один Сколимовский, как водится, ничего не замечает. А тут ещё кому-то пришло в голову сравнить сей роман с описанным в нашумевшей повести Куприна «Гранатовый браслет», так народ бросился читать эту повесть, и у Марфы Павловны сразу улучшилась статистика посещений. Она спросила Лаптева, читал ли он «Гранатовый браслет». Адриан буркнул, что служил в Польше, а в армии, в нижних чинах пребывая, знакомиться с литературными новинками не так и просто. Трудящаяся девушка выразила сожаление, что не может дать ему журнал с этой вещью на прочтение: как раз дошла очередь до одного из продавцов торговых рядов Склярова, а тупица Андрюха Ревякин держит книги очень долго, а ещё портит их своими дурацкими замечаниями на полях. Адриан попытался

перевести разговор на Катю, то бишь Катишь, однако неудачно. Поинтересовался этак небрежно:

– А Катишь, она такого же легкомысленного поведения, как старшая сестра?

На что получил отповедь, однако не в защиту именно Катишь она была направлена, а утверждала права девушек поступать, как диктует им естественное чувство. И даже странно, что такие нелепые вопросы задаёт сочувствующий эсдекам. Пусть Катишь Сколимовская и дворянка, волею судьбы оказавшаяся в пролетарском окружении, но она такой же свободный человек и так же вольна устраивать свою судьбу, как и господин военный фельдшер. А кстати, не замыслил ли он посвататься к Катишь?

Адриан так искренне изумился этому предположению, что библиотекарьша прыснула смехом. Отчего сразу же помолодела и даже похорошела. Он тоже усмехнулся: это надо же, столь пылко желал заполучить в свои объятия Катю, что даже не подумал, как к этому сладостному триумфу подступиться, какие практические шаги предпринять. Однако жениться в его житейском положении – безумие или клоунада, по делу Марфа его осмеяла. Адриан перевёл разговор, задав вопрос по своей, медицинской части: а чем, мол, больна жена Сколимовского?

– Разбита параличом. Сплетничают, что после грандиозного проигрыша супруга.

Жаль, конечно, обнищавшую и беспомощную даму, но... Что Адриану до неё? Это дочь страдальцы не позволяла забыть о себе, точно гвоздь в сапоге. Свой пристальный интерес к Кате он побоялся подчеркнуть и перестал расспрашивать. Осведомился на прощанье, не желает ли Марфа Павловна посетить вместе с ним сеанс в синематографе «Фурор». В ответ трудовая девушка, шмыгнув носом, поблагодарила за приглашение, но... Синематограф, дескать, это пустое развлечение, к тому же в Старобельске билеты в «Фурор» жутко дороги. Целый полтинник, словно в лучшем иллюзионе Петербурга. Слава Богу, у них с братом собственный дом в городе, на Пушкинской, и по четвергам после присутственных часов у неё собираются интересные люди. Если есть желание, пусть Лаптев приходит в следующий четверг. Будет дискуссия о положении фабричных рабочих в военное время. Адриан обещал подумать и тут же выбросил дискуссию из головы. В мыслях его установился такой сумбур, что даже не сразу вспомнил потом, в тёмной камерке, о чём дискуссия.

Той ночью Адриан заснул сразу, будто в омут нырнул. Снов не запомнил. Очнулся на рассвете с той же мыслью, с которой засыпал. Жениться в его положении – это безумие, однако другого выхода нет. Пусть ему откажут – подумаешь! Плевать он хотел на здешний свой позор. Ну, посмеётся над ним Ханенков, осудит передовая девушка Марфа Павловна, а ему через полгода снова на фронт. И захочет – больше никогда в

жизни вашего нелепого Старобельска не увидит! И тут он сообразил, что прежде всего должен завести знакомство с Катей, внимательно прислушаться к ней и присмотреться. Надо заговорить с нею – и сегодня же! Он подскочил с койки и извёл на своё умывание целое ведро воды, благо казарменный умывальник наполняется из водопровода. Разумеется, в ход пошёл и зубной порошок Маевского, которым снова обзавёлся. Тщательнейшим образом побрился и щёки после ополоснул не остатком кипятка, как обычно, а «Тройным одеколоном» фабрики «Новая заря», купленным уже в Старобельске в магазине Руднева. И со скидкой, потому что у толстого флакона скол на донце. Сапоги не стал доводить до максимально возможного блеска: едва ли барышня оценит такую армейскую щеголеватость. А вот каблуки обязательно надо подбить: Катишь одного с ним росточка или, не дай того бог, даже выше на неполные полвершка. Нашел временное решение, подложив в сапоги под пятки по скомканной старой газете.

Он примчался на службу слишком рано. Калибровочная пустовала, и все ленты стояли. Не успел огорчиться, как влетела Катишь, небрежно кивнула в ответ на приветствие военфельдшера и принялась стаскивать и устраивать на вешалке своё демисезонное пальто. Ага, в рабочий фартук она облачается уже дома. И что из этого следует? Что талия тонкая, вот что. Обернулась к нему, и на лице её отразилось удивление: почему-де не уходит по своим делам? А он будто язык проглотил, уставившись на Катишь. Красива ли она? Черты лица правильные и как будто воздушные. Глаза голубые, и зелени в добавку немножко. И печали тоже много. Волосы спрятаны под косынкой. Губы скорее большие, чем маленькие, и так же нетверды в границах, как и всё в облачном её лице, кроме, разве что, глаз...

– Что вам угодно, господин военфельдшер?

Адриан покашлял. Ишь, чего захотела... Так он ей и скажет, для чего ему понадобилась! Впрочем, уж ежели природа создала... Не додумал он эту мысль: молчать и дальше – сущим дураком себя аттестовать. Он промычал, что ему угодно познакомиться, а зовут его, барышня, Адрианом Ивановичем Лаптевым.

– А зачем нам знакомиться? – распахнула она свои глазищи до отказа. – Ах, это ведь невежливо я ляпнула, хотя... Меня Катишь зовут, Катей. Екатерина Епифановна Сколимовская.

– Наслышаны мы... Почему ж не познакомиться, Екатерина Епифановна? Служим ведь в одном заведении. В свободную минутку отчего бы словом не перекинуться об умственных предметах? Или вот позволили бы сводить вас в синематограф посмотреть новую фильму.

Она сморщила свой гладкий лобик – и вдруг невесело рассмеялась, показав мелкие, но безукоризненной формы зубки.

– Да нет, едва ли я гожусь для умных разговоров – папá меня иначе, как прискорбно недоученной, и не называет. А вот синема... Едва ли это прилично, посещать синема с малознакомым *jeune homme*. Ах, извините...

– Пустое, Екатерина Епифановна, я маракую во францезе. И во внимание прошу принять, что это вчера я был незнакомый женáм, а вот сегодня мы уже с вами познакомились.

И с немалым изумлением вдруг понял, что одолел некое препятствие. Вот она, на расстоянии шага, вожденная Катишь – и они запросто разговаривают. Как ему захотелось теперь, чтобы эта тёмная, сна лишаящая, жгучая тяга к ней совсем исчезла! Но нет, животная похоть осталась, только спустилась на болотное дно его души.

– ...«Оборона Севастополя», фи... Очень уж старая фильма. И как им не стыдно такое без конца показывать! Разве чтобы на красавчика Мозжухина посмотреть, ещё молоденького, хоть и с приклеенными усами и бородой. Лучше «Ключи счастья» привезли бы, наконец, и в наш «Фавор». Вы знаете, что эта фильма была запрещена для всех учащихся империи?

– Нет, не знал, Екатерина Епифановна. На фронте не до синематографа нам было, а в мирное время моя часть стояла в Польше, там больше заграничные фильмы показывали, и подписи чаще польские были, не всегда успеваешь сообразить смысл. А что до «Ключей счастья»... Мы-то с вами ведь не учащиеся, правда?

– А вы с такой горечью это сказали, Андриан...

– Адриан, если позволите вас поправить... Правильно: Адриан. Адриан Иванович, позвольте повторительно отрекомендоваться.

– Ладно. Так вот, вы с такой горечью сказали, Адриан Иванович, что не учащиеся мы с вами. Так жалобно, что и мне стало вдруг грустно.

– О! До чего ж я рад, Екатерина Епифановна, что мы понимаем друг друга! Об вас в этом разрезе я не осведомлён ещё, однако лично я обязательно добьюсь своего – получу настоящее образование! Но ежели вам интересно мое собственное мнение о синематографе...

Однако собственного мнения о синематографе не удалось ему изложить, потому как в калибровочную ворвались товарки Катишь, мгновенно избавились от платков и тулупчиков, метнулись на рабочие места. Только поздоровались, как лязгнула первая, Катина лента, а там и вторая поползла. Катишь кивнула рассеянно и, расставив руки,

повернулась к подплывающим уже бутылкам. Адриан сделал неловкий общий поклон и ретировался в коридор.

Поскольку в маленьком кабинете нельзя бы расхаживать из угла в угол, Адриан, не желая садиться, топтался у стола и потирал радостно руки. Чему радовался, сам с трудом понимал. Перед его внутренним взором стояла Катишь, стояла спиной, покорная и с оттопыренными в стороны руками. Она приготовилась схватить разом четыре бутылки для проверки, а ему теперь представлялось, будто она, раскрывая объятия, шагнула навстречу возлюбленному. Адриану чудилось, что девушка им тоже заинтересовалась и именно его была бы рада ухватить своими ручками вместо сразу четырёх полных бутылок водки. К тому же придумки о том, как ему, ротному фельдшеру в командировке, содержать жену, возникшие у него во время бритья и тогда отвергнутые как чепуховые, теперь, после удачного, как казалось, разговора с Катишь, рисовались вполне реальными. Двойная пайка выручит! Казённого довольствия хватит и на подругу жизни тоже, а поселятся они на съёмной квартире. На квартплату пойдёт его фельдшерское жалование, и вот когда, наконец, он соберётся с духом и потребует от Ханенкова свою долю от пущенной налево водки для интендантства! Его неминуемое возвращение на фронт, это, понятно, важное препятствие для брака. Ну и что ж? Российская империя воюет, очень многие её подданные терпят различные бедствия и невзгоды. Различные? С чего бы это вдруг вспомнилось любимое словечко деревенского мудреца Ильи Елеферьевича? Когда заберут его снова, Кате придётся со съёмной квартиры съехать и возвратиться к отцу, но жить она будет на пособие, выплачиваемое жёнам военных-фронтовиков. О том, что замужество с ним для столбовой дворянки Катишь будет означать не только добровольное согласие терпеть нищету, но и спуск на несколько ступенек по сословной лестнице, старался не вспоминать. Ведь он же выучится, в конце-то концов, и станет получать хорошее жалование – если на войне, понятное дело, не убьют.

В два последующие дня Адриан сумел подбить у сапожника повыше каблуки, а также сподобился вдругорядь поговорить с Катишь наедине. Показал ей наградные часы, однако интриговал, не объясняя, за что получил их от великого князя Николая Николаевича. Удалось добиться принципиального согласия девушки на поход с ним в «Фавор», когда там станут пускать подходящую фильму. Правда, Катишь потребовала, чтобы они взяли с собою её младшую сестру Мано: надо же развеять немного добровольную сиделку! Однако поставила условием, что билет для Мано купит уже сама.

Адриан вбил себе в голову, что больше ждать не нужно, и дерзнул свататься. Постановил пойти для этого в земскую управу. Не то чтобы боялся заявиться к Катиному отцу на квартиру, просто считал, что будет иметь более комфортную позицию в случае

отказа, если объяснится с ним на месте службы. По этой же причине не стал отпрашиваться у Ханенкова, ушёл самовольно.

День выдался ясный, солнечный – и вроде бы это хорошая примета. Массивное двухэтажное здание земства высится на Коммерческой. С улицы нет у него подъезда, светит только двумя рядами чисто промытых окон, надо проходить через калитку в толстом, будто крепость здесь, кирпичном заборе и подниматься по лестнице не то на крытое крыльцо, не то в домик-вестибюль. Подниматься – а если это тоже хорошая примета? Подходя в пустоватом вестибюле к однорукому унтеру, сгорбившемуся за столом, Адриан вдруг ощутил, что трясётся от страха. Это же надо!

Оказалось, что Сколимовского можно найти в «Статистическом отделе», комната № 23. Адриан забыл спросить, на каком это этаже, о чём вспомнил уже на лестничной площадке, откуда можно было и подняться на второй этаж, и спуститься на первый. Предпочёл подняться – и не ошибся, нужная комната оказалась там.

Перед дверью перекрестился. Постучал, подождал ответа, не дождался, постучал ещё раз, спросил, можно ли, снова безрезультатно, и решился всё-таки отворить дверь. И опять:

– Можно?

Никто ему не ответил. Из восьми сидевших за столами, разномастно одетых штатских господ только трое подняли на посетителя глаза, оторвав их от бумаг. На столах, кроме бумаг, лежали счёты, на нескольких – стояли ещё и арифмометры, хитроумные машинки.

– Могу ли я поговорить с господином Коломойским? – во второй раз в жизни заикаясь на каждом слове, выдал из себя Адриан.

– Тут нет никакого Коломойского, служивый, – из-за стола, стоявшего у окна и в отдалении от других, живо отозвался пожилой господин. Начальник, небось.

– Миль пардон... Сколимовского.

– Епифаний Винцентович! – позвал начальник, по-прежнему разглядывая военфельдшера. – Извольте выйти поговорить с унтером. Заодно и освежитесь, а то дремлите сегодня всё утро.

Встрепенувшись, будто точно после дрёмы, из-за дальнего стола выбрался щуплый господин под пятьдесят в лихо скроенном, но потёртом сюртуке. Прощупал грудные карманы, кивнул и направился к Адриану. Тот сразу не смог определить, похожа ли Катишь на отца.

Сколимовский буквально вытеснил Адриана в коридор и протолкал до ближайшего окна. На подоконнике стояла щербатая фаянсовая тарелка, наполовину заполненная

папиросными окурками и горками выбитого из трубок пепла. В ответ на военное «Здравия желаю, Ваше высокоблагородие», земец кивнул небрежно, достал из кармана серебряный портсигар, из него папироску, постучал ею о портсигар, прикурил и, дым выпустив, осведомился, чего нужно.

– Дело-то у меня непростое, Ваше высокоблагородие.

– С векселем моим явился, кровопивец? У кого ты его перекупил? На какую сумму? – горестно, но с покорностью судьбе спросил Сколимовский.

– Упаси господи, какой ещё вексель? – вытаращился на него Адриан. И тотчас решился. – Я пришёл просить руки вашей дочери Екатерины Епифановны.

Катин отец хрюкнул, едва не проглотил папиросу, потом вытаращился не хуже военфельдшера.

– Как ты посмел? Нет, это что же такое? И почему тогда Катишь мне даже не намекнула?

– Екатерина Епифановна не осведомлена о моём сватовстве, осмелюсь заметить.

– Господи! Как же такое возможно? Да воинский начальник тебя на гаупвахте сгноит!

Надо сказать, что наглая реакция Сколимовского, как ни странно, помогла Адриану вернуть самообладание. Он пожал плечами.

– А как же иначе? Не к девке же сваты приезжают, а к родителям её. Я не простой унтер, а военфельдшер на водочном заводе и понимаю ваши семейные обстоятельства как медицинский работник. Не желая вашу больную супругу беспокоить, порешил вот прийти к вам, Ваше высокоблагородие, на службу.

– Поделикатничал, значит? А ты хоть понимаешь, что моя Катишь тебе неровня?

– Что неровня, это я понимаю, Епифан Викентьевич. Но я и то понимаю, что если ваша дочь на водочном заводе калибровщицей уродуется, то уже не совсем мне она неровня. Выйдет замуж – с завода уйдёт, и то для неё хлеб.

– Много ты понимаешь! Викентьевич... Винцентович я.

– Прошу извинить, Ваше высокоблагородие.

Несколько раз торопливо затянулся Сколимовский, начищенные новенькие сапоги Адриана разглядывая рассеянно, потом пробурчал уже поспокойнее:

– И как ты только мог рассчитывать, хам ты неотёсанный, что пролезешь в мою старинную дворянскую семью? Но... Я сначала всё-таки переговорю с Катишь. Что-то с нею не так... Женский пол – явление непредсказуемое, вот что я скажу. Да... Ты это правильно придумал, что явился сюда, а не к нам домой. Ну и ну... Вот и завтра, как

время присутственное закончится, жди меня на улице напротив управы на скамейке. Знаешь её?

– Никак нет, Ваше высокоблагородие. Однако же найду, не вопрос.

– Тогда тебе и ответчу. Будь ты человек моего круга, я бы тебе пари... на заклад бы с тобою побился, что Катишь устроит истерику и скажет «нет». Бывай, унтер.

– До свидания, Ваше высокоблагородие.

Глядя в худую спину стройного станом Сколимовского, незадачливый жених сам себя уговаривал, что злиться бессмысленно. На деревне, в Усть-Воже, богач ещё и не так покуражился бы над бедняком, осмелившимся посвататься к его дочке. Если отставить в сторону столбовое дворянство и чин, даже и разорившийся Сколимовский не богаче ли в несколько раз его, Адриана? Хлопнула дверь комнаты № 23, он сделал «налево кругом» и очнулся только в своём кабинетике на винном заводе.

Последовавшие за этим разговором сутки были ужасны. Адриан не пошёл на службу. Уверенный в том, что Сколимовский не станет тянуть с допросом дочки, он трусил встретиться с Катишь до того, как узнает окончательное решение её отца. Валялся на койке с учебником истории Иловайского. Казалось ему, что проштудировал целый «очерк», да вот беда: прочитанное вылетало тотчас же из головы. Когда, парюю недель позже, снова удалось Адриану по-настоящему засесть за учёбу, эти страницы пришлось изучать заново – и с ощущением, будто уже читал их в прихотливом сне.

Но вот сидит он на указанной ему скамейке и наблюдает, как земские труженики расходятся по домам. От волнения не сразу различает среди них Сколимовского в узком пальто и котелке. Тот у калитки земства озирается, будто не понимает, куда попал и как там оказался, потом, шаркая и явно не торопясь, направляется к Адриану. Опирается на тросточку, а ведь вчера без неё обходился. Остановившись перед вскочившим навстречу военфельдшером, по-прежнему смотрит в землю, точнее, на засохшие комья грязи, и начинает чертить по ней концом тросточки. Лицо у него совершенно несчастное, а под глазами не замеченные вчера мешки.

Даже не ответив на по-дурацки бодрое Адрианово приветствие, говорит раздумчиво:

– И представить я себе не мог, фельдшер, такого! Современная молодёжь не совестится, что живёт в великом XX веке, и решается на бесстыдное попрание законов божеских и человеческих. И это у нас, в медвежьем углу...

– Ваше высокоблагородие?!

– Фельдшер, вас, кажется, Андроном кличут? Очень, как видите, не рад я служить для тебя вестником Гименея, однако же вынужден... Катя пожелала выйти за вас замуж, а я не нашёл в себе сил противиться её воле.

Андриана сначала это «вы» поразило, а когда понял смысл сказанного, свалился сразу на скамью.

– Странно на тебя, братец, подействовали мои слова... Ты же... Вы же, вроде, хотели этого. Так вот, приходи к нам домой. Осчастливьте, так сказать, своим визитом. Нет, не сейчас, а где-то через полчаса. Адрес вам известен?

– Так точно. На Харьковской, со стороны Гимназической, в доме Ковтунова.

– Вот именно.

И будущий тесть (кто бы мог подумать?) отбыл тем же порядком. В направлении своей квартиры, а там бог весть. А будущий его зять получил полчаса передышки – достаточно времени, чтобы остудить вскипевшие в голове мысли и обойти вставшую перед ним нешуточную каверзу.

Ведь вспомнилась примечательная книжка под названием «Этикет, или Хороший тон». В Ломже встретила её ему, в казарме, а принадлежала одному старослужащему. В самодельной холщовой обложке, от грязи посеревшей, с рисунком на ней устаревшего аэроплана в полёте. На темных её гравюрах дамы, кавалеры и слуги щеголяли смешными мешковатыми нарядами, и легко было догадаться, что всяческие правила и советы, как не лопухнуться в господском обществе, там изложенные, тоже устарели. По праздникам владелец книжки имел обыкновение в полупьяном виде читать вслух куски из книжки под здоровый хохот обитателей казармы. Лаптев, страдавший от книжного голода, выпросил книжку прочитать, а проглотив, счёл весьма полезной на будущее. Конечно, его тоже смешили требования нелепо унижаться перед бабами, хоть именно мужики их содержат, о прочем же умолчим. Однако, если не вскочишь сам, когда барышня поднялась со стула, покажешь себя деревенщиной невоспитанным. Поэтому он многое постарался запомнить. И, промежду прочим, что жених должен явиться в дом к невесте с букетом. А где взять букет в Старобельске осенью? А если и нашёлся бы – то явно был бы не по карману. С другой же стороны, почему Сколимовский попросту не прихватил его с собою, когда отправился домой? Чтобы успеть подготовиться к приходу жениха? Глупости. Сколимовский не хочет, чтобы их видели вместе, вот что. Поэтому букет Сколимовского и домочадцев только разозлит. Стало быть, букету – «Отставить!» Скуповатый – знал за собою этот грешок – Лаптев вздохнул с облегчением.

И вот на пол-оборота крутнулась на наградных часах минутная стрелка, а втюрившийся герой германской войны на месте. Дом обычного здесь купеческого

пошиба: кирпичный, на высокой подклети, крыт железом. Смотрит Адриан, а в землю вкопан скребок, чтобы грязь с подошв отчищать. Оглянулся – и эта улица, Харьковская, не замощена. Постучал – открыла ему похожая на Катю девушка, только чернявая. И очень красивая, по-настоящему. Сестра её Зинаида, наверное. Пустила в сени, показала на тряпку у дверей, чтобы вытер ноги. Пока трудился, она бросила на него сочувственный взгляд – или показалось? На стенах – выпуклые картонные картинки в рамках, на картинках – битая дичь. Провела в большую комнату, гостиную, небось, посадила на диване, оставила одного. Не боится, стало быть, что нижний чин какую-нибудь безделушку сворует.

– Папá, девки! Там военный пришёл!

«Военный»... А что? Как раз уважительно. Тут у Адриана в зобу дыханье спёрло – в гостиную проскользнула Катя, да ещё и принаряженная. Взбитые высоко тёмно-русые волосы, пухленькое личико побелело, глазки подкрашены, голубое шёлковое платье искрит, переливается. Одно разочаровывает: без декольте одёжка, а ему весьма было желательно проверить некоторые свои сомнения относительно комплекции вожеленного предмета. Ведь даже в сумасшедших и непристойных его грёзах на месте груди Катишь маячило неясное пятно. Она присела на стул в чехле, за круглый стол, как будто хотела столом от него отгородиться, а он опомнился и пробормотал приветствие.

– Здравствуйте, Андриан... Андриан Иванович. Ну и ошарашили вы меня! Отчего ж прежде со мной словом не перемолвились?

Он промолчал и только глядел на неё во все глаза. Да, она почистила пёрышки и принарядилась, вот только не рада ему. Однако тревога тотчас же угасла, и он пояснил торопливо, что так-де положено у него в деревне, а вот сейчас она может вымолвить своё «да» или «нет».

– Да! Да! – выкрикнула она и, потупившись, продолжила уже почти спокойно. – Я согласна, Андриан Иванович, и буду вашей женой. Хоть и не понимаю, правду сказать, на какие шиши мы будем жить, если я уйду со своей противной службы.

Пробормотал Адриан, что получит образование, как уже докладывал, а сейчас, пока идёт война, придётся потерпеть.

– Много ли значит ваше образование! Вот мой папá – кандидат Харьковского университета, а проку для семьи от того? Нуль без палочки, как говорит моя маман.

– Ну, не знаю, Екатерина Елифановна. Я ведь пойду по медицинской части, а врачи зарабатывают прилично.

Тут вошёл Сколимовский. Был он в шёлковом халате, руки держал в карманах брюк, на ногах растоптанные туфли без задников. Тотчас же припомнил жених, что Катя в ботиночках, и размер небольшой.

– Ну-с, господин унтер, не будем волынку тянуть. Сейчас же благословлю вас с Катей, а потом наедине, за лафитничком коньячку, обсудим условия и устройство свадьбы... Мано, да неси же ты, наконец, икону!

Появилась совершенно бесцветная Мано, с иконой, а с нею и старшая сестра. Вот Зинаида и принялась возражать: благословение без маман, дескать, ни в какие ворота не лезет. Сколимовский скривился, однако пришлось ему согласиться. Адриан тогда думал чёрт знает о чём: неужели будущий тесть предлагает ему выпить из одной рюмки? Опомнился он и, мысленно перекрестившись, предложил своей невесте руку. Всей компанией вышли в коридор, а потом набились в густо заставленную мебелью комнату, где стояли запахи, обычные в жилье у хронического больного. На застеленной постели лежала женщина в тёмном платье, на первый взгляд показавшаяся Адриану старушкой. Не ответив на его приветствие, она проскрипела мужу:

– Не надо было приводить мужлана ко мне! Ты же знаешь, Пифа, что меня нельзя нервировать...

– Извини, мамочка, Зизи настояла. Без тебя, мол, никак нельзя. Да и икона фамильная у тебя...

– У меня? Мано только что сняла! Едва не разбила, недотёпа, прадедовскую лампаду. Давай, Пифа, не тяни, и чтобы я никогда больше хама не видела! – и она довольно резко для парализованной отвернулась к стене.

Хам закусил губу. «Вот очоуритесь, мамаша, – и не увидите меня больше», – ответил мысленно. Тут увидел, что Сколимовский (Пифа он, вот смех!) поднимает перед собою двумя руками большую икону, а Катишь, подхватив юбку, опускается на колени. Пришлось и самому рядом с нею бухнуться коленками на дощатый пол, покрытый вытертым, какого не жалко, полотенцем. Перед тем успел окинуть невесту взглядом, и тотчас же перехватило у него дыхание, и не расслышал он, чего там Сколимовский говорил.

Закончил отец Катишь благословение и опустил руки с иконой. Жених и невеста поднялись с колен, при этом Адриан догадался подать Катишь руку. Покинув комнату больной, жених облегчённо вздохнул. Показалось ему, что не он один. Возможно, всё дело было в спёртом воздухе.

Не теряя времени, Сколимовский увёл Адриана в свой кабинет. Увидев книжный шкаф, набитый книгами, жених ни на что больше уже не обращал внимания.

– Чего это ты там прилип? Садись на пуфик, – это пока сам Сколимовский втискивался за вычурный, с гнутыми ножками, письменный стол.

– Сколько книг! Можно ли будет брать у вас на прочтение, Епифан Винцентович?

– У меня принцип: книг никому не давать. После того, как зачитал «Декамерон» один такой читатель. Давай-ка, братец, ближе к делу.

Дело в понимании Пифы свелось к двум словам: «Катишь – бесприданница». Мало того, что средств на приданое не имеется, но и то необходимо принять во внимание, что выход Катишь замуж серьёзно ухудшает финансовое положение семьи. Уйдёт ли она со службы, нет ли, об её жаловании теперь придётся Сколимовским забыть.

– Прощения прошу, – встрял Адриан. – А почему бы старшей вашей дочери не пойти на службу?

Сколимовский быстро поднял глаза на будущего зятя и сразу же отвёл взгляд.

– Зизи? Она отнюдь не бездельничает. Сразу же после окончания гимназии начала подрабатывать лектрисой.

– А кто такая лектриса?

– Читает богатым старухам-купчихам романы на ночь, письма за них пишет под диктовку. Заработок мизерный, как и у меня.

– А почему бы ей не пойти теперь вместо Катерины Епифановны на завод?

– Гонор у неё! Считает себя для того чересчур образованной. Но вы, любезный, не только берёте Катишь без приданого. Вам ставится условие. Вы должны...

– Пойдите, Епифан Винцентович, придержите лошадей, – Адриан всё-таки не настолько потерял голову, чтобы совсем позабыть про приданое. – Вы что же – совсем ничего не даёте за Катериной Епифановной? Она от вас даже знаменитого здешнего сундука не получит?

Адриан был наслышан о местном обычае. Приданое здесь доставляют в дом жениха в нарочитых свадебных сундуках, их – на любой вкус – мастерят здешние столяра и бойко торгуют ими на каждой из четырех старобельских ярмарок.

Сколимовский с несчастным видом развёл руками. Адриан повторил его жест. Спросил, чувствуя себя уже уверенней:

– Желаете, значит, чтобы ваша высокородная дочь спала на казённой солдатской простыне?

– Не до такой же степени я обеднел! – огрызнулся Сколимовский. – Катишь заберёт своё постельное бельё и подушку. И вот что мне сейчас пришло в голову. Девки давно уже потихоньку таскают из шкапов моей супруги то платье, то шубку поносить. Так вот, Катишь получит в приданое четвертую часть из гардероба матери. Я уговорю супругу. Так

и быть, уж не пожалею своих нервов. Боже мой, какие суммы я бездарно ухлопал на эти тряпки! Уговорю её и завещать Катишь её долю родовых драгоценностей. Их я не сумел прокутить, и тебе не советую, унтер, тщиться наложить на колечки или там камешки свою мужицкую лапу.

– Зачем обижаете, Елифан Винцентович? Чем я дал вам повод меня оскорблять?

– Оскорблять? Гм... Я только хотел сказать, что родовые драгоценности Дементьевых могут выручить семью в крайности, только и всего. Да, вспомнил. Еднать попа буду я, а заплатите ему вы, зато свадебный обед за мой счёт. Самый скромный, только для родственников, прямо здесь, в гостиной. Только Дементьевы, ну ещё подружка молодой и свидетель, те, кому венцы держать. Впрочем, подружкой пусть лучше Зизи пойдёт. Шафер – это уже ваша забота.

– Помилуйте, что оно такое – «еднать попа»?

– Тут так говорят. Это всего-навсего договариваться со священником, сколько возьмёт за потребу. Я к отцу Евлогию схожу, в Покровский собор, тут рядом. Он старый друг семьи, не обдерёт вас. Кольца покупайте хоть бы и медные.

Адриан перевёл дыхание и вытаращился на будущего тестя. Вот сейчас прозвучит то самое условие, немало его заинтриговавшее. Сколимовский потупился:

– Условие же наше... То есть семьи Сколимовских, моё как отца... Условие таково. Как можно скорее после венчания вы уезжаете из Старобельска. Я не хочу стать притчей во языцех. Да, забыл я. Венчание во второе воскресенье октября, то есть через полторы недели.

Расслабился Адриан и позволил себе ухмыльнуться.

– Ну, знаете... Я же на военной службе. Тут я на полгода, поправляю здоровье по приказу великого князя Ольденбургского. А потом опять в полк. На фронт.

Сколимовский выпрямил плечи. На будущего зятя он по-прежнему не смотрел.

– Если я и обеднел, то это не значит ещё, что растерял и все связи в обществе, – заявил напыщенно. – Имеются некоторые возможности и относительно вашей службы.

Прокручивая затем в памяти этот разговор, пожалел жених, что Сколимовский забыл об угощении. Ведь он никогда раньше не пробовал коньяка.

Полторы недели пролетели как сон. Впоследствии Адриану из этого времени вспоминались, и не без причины, только три эпизода.

Посреди урока немецкого честный немец Миллер вдруг заявил, уставившись в угол, что русские свадебные обычаи и связанные с ними хитрости ставят его в тупик, хоть и долго уже прожил среди русских и сам о себе считал, что обрусел. Адриан вообще-то

заинтересовался этим высказыванием, но только промычал в ответ. Он тогда в первый раз одолевал немецкий текст, напечатанный готическим шрифтом.

И ещё был странный случай. Это когда забрёл в крошечный кабинет Адриана незнакомый господин в модном пальто и кепке, средних лет, усатый и с седыми висками. Он спросил, где найти Ханенкова, однако, получив ответ, не ушёл. Без приглашения уселся на табурет, положив ногу на ногу, прислонил тросточку к стене и принялся ваньку валять. Задал пару дурацких вопросов, а сам беззастенчиво, словно фотографию в альбоме, рассматривал Адриана. Потом убрался, не попрощавшись.

Но кто по-настоящему удивил военфельдшера, так это Ханенков. Не сразу решился жених прийти к нему, чтобы вытребовать свою долю от пущенной налево водки, выкуренной для армейских потребностей. Пошёл за три дня до свадьбы, когда уже подыскана была квартира, и оттягивать далее разговор стало невозможно. Однако не успел он и рта раскрыть, как Ханенков, глядя в сторону, объявил, что его харьковское начальство высоко оценило добросовестность и честность фронтовика-военфельдшера. Уже решён вопрос о его переводе в Киев на большой винный завод, где есть и штатская должность для него, на сей раз оплачиваемая хорошим жалованьем. Начальника медслужбы, вот какая должность. К ней прилагается казённая квартира с мебелью, которая останется за семьей, когда он возвратится на фронт.

IX

Железные, смазанные кровью, ихтиоловой мазью и ружейным маслом, шестерни Второй Отечественной войны лязгнули, и страшный сон военфельдшера 12-ой роты Белозерского полка Лаптева оборвался. Он очнулся на нарах в санитарном блиндаже. Смог разглядеть цифры на календаре, смолой приклеенном к бревенчатой стене, следовательно, снаружи уже рассвело. Просвистело, и невдалеке ахнул разрыв германского «чемодана», снаряда крупного калибра. Понятно: германцы начали утренний обстрел, а разбудил Лаптева первый грохот. Адриан снова присмотрелся к календарю, на сей раз прищурившись. Если он не забыл вчера перечеркнуть очередной прожитый на передовой день, то сегодня 29 марта 1915 года.

Он вернулся в Белозерский полк, где после разгрома 2-ой армии Самсонова осталась едва ли сотня нижних чинов из прежнего состава, наступавшего в Восточной Пруссии. Сменились и офицеры, многие ведь были выбиты тогда. В составе 6-го армейского корпуса полк был переброшен в 1-ую армию под командованием генерала от кавалерии Ренненкампа и осенью 1914 года снова крепко поредел в тяжёлых

наступательных боях в Польше. После Нового года опять же в составе корпуса был переведён снова во 2-ую армию, которой командовал тогда генерал от инфантерии Смирнов. А вот командир полка теперь – бравый полковник Будянский, до войны Адриану памятный как начальник хозчасти. Зато 17-ая нестроевая рота, в которой числился ротный фельдшер Лаптев, оставалась под началом всё того же подпоручика Базилевича. Обидчик Адриана старший врач Широков тогда, в августе, пропал без вести вместе с полковой санитарной двуколкой, двумя санитарями и, как мог теперь засвидетельствовать Лаптев, тяжелораненым поручиком Пыпиным. Хотелось думать, что все они сейчас не в прусской земле тлеют, а обретаются на её поверхности, живы то есть и пребывают в плену.

Унтеров тоже появилось много новых, но в 12-ой роте ротный фельдфебель Стручков выскочил из блиндажа, как чёртик из табакерки, однако с потускневшим георгиевским крестом на груди, и не раз помянул таинственных двенадцать боженят, по плечу похлопывая и обнимая вдруг воскресшего из небытия ротного фельдшера. В беседе за кружкой заветной водочки выяснилось, что Стручкову удалось тогда зацепиться на хуторе, оказавшемся деревней с имечком, чёрт об него мохнатую лапу сломит, и продержаться до ночи. Вроде бы Тиймменен. На стрельбу к нему сошлись и сползлись остатки полка (командир, полковник Джанеев, был тогда уже тяжело ранен), собой, погибая, прикрыли отступление дивизии и к рассвету сумели прорвать окружение и выйти к своим, вынося раненых. Полк далеко от линии фронта не уводило начальство, доукомплектовало его маршевыми ротами в лагере под польско-еврейским городком Липно – и снова в наступление. Поля под Белявой обильно полили солдатской кровью, пока начальство не уgomонилось. В обороне стояли уже несколько месяцев, но траншейная война это тебе тоже не фунт изюму. При прямом попадании немецкий тяжёлый снаряд разносит блиндаж и с тремя накатами, так что потери немаленькие.

– А наши славные артиллеристы что ж? – удивился Адриан. Его от фронтовой водки начинало уже подташнивать. – Отчего ж... это... Не подавят отчего германские батареи?

В ответ Стручок принялся в полный голос костерить генералов-предателей, засевших в штабах и ещё в мирное время разворовавших миллионы, казною отпущенные на заготовку впредь артиллерийских снарядов. Адриан невольно оглянулся: не подслушивает ли кто?

– Ты не оглядайся, фелшар! – прикрикнул побагровевший лицом Стручок. – Я на доносчика вот такой клал – понял? Пока тебя пруссаки голодом морили, наша солдатня крепко изменилась. Ты тут ещё такого услышишь – уши завянут! Мы готовы за отечество

и за государя-императора головы положить – и кладём, куды ж нам деться? Но и голыми руками воевать не согласны! Слыхал ли ты, что в запасных полках солдаты получают винтовки через одного, а в бою будут ждать, пока соседа не убьют?

– Н-н-невероятно, – выпучил глаза Адриан. – Чтобы у российской армии – и в винтовках недостаток? Не верится мне в такое, Пров Артемьевич...

– И мне не верилось, фелшар. Ведь у нас тут, слава богу, винтовок комплект, и в патронах недостатка нет. Ну, покамест, в большинстве случаев нет недостатка. Вот пулемётов маловато, а у германцев их дохера. Однако ж я поверил в эти позорные дела, когда заткнулись наши батареи. Расстреляли, ты ж понимаешь, свой боезапас, а новые снаряды им не подвозятся. Вот ведь...

И ротный фельдфебель завернул фирменный свой матюк, в котором толстопузые генералы, российские немцы-предатели, воры-капиталисты, а равно Господь Саваоф вместе с избранными святыми и фирменными стручковскими двенадцатью боженятами сплелись столь замысловато, что Адриан пожалел, что не имеет под рукой фонографа или на худой конец карандаша и клочка бумаги. Под конец опасной беседы Стручок признался, что самому ему очень не по душе нынешние свободомыслие и свободоязычие окопной солдатни, да и собственная вольность языка тоже. Чует он, что на такой тяжёлой войне, как эта с германцем, солдатская распущенность может выйти боком. Вот только что тут, сука, поделаешь? Окопная грязь разъедает военную дисциплину, будто железку ржавчина. Вот на походе не задумаешься, некогда, а в засцанных траншеях времени навалом для умничанья. И тогда Стручок всё-таки понизил голос. С пополнением пришло маршевыми ротами много эсеров, есть и эсдеки, притом только большевики. Солдаты из рук в руки передают листовки, а в них: «Штык в землю! Войне конец!». Он-де помнит, как фельдшер шушукался с большевиками. Если теперь листовки в роту будут поступать через медика, что ж, так тому и быть. Доносить унтера не станут.

Адриан поблагодарил. Его политические симпатии остались неизменными, однако сейчас ему-де не до листовок. Собственная женитьба, вот что занимало его мысли. Тогда, в Старобельске, шафером на свадьбе величался благоухающий и чисто выбритый Ханенков. Однако за два дня до знаменательного события самому Адриану довелось пострадать: цельный час, не меньше, удерживал тяжёлый венец над головой другого жениха. Слава богу, жених тот росточком поменьше его самого.

А случилось вот что. Адриан подходил уже к казарме, когда вдруг обнаружил, что его поджидают. У Зизи была черная вуаль на пол-лица, и её изящная даже и в шубке фигурка, пока не сообразил, что это только сестра прельстительной Катишь, а не она сама, вызвала такие физиологические реакции, что ой-ё-ёй! Рядом топтался молодой человек в

чёрной шинели с белыми пуговицами. Форма управления почт и телеграфов. Пресловутый телеграфист, вот это кто!

Красавица сделала шаг вперед. Телеграфист – за нею, подтянув за собой левую ногу. Адриан вздохнул. Какой ни есть он грубый мужлан, солдафон, а понимает, что именно такая образованная и тонких чувств девушка может влюбиться в калеку. Зато её дружок на фронт не замарширует. Поздоровались. Телеграфист сипло назвал себя Сергеем Сергеевичем Тараненковым.

– Нам бы зайти куда-нибудь. Чтобы поменьше чужих глаз... – предложила Зизи.

– К себе не могу пригласить, – развёл руками Адриан. – В казарму барышням ходу нет.

– Тогда хоть куда-нибудь, Андриан Иванович, – состроив гримаску, попросила она, – чтобы подальше от любопытных глаз и ушей. Мы обращаемся к вам, потому что больше не к кому, а вы почти уже член моей семьи.

Отправились искать укромный закуток и нашли такой в скверике напротив женской гимназии.

– Только бы на перемену не угодить. Будет мне тогда укромное местечко, – заявила Зизи, поворачиваясь спиной к окнам гимназии.

– А не припомните ли, мамзель Зинаида, когда там у них ближайшая перемена? – осведомился Адриан, доставая часы.

Она ответила без заминки, и оказалось, что четверть часа у них есть. Ничто не мешало начать разговор. Но для скандальной парочки это оказалось не просто. В конце концов, заговорила Зизи. Нерадостно для себя, даже опасливо докумекал Адриан, кто будет главенствовать в этом супружестве, когда поженятся. Ведь о том речь и пошла.

– ...на гражданский брак, но Николая служит в государственном учреждении, необходимо венчание. Гнев отца моего будет страшен, поэтому, милый Андриан, никто из знакомых и родственников не согласится нам помочь.

Тревожный звоночек задрезжал в мозгу будущего зятя стройной барышни. Но тут же и смолк: гнев Пифы, гм... Скорее стоило бы опасаться проклятия его злой полумёртвой жены. Дальнейшая аргументация Зизи заставила Адриана усмехнуться в короткие усы: если папá узнает, кто был шафером на тайном венчании Зизи и Николая в эту пятницу, девятого октября, он не успеет сделать никакой пакости Катишь и Адриану, ведь свадьба Катишь уже назначена на одиннадцатое число. Не отменять же её!

– Я согласен. Только Епифан Винцентович не должен вообще об этом узнать. Ну, что я у вас был свидетелем. А кто пойдёт этой... второй, подружкой вроде?

– Особа вам известная, – тут Зизи покривила край накрашенного тонкогубого рта. – Библиотекарша Люлькина. Кого ж ещё, спрашивается, могла я пригласить?

Тут телеграфист откашлялся, явно желая вступить в разговор. Просипел:

– Андриан Иванович, я понимаю, что это мне надо было попросить вас об услуге, а не моей невесте. Но я сегодня собирал свою мизерию, чтобы отправиться на новое место службы, в Беловодск, наглотался пыли, вот что... Всегда от пыли сиплю.

Оказалось, что наутро после венчания Катишь Николая увезёт Зизи в Беловодск, где он получил место замначальника почтово-телеграфной конторы. У Адриана отлегло от сердца: теперь разболтать сможет только Люлькина, но едва ли новость успеет достигнуть ушей Сколимовского до второй свадьбы. На сей счёт тогда успокоившись, Андриан принялся присматриваться к сладкой парочке, и результаты этих наблюдений его несколько огорчили. А теперь, после прожитых с Катишь месяцев, огорчали ещё больней. Ведь ясно стало, что они, Сергей и Зизи, ещё и не поженившись, обретаются в тесном духовном союзе, что обожают друг друга и жизни раздельной уже не мыслят. Предсвадебные отношения Адриана и Катишь в сравнении с этой нежной дружбой выглядели незавидно. А о послесвадебных даже сейчас, через полгода, и вспоминать горько.

Теперь снаряд разорвался уже справа, судя по звуку, в расположении 8-ой роты, и чем без толку дожидаться конца артиллерийского налёта, уж лучше вспомнить те дни и ночи, хоть и не доставляет это особой приятности. Дни и ночи... Дни промелькнули в каком-то угаре, и венчание Сергея и Зизи он запомнил куда лучше, чем собственное. А что это важнейшее событие в его духовной жизни, ему и в голову не пришло. Не то, ох, совсем не то было у него на уме... Равно и свадебный обед пролетел, как сон, он ел что-то, тщательно закрывая при этом рот, но совершенно не чувствовал вкуса. Вместо шампанского можно было безнаказанно наливать ему сельтерской воды. А вот что Катишь сидит рядом, об этом ни на секунду не забывал, снова и снова наперёд переживая то немислимое, что произойдёт между ними, когда окажутся наедине. Он чувствовал, и не глядя, каждое движение её тела и не мог дождаться момента, когда это чудо будет принадлежать ему. Если счастливый новобрачный и вспоминал иногда, что предстоящее исполнение наяву его стыдных желаний освящено и одухотворено церковным таинством, то это обстоятельство его скорее забавляло.

Но вот обед завершился. Пьяненький Пифа подвёл их с Катишь к уже ожидавшему чуть ли не единственному в городе извозчику, а расфуфыренный, с побагровевшим лицом Ханенков помог невесте усесться. Едва начавшись, их свадебное путешествие тотчас же и завершилось: до гостиницы «Европейская» всего полтора квартала. В ушах у жениха

шумело: уже в конце свадебного обеда он не понимал, что ему говорят. Перед крыльцом гостиницы Катишь не сразу удалось ему втолковать, что с извозчиком следует рассчитаться.

В номере темно. Сутулый коридорный разжёл керосиновую лампу, и тогда сразу же резко потемнело и за окном. С удивлением обнаружил Адриан, что его невесту развлекает предстоящая ночёвка в гостинице: как видно, и для неё такое впервые в жизни. Только собрался новобрачный закрыть дверь на ключ за коридорным, унёсшим его кровный гривенник, как Катишь выпорхнула из номера, прихватив с собою ридикюль и гостиничное полотенце. Где-то через полминуты расшифровал он ею сказанное: надо-де освежиться. Ему бы тоже не помешало, но решил перетерпеть.

Пустым взглядом скользнул новобрачный по стенам – и на него сурово уставился с пожелтевшей литографии царь-богатырь Александр Третий, а с противоположной стены взглянул безразлично хорошенький, как херувим, Николашка Кровавый. «Уж лучше бы скатерть поменяли!» – проворчал Адриан, словно для него имели тогда значение несвежая скатерть и таракан, деловито её пересекавший. Никак не мог он определиться насчёт своих дальнейших поступков. Приступать ли к делу сразу же, как вернётся Катишь, а для того ложиться спать с курами? А если дожидаться настоящей ночи, то чем занять пока новобрачную? Катишь всё не возвращалась, а за тонкой стеной в соседнем номере гуляла, как расслышал теперь, несколько уже очухавшись, Адриан, мужская развесёлая компания. Уж не сбежала ли, чего доброго, невеста? Он выскочил в коридор, прошёлся, обнаружив, в частности, «Дамскую комнату». И мужское ей соответствие. Увы, там не оказалось очка! Уже возвращался к своему, «3», номеру, когда дверь «Дамской комнаты» скрипнула. Обернувшись, Адриан увидел Катишь, а на лице её прочитал облегчение от того, что обнаружила его в коридоре. Напугали, значит, её звуки гульни в «4» номере.

Сразу почувствовав себя увереннее, Адриан запер невесту в номере, предварительно отобрав у неё полотенце и объявив, что тоже должен отлучиться ненадолго. Во дворе гостиницы было ещё достаточно светло, чтобы без труда разыскать нужное строение. На обратном пути посетил и мужской умывальник. По дороге принял решение. Он исполнит супружеские обязанности немедленно, а там хоть трава не расти.

В номере он обнаружил Катишь уже переодетой в ночную рубашку с кружевами. Сидела на кровати, крепко сжав колени. Раз переоделась, значит, тоже готовится к немедленной атаке. Адриан принялся раздеваться. Да уж, солдатские сапоги придуманы вовсе не для того, чтобы разуваться при даме. Но будущей подруге жизни придётся перетерпеть и не такое...

Тут повеяло смрадом, и уж вовсе не таким, как полгода назад от почти чистых портянок Адриана, предыдущим вечером побывавшего в бане. Это зашевелился, проснувшись, Синцов, занимавший в блиндаже одну из двух полок, предназначенных для раненых. Синцов схлопотал пулю в живот во время ночной разведки боем. Адриан, как мог, очистил рану, сделал дезинфекцию и перевязку. В душе был убеждён, что с такой раной Синцову не выжить. Кому вообще понадобилась эта бойня под видом разведки? Там, наверху, генералы должны бы уже понять, что на дворе не четырнадцатый год, чтобы без артподготовки гнать людей на пулемёты. Солдаты возмущались, и Адриан с ними.

– Фершал, не пришла ещё... двуколка?

– Подожди, браток, санитары сначала позавтракают, а там и подъедут. А я покамест тебе очередную перевязочку сделаю.

– Ты своими перевязками... только мучаешь, фершал! Всё одно я уже не жилец. А вот от попа... желательно было бы прощеньице получить... Вот чего жду не дождусь...

– С попом и повременить можно, Синцов. Слыхал, небось, что наш Александр Ильич, старший врач, настоящие чудеса совершает.

Так утешал Адриан страждущего, а там и перевязку закончил. Сам же всё в тыл ухо наставлял. Когда донесся оттуда характерный стук и неясный солдатский говор, подхватил он свой котелок и кружку, кивнул Синцову и побрёл по ходу сообщения. Не нашёл в этой глубокой канаве ни убитых, ни раненых. Потом ход кончился, Адриан выбрался на поверхность, согнулся и побежал, петляя между воронок, пока не открылась лощина, из которой дымила труба полевой кухни. Очередь собралась уже порядочная, но помощник повара Тимошка сыпнул фельдшеру каши и плеснул кипятку, как повелось, без очереди.

Адриан нашел себе местечко и присел позавтракать недалеко от кухни. Вот тут-то и можно бы вернуться к воспоминаниям о своей первой брачной ночи, однако после голодовки в немецком плену он чересчур серьёзно, наверное, стал относиться к пище и её принятию. Да ещё и врач-фронтвик Александр Ильич, начальник передового перевязочного пункта, умнейшая голова и опытнейший лекарь, сказал ему после осмотра, что без просвечивания икс-лучами Рентгена невозможно установить, в какое состояние приведены его желудок и кишечник во время голода и нервного напряжения в германском плену. Посему следует побережться, насколько это возможно на фронте: есть пищу по возможности тёплую и в одно и то же время. Во время приёма пищи на еде сосредотачиваться, не вступать в разговоры и ни в коем случае не читать. Кроме того, воспоминания о Катись всегда с ним, по первому требованию к памяти, а вот каша и чай

– явления скоропроходящие. Как раз допивал Адриан свой чай, когда его разыскали уже позавтракавшие санитары из полкового перевязочного пункта.

Назад, в санитарный блиндаж, ротный фельдшер, в отличие от санитаров с носилками, добирался налегке, но если бы не Синцов, которому нельзя ни есть, ни пить, ожидал его в блиндаже, а двое не столь обиженных судьбой лежащих раненых, пришлось бы прихватить с собой полные бидончик и флягу. Станный, хоть и привычный пейзаж разворачивался перед ним, и особенно неприятно поражали Лаптева бранные останки берёзовой рощи. Где маячили одни стволы без ветвей, срезанных осколками, а где и только обгорелые остовы стволов торчали из земли, как огромные сигары. Воняло химической гарью из свежих воронок, но трупы, слава богу, были убраны.

Положили санитары Синцова на носилки – и тут же назад, и фельдшер снова с ними. В полуверсте за лощиной, где полевая кухня стоит, переложили они Синцова с носилок в санитарную двуколку и поехали. Ездовой дорогой рассказал, что по приказу доктора намалевал суриком большой красный крест на брезентовой крыше двуколки. Германские летуны покамест не то чтобы шибко досаждают, но чем чёрт не шутит.

Военврач-кудесник Александр Ильич, товарищески пожав Лаптеву руку, жестом попросил подождать и при нём споро осмотрел рану Синцова. Велел санитарам готовить к операции, а Адриана попросил помочь подготовить руки. Адриан видел, что он не очень-то заинтересовался Синцовым. Плохая примета для солдата.

На самом деле врачу не нужна была помощь: Адриан в этом убедился, установив, что в баке над умывальником полно воды. Значит, Александр Ильич хотел поговорить наедине. Очень хорошо.

– Рана в неплохом состоянии, за что должен солдатик тебе спасибо сказать. А я помогу, если получится, – промолвил врач, ловко и быстро намыливая руки. – Но многого не обещаю.

Адриан только кивнул. Александр Ильич говорил с ним таким манером, будто с родичем Синцова. А почему бы нет?

– Загляни в чулан, там для тебя пакет с бинтами. Увидишь.

Он моргнул удивлённо, но заглянул в аптечный чулан. Да, лежит там пакет с торопливой надписью «12-я р. Ст. фел-ру Лаптеву», вот только великоват против обычного. Ага, снизу твёрдая на ощупь стопка бумаги. Понятно... Адриан спрятал пакет на самое дно своей фельдшерской сумки.

Вернулся в сортировочную. Александр Ильич в последний раз нажал сапогом на педаль умывальника, стряхнул воду с рук и сказал, не глядя на него и думая уже явно об операции:

– Подумай, Лаптев, не оформиться ли тебе и организационно в РСДРП, к нам, большевикам? Война всё тяжелей гнетёт, в такие времена хорошо, если можешь опереться на плечи товарищей.

– Я подумаю, Александр Ильич.

– А я бы тебя рекомендовал, ей-богу.

Если на что и мечтал тогда Адриан опереться, так это на хрупкое плечо законной своей жёнушки. Мечтать ведь человеку не запретишь... Вот и предался он воспоминаниям и грёзам в обратной дороге на позицию, благо ни за что и ни за кого, кроме себя, тогда не отвечал. К тому же над немецкой артиллерийской батареей словно тихий ангел пролетел, и слышны были с передовой только время от времени короткие пулемётные очереди. А полугодом ранее, той первой их с Катишь брачной ночью, крепко мешали пылкому молодожёну крики и ругань картёжников в соседнем номере, за тонкой стенкой. А пуще всех внешних отвлекающих помех костью в горле стала собственная неопытность. Телесная любовь оказалась необычайно сложным делом, требующим, ты ж понимаешь, сноровки и знаний! Здорово он сам намучился, а как измучил бедную новобрачную! И теперь стыдно.

Надо сказать, что Катишь все тяготы снесла с отчаянной покорностью, а если и всплакнула когда, то от палача и изверга отвернувшись. Ему же, извергу, и самому было невдомёк, как это его неистовая страсть к воздушной, с талией пальцем перешибёшь, работнице-дворяночке могла реализоваться так жестоко и убого. О переживаниях и ощущениях новобрачной умолчим, но разве испытанные им самим стыдные судороги были так уж намного приятней пережитых в одиноких страстных снах? Но уже и то хорошо, что плотская реальность тесных отношений с молодой женой постепенно вытеснила из сознания Адриана образ злой проститутки Мими, растворила его страхи, сняла позорные задержки. И к утру, когда он, наконец, справился со своими супружескими обязанностями, уже не стояла бесовская красотка у гостиничной кровати, задирая перед ним похабно сорочку, не усмехалась накрашенным ртом презрительно, накрашенное личико к нему оборотив.

Между тем молодожёну пришлось дожидаться официальной бумаги о своём переводе в Киев. В злополучном номере гостиницы «Европейская» он брезговал и даже постыдился бы оставаться, да и денег никаких бы не хватило. Поэтому снята была посуточно комната у солдатки Марьи Ефимовны на Монастырской, от винного завода недалеко. Теперь поутру Адриан вставал пораньше, брал котелки и флягу, запирал комнату на ключ и отправлялся в резервный батальон. Возвращался с двойным пайком, будил Катишь, они завтракали, он давал ей задание, оставлял учебник, снова запирал в

комнате и уходил на службу. Запирал он Катишь на ключ, потому что безумно ревновал её ко всем – к вдове Марье Ефимовне, к семье Сколимовских, к Ханенкову, к Николаю, ко всему Старобельску и ко всему белому свету. Желал иметь её всю, от гребёнки и до домашних тапок, исключительно для себя, вот так. Нагружал же заданием по учебнику (то русского языка, то истории), потому что надеялся обеспечить таким образом супружескую гармонию: что же может сблизить мужа и жену надёжнее, как не совместные знания?

А официальная бумага из Харькова всё не приходила. Тем временем заглянул как-то молодожён в библиотеку поменять книги, и передовая вестовщица Люлькина вывалила на него целый ворох неприятных известий. Оказывается, запертая Катишь каждый день общается с Манó через форточку, иногда под окно подходит и сам Сколимовский. Неблагодарная Катишь горько жалуется и на насильственное образование её, и на солдатскую еду (та, мол, ей в горло не лезет), а главное, на несправедливое заточение. Родичи передают ей через форточку бутерброды с колбасой и бутылки с молоком. Насчёт же прочих жалоб Сколимовский выразился кратко: «Жена да убоится мужа своего. Вот и бойся теперь, Катька, и чти. А за попытку подучить тебя скажи фельдшеру спасибо, дура!». Подумал, подумал Адриан, побрякал, похмыкал, почесал в шевелюре под фуражкой и решил, что разумнее будет не давать жене знать о разговоре с Люлькиной.

Между тем, после научно обоснованного перерыва на пару дней ночные состязания возобновились. В постели молодая жена подчинялась супругу с покорностью, вызывавшей некоторое недоумение: Адриан уже догадывался о твёрдом характере своей жены, отчасти определяя его по аналогии с норовом Зизи, фигуристой его свояченицы: та ведь уже сполна проявила свою железную волю. Постепенно начал он находить сперва общую приятность, а потом и малые сладости распознавать в исполнении супружеских обязанностей – и это несмотря даже на то, что Катишь никакой пылкости не проявляла и даже тени заинтересованности. А ведь это была новая для невинной девицы область жизни, и едва ли на таковые в супружестве телесные трудности и пикантные ситуации даже намекали ей монашки, преподавательницы монастырской школы для бедных дворянских девушек.

Наконец, пришел приказ по водочному ведомству, и молодые супруги отправились на том же извозчике в Сватовую Лучку, а оттуда поездом в Киев с пересадкой в Харькове. Последние деньги молодожёна ушли на билет для Катишь, зато он взгромоздил на бричку и сдал на станции в багаж пресловутый сундук для приданого. Бронзовые ручки и уголки сундука покрылись патиной, и роскошные гранаты на нём просматривались уже не везде, где в прошлом веке намалёваны. Сундук подарили на свадьбу гордые Деменковы, а Катишь наполнила своей подушкой, постельным бельём и частью материнского

гардероба, доставшейся ей при разделе. Имущество же Адриана вполне помещалось в солдатский «сидор», но была среди бедной казённой утвари и драгоценность – чудом сохранившийся в плену рукописный «Травник» усть-вожского начётника Ильи Елеферьевича.

В Харькове на громадном вокзале, когда Адриан возвратился от касс в зал ожидания, где оставил Катишь, он был польщён, прочитав на её лице явную радость. Видно, провинциальная дворяночка почувствовала себя неуютно среди шумного скопления чужих людей, а он оказался тут самым близким ей человеком. Уже во второй раз она явственно обрадовалась ему, своему едва ли желанному спутнику жизни. Что ж, это следовало благодарно запомнить.

И ещё тронуло его, что едва ли не одинаковые чувства они испытали, когда после второй бессонной ночи высадились из вагона в Киеве. Вслед за толпой пассажиров и носильщиков молодожёны перешли железнодорожные пути и переглянулись, оказавшись перед железным подобием триумфальной арки с выцветшей надписью: «Добро пожаловать!». Наняв извозчика, на одной коротенькой привокзальной улочке увидели Адриан и Катишь больше многоэтажных зданий роскошной архитектуры, чем во всём немаленьком Харькове.

– Что это за улица, парень? – спросил тогда Адриан. – И памятник вон тот кому поставлен?

– Вулиця цэ Безаковская, господин военный, – ответил «ванька» в тулупе, не обернувшись. – А памятник – графу Бобринскому, выблядку царицы Катерины.

Переглянулись Адриан и Катишь, улыбнулись оба. Как и сказанному извозчиком, так и тому, что человек на памятнике был одет в шинель поверх римской простыни, а ногу поставил на железнодорожный рельс. Памятник стоял в конце Безаковской, на широком бульваре, где хватало и других диковинок. Как во сне, ехали они мимо прекрасных зданий и роскошных парков, спустились к новомодному стеклянному дворцу, оказавшемуся Бессарабским крытым рынком.

– А ось и славный Крещатык! – показал налево «ванька», на сей раз явив пассажирам свою усатую рожу с небритым подбородком.

Они проехали главную улицу с начала до конца и, имея сверху справа ещё один замечательный дворец (как выяснилось, музей), повернули на спуск к Подолу. Оглушённый впечатлениями от киевской архитектуры, Адриан не стал торговаться с извозчиком, когда, наконец, пролётка остановилась под вывеской одного из киевских водочных заводов. Не обошлось без неразберихи и волокиты, но уже через час Адриан и его молодая жена сидели друг напротив друга за круглым столом, покрытым пыльной

тяжёлой скатертью, и глазели изумлённо то друг на друга, то на связку ключей посреди столешницы. Квартира оказалась просторной. Три жилые комнаты с кухней, кладовками, ванной комнатой, самоваром, мебелью и скатертью на столе – всё это предоставлено им! Тут он заметил пятно угольной гари на нежной щёчке Катишь. Постановил не искать в околотке торговую баню, а спросить у дворника дров, а нет, так прикупить на базаре, растопить печь, а заодно и колонку в ванной.

Той ночью они были настолько возбуждены, что не смогли бы так вот сразу же заснуть, несмотря на усталость и недосып. Ему показалось даже, что молодая жена более охотно, чем повелось у них, раскрывает ему объятия. Ночные рубашки залежались в сундуке, испускали неприятный запах, поэтому молодые супруги впервые легли вместе обнажёнными. Не в последнюю очередь именно это обстоятельство сделало первую их ночь в Киеве тем самым светлым воспоминанием, к которому Адриан много раз возвращался на фронте.

– А как вы думаете, Адриан Иванович, можно ли считать, что у нас было свадебное путешествие? – вдруг спросила она тогда.

Он лежал, как бревно, пытался отдышаться. Еле удалось собраться с мыслями, чтобы ответить:

– Думаю, что можем, моя бесценная. Ежели по военному времени считать, то уж точно.

Разумеется, весь следующий день, осваиваясь на новой службе, Адриан пускал слюнки, ожидая, что ночью последует продолжение банкета. Не тут-то было! Его ожидал сюрприз – да ещё какой! За ужином, покорно, без обычных волюнки и жеманства, проглотив невкусное солдатское яство, ячневую кашу с кусочками сала, Катишь заявила, потупившись:

– Адриан Иванович, а ведь я в положении.

– Вы считаете, Катишь, что оказались в трудном положении? – удивился он. – То бишь вдали от семьи, от папá и сестриц?

– Я в том положении, что жду ребёночка, Адриан Иванович. Беременная я.

– Откуда ж... Откуда ж это тебе стало известно?!

– Вы ведь медик, Адриан Иванович... А задаёте не слишком умные вопросы.

Задержка с месячными, стало быть. Адриан был ошарашен. Как-то так вышло, что в своём браке он усматривал одну только игривую сторону, а тут... Следовало бы, наверное, обрадоваться, хотя б и притворно, но он буркнул:

– Вот незадача... Мне ж на фронт возвращаться. Надо было, наверное, нам предохраняться, Катерина Елифановна.

Хрупким локотком отодвинула от себя Катишь толстую фаянсовую тарелку, утром по дешёвке купленную на Евбазе, с такой силой оттолкнула, что за малым со стола не спихнула. Сверкнула голубоглазо. Пискнула:

– Нам предохраняться? Это вам следовало предохраняться, Адриан Иванович! Всё, баста! Больше я не позволю вам никаких шалостей! Наконец-то моим мучениям пришёл конец, муженёк!

Преодолев нелепую обиду, он пробормотал:

– Я-то думал, что воздерживаются только в конце срока. Но я ещё посмотрю в справочниках, Катерина Епифановна.

Катишь только сверкнула глазками снова и ушла из гостиной, она же столовая. Отвергнутый столъ внезапно супруг без всякого вкуса дожевал свою долю ужина из котелка, собрал посуду и понес на кухню мыть в раковине. Вода из крана и раковина со стоком, эти замечательные изобретения современной цивилизации, оставили его на сей раз равнодушным. Адриан рассчитал потребное соотношение холодной воды и кипятка для чистого мытья посуды, но занимался этим сам, потому что Катишь не хотела понимать его выкладки. Обида всё не рассасывалась, и он похвалил себя за то, что не стал выяснять один деликатный вопрос. Ему-то казалось, что в последнее время жена и сама начала получать некоторую утеху от их соитий. Вот подставился бы, вот получил бы сегодня плюху по своему самолюбию, ежели бы спросил, так ли это! Ведь в раздражённом состоянии она всё едино не сказала бы правды.

Утром выяснилось, что, ссылаясь на состояние беременности, Катишь затеяла ещё одну забастовку. Она наотрез отказалась от каких-либо заданий по русской грамматике и учебнику Иловайского, даже не сообразив, что муж не может её таковыми заданиями загрузить просто потому, что учебники пришлось вернуть библиотекарю Старобельской мужской гимназии. Неужели не обманывает, и её головка вправду стала хуже срабатывать с началом беременности? Как и предполагал Адриан, наведенные им справки в медицинских талмудах ничуть не помогли – и даже собственноручная выписка, где речь шла о том, что надо потерпеть только начальных три месяца и три месяца перед родами, не была принята во внимание. Не были ему позволены и некоторые заместительные манипуляции, о коих намекнул Адриану при случайном разговоре в трамвае один практикующий в Киеве врач.

А там и роскошная киевская жизнь для молодого супруга завершилась. Принц Ольденбургский не забыл тощего ротного фельдшера и прислал ему предписание явиться в Белозерский полк. Довольно мелочный поступок великого князя, если задуматься! Что бы ему стоило проигнорировать столь ничтожного человечешку? Но делать нечего,

пришлось Адриану оставить беременную жену одну в трёхкомнатной квартире со скопленными из заводского жалованья небольшими деньгами и ежемесячным продуктовым пайком по нормам снабжения для члена семьи унтер-офицера в военное время.

Х

Кто бы мог предугадать, что сидение в траншеях под артобстрелами и пулемётным огнём покажется личному составу Белозерского полка чуть ли не отдыхом после смертельных испытаний, через которые довелось пройти после того, как 6-ой армейский корпус был передан 11-ой армии и переброшен на Юго-Западный фронт? Пока ехали в теплушках в Галицию, разные высказывались мнения о причинах переброски с Западного фронта, но общее мнение было таково, что с австрияком воевать полегче будет, чем с германцем. Ходили слухи о полках из Чехии, сдающихся русским в полном составе и во главе со своими офицерами. А вот теперь, мол, великий князь Николай Николаевич, на отсутствие огнестрельных припасов с отечественной удачью кое-что положив, порешил опрокинуть австрийцев лихим штыковым ударом. Не шапками их закидать, конечно, а задавить огромной толпой храбрых, терпеливых и уже озлобленных русских солдат. Выслушивая догадки и стратегические размышления унтеров и старослужащих солдат, усмехался тогда Лаптев в свои отросшие в траншеях усы: не беда, мол, если перебьют российских генералов, или они сами разбегутся с фронта. Ведь их тогда заменят эти красноречивые и, нечему смеяться, толковые нижние чины. Он тогда и представить себе не мог, что через несколько лет у красных дивизиями и армиями будут командовать унтера и вахмистры германской войны, а у белых боевые офицеры служить рядовыми.

Война в новейшей истории – это, однако, настолько хитрая штука, что имеет обыкновение не оправдывать всяческие предположения и предсказания. Не только речь о простеньких солдатских догадках, но и о прогнозах и планах, созревших в высоколобых головах мудрецов-золотопогонников из Генерального штаба. И жаркий июнь 1915 года не стал тут исключением. После высадки полка из теплушек на безвестном крошечном полуостанке и сосредоточения на левом берегу Днестра белозерцы вместо участия в многолюдном наступлении словно в гигантскую мясорубку угодили. Выяснилось, что не российский главнокомандующий решил наступать на Юго-Западном фронте, а прусские штабные генералы. Не раз битые русскими австрийцы были заменены железными немецкими полками, перевезёнными из Франции, а за позициями немцев установлены батареи орудий невообразимых калибров. Чего стоила хоть бы гаубица калибра трёхсот и

пяти миллиметров (ширина зёва больше фута)! Одно-единственное попадание такого снаряда в окоп превращало его в открытую могилу, набитую трупами в солдатских шинелях. А немцы гвоздили и гвоздили из своих пушек, тогда как русские артиллеристы получали от начальства приказы отправлять лишние орудия в тыл, за Львов. Лишними орудия оказались потому, что к ним не было снарядов, а с фронта их сплавляли, чтобы противник не захватил. Тут уже и патронов начало недоставать, вот ведь какая штука!

Белозерцы, малость отдохнувшие в теплушках, изумлённо крестились, присматриваясь к солдатам 37-ой пехотной дивизии, отступившим к берегам Днестра почти от самых Карпат: голодные, грязные, в своей и чужой крови на шинелях, с нечищеными винтовками и пустыми обоймами. Глаза у мужиков безумные, уставившиеся в одну точку, будто чёрта увидели. Выяснилось, что в Каспийском и Самарском полках, между позициями которых 4-ая дивизия встала в оборону у Журавно, в строю осталось по триста–четыреста человек. Остальные убиты, ранены или попали в плен. Общие числа потерь были ужасающими, их шептали друг другу на ухо, вслух боялись произносить. Ротный фельдфебель Стручков только таращил глаза и затейливо, но безадресно матерился. Солдаты и унтера берегли и в свободную минутку перечитывали старые большевистские листовки – почти так же прилежно, как заветные письма из дому.

Лаптеву, продолжавшему по-тихому раздавать печатную антивоенную продукцию, пришло даже в голову, что теперь написанное мудрыми большевистскими пропагандистами стало шибко напоминать Евангелие Христово. Там заповеди, против коих обычный человек не станет возражать, но и выполнить все до одной не может, а в листовках: «Штык в землю! Превратим братоубийственную войну в войну против капиталистов, зачинщиков этой бойни!». Мы бы с дорогой душой, товарищ, да только как такое совершить, когда полевые суды над нашими головами?

Пришла в полк и новая беда. Перед посадкой в теплушки белозерцы получили пополнение из запасных батальонов. Телесистые, с бычьими шеями, не успевшие по-военному подсохнуть, эти сорокалетние мужики просто не понимали, зачем их оторвали от мирных занятий, переделали в гимнастёрки да шинели и заперли в казармах? Мобилизованных почти не обучали военному делу, потому что винтовок в запасных батальонах недоставало, и учили по очереди. То есть устройство винтовки рекруты умственно постигали, а стрельбищ у некоторых батальонов просто не было, а где к стрельбищу имелся доступ, патронов нехватка. Даже спаньё становилось мукой для запасников. Достраивались третьи ярусы коек, так что казармы запасных батальонов стали напоминать тюремные камеры или армейские склады, где на полках вместо ящиков с амуницией лежали люди в казённом белье.

И вот теперь этих мужиков бросали в бой, отправляли под огонь морально к тому неготовыми и практически не обученными военному делу. Мало того, что сами обречены на гибель, они, способные в любую минуту бросить оружие, поднять руки или дезертировать, представляли немалую опасность для офицеров и обстрелянных нижних чинов. Переварить же таких вояк в своей среде, успокоить, побудить понимать войну и научить воевать, как сами уже привыкли, опытные и стойкие солдаты Белозерского полка просто не успевали. Германцы им не позволяли своими непрерывными атаками. Следует признать, что запасников и выбивало в первую очередь, при отходах они первыми отставали, терялись и в лучшем случае попадали в плен. В плен попадали, это если германцы, озлобленные упорным сопротивлением и своими потерями, не приколуют безоружных увальней.

Исполняя свои обязанности ротного фельдшера, Адриан имел не так много времени для посторонних размышлений, к перевязкам раненых и предохранению роты от дизентерии не относящих. Правду сказать, чаще он засыпал, не успев додумать пришедшее в голову. И в большинстве случаев была это одна и та же мысль, точнее, мысль-чувство, мысль-ощущение. Не сдаваться больше в плен к немцам! Ни в коем случае! Безоглядно рискнуть жизнью, буйну голову сложить, если так карты лягут, да только не сдаваться! Адриана душила тёмная злоба на принца Ольденбургского: неизвестному ротному фельдшеру казалось, что чудаковатый высокородный старик должен был понять, какие страдания пережил он в плену, понять, что всем пережитым уже оплачен его долг царю и отечеству, если оный долг вообще за ним числился. Правильно пишут большевики в листовках, что эта жестокая всемирная война нужна только мировому империализму, проклятым жирным капиталистам. А если государь-император мечтает завоевать Дарданеллы и освободить от турок Царьград, то пусть сам берёт винтовку в белые царские руки – и вперёд, освобождайте, Ваше величество! Ему, Адриану Лаптеву, Дарданеллы без надобности...

Тут Адриан, прикорнувший в траншее на трёх выставленных в ряд патронных ящиках, был готов уже соскользнуть в чуткий, но такой сладкий при вечном недосыпе сон, когда раздалось ненавистное завывание и прямо перед траншей – грохот, да такой, что уши заложило. Осколки, рассекая воздух, прошли над головой, а по фуражке и погонам забарабанили комки твёрдой земли. Тотчас же дремоты ни в одном глазу, вместо неё тупая боль в висках. Уши заложило? Да он оглох! Адриан начал отряхиваться, проклиная беспечность солдат 12-ой роты. Траншея-то немецкая, а после того, как была вчера взята белозерцами в ночном штыковом бою, они не позаботились оборудовать её бруствером со стороны противника. Те же немцы, наступая и переходя с позиции на

позицию, обязательно роют окопы полного профиля, соединяют их в траншеи, защищают колючей проволокой на столбах и минными полями. Австрийцы же, как рассказывали Адриану, закапываются в землю даже и с удовольствием и всячески стараются сделать окопы удобным для жилья, тотчас же устраивая палатки, землянки и даже блиндажи. А вот русский Ванька, на авось надежду свою положив, вместо окопа выроет себе из-под палки ямку размером с корыто, ветками сверху прикроется и смеётся, довольный. Оттого, в частности, и лишних потерь много.

Слух помаленьку возвращался. Второй снаряд, давший о себе знать скорым движением воздуха над головой, разорвался уже в тылу, за позицией. В воздух беззвучно взлетели остатки одинокого дуба. Адриан скорчился на дне траншеи, а когда решился поглядеть вперёд, присвистнул. Тяжёлый снаряд проклятой «Шкоды» ударил не перед самой траншеей, это со страху показалось, воронка саженях в пяти. Всё равно неплохо. Адриан свято верил трём заповедям многократно проверенной, чужими смертями и тяжкими ранениями оплаченной солдатской мудрости. От пулемётчика держись подальше! Украсть в крайности можно, но только не в своей роте! Снаряд дважды в одно и то же место не попадает! Вот и теперь можно не опасаться, что траншею накроет именно в этом месте, где Адриан сидит на корточках рядом со снарядными ящиками, зажав уши и раскрыв рот.

Конечно же, Адриан не надеялся, что сумеет снова вздремнуть, пока не закончится обстрел. Обожающие во всём порядок и шаблон, германцы уже скоро перестанут палить, если только это не артподготовка наступления. Поскольку же над участком траншеи, занятым 12-ой ротой, не раздавался покамест крик и вой, не слышался изумленный мат, ротный фельдшер может спокойно оставаться на месте и прятаться от осколков. Боль в висках уменьшилась, разрывы тяжёлых снарядов доносятся теперь слева и справа. Если это всё-таки артподготовка, то надо прямо сейчас делать то, что придумал вчера ночью. Сказано – сделано. Он добыл из кармана остро заточенный перочинный ножик, положил его на ящик, снял санитарную сумку, устроил её там же. Потом стащил шинель и, поживаясь на утреннем холодке, принялся отпарывать с правого рукава повязку с красным крестом. Надо же, так старался, пришивая, а вот теперь и лезвие с трудом под нитку просовывается. Поистине, нечистый дурную работу любит...

– Да, господин подполковник, я смотрел в календаре. Сегодня 25 июня, день святых Петра и Февронии Муромских...

– Эй, фельдшер, ты что ж – под огнём швальню устроил?

– Здравия желаю, Ваше высокоблагородие!

Хоть на передовой дозволяется и даже приказано не тянуться в струнку, Адриан перехватил ножичек в левую руку, встал на ноги, обозначил стойку «смирно» и отдал честь. Из уважения к командиру батальона подполковнику Малиновскому всё это проделал. За седеньким, низкорослым подполковником стояли, согнувшись, командир роты Ненадский и ротный фельдфебель Стручков. Адриан, как и все солдаты и унтера роты, уважал Малиновского за безусловные военные знания и большой боевой опыт, а главное – за всегда разумные и хладнокровные действия в опасной обстановке. В смутную пору отступления лучшего командира не пожелаешь! Кроме того, военврач сообщил Адриану, что Людвиг Петрович в полковых бумагах числится католиком. Может быть, тут и старообрядческое влияние сказывается, однако Адриану по душе поляки, на российской службе не отступившие от отеческой религии. Пора, однако, и отвечать на вопрос командира. Тем более, что тот буркнул: вольно, мол, братец.

– Это чтобы легко можно было повязку с руки сдёрнуть, Ваше высокоблагородие! Я надумал в случае крайней опасности от германца хотя и штыком отбиваться, а в повязке с красным крестом было бы такое поведение нарушением Женевской конвенции, чего упаси боже.

– Ишь какой ты законник! А ведь по той же конвенции немцы не должны бы тебя, медика, тронуть.

– Да мало ли что в законах для всех народов записано! Я уж побывал у германцев в плену, сбежал – и пообещал себе, что больше не дамся им в руки.

Подполковник помолчал. Потом, не оборачиваясь, командиру роты:

– Леонид Николаевич, не в службу, а в дружбу распорядитесь, чтобы ваш фельдшер получил винтовку и подсумки.

И командир батальона отправился дальше. За ним капитан Ненадский и фельдфебель. Стручок ухмыльнулся и показал приятелю грязный кулак. То ли не желает он подсумками озадачиваться, то ли не по душе ему, что ротный фельдшер по доброй воле вызвался винтовку таскать. А будет ещё время со Стручком объясниться. Подсумки Адриану и даром не нужны, достаточно и пары снаряженных обойм в кармане шинели. Винтовку и без Стручка снимет с убитого. Вот только винтарь пригодится для прорыва, для штыковой контратаки, а отстреливаться в ближнем бою лучше из револьвера. Из такого хотя бы, как тот пистолет-мальш, у раненого подпоручика Пыпина невзначай позаимствованный, а перед пленением выброшенный. В отступлении добыть трофейный револьвер куда сложнее, чем в наступлении. Однако вдруг повезёт...

Подпорол Адриан повязку с красным крестом с обеих сторон, поёрзал нею по рукаву. Теперь можно будет сдёрнуть спасающую жизнь тряпицу в любой момент. И

сунуть в левый карман шинели. В левый, потому что в правом у него будут запасные обоймы с патронами. И хоть не обзавёлся он ещё ни винтовкой со штыком, ни револьвером, сразу ощутил Адриан своё положение более надёжным. Наверное, потому что окончательно определился с вопросом о плене. Он дождался, пока Стручок пройдёт мимо, возвращаясь на своё место в траншее, и снова задремал. Фельдфебель не зацепил его подначкой, не поделился какой-нибудь новостью – стало быть, ничего особенного от офицеров не подслушал. Ротный и командир батальона вернулись к своим блиндажам другим ходом сообщения – и правильно сделали. У немцев появились какие-то особо меткие стрелки с подзорными трубами на винтовках-«манлихерах». Хитрецы выцеливают командиров, стоит только голову в офицерской фуражке над бруствером поднять. Вынырнув из дремоты, Адриан пожалел, что не положен ему и на фуражке красный крест.

Обстрел прекратился. Немцы в атаку не пошли, и то хлеб. Адриан порылся в карманах и в санитарной сумке, хоть прекрасно помнил, что последний из припасённых сухарей сгрыз вчера вечером. Беда с этой полевой кухней! На походе и в наступлении отстаёт, при отступлении отъезжает так далеко в тыл, что потом, сварив кашу, своих найти не может. Важно при этом, конечно, и кто служит поваром. Адриан с тёплым чувством припомнил Пафнутыча, сытно его накормившего перед прусской голодовкой. Как жаль, что пузан-земляк пропал без вести той же осенью! Может быть, именно потому и сгинул, что держался со своим котлом на колёсах поближе к родной роте. Хоть остаётся надежда, что жив курилка, только в прусском плену.

Поскольку же дремота никак не возвращалась, решил Адриан занять мозги учёбой и принялся припоминать и повторять про себя склонение латинского слова «bellum». Но сквозь звонкую латинщину проникала и вот уже прервала её догадка, что не напрасно же он вот уже неделю гонит от себя мысли о Катишь и о той новости, которую она сообщила в своем письме ему на фронт, в письме её единственном, первом и последнем. Это при том, что он поначалу писал ей чуть ли не каждую неделю, и каждый раз вписывал номер своей воинской части. Письмо было сухое, и хоть содержание его жизненно важно, вот именно сухость, официальность, безжизненность письма Катишь горестно поразили его сразу по прочтении. Или не учили её писать письма в той монастырской школе? Впрочем, это уже глупая придирка. Вон деревенская баба пишет письмо мужу на фронт, и если даже не сама пишет, а слова её записывает грамотный сосед, по-своему переиначивая... Даже тогда её чувства воплощаются в корявых тех строчках и из огрубевшего солдата слезу выбивают. А тут... Письмо от Катишь лежало в левом кармане гимнастёрки, но доставать не стал. Не такого рода письмецо, чтобы любовно читать и перечитывать, к тому же помнил его на память.

«Настоящим сообщаю Вам, Адриан (было «Андриан», потом первое «н» зачеркнуто, слава богу) Иванович, что 22 апреля сего года родила я благополучно девочку. Веса обыкновенного, пяти фунтов с небольшим, здоровенькая, с хорошим аппетитом (в слове ошибка была). Крестил мою дочку известный Вам отец Евлогий, нарёк на кресте её Елисаветой. Батюшка предлагал Матроной, да мы не согласились. А на 22 апреля в «Месяцеслове» имён для девочки нету. С уверением в совершеннейшем к Вам почтении, супруга Ваша Катерина». Ну, да шут с нею, с сухостью. Если уж не жалуется его жена, так тому и быть. Но в содержании письма даже не две бомбы, а три.

Обратного адреса нет, на его месте затейливая роспись. Но... «Известный Вам отец Евлогий...», «мы»... Чего бы тому попику делать в Киеве? Следственно, Катишь самовольно, его не спросившись и с ним даже не посоветовавшись, а также интересного положения своего не побоявшись, переехала в Старобельск. Бросила, значит, прекрасную квартиру в замечательном городе Киеве, ту, что за ним должна была оставаться, пока с войны не вернётся. Коза дворянская... Как могла она столь безоглядно поступить? Словно не ему та квартира досталась, а ей. Ну, перед собою нет смысла душой кривить. А если вспомнить о протекции, на которую намекал Пифа в беседе про приданое, тогда и выйдет, что квартира вот именно ей была дадена. И кто это «мы»? Катишь и папаша её Пифа? Катишь и Мано? Ведь Зизи в Беловодске... Вот ведь интересно, стоило только вспомнить Адриану душевную красавицу Зизи, сразу на душе потеплело.

Из того самого кармана, где письмо лежит, достал он фотографию Катишь и Зизи, осторожно развернул обёртку из папиросной бумаги. За уголок через бумажку придерживая, чтобы грязными окопными лапами невзначай не замарать, всмотрелся. Ну, ответ на тот вопрос, что перед ним сейчас маячил, на этом «Vizit-portrait»-е он вряд ли найдёт, однако хотелось оттянуть добычу этих самых ответов и осмысление оных. И, чего греха таить, захотелось ему в этой грязи и вонючем дыму посмотреть на чистеньких, с помытыми головками и принаряженных барышень. Что такое «визит-портрет», Адриан узнал во время посещения Офицерского собрания в Ломже, когда развлекал молодых офицеров-белозерцев своим доморощенным «французом». Это фирменная, изящной формы толстая картонка, на неё наклеивается маленький фотографический снимок, а с обратной стороны – обыкновенная визитная карточка. Но разве бывают визитные карточки на двоих? И отчего-то не верилось ему, что барышням вообще нужны визитные карточки. Но ларчик просто открывался: девушки небогаты и поэтому из экономии снялись на самую дешёвую маленькую карточку вдвоём. А ему тем только угодили: и что обе сестры на снимке, и что картонка прочная – не сломается, значит, в кармане, не обтреплется.

Ну, бонжур, медам! Это теперь вы замужние, а когда снимались, в невинном девическом чину пребывали. Что сестрицы, подчёркивают эти одинаковые беленькие, под горлышко, кружевные накладные воротнички... жабо? Не суть важно... Адриан чуть ли не наяву услышал запах крахмала, нагретого под утюгом. Платица ему памятна, в них обе и венчались. На Катишь то же самое голубое шёлковое, переливающееся. Что денег не нашлось в семье пошить белое свадебное платье, хотя бы одно на трёх сестёр, оставшихся после старшей незамужними, это понятно. Но вот почему они не перешли свадебного наряда злой своей матушки? Его увезла с собою самая старшая сестра, Саша? Или сама мать разрешила его на кусочки маникюрными ножницами, когда поняла, что брак её со Сколимовским неудачен? Адриан вздохнул. Что ему до чужого неудачного брака? Дай бог в своей задаче разобраться.

Итак, на светописной карточке его супруга росточком чуток повыше сестры получилась, хоть ему всегда казалось, что одинаково миниатюрны. А что у Катишь под платьем и под платье поддетой белой дамской сбруей, эта тайна Адрианом раскрыта уже. Нежные полудетские плечи под шёлком, очаровательно вспухшие маленькие бутончики в том месте, где вокзальная буфетчица какая-нибудь располагает двумя обвисшими полушариями. Восхитительная спинка с заветной родинкой на лопатке. И уже ниже изображения, отброшенного на пластинку стёклышками объектива, вообразил Адриан крепенькие ручки с тоненькими изящными пальчиками, они могли бы ласками доводить до безумия. Могли бы.

Когда Катишь вздумалось маленько подружиться с ним, вроде как с извозчиком, нанятым в долгую дорогу, она пожаловалась, что проклятые бутылки с водкой изуродовали ей пальцы. А он, вместо того, чтобы покрыть её пальчики поцелуями и сказать комплимент, выдал медицинское объяснение: у всех людей, дескать, пальцы рук и ног искривлены, тяжёлые бутылки тут не причём. И как доказательство показал свои корявые лапы – очень ей они нужны были, действительно загрубевшие от крестьянского воспитания и тяжкой работы в семье.

Все телесные сокровища Катишь (и так сям в мыслях описанные, и не описанные – не потому ли не описанные, что неопишутемы?) вроде и принадлежат супругу, однако были враз отобраны. Побоялся Адриан перескочить мыслью к причине, побудившей жену отлучить его от законных своих наслаждений и в тот момент лишит их, когда только начинал входить во вкус. Тогда не готов был ещё осмыслить свою беду, чётко словами её обозначив, поэтому перевёл взгляд на Зизи. Не в добрый час перевёл. Слишком уж она ему пришлась по сердцу, Зизи! И красавица бесспорная, и тем, что пошла замуж по любви, а не по подлому и хитрозадому расчёту. Ладно, об этом потом. Причёмски у сестёр

одинаковы, вот только из разных волос выложены. Зизи – яркая брюнетка, волосы, цвета воронова крыла, у неё кудрявые. А жёнушка Адрианова – тёмно-русая, всегда с пышной шапкой волос на голове: густые и тонкие, они тоже вроде бы выются, но широкой такой волной и после мытья очень долго остаются пушистыми. И личико у неё на карточке тоже будто из пуха, только тополиного: голубые глазки сияют, губы обрисованы чётко, да и то потому, небось, что подкрашены перед походом в ателье, а всё остальное – зыбко, смутно, будто через воду. То ли дело Зизи! Живые чёрные глаза, пытливый взгляд, несомненная красота, что никуда не денется, даже если девушка вдруг расплачется, нос не бесформенной картошкой, как у Катишь, а чётко очерченный носик. А эта полуулыбка – можно представить, как сводит она с ума счастливец-телеграфиста!

Снова завернул Адриан карточку в папиросную бумагу и спрятал в карман. Всё! Баста! Отступать некуда теперь, стало быть – пожалуй, голубчик, носом в грязь! И не просто в грязь, а в окопную невылазную тину, солдатскими сапогами размешанную, смрадную, с кровью и дерьмом. Да, это очень важное и хорошее известие, что супруга благополучно разродилась, и надо бы только порадоваться рождению ребёнка, пусть даже и девчонки. Это если по-человечески. И когда происходит такое событие в жизни абсолютного невежды в медицинской науке. Он же, однако, пусть и хреновенький, но медик ведь. И прекрасно помнит, сколько длится нормальная беременность. Потому помнит, что интересовался этим вопросом ещё в Киеве. А получив письмо с замечательным известием, тотчас же, не успев восхититься новостью, подсчитал и сразу же пересчитал. Результат не изменился. Раньше родила Катишь на месяц, не меньше. Недоношенную девочку родила? Да нет, вес как раз обычный («веса обыкновенного») и для девочки скорее большой. Так что самое время ошастливленному супругу пощупать под фуражкой, кустистые ли пробиваются рога. Это кто же тут рычит, будто раненый кабан? Некому другому бесноваться, как не тебе самому, бедолага.

И хоть застилала глаза Адриану красная пелена, он перемогся и не помчался колотить ни в чём перед ним не повинных солдатиков 12-ой роты, на германские пулемёты из траншеи тоже не попёр. Настала минута, когда сумел заставить себя трезво проанализировать ситуацию. Трудновато пришлось, ведь в отеческих палестинах не наблюдалось подобных историй. Усть-Сожа чересчур мала для того, чтобы связь неженатого парня или женатого мужика с девицей ускользнула от бабского зоркого глаза. Да и сам счастливый ухажёр, не обинуясь, хвастался сладкой «победой» перед товарищами. Если же девица ещё и беременела, то, как правило, рожала в своём девическом состоянии. Это не значит, что грешница в обязательном порядке оставалась без мужа. Стояли под венцом на памяти Адриана и девицы-мамаши, вот только

перебирать женихами таким деревенским резвушкам не приходилось, а преждевременная потеря невинности и добрачный ребёнок существенно увеличивали размер приданого. Так, так... А ведь замужество такой усть-сожской гулёны в общем-то похоже на замужество Катишь. Только вместо приданого реального – возможность для парвеню жениться на дворяночке, хоть и не первой уже свежести. Ну, вдобавок служебная квартира в Киеве, приданое за счёт Российской империи. Это внешне, а для него самого – удовлетворение необычной и нелепой, прежними любовными неудачами обусловленной страсти. Одна весьма существенная разница: простодушные селянки, выходя замуж, никого не обманывали, в отличие от Катишь.

Тут припомнился Адриану странный намёк честного немца Миллера, и скрипнул он зубами. С медицинской точки зрения подделка какая-нибудь разорванной девственной плевы едва ли представляет большую сложность. С такой операцией и старобельская бабка-знахарка справится играючи, не говоря уж об опытной акушерке. То-то у них с Катишь были такие трудности в первую их брачную ночь! Но если секретная процедура и не сложна как медицинская операция, то уж слишком болезненный шлейф чувств и переживаний человеческих она за собой тянет. Нет, явись тогда Катишь в вонючей той траншее пред грозные очи обманутого жениха и супруга, не задушил бы он её, нет. Ограничился бы, наверное, одной оплеухой, зато увесистой, от души! А то и не бил бы её вовсе, скорее всего. Зато словами бы высказал всё, что сейчас о ней думает. Или не всё ещё? Ведь не додумал он эту позорную историю до самого конца и чашу свою горькую до дна не осушил.

Если порушить то, чего трогать мамка не велела, Катишь могла бы и во время неких тайных девичьих игр (о них наслышался Адриан в казармах), то ребёночка себе сама сделать даже такая развратница не в состоянии. Стало быть, имелся и любодей. Чтобы вычислить его, далеко и ходить не надо. И Ханенков тут вовсе не при чём. Ведь полюбовничек его невесты сам заявился в каморку-кабинет Адриана на спиртзаводе, чтобы на жалкого своего соперника поглядеть. Вот тот самый дворянчик с тросточкой, что сделал вид, будто ошибся дверью, однако убрался не сразу, всё глупые вопросы задавал. Попытался Адриан вспомнить лицо этого провинциального щёголя, а перед глазами – только смутное пятно, посредине – усы, по бокам – седые виски. Ну, и чёрт с ним. Вычеркнуть из памяти, забыть напрочь. Увы, не получится! Ведь придётся-таки теперь восстановить всю поганую эту историю.

Итак, у прелестной Катишь был роман с этим усатым хмырём, и он её обрюхатил (господи мой боже!). Катишь не знает, как ей быть, потому и на рабочем месте не в себе. А тут он, Андрюха Идиотович Дураков, вздумал к ней свататься. Пифа, небось,

рассчитывал развлечь этой нелепостью дочь, а та в слёзы. Признаётся во всём непутёвому папаше. Пифа при всем своем легкомыслии соображает, что положение у них обоих гаже некуда. Он предлагает выбраться из переплёта, посадив Катишь с будущим ребёнком на шею глупому ротному фельдшеру – без приданого, и с условием, чтобы сваливал с драгоценной супругой-дворяночкой куда подальше из Старобельска. И самое тут отвратительное – это если не Деменьковы и не Ханенков, а таинственный хахаль пустил в ход свои связи и облагодетельствовал Адриана с супругой, подарив им должность для рогача-новобрачного в Киеве и казённую квартиру при ней. Утешение одно: весь этот позор – сущая чепуха-чепухенция в сравнении с тем, что на передовой обманутого супруга в любую секунду может наспиговать осколками германского «чемодана» или угробить ядовитым газом.

И как в воду глядел ротный фельдшер насчёт отравляющих газов! Нельзя сказать, чтобы русское командование не принимало меры против газовых атак. В войска присылались противогазовые маски, но были они до того нелепы, что даже невежественные нижние чины понимали их бесполезность и предпочитали развешивать марлевых уродов на деревьях. Собирался хворост и солома, чтобы зажигать при атаке костры. Офицеры убеждали солдат, что со дня на день поступят настоящие противогазы с очками для глаз, такие, как у немцев в этих их круглых жестяных коробках. А вот Адриан при очередной встрече с военврачом Александром Ильичом получил от него действительно толковые инструкции.

– Мне, Лаптев, друзья-химики письмо прислали, и это те самые ребята, что сейчас нашим химическим оружием занимаются. Я к ним обращался, потому что в декабре нас уже пробовали немцы газом травить, да только ветер подул в другую сторону. Так вот, пишут мне, что пока нет надёжных противогазов, защищающих и глаза, и лёгкие, единственное, что можно посоветовать атакованному газами – как можно скорее покинуть зону поражения. Если убегать в тыл, облако будет тебя преследовать – и отравишься уж наверняка. Забиваться на дно траншеи тоже нельзя – там хлор накапливается, ведь он тяжелее воздуха. Остаётся одно – вперёд, и если хочешь сохранить здоровье, надо забежать в тыл к баллонам, из которых газ запускался.

– Ничего себе, – Адриан, сдвинув фуражку на лоб, почесал в затылке. – А ведь там, за газовыми баллонами, германцы нас не с букетами белых роз поджидают, Александр Ильич. Куда ни кинь, везде клин.

– С германцами вы, brave белозерцы, быть может, и справитесь. А вот газ убьёт вас так уж точно. Потери от него страшные, Лаптев.

– Вот спасибо вам, Александр Ильич. Успокоили вы меня, переднего края обитателя.

– Что-то вы сегодня прямо порох. Знаю вас давно, и полагаю, что дело не в газах. Плохие вести из дому?

– Вроде того, Александр Ильич, – и Адриан помрачнел ещё больше.

– Я не всё ещё сказал, Лаптев. Пока выходить будете из облака, надо нос и рот плотно прикрывать тряпкой. Марля в один слой не годится, свернуть по крайней мере вчетверо. И вот что обязательно: тряпка должна быть мокрой, пропитанной насыщенным раствором соды – а где вам взять? Годится и моча. Уж это средство всегда под рукой. А высохнет тряпка, непременно увлажнять снова.

– Удивителен совет ваш, Александр Ильич. Насчёт урины-то.

– А это не я, вам это химики советуют. В моче есть такие полезные вещества, они нейтрализуют хлор. Нам предстоит сделать выбор между брезгливостью и жизнью. Да и смерть от газа далеко не сахар, скажу я вам...

– Уж можно догадаться, Александр Ильич.

– Да, чуть не забыл. В полк доставили две повозки автомобильных очков. Должно бы хватить на всех. Это чтобы сберечь глаза, пока нет настоящих русских противогазов. К вечеру, думаю, вы в ротах уже получите. Ваше дело – заставить солдат подогнать завязки так, чтобы прижимались к лицу как можно плотнее.

Уже вечером Лаптев обошёл всех солдат роты. Упростив сказанное военврачом и украсив, не без сокрушения душевного, казарменным матерком, он добавил только один довод:

– Братцы, да об этом и в Святом Письме говорится. «И будет тебе во здравие вода твоя». Вот.

Слышал он такое в детстве от беспоповского начётника Ильи Елеферьевича, а уж ежели что слышал, то из памяти не выпустит. И ещё от себя добавил, чтобы использованные тряпки не выбрасывали. «Какие ещё тряпки, где их взять, фелшар?» – был ему обычный солдатский ответ. С матерными довесками, и в смысле: нет у меня тут ничего, что не жалко бы на тряпки пустить. Да и сам он не стал рвать запасное своё бельишко, как сгоряча поступил в германском лагере для военнопленных. Рассчитывал на помощь Александра Ильича, и не ошибся. Через сутки после памятного разговора дюжий санитар притащил в роту целый мешок тряпок. Сообразил Адриан, что это артиллеристы поделились с пехтурой толикой ветоши для чистки орудий. Были там и совсем маленькие лоскутки, но хватало достаточно больших и плотных, чтобы надёжно прикрыть рот и нос.

Себе он выбрал ситцевый лоскут с весёленькими цветочками и невольно принялся вообразить, какое платье было выкроено и сшито из того ситца, и какая девушка носит его теперь. Увы, девушка оказалась похожей на обманщицу Катишь, и Адриан застонал. Все эти дни он непрестанно сочинял ей письмо, в уме сочинял, после того как извёл всю свою бумагу, а на поход в тыл, в солдатскую лавку, никак не находилось времени. Ведь хотелось ему, не прибегая к ругательствам и сохраняя чувство собственного достоинства, припечатать её – да так, чтобы раскаялась в своём обмане. Не выходило пока.

А там и роковой рассвет 15 июля 1915 года наступил. Незадолго перед светом по траншее прошёлся, зверски зевая, ротный фельдфебель Струков. Он будил солдат и каждому говорил о данных разведки: в секретах, выдвинутых вперёд, слышали у немцев ночную возню и звяканье. Всенепременно готовятся к газовой атаке. Разбуженный Струковым, Адриан обслонявил палец и поднял его над бруствером: свежий ветерок дул с германской стороны. Скверно! Он догнал фельдфебеля и пошёл дальше вместе с ним, и всех просил, чтобы подготовили защитные тряпки и чтобы воздерживались пока по малому делу. Солдаты были до того напуганы, что только кивали в ответ. Ни ругани тебе, ни забористых шуточек!

Коротая время до рассвета, он думал о том, что история человеческой цивилизации выделяет порою странные кульбиты. Некогда корабли были парусными и сильно зависели от направления ветров, а теперь везде пароходы. И вот поди ж ты – новейшее военное изобретение XX века снова-таки не может быть использовано, когда ветра нет, или дует он не в нужном направлении! Прошла по траншее команда: «Примкнуть штыки!». Передал её дальше Адриан и горько пожалел, что так и не сумел раздобыть винтовку. Задумался, стоит ли ему, безоружному, снимать повязку с красным крестом, да так и не успел в том определиться.

Рассвело, наконец, и увидел ротный фельдшер, что германцы перехитрили-таки белозерцев. Они запустили газы за несколько минут до рассвета. Сгоряча показалось Адриану, что газовое облако стоит уже не только над немецкими позициями, но и прямо у него над головой. Тёмное, а присмотреться, так жёлто-зелёное. Тут раздался короткий, словно бы тявкающий звон: кто-то пустил в ход окопный малый набат – снарядную гильзу, подвешенную на жердочках. Адриан снял и положил на бруствер фуражку, натянул очки и завопил, срывая голос:

– Очки напяльте, мужики! Сцыте на тряпки! Газ на нас прёт!

Вовремя успел крикнуть, потому что тотчас же германцы открыли ураганный пулемётный огонь, загрохотали их орудия. Пули прошли низко над бруствером, порывом воздуха сбросили на дно траншеи фуражку. Очереди не причиняли вреда готовым к

обстрелу окопникам, снаряды ложились перед траншеей. Адриан подобрал и вернул на голову фуражку, сел на корточки и приткнулся у стенки. С подготовкой тряпки возникли трудности, ведь привык делать такие вещи стоя. Справился. Решил подышать глубже, чтобы в газовом облаке было меньше желания вдохнуть.

А вот и газ. Вблизи он прозрачный, светлый, наплывает волнами, слоится. Загляделся на него Адриан, чуть не забыл притиснуть к лицу мокрую тряпку. Ничего себе ощущение! Газ уже спускается в траншею, красивыми клубами. Адриан не почувствовал его запаха, в нос и без того била вонь. Костры уже горели, треща, но, похоже, проку от них чуть.

Слева было неладно. Зыркнул – а там солдатик скорчился на дне траншеи, заходится в кашле. Снаряды взрываются уже в тылу, пулемёты немецкие молчат. Адриан за шиворот подтащил солдатика повыше, понимая, что больше ничем не сможет ему помочь. Забрал винтовку с примкнутым штыком. Ведь ясно, что за газовым облаком пойдут в атаку германцы – и лучшим решением тут была бы контратака. Вот впереди уже замаячили в просветах газового облака фигуры немецких солдат, в противогазах похожих на чертей. Команды всё не было. Адриан решился. Выскочил на бруствер, втянул через тряпку воздух (о господи!), отнял её от лица, чтобы прокричать:

– Рота! В штыки! С богом! Ура!

И вернул тряпку на лицо, не вдохнув, кажется. Откуда тогда горьковатый вкус во рту? Справа команду повторил фельдфебель Струков, солдаты поднялись, в зелёном облаке слышался тяжкий топот русских сапог. Занятый больше тряпкой, чем винтовкой, Адриан успел подумать, что это что-то новенькое – идти в атаку, держа винтовку под мышкой. Одна надежда, что драться придётся уже за пределами ядовитого облака. Так и случилось.

Немцы явно растерялись, увидев вынырнувших из зелёной газовой стены русских. С противогазами на лицах едва ли они хорошо ориентировались: ведь если у Адриана автомобильные очки запотели, чем лучше были очки в немецких резиновых противогазах? Адриан сорвал очки вместе с фуражкой, а немцам для того, чтобы снять противогазы, нужна была команда, а она не прозвучала. Озверевший ротный фельдшер заколол штыком двух немцев, оказавшихся перед ним, и помчался вперёд. Судя по звукам сзади и по бокам, солдаты роты действовали не хуже. А когда оказались белозерцы перед пустой немецкой траншеей, обнаружили они в специальных нишах на бруствере с десяток, не меньше, баллонов из-под газа. Возле них возилось несколько офицеров и унтеров, и Адриан пальцем не пошевелил, чтобы предотвратить их немедленное убийство. Сам бы не постыдился пристукнуть прикладом. Нечего было газ на людей пускать, ироды!

Кололо в сердце, горло саднило, начинался кашель. Он приказал двум солдатикам из запасного батальона немедленно оттащить к своим пару баллонов, забрал бумаги у убитых офицеров, выковырял из кобуры на поясе одного из них длинноствольный пистолет и, выставив перед собой трофейную пукалку, пробежался по траншее. Живых немцев в ней не нашёл, но и своих оказалось мало – меньше половины роты, офицеров не видно, Струков ранен. Жидкая цепь стрелков да два чужих пулемёта незнакомой конструкции не смогли бы сдержать теперь уже немецкой контратаки. Держась за сердце, вернулся к Струкову.

Фельдфебель сидел, протянув ноги, на немецком ящике из-под патронов. Левой рукой зажимал штыковую рану в животе. Ротного фельдшера встретил потоком фирменной своей брани, из которой выныривали порой «Молодцом!» и «Да помоги же...». Адриан невольно усмехнулся: в автомобильных очках бравый фельдфебель смахивал на пучеглазого водяного. Делая перевязку, приговаривал:

– Не бойся, Артёмыч, вытащим тебя... Лекарь наш, Александр Ильич, он же чудеса делает. Синцова же спас...

– Раньше времени меня не хороните... А ты продолжай командовать, хоть и фершал...

– наших мало чересчур... Я ещё пару недотёп с баллонами отправил назад... Скомандовал бы ты отход, Артёмыч...

– Куда отход, фелшар? – вскинулся Струков и тут же страдальчески скривился. – Сам же говорил... Наша траншея... небось, полная газу... Сейчас... Уж лучше здесь... Будем держаться, пока на наших позициях... газ не рассеется...

Лаптев невольно кивнул. Похоже, остатки роты попали из огня да в полымя. Фельдфебель прав, сподручней отстреливаться отсюда. Уж лучше осколок или пуля, чем страшным газом травиться. Вместо бруствера выложить трупы немцев. А ещё Адриан вместе с одним из новоприбывших, шустрым мастеровым, который чудом каким-то не был призван на флот, разобрались в устройстве немецкого пулемёта. И они продержались до сумерек, а в сумерки полил дождь. Адриан обеспечил вывод остатков роты в свою траншею. Удалось вынести раненых и два немецких пулемёта, немецкие противогазы. Прихватили и трофейные газовые баллоны, валявшиеся на ничейной полосе невдалеке от двух мёртвых солдатиков-новичков. Фельдфебель Струков выжил, а командир батальона представил ротного фельдшера Лаптева к Георгиевскому кресту.

Чуда не произошло. Оружейные заводы в Туле и на Урале не смогли мгновенно увеличить производство снарядов и винтовок. Великий князь Николай Николаевич вынужден был покинуть пост верховного главнокомандующего, и теперь граждане империи разом разглядели все недостатки высокого зловредного старика, будто раньше их не замечали. На его место государь Николай II назначил сам себя. Этот указ вызвал немалые толки даже и в верноподданных, вполне монархических слоях российского общества. С одной стороны, в туманной, мало кому интересной сфере личной ответственности царя перед подданными поступок российского самодержца выглядел логичным и даже мог рассматриваться и как своего рода самопожертвование. Ведь царю, помимо обычных обязанностей императора всяя Руси, приходилось теперь подолгу томиться в скучных Барановичах (оттуда, впрочем, вскоре пришлось ставку эвакуировать) и без конца колесить по железной дороге, а иногда и в автомобиле по отвратительным российским дорогам. С чисто военной точки зрения было, во-первых, не очень понятно, почему верховным мог быть назначен только член императорской семьи. Ведь надо было предлагать стратегические решения, к тому же в прискорбных условиях общего отступления. Ясное дело, что военный-профессионал, умный и опытный генерал справился бы на этом посту лучше императора. А если уж придерживаться этого нелепого правила, то Николай Николаевич, при всех его недостатках, понюхал порошу ещё на русско-турецкой войне, был генералом от кавалерии, тогда как царь не имел боевого опыта и довольствовался званием полковника. А с точки зрения философской, военным умам, быть может, и недоступной, теперь царь должен был отдавать приказы самому себе и те же снаряды требовать у самого себя. Разве нельзя было ему этим мнимым занятиям предаваться, и не принимая на себя должности верховного главнокомандующего?

Так или иначе, самоназначение Николашки Кровавого на высший в российской армии пост мало кого из офицеров и генералов привело в восторг. А нижним чинам и отставка с этого поста Николая Николаевича не пришлась по душе. Почему этого честолюбца и скрытника прозвали «Лукавым», унтерам и солдатам было до лампады, издалека они любили своенравного старика и искренне верили, будто одерживают победы благодаря его уму и таланту. Генералы и высшие офицеры ворчали, что свои собственные неудачи великий князь пытается затушевать шпиономанией и германофобией, а вот солдатам только дай погонять гражданских немцев, ведь понятно, в чей лес те смотрят, и позлорадствовать, когда шпиги задрыгают ногами на виселицах. Тем более, что только слепой не видел, как на самом деле много немецких шпионов в Питере и при дворе.

А российские войска всё откатывались на восток, огрызаясь. Почти не оставляли врагу пушек, это правда, зато кучи трупов, толпы пленных и огромные территории,

заселённые, в частности, и православными. В немецких руках оказалась почти вся «русская Польша», полякам вовсе не нужная, но худо-бедно просуществовавшая в составе Российской империи целое столетие. Белозерский полк прошёл через Варшаву, по улицам, уже заполненным пёстрыми толпами русских беженцев. Уходили не только солдаты и полицейские, бежали чиновники и модистки, врачи и медсёстры, русские прачки и базарные торговки, уезжали инженеры и рабочие, преподаватели русских гимназий и издатели. В православных храмах оставались только голые стены, с колоколен снимали колокола...

Под сапогами солдат 12-ой роты шелестели, словно сухие осенние листья, четверные листы какого-то ещё не переплетённого учёного труда. Любознательный военфельдшер, несмотря на смертельную усталость, не поленился наклониться и поднять. Поверху грязной страницы прочитал он «Русский филологический вестник», а что ниже, не стал читать. Зачем было издавать эту никому не нужную чепуху в Варшаве? Адриан разжал пальцы... Если и горько ему стало, что вот теперь немцы и поляки будут искоренять вот такие глупые признаки русскости в бывшей Русской Польше, так совсем чуток.

Фронтовики уже знали, что на большое отступление, на уступку польских земель для спасения армии, уже практически взятой германцами в клещи, решился на свою собственную ответственность именно великий князь. Это было настоящее, мужское решение, и Адриан удивлялся, почему это подхалимы не называют Николая Николаевича вторым Кутузовым? Ведь тот знаменитый полководец, чтобы спасти тогдашнюю русскую армию, даже Москву решился сдать Наполеону. Сам военфельдшер прекрасно понимал солдат, не желавших погибать окруженной, голодной, брошенной начальством толпой и с голыми руками под ударами германских «Берт» и австро-венгерских «Шкод» в каких-нибудь Мазурских болотах и предпочитавших если уж пасть за Отечество, то на позициях, с оружием в руках, с набитым животом и подсумками, с трубочкой в зубах, и чтобы за спиной иметь нормальные тылы, госпитали и военно-полевую почту. Да и с той настоящей Россией за плечами, где русские мужики и бабы живут, вот её и в самом деле надо защищать от иноземных завоевателей.

Была занята линия обороны по линии Барановичи – Пинск – Дубно. Секретнейшая ставка Верховного в Барановичах оказалась у немцев, впрочем, как понимал это дело Адриан, достались там германцу только рельсы, памятное крыльцо перед ними и пустые бараки для штаба и солдатиков охраны. Собственно же ставка, верховный главнокомандующий, генералы и офицеры штаба, связисты и охрана, по слухам, теперь в Могилёве, и само название этого городка показалось Лаптеву чересчур уж зловещим. А на

фронте русская артиллерия понемногу начала огрызаться, немцы, напротив, принялись беречь снаряды. Несколько успешных контратак отбили у германца желание продолжать наступление. Началась позиционная, траншейная война. Белозерский полк был выведен на отдых в тыл, а старший военфельдшер и георгиевский кавалер Лаптев получил свой заслуженный ещё на прусском направлении отпуск.

Увы, он не назвал местом назначения Старобельск. Батальонное начальство не обманывал. Адриан объяснил подполковнику Малиновскому, что желает поехать не к жене с ребёнком, а в Кутаис, чтобы сдать экстерном экзамены по программе гимназии. Сначала договориться в гимназии, а потом завершить подготовку на месте – и с богом!

– А в школу прапорщиков пойти не желаешь? – поинтересовался подполковник. – Это после отпуска, само собой.

Все знали, что Малиновский обращается на «вы» к последнему солдатику из пополнения, и его «ты» в данном случае означало, что он признаёт в Лаптеве старослужащего и заслуженного однополчанина. Адриан объяснил, что намерен сделаться врачом. Малиновский хмыкнул, позвал писаря и приказал выписать Лаптеву отпускной билет в город Кутаис для поправки здоровья на три месяца с оставлением на довольствии. Наступала дождливая и холодная осень, Адриан продолжал кашлять после отравления газом, и поправка здоровья на благословенном Юге ему не помешала бы.

Первые сутки отпуска Адриан проспал. В основном на багажной полке в зелёном вагоне третьего класса. Спал он головой к окну. Поддувало ему, зато если кто и пытался засунуть на полку чемоданишко или узел, то хоть не в нос тыкал. Снилось такое ужасное да тёмное, что в короткие промежутки пробуждений тут же старался сны позабыть.

Очнулся только в Киеве, на конечной станции виленского поезда. С удовольствием глотнул Адриан утреннего свежего, но не без паровозной гари воздуха, снова, но уже на трамвае и один, а не в компании с коварной жёнушкой и её тощим сундуком проехался по роскошной Безаковской, Бибиновским бульваром и по Крещатику. На уютный Подол, столь милый теперь его душе, спустился пешком. Не стал терять времени на свою бывшую квартиру (и что бы там делал?), а зашёл в контору водочного завода. Его принял новый управляющий, уже пожилой, на приснопамятного Ханенкова вовсе не похожий, но тоже элегантно и дорого одетый.

Управляющий совершенно ни в чём не мог помочь военфельдшеру. Зато он позвал хорошо знакомого Адриану конторщика Михаила Ивановича, и тот подтвердил, что по закону ведомственная квартира фронтовика остаётся за ним, но в данном случае жена выехала по собственному желанию... Конторщик принёс корреспонденцию, приходившую на адрес госпожи Лаптевой уже после её отъезда. Одна открытка от Зизи из

Беловодска, никаких писем от Пифы или посланий от таинственного любовника, зато Адриан увидел некоторые из своих писем, отправленных с фронта ещё до памятной вести. Пухлые, потрёпанные конверты, на первый взгляд, не вскрывались. И хоть Михаил Иванович не смог вспомнить, когда точно уехала госпожа Лаптева и сопровождал ли её кто-нибудь, почтовые штампы на конвертах убедительно свидетельствовали, что Катишь пустилась в путь явно не на сносках. Крякнул Адриан и сунул письма в карман шинели. Уже в дороге, отыскивая в карманах зажигалку, он удивился, их обнаружив. Дал прикурить соседу по скамейке, однорукому солдатику, а письма переложил на самое дно вещевого мешка. А прежде засунул в один из этих конвертов свой заветный партбилет большевика.

Из Киева до Тифлиса пришлось добираться долго, хоть и по железке, но с утомительными пересадками. В Харькове обманутый муженёк Катишь заколебался было, так сильно захотелось податься-таки на пару деньков в Старобельск, но переборол себя. Проезжая через Северный Кавказ, искренне благодарил судьбу за то, что дала ему возможность за казённый счёт увидеть такие красоты природы, хоть и через мутное стекло вагонного окна. Чувствуя себя лордом-путешественником в грязной фронтовой шинели, доехал до Тифлиса, побродил по этому невероятному, будто с Луны упавшему, городу. На его изогнутых улицах, в непонятном гаме и весёлом шуме, вдруг ощутил себя Адриан вольным парнем, не боящимся самостоятельно распоряжаться своей судьбой. И это несмотря на жесткую шинель с погонами на плечах, покашливание и боли в груди после отравления газом. И на необходимость вернуться на фронт через неполные три месяца. И на безнадежно запутанное семейное положение.

В Кутаис он прикатил по однопутке в местном поезде из трёх старинных вагонов во главе с паровозиком, помнившим, небось, ещё русско-турецкую войну. После шумного Тифлиса совсем уж провинциальный, но с такими же красными черепичными крышами, Кутаис показался Лаптеву необычайно милым и уютным. Из присутствия воинского начальника, где писарь сделал пометку в его отпускном билете, Адриан отправился в казарму одного из четырёх армейских полков, в мирное время стоявших в Кутаисе, а теперь уехавших на войну с турками. Потолковав по душам с комендантом, седоусым фельдфебелем, он стал на довольствие и, главное, получил в своё распоряжение такую же унтер-офицерскую каморку, как и в Старобельске. Вот только здесь оконце выходило не на скучную улицу, а в прекрасный, ещё не облетевший, золотой сад. В отличие от той пустой казармы, эта запиралась на ночь согласно общеармейским правилам внутреннего распорядка, но Адриана, издали не гулять сюда приехавшего, это ограничение не беспокоило. А вот чему он неприятно удивился, так это необходимости покупать воду у

специальных городских водовозов, называвшихся труднопроизносимым для русского человека словом. К тому же эта вода из речки Риони мутная, и просто так, без предварительного отстаивания с квасцами, пить её не станешь.

Разумеется, Адриан тотчас же по приезде занялся главным своим делом. Оказалось, что в Кутаиси целых две мужских гимназии – дворянская и общедоступная. Во вторую и нацеливался Адриан, о ней-то и шла по всей России-матушке слава как о наиболее либеральной и снисходительной к соискателям гимназического аттестата зрелости экстерном. Вблизи выяснилось, что речь идёт о наиболее дешёвом месте получения вожеленной бумаги. Старенький гимназический сторож, отставной пехотный унтер и большой знаток практического экстерната, по наитию какому-то приглашённый Адрианом в духан «Прочь, печаль!», за стаканчиком кислого и тёмного, почти чёрного местного вина раскрыл достаточно мудрёную юридическую и финансовую подоплёку предстоящей операции. Оказалось, что экзамены надлежало сдавать как выпускные, одновременно с гимназистами, то есть ранним летом, не позже конца июня, а заявление с просьбой о допуске к сдаче следует написать до святой Евдокии, то есть до 1-го марта.

Адриан схватился за голову. Грузины за соседним столиком, все как один в черкесках и с шапками на головах, прервав звонкую затейливую песню, усталились на русского военного медика с добродушным и искренним любопытством.

– Надобно было прошение по почте заказным письмом переслать, а отпуск у начальства испросить соответственно правилам, – наставительно заявил сторож.

– Ещё посоветуешь, Ефим Петрович, у германца позволение выпросить... – промычал Адриан. Всмотревшись же в сморщенное лицо сторожа, воскликнул. – Есть же выход какой? Иначе столь мудро на меня не поглядывал бы...

– Смеёшься, военфельдшер... – усмехнулся сторож криво. – Был бы мудрый, не мыкался бы тут нищим бобылём. Так точно, выход имеется... Инспектор гимназии господин Харламов имеет право назначить тебе экзамены в другой срок. И аттестат, если сдашь все экзамены, прикажет выписать. Но...

За этим «Но...» прятались немалые заковыки. Необходимо было уговорить не только инспектора, но и каждого из учителей-экзаменаторов. Окромя того, аттестат зрелости с осенней или зимней датой мог вызвать подозрение в университете или прочем заведении, куда будет подан для зачисления.

– А ежели, к примеру, в заграничный университет? – брякнул Адриан.

Брякнул он, не подумав, просто чтобы не молчать. Поделом ему, если Ефим Петрович поглядел, как на дурачка.

– Завтра будь в четверть девятого в вестибюле, как штык. Поведу тебя к господину инспектору, его высокородию – так его, господина статского советника Романа Осиповича Харламова, и величай. Выбрейся чистенько, ногти вычисти. Шинель и фуражку оставишь в гардеробе, а вот сапоги до ярчайшего блеска доведи, гимнастёрку выглади, «Георгий» чтоб на груди сиял. Яви часы от верховного главнокомандующего и упирай на жалость. Морен-де был от германца в плену голодом и на фронте вдобавок ядовитыми газами.

– А это? – и Адриан, оглянувшись опасливо на соседний столик, где снова пели – самозабвенно, с закрытыми глазами, – потёр большим пальцем правой руки об указательный.

– Да что с тебя, с унтера нищего, взять? Нешто наши гимназические господа не понимают? – махнул на него рукой сторож. – Обещай господину инспектору Харламову, что отработаешь по хозяйству. То же и господам учителям говори. Тем более...

– Тем более – что? – насторожился Адриан.

– Твоё счастье, фельдшер! Главный наш взяточник, от которого все страдали, и гимназисты, и родители ейные, летом на пенсию ушодши. Недоброй памяти учитель русской словесности Юркевский (не желаю господином и по имени-отчеству эту гниду называть) теперь, как доносили мне, возится на своей бахче, на взятки купленной. Что б ему черви весь урожай сожрали и его самого тоже! А ты перекрестись, фельдшер.

И Лаптев перекрестился. С деньгами у него, как всегда, туговато было. А тут ещё воду для питья покупай...

На следующее утро кандидат в экстерны, вымытый и начищенный, ровно в назначенное время стоял у высокого затейливого портала Кутаисской мужской классической гимназии. Двухэтажное здание почти на четверть пряталось за осенней листвой акаций и платанов. День был будний, присутственный, чувствовалось, что сегодня гимназия набита детским и отроческим народом. Его снова встретил сторож Ефим Петрович, показал, где раздеться в гардеробной, битком набитой серыми гимназическими шинелями, повёл по лестнице вверх.

Потом проследовали они длинным коридором, где из-за высоких дверей доносились неясные голоса, а из-за одной – даже и церковное пение, погромче. Сторож остановился возле двери с табличкой «Инспекторь», вытянулся, насколько сгорбленная спина ему позволяла, окинул взором Адриана и постучал.

– Войдите, – раздалось глухо, но разборчиво.

Адриан перекрестился. В небольшом кабинете он увидел за письменным столом невысокого человека в очках и гимназическом мундире. При более внимательном осмотре

обнаружилось, что из ушей у инспектора торчит вата. При виде вошедших Харламов отложил газету, но из-за стола не встал.

Выслушав сначала сторожа, а потом и просителя, инспектор справился с календарём на 1915 год, лежавшим на столе под стеклом, и заметил важно:

– Ради героя и страдальца великой войны мы с господином директором можем позволить сдачу экзаменов в экстраординарные строки. 15 и 17 ноября месяца вас устроит? Это хорошо, что вы, фельдшер, запаслись бумагой и гербовой маркой. Сейчас Петрович отведёт вас к секретарю, у него получите образец прошения. Ваше прошение надо будет подписать сначала у меня, потом у господина директора. После сего, ежели решение будет для вас благоприятное, секретарь даст вам литографированный список предметов для сдачи экзаменов и записку к библиотекарю гимназии. Можете идти.

– Ваше высокородие, а чем я могу отслужить вам за столь благосклонное ко мне отношение? – со всей почтительностью осведомился Адриан, одновременно пытаясь запомнить сказанное маленьким инспектором.

Инспектор снова отложил газету и задумался. Потом произнёс медленно:

– Почему бы вам не пользоваться наших гимназистов и преподавателей? Если вдруг заболеют в стенах гимназии, я имею в виду. Ученики разбивают друг другу носы, а нам говорят, что упали. У пожилых преподавателей бывают сердечные приступы...

Тут прозвучал негромкий звонок. И почти тотчас – ужасный, бьющий по ушам, как близкий орудийный залп, мощный звук. Это рёв! Рёв сотен лосей во время весеннего гона...

– Эх вас подбросило, фельдшер! – ухмыльнулся инспектор, сохранивший, как и сторож рядом с Адрианом, полнейшее спокойствие. – Это всего-навсего наши гимназисты вырвались на перемену. Дело обычное, да ещё взрывной грузинский темперамент... А вы свой адресок на всякий пожарный случай оставьте вот у Петровича, ему за вами бежать...

Бумаги удалось благополучно оформить, а с иными проявлениями взрывного грузинского темперамента Адриану так и не довелось иметь дела. Потому что просиживал целые дни в библиотеке гимназии, а вечера – в казарме с выданными ему на дом учебниками. Глаза и мозги отдыхали, когда рубил он дрова для будущих экзаменаторов или натаскивал из Риони воды к ним на кухни, в бани и прачечные.

Даже и не присматривался Адриан к грузинским девушкам и молодым, а усадые и статные грузины, те сами лезли в глаза. Так и сложилось у него вполне ошибочное о грузинках мнение, что это-де серенькие мышки, черномазенькие, незаметные и жадному мужскому взгляду не весьма любопытные. Да и не до грузинок ему было! Знания широкой струей вливались в него, хоть весьма многие из них едва ли могли пригодиться

когда-нибудь в жизни. Но нельзя сказать, что он готовился сдавать экзамены только ради аттестата. Нет! И дело тут было не только в крупицах полезных знаний. Сам по себе замечательно увлекательный процесс добычи и укоренения в памяти любых учёных сведений, даже самых заскорузлых и человеку, в общем-то ненужных, вроде списка древнегреческих отложительных глаголов, развивал его свободный разум и потихоньку ослаблял проклятую умственную ограниченность, воспитанную солдатчиной.

Время летело. Солнечные дни сменялись дождливыми, и тогда на улицу лучше было не выходить: в Кутаисе только одна главная улица, Балахванская, была замощена булыжником и не тонула в вязкой грязи. На ней одной, кстати, и керосиновые фонари горели. У Адриана не было ни времени, ни желания колобродить по ночам, он даже ни разу не сунул нос на городские гуляния в общественном саду над живописной рекой рядом с гимназией. По четвергам и воскресеньям там играл духовой оркестр, и даже устраивались танцы. Корпя над очередным учебником, Адриан к фальшивым звукам вальса «На сопках Манчжурии» прислушивался одним ухом, не больше того. Тратился он только на собственный чай, местный, недорогой, на свечи и спички. Кипяток для чая добывал на военной кухне при казарме. Без сахара обходился.

Потом настали дни экзаменов. Адриан крепко побаивался отца Амвросия, законоучителя, получившего у гимназистов прозвище «закономучителя». Да и фамилия была у протоиерея странная, от былинного чудища произведённая – Тугаринов. Однако именно по «закону божьему» получил он единственную приличную оценку, «четвёрку» или «весьма удовлетворительно». Все остальные экзамены, числом одиннадцать, герой и мученик великой войны еле вытянул на «троечку», и не обошлось без учительских смешков, более похожих на приступы сдержанного хохота, на экзамене по французскому языку. Все эти «троечки» Адриан воспринимал как дар Божий, вот только немножко обидно было получить всего лишь «удовлетворительно» за логику: эту науку он успел полюбить, изучая по невразумительно составленному учебнику.

И вот уже собраны все подписи учителей на красиво выписанном «Аттестате зрелости». Господин инспектор, выказавший во время испытаний явную симпатию к Адриану, лично сходил в кабинет к директору. Затем в присутствии всех членов комиссии вручил экстерну воделенную бумагу с последними двумя подписями – своей и директора, «действительного статского советника и кавалера», а каких орденов, не сказано, и подпись неразборчива.

У Адриана слёзы на глаза навернулись, стоящего посреди стола комиссии инспектора Романа Осиповича и сидящих за столом учителей словно накрыло прозрачной речной волной. Он перемогся, поблагодарил заранее придуманной и вытверженной

фразой и, заикаясь, пригласил его высокородие господина инспектора и их высокоблагородия господ преподавателей на освященный обычаем ужин.

– И куда это вы нас приглашать изволите, господин Лаптев? – осведомился небрежно преподаватель математики и физики Коломейцев, молодой ещё человек, на обоих экзаменах с большой неохотой решившийся осчастливить экстерна «троечкой».

– Покорнейше прошу господ в духан «Прочь, печаль!» сегодня на семь часов пополудни. С уважением к местным обычаям – и скромно, из условий германской войны исходя.

Учителя переглянулись скептически, улыбнулся ему только преподаватель русского языка и словесности, грузин средних лет по имени-отчеству Лев Львович, но с фамилией, которую Адриан и не надеялся когда-нибудь правильно произнести. Расходясь, учителя поздравляли героя дня больше кивками, руки ему пожали только инспектор и словесник, а Лев Львович ещё и взял под руку и, по дороге из актового зала, посоветовал:

– Вы там, у Ахметки, столик займите, но из еды и вина не заказывайте ничего, пока народ не соберётся.

Так растерянный и ещё не вполне поверивший в свой успех Адриан и поступил. Из учителей пришли только Лев Львович, молодой математик Коломейцев и преподаватель географии Садофьев, человек средних лет в пенсне, оказавшийся скрытым пьяницей. Тот сразу же попросил себе чачи, местного самогона, чтобы поднять, дескать, настроение. Разумеется, подавая местные натуральные вина, духанщик тоже рисковал нарваться на штраф, но вовсе того не боялся. Чачей же торговал только из-под полы, и глядя по клиенту. Прочие гости счастливого экстерна, не столь демонстративно нарушая «сухой закон» военного времени, предпочли местное «Саперави», то самое красное терпкое вино, Адрианом испробованное в свой первый день в Кутаисе, когда угощал сторожа Ефима Петровича. Надо сказать, что ещё перед началом празднества счастливый обладатель аттестата позволил себе спросить у господ учителей, не станут ли они возражать, если он пригласит за стол гимназических служителей, сторожа, секретаря и библиотекаря?

Учителя переглянулись, а Лев Львович учтиво заметил, что такое приглашение вполне укладывается в формат ужина, уместно определённого хозяином как демократический и скудный из-за условий военного времени.

– Вот Петрович и будет у нас тамадой! Он же великолепный тамада! – подхватил математик.

– А мне казалось, что сегодня естественный тамада... – буркнул географ, клюнув уже покрасневшим носом. – То бишь... естественным тамадой... единственный грузин среди нас, вы, Лев Львович.

– Да нет, Аристарх Павлович! Как тамада Петрович получше меня отделается. Он хоть и русский, да местные обычаи назубок знает. А я из Боржоми, наши застольные обычаи созданы тамошними кинто, а здесь эти хитрецы-гуляки не водятся. Парадокс, достойный обсуждения, господа.

Высокоучёного обсуждения парадокса Адриан уже не услышал – помчался приглашать Петровича и прочих гимназических служителей. Пряча довольную ухмылку в усы, Петрович велел ему скоренько возвращаться в духан, чтобы гости без хозяина не заскучали, а сам трусцой отправился за подменой и передавать приглашение библиотекарю и секретарю.

Ночь перед последними двумя экзаменами и получением аттестата Адриан почти не спал, поэтому за праздничным столом порой задрёмывал. Оттого и пропустил мимо ушей кое-какие из чудес застольного ораторского искусства, вдохновенно демонстрируемых Петровичем. Задело его только изложенное в одном из тостов мнение соседских кумушек о том, что интересный медицинский унтер понапрасну губит свою молодую жизнь. Обернулся он тогда и бросил более внимательный взгляд на компанию, гулявшую за соседним столом. Там веселью помогали музыканты, барабанщик и два дудочника с зурнами, похожими на флейты, а веселящиеся сидели в меховых шапках на головах и торжественно поднимали рог и стаканы с вином. Набрякшие красные лица, бессмысленные взгляды... Вот эти-то не губят свои молодые жизни, а он губит? Нет уж, госпожи кумушки! И Адриан сложил под столом простонародный кукиш.

Приободрился он и принялся между тостами, в том подражая гимназическим служителям, безмолвно и почтительно вслушиваться в промежуточные разговоры господ преподавателей. Услышал он немало для себя полезного. Так, Максим Иванович, преподаватель математики, решительно оспаривал мнение добрейшего Льва Львовича, будто он так безжалостно гонял на экзамене нашего виновника торжества (тут Адриан встрепенулся) по свойственной всем молодым учителям придирчивости и излишней, даже несколько азартной требовательности.

– Ну нет, Лев Львович, уж позвольте с вами не согласиться! С какой в таком случае, как сказал писатель, позой рожи я уселся бы за этот праздничный стол? Я принципиально требую от всех учащихся настоящих, крепких знаний! Вот в чём дело, Лев Львович!

– А принцип-то ваш в чём? Ох, уж эта передовая молодёжь! – пробурчал щуплый преподаватель географии. Адриан никак не мог запомнить его имени-отчества.

– Вот в чём мой принцип, почтеннейший Аристарх Павлович, – и математик стукнул по столу полупустым своим стаканчиком. – В том мой принцип, что

недоучившиеся и полуобразованные субъекты чрезвычайно опасны для нашей великой России. Такой придёт в армию с аттестатом о среднем образовании, и его – в артиллеристы – как же, знает математику! А он ошибётся в расчётах – и ударит снарядами в белый свет как в копеечку!

– А то и по своим! – позволил себе подхватить Адриан.

– Совершенно верно, господин военный медик! Или взять такого же недоучку-подрядчика. Ему надо будет определить, сколько цемента закупить на постройку дома, а он ошибётся. Ну, хорошо ещё, если больше закупит... А если – меньше?

– Меньше? Ну, и что тогда? – удивился библиотекарь, в профиль удивительно похожий на тощего петуха.

– Крепость рассыплется после первого же попадания вражеского снаряда, а дом рухнет! Вот что произойдёт.

Однако толстый духанщик, из уважения к господам учителям лично обслуживающий этот стол, уже долил из бурдюка в стаканчики, а Петрович деликатно покашливал, готовясь произнести тост. Цветистый и похвальный выше меры, тост был за родителей героя дня. Не удивительно, что Адриан, подкидыш, воспитанный приёмными родителями, поневоле приуныл. Невольно огорчил его и добрейший Лев Львович, незлобиво упрекнувший в неправильностях русского языка.

– Это безусловно смешно, господа, что я, грузин, так помешан на правильности великого русского языка! Но меня всегда возмущало, как наплевательски относитесь вы, русские, к его чистоте! Поистине, что имеем, не храним...

– ...потерявши, плачем, – подхватил молодой математик. И тут же удивился. – Да, как это мы, русские, можем потерять свой язык? Каким чудом, Лев Львович?

– И очень просто! Отойдя от основ литературного русского языка, заложенных великим россиянином Карамзиным, вот как. Это если перевести письменность и устную речь на живые русские языки, в лингвистике называемые диалектами...

Два слова, жирным чёрным шрифтом как бы напечатанные, вспыхнули в сознании Адриана. Одно полужнакомое, и его значение со временем удалось бы вспомнить, второе, «диалект», незнакомое вовсе. Не время сейчас было запастись знаниями, и он предпочёл проследить за гостями. Библиотекарь Садофьев морщил узкий лоб, стараясь понять сказанное. А вот Петрович, тот безмятежно ожидал окончания учёного спора, чтобы произнести очередной тост, и даже мимолётно усмехался, припоминая наиболее удачные и забористые выражения. Очевидно, он давно положил предел своей любознательности и спокойно жил, довольствуясь малостью знаний, припасённой в детстве и солдатской

молодости. Нет, Адриан идёт по жизни иным путём, и как раз сегодня сумел доказать это – и не только себе!

– Ну, куда это годится? Писатель позволяет себе писать на языке родной деревни – и только гордится этим! А понимая, что некоторых слов носители русского литературного языка из других губерний не поймут, для каждого такого слова делает подстрочное примечание! Только подумать!

И подумал Адриан. Вот только о том подумал, что за три месяца разленился в глубоком тылу, привык к расслабляющей человека безопасности. Литературный язык, это творение великого Карамзина (как это? Надо бы разобраться...) проживёт или умрёт как-нибудь и без него, а вот если он сам в таком же состоянии беспечного довольства собой зайвится на передовую, то вряд ли долго протянет. Да и здешняя, в милом Кутаисе, жизнь течет неспешно, а на фронте те же немецкие «чемоданы» мгновенно прилетают.

ХП

Выстрадав документ о среднем образовании, старший военфельдшер Лаптев сделал себе недурной подарок на будущее, всего лишь. Да и в том случае только, если оно наступит для него, будущее. Для фронтового настоящего аттестат был бесполезной бумажкой. Поступить в школу прапорщиков Лаптев смог бы и с прежним, церковно-приходским образованием, хотя не доставало ещё одного награждения; правда, часы от верховного могли бы тут помочь. Вот только не прельщала Адриана офицерская карьера, не говоря уже о том, что не рвался он совершать подвиги, чтобы заработать ещё один георгиевский крест. Да, второй крест давал бы ему право на следующий отпуск, это так. Но до этого отпуска надо было бы ещё дожить, а кто на фронте мог быть уверен в таком везении? К тому же ни один университет не принял бы в студенты унтер-офицера действующей армии, поэтому и тратить новый отпуск на зряшную попытку не приходилось. Стало быть, ехать надобно было бы или в Усть-Вожу или в Старобельск. В оба места Адриан отписал о получении среднего образования, а тем самым и дал знать, что жив пропаша.

По возвращении нашёл старший военфельдшер свой Белозерский полк снова на передовой. Из благодатного климата Закавказья попал владелец аттестата сразу же в позднюю гнилую осень западно-украинской глубинки. Днём солдаты месили в окопах жидкую грязь, ночью она схватывалась ледком.

Порядочно истощив уже свой бурдюк с грузинским вином в ночной пирушке с унтерами 12-ой роты, Адриан притащил под мышкой его, безнадежно опавшего и

похудевшего, чтобы угостить доктора Александра Ильича. Славный фронтовой хирург скептически покосился на бурдюк, обозвал его изобретением доисторическим и в кратких, но сильных медицинских выражениях высказался о несусветном количестве болезнетворных бактерий, кишаших внутри этого мешка из вывернутой наизнанку овечьей шкуры. Адриан ужаснулся, но тут же припомнились ему краснощёкие и упитанные кавказцы, ни сном ни духом не ведающие, что ежедневно подвергаются смертельной опасности.

– И если мы с тобой, Адриан Иванович, найдём часок времени, – тут доктор достал свои часы, поглядел, выпятил губу и спрятал, – а то и часа полтора, чтобы посидеть и отметить твой образовательный успех, то уж лучше тяпнем по мензурке здорового медицинского спирта.

Невольно взглянул Адриан на нос Александра Ильича – нет, не покраснел, слава Богу. Припомнив правила употребления, Адриан доблестно справился с половиной мензурки огненной жидкости, занюхал кусочком солдатского серого хлеба с крупной серой же солью. Подражал в том Александру Ильичу, а если хозяин таким манером закусывает, нальёт, следовательно, и вторую порцию.

Доктор был сегодня в ударе. Кратко похвалив Адриана за разумную инициативу и прилежание, он рассказал очень много полезного об обстановке на фронте. Адриан уже знал, что перед 6-м корпусом сменился противник. Германские стальные полки, прекратив наступление, отбыли во Францию, добивать французов и англичан. Их сменили австрийские войска. Не раз уже битые в этой войне, однако сейчас очень многочисленные, они закрепившиеся на тщательно оборудованных позициях по берегам рек.

– Ты не представляешь, Адриан Иванович, чего они тут понастроили, – говорил военврач, поигрывая мензуркой, словно коньячную рюмку вертел в руках. – Нам с тобой такое и в голову бы не пришло, а уж наши солдатики точно бы в затылках почесали.

– Да помню я, Александр Ильич, что австрияка хлебом не корми, а дай ему в землю закопаться, и чуть закрепятся где, тотчас же для себя крытые сортиры построить.

– О, если бы только сортиры! Довелось мне на днях штопать одного разведчика, так он чудеса рассказывал об австрийской линии укреплений вдоль речки Стрыпа – видел её, пока до нас добирался?

– Да нет, не пришлось... – ответил Адриан, с опаской наблюдая, как врач по-прежнему твёрдой рукой наполняет мензурки. – Я ж... как это? С корабля да на бал...

– Устроят они тут нам бал! Чудо-речка этакая, прелестна была Стрыпа в осеннем лесном уборе, даже и с водопадами... Теперь вдоль неё австрийцы выкопали три линии траншей, всё укреплено железными балками и залито бетоном. Блиндажи выстроили,

словно дворцы подземные, с тремя и четырьмя накатами. Во всех ходах сообщения брустверы с бойницами и кирпичная приступочка возле каждой. Будто бы фугасы заложены в землю, чтобы взорвать при нашем наступлении. Да чего уж там, Адриан Иваныч, электричество подведено у них к передовой!

Тут у Адриана правая рука сама к затылку потянулась. Сушёна япона! Австрийские блиндажи освещаются электричеством, словно центральные улицы Киева и его самые дорогие квартиры! Поделился этим сравнением.

– Да нет, до такой роскоши не дошло! – ухмыльнулся доктор. – Электричество к заграждениям из колючей проволоки у них подведено, чтобы наших солдатиков током бить...

– Вот уж не знаю, испугает такое нашего Ваньку или разозлит... – развёл руками Адриан. Наполненные мензурки уже стояли на операционном столе.

– И проверять экспериментально нет надобности! Достаточно, чтобы первым полз не Ванька с большой соплёй, а унтер, командир отделения. Чтобы имел на руках сухие перчатки, а в руках хорошие ножницы по металлу... Вот за твой успех мы выпили, Адриан Иваныч, а теперь давай выпьем и за мой план! Как ты?

Конечно же, он поддержал, хоть и подозревал, что речь пойдёт о новых способах заброски в роты большевистских листовок. Только ошибся Адриан. Славный доктор замыслил устроить при дивизионном лазарете полевые хирургические курсы для ротных фельдшеров.

– Ты не думай, что я хотел бы сделать из вас, ротных медиков, классных хирургов. И мечтать о том глупо! – заев-таки вторую порцию спирта хлебом, пояснил врач. Говорил он, отдышавшись, прожевав, и с закрытым ртом. – Однако... Если бы вы хоть немного сориентировались в том, что делает хирург, вы куда активнее брали бы на себя сортировку раненых и здорово тем бы помогли персоналу передовых перевязочных пунктов. А снабди вас корпусная медицина минимальным набором хирургических инструментов и хлороформа, могли бы в неотложных случаях и жизни наших солдатиков спасать.

– Здорово! – в свою очередь отдышавшись и закусив, одобрил Адриан. И тут же спросил. – А записаться уже сейчас можно ли?

– Считаю, что записан! И будешь у меня старостой. Станешь распределять инструменты и медикаменты, авось и себя не обидишь... Да, забыл сказать, что дело это добровольное, поэтому учебная группа у нас большой не будет. Поставлю вас сперва смотреть, как я операции делаю, каждое движение своё объясняя... А кстати, покажи-ка руки, Адриан Иваныч!

Он поставил мензурку на стол и показал врачу ладони. Руки как руки...

– А ну, вытяни и поддержи так. Не в службу, а в дружбу... Хорошо. Можешь опустить. Что я скажу о твоих руках, Адриан Иванович? Пальцы у тебя нормальной длины, и не короткие, и не длинные. Слышал ты, наверное, будто у хирурга пальцы должны быть длинные, как у пианиста. Не знаю, как оно там у пианистов, а для хирурга длинные пальцы не обязательны, – тут он показал свои руки, с виду обыкновенные, только чересчур бледные для фронтовика. – Я специально присматривался к портретам великого хирурга Николая Ивановича Пирогова – и у него были нормальные руки! А у тебя, Адриан Иванович, что самое главное – это что не дрожат твои пальцы! Потому как не алкоголик ты, не пьяница, вообще почти не пьёшь!

С этими словами Александр Ильич по-прежнему бестрепетной рукой разлил по менzurкам последние порции спирта. Последние – потому что тотчас же заткнул туго свёрнутой марлей бутылку и убрал в шкаф. Лицо у него покраснело.

– А если доживут наши хирургические курсы до зимы, тогда выпросим мы у дивизионного начальства какого-нибудь дохлого австрияка, заморозим его хорошенько – и устрою я вам пару уроков «ледяной анатомии», как называл это Пирогов. Вы, ротные фельдшера, много чего на фронте видали. Да только те внутренности человеческие были живые, дёргались, залиты кровью – ведь правда? А тут три классических разреза – и всё внутреннее устройство человека мужского пола как на ладони – разве не чудесно? Будете после и резать, и лечить медикаментозно уже не вслепую!

Адриан улыбнулся неуверенно. Он решил попозже разобраться, так ли уж ему хочется резать мертвецов, пусть и замороженных, пусть и чужих, австрияков.

Между тем Александр Ильич понизил голос:

– А почему я думаю, что успею позаниматься с вами, ротными фельдшерами, столь долго, что это не только развлечёт вас, а и научит кое-чему, неучей? Да потому, что австрияки с оставшимися германцами не стали бы так солидно закапываться в землю, если бы собирались ближайшими месяцами атаковать. А наши генералы не прочь вернуть Варшаву и Галицию, да только снарядов по-прежнему недостаёт. И зима на носу! Зимой, как правило, не наступают.

На прощанье доктор снабдил Адриана наплечной холщовой сумкой защитного цвета с новейшим противогазом.

– Инструкция там же, внутри, – заявил многозначительно.

У себя в землянке Адриан отстегнул клапан сумки и нашёл в ней, кроме инструкции, напечатанной крупными буквами, словно лубочная книжка, и тонкую пачку листовок, завернутых в грубую обёрточную бумагу. Не стал с этим тотчас же разбираться,

а решил воспользоваться остатками хмеля, чтобы помечтать. А мечтал он о двух бывших старобельских барышнях сразу, о двух как бы в одной – о соблазнительной и коварной Катишь, да только с душой и сердцем очаровательной Зизи.

Прошло всего несколько дней, и фронтовые будни, а там вдобавок и хирургические курсы Александра Ильича очень уж немного времени стали оставлять ротному фельдшеру Лаптеву на любовные мечты – в лучшем случае пару минуток перед свинцовым, без сновидений снов. Наставником военврач оказался хоть и неопытным, зато настырным и делал всё возможное, чтобы передать пяти ротным фельдшерам дивизии, осмелившимся записаться на курсы, свои практические знания полевой хирургии. Усвоил Адриан и уроки «ледяной анатомии» по великому Пирогову – и не так оказался страшен чёрт, как его малюют. Привык со временем, в общем. И, конечно же, не думал не гадал он тогда, что этот хирургический опыт выручит его на следующей мировой войне, без малого через тридцать лет. И не раз ещё в своей жизни вспоминал он Александра Ильича добрым словом.

А вот касательно возможности наступления зимой военврач оказался пророком. Ведь именно в марте полк был поднят по тревоге перед рассветом, и пошло-поехало. Будто огромные ткацкие фабрики всю зиму выплетали гигантский серо-зелёный, порохом пропахший, со штыками-ворсинками ковёр войны, сворачивали в гигантский рулон и теперь, едва дождавшись весны, принялись раскатывать. Горел и взрывался этот страшный ковёр, убивая и калеча австрийцев в серых шинелях и русских в серо-зелёных, и хватило бы его не только на 1916 и 1917 годы, но и на 1918, если бы не революция. Солдатам в окопах, пропахших сапогами и махоркой, не так просто было понять, что произошло в Петрограде и почему царская власть, казавшаяся незыблемой, особенно в условиях действия суровых законов военного времени, вдруг рухнула за несколько дней.

Теоретически большевики, а к ним ротный фельдшер Лаптев принадлежал уже и организационно, надеялись на облегчение условий для успешной революции в результате поражения царской армии, но... В 1915 году, во время Великого отступления, когда только воинское искусство русских генералов спасло армию от уничтожения, революции не произошло. А пало самодержавие в голодном для штатского народа, но весьма благоприятном для армии феврале 1917 года, когда интенданты, видно, нажрались, как души их пожелали, ананасами и рябчиками, да и соизволили, наконец, накормить армию. Ходили слухи, что даже пошита новая, на манер древнерусских кафтанов и шлемов, военная форма. Уже несколько месяцев в дивизию поступало достаточное количество винтовок и патронов, а солдаты-артиллеристы радостно матерились, надписывая по приказу командиров на задних коробах снарядных ящиков: «Снарядов не жалеть!».

Конечно же, в зависимости от того, где стояли войска, на фронте или в тылу, да и от десятка других факторов, и снабжение, и настроения войск существенно отличались, но такие явления наблюдал ротный фельдшер Лаптев в своём родном Белозерском полку. Однако нужно отметить, что он не только пассивно, в составе полка, переживал все пертурбации демократической революции. После того, как Александр Ильич был прямо у операционного стола тяжело ранен осколком шального снаряда, и первую помощь ему оказал бывший в двух шагах, в аптечной каморке, однако невредимый Адриан, именно на фельдшере 12-ой роты замкнулся ручеёк большевицкой пропагандистской литературы, сначала тайно, а после славного «Декрета № 1», уравнившего в правах солдата и штатского гражданина России, и открыто поступавший из армейского комитета РСДРП(б). К листовкам добавились номера газет, печатавшихся для солдат, названия были толково придуманы: «Солдатская правда», потом «Окопная правда».

В дивизии оказалось куда больше эсеров, анархистов, меньшевиков, «кадетов», чем большевиков, они верховодили в солдатских комитетах, и Адриан, не снимавший с шинели красный бант, прямо голос сорвал на бесконечных митингах. Теперь солдаты получили все гражданские права, и возможность самому, своим голосованием на всеобщих выборах, решать судьбу бывшей империи, на первых порах просто пьянила Адриана. Ему очень не хватало светлой головы Александра Ильича, но ротный фельдшер и сам понимал правоту большевиков и созвучность их лозунга «Штык в землю!» раньше потаённым, а теперь открытым и матерно воплощённым желаниям солдатской массы.

В революционном году многие нижние чины полка отправились в самовольные «побывки» домой, а из них уже не возвращались. Иные объявляли себя больными, любой ценой добывая себе отправку в тыл, большинство же без затей дезертировали. Адриан полагал, что имеет полное внутреннее, человеческое право покинуть фронт, но у него воскресли надежды поступить в университет, а без казённой справки о демобилизации это представлялось невозможным. Вот и приходилось ему, члену батальонного солдатского комитета, вертеться в невообразимой ещё несколько лет тому назад шинельной круговерти, то разбираясь с жалобой солдат на своего командира роты, то решая, к какому виду приказов, к «боевым» или не «боевым» относится только что полученный из полка, и надо ли его обязательно выполнять.

С ухмылкой, исходя из опыта общения с немцами, воспринимал Адриан братания, не верилось ему, что это свой шнапс и свою колбасу на закуску приносят австрийские солдаты, а не выданные начальством для разложения русских войск. Но линия большевиков, принципиальных интернационалистов, была на поддержку братаний и вот именно на разложение войска, поэтому свои сомнения как дисциплинированный партиец

держал при себе. Позиция же интернационализма была как раз по душе Адриану, зная не знавшему, какой национальности были его настоящие родители.

Братания сначала строго воспрещались русским начальством и разгонялись артиллерийским огнём, потом, при Керенском, вроде бы легализовались, а потом превратились в точки меновой торговли. Адриан пережил время, когда солдаты не только устраивали самосуды над командирами, но и награждали некоторых из них, и таким образом получил от солдатского собрания Георгиевский крест с лавровой веточкой командир 4-ой дивизии. Это был плюгавый с виду, но толковый и безупречно храбрый генерал-лейтенант со странной фамилией Май-Маевский. Потом началась поднятая другим храбрым генералом, Корниловым, свистопляска вокруг организации «частей смерти». К изумлению Адриана, большинство солдат 4-ой дивизии проголосовало за объявление её «частью смерти с почётным правом умереть за Родину». И он не мог понять, почему, и пришёл к нелепому выводу, что эти сегодняшние бунтари и завтрашние дезертиры соблазнились новыми кокардами – чёрными, с белым черепом и перекрещенными костями под ним. Баб и девок на деревне захотели ими пугать? Названное в полном титуле «почётное право» солдаты, как не крути, получили уже во время мобилизации. Личный состав «частей смерти» обещал пойти на смерть для победы, но разве не то уже говорилось в военной присяге? Впрочем, для Белозерского полка зачисление в украшенную «головами Адама» геройскую компанию особых последствий не повлекло, и даже снабжение не улучшилось. Не отвели дивизию и в тыл, как ударные части ещё дореволюционного времени, предназначавшиеся только для прорыва вражеских укреплений. Желание перекантоваться в тылу и было, очевидно, главным побуждением для неистовой агитации дивизионного солдатского комитета за звание «ударной части смерти». Зато Адриан не пошёл в полк георгиевских кавалеров, куда его приглашали, потому что почти не было у них медиков с георгиевскими крестами.

Однако без всякой агитации обошлось, когда военный министр Керенский вдруг передал Адрианов родной Белозерский полк, вместе с Олонецким 14-ым пехотным, Центральной раде для так называемой «украинизации». Как можно было полки, некогда укомплектованные русскими северными мужиками и под такими названиями, отдавать «автономной» Украине? Такое в голове у Адриана не укладывалось. Тем более, что именно Белозерский полк под Конюхами в июле во время «наступления Керенского» разгромил «Легион сечевых стрельцов», забрав чуть ли не всё это вымуштрованное австрийцами сборище галичан в плен. Побив одних украинцев, служить теперь другим? Тем не менее очень многие офицеры полка признали себя украинцами, и многие солдаты, хоть их не очень и спрашивали. Видно, здесь сказалось то обстоятельство, что

первоначальный проект был расквартировать Белозерский и Олонецкий полки в Крыму как «Отдельную крымскую бригаду армии Украинской державы». А когда отправка с фронта в благодатную землю оказалась мыльным пузырьком, солдаты протрезвели и проголосовали ногами. К октябрю от некогда мощного и прославленного в боях Великой войны Белозерского полка остались рожки да ножки.

В середине октября 1917 года внезапно опомнились армейские медики и решили, что в своей демократической организации отстают от солдат и даже от офицеров, сбивающихся в подозрительную для солдатской массы и даже, как говорили, для Временного правительства «Военную лигу». Началась волнующая процедура выборов. Вначале пришлось Адриану самому себя выбрать делегатом от 12-ой роты на дивизионный Съезд ротных фельдшеров. Пламенная речь о недостатке перевязочных пакетов и о давно назревшей необходимости замены санитарных двуколки правильно оборудованными санитарными автомобилями сделала Адриана полноправным делегатом от 4-ой дивизии на Всероссийский съезд ротных фельдшеров, назначенный Организационным комитетом на 24 октября в Петрограде.

Комитетчики из солдат и унтеров давно были наслышаны о замечательных условиях, в которых проводятся всяческие съезды фронтовиков. Делегатов, прибывших из завшивленных блиндажей и землянок, поселяли в общежитиях с чистым бельём на кроватях, давали талоны на обед в хорошей столовой и на бесплатную помывку в бане. Им обеспечивалось пристальное внимание господ из различных политических партий и весьма приятное участие во всех хозяйственных хлопотах дам-активисток. Вот так бы и до конца войны митинговать и заседать!

Увы, Адриану пришлось в очередной раз убедиться в правильности мудрого совета, данного ему на заре туманной юности в Усть-Воже старообрядческим начётчиком Ильёй Елеферьевичем: «Никогда, парень, не воображай себе ничего хорошего или приятного наперёд, пусть и покажется тебе, что вымечтанное непременно сбудется. А вот и не сбудется ничего в таком разе!». Уже путешествие железкой оказалось куда менее приятным, чем два года тому назад. Хоть, на пересадках потрясая мандатом, Адриан и добивался порой места не в третьем классе, а в синем вагоне второго класса, в купе его преследовала отвратительная вонь. Выяснилось, что мочиться в вентиляторы – это излюбленная потеха солдат-дезертиров, путешествующих на крышах классных вагонов.

А народонаселению Питера, как гражданскому, так и военного сословия, были тогда до лампочки какие-то ротные фельдшера, прикатившие на свой никому, кроме них, не нужный съезд. Вечером Невский, как и в мирные времена, кишел толпами проституток, проспектом, как и прочими улицами, сновал шинельный люд, немолодые и мордатые

солдаты, в основном, запасных полков, но и изящных гвардейских офицеров хватало. На Невском ни городских, ни дворников. Под сапогами прохожих трещат сугробы подсолнечной шелухи. В сквере своего имени знаменитый памятник Екатерине Второй держит в руках выгоревший красный флаг, лицо гордой императрицы до неузнаваемости обезображено птичьим помётом.

Уже на вокзале встречающие в полный голос разглагольствовали о том, что большевики вот-вот скинут «министров-капиталистов», по улицам неизвестно зачем разъезжали грузовики с солдатами и рабочими, вооружёнными винтовками и даже ручными пулемётами, на некоторых перекрёстках стояли броневики, а что означают красные флаги на них, было непонятно.

Какие там чистенькие общежития? Съезд ротных фельдшеров расположился в Ново-Михайловском дворце великого князя Николая Михайловича, и на ночь Адриана уложили рядом с другими делегатами, покотом, на восточных коврах банкетного зала. Хозяин роскошного особняка, ценимый новой демократической властью как знаменитый русский историк, да ещё и как самый «красный» в большом императорском семействе, на время съезда переселился к своим служителям в соседний шталмейстерский (язык сломаешь!) корпус и, как говорили устроители съезда, только изредка навещался в кабинет, да ещё в библиотеку.

Однако Адриану не удалось увидеть собственными глазами третьего в его жизни великого князя, не довелось и всласть позаседать в танцевальном зале дворца и рассмотреть животрепещущие проблемы медицинского обслуживания разваливающейся на глазах царской армии. На первом же заседании он увидел в президиуме своего дорогого учителя, славного фронтового хирурга Александра Ильича, и тот, как ни странно, разглядел его в зале и помахал рукой.

А когда получил Александр Ильич слово, он, представившись руководителем фракции большевиков, членом Военно-революционного комитета, произнёс громкую речь. Что нам сейчас, товарищи, военная медицина? Так ли она нужна, если трудовой народ через без малого столетия после Парижской коммуны получил уникальную возможность снова взять власть в свои мозолистые руки? Сейчас, вот в эти именно минуты открывается Второй съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, вот куда должны отправиться делегаты-большевики, чтобы с братскими социалистическими партиями свергнуть надоевшее всем Временное правительство! Отсидели вы своё время, господа министры-капиталисты, ну и катитесь к чёртовой матери!

Так ротный фельдшер Лаптев, сидевший в нетопленном зале в шинели и давно уже на расстававшийся с вещевым мешком, оказался в дружеских объятьях хирурга, а затем

вместе с десятком делегатов отправился в Смольный институт на грузовом моторе под красным флагом. То есть совершил типичную в те дни для революционера поездку, вот только винтовки с примкнутыми штыками не торчали из кузова.

Давно стемнело, когда грузовик въехал в широченные, с колоннадой по обе стороны ворота Смольного института. Само здание смотрелось не хуже иного великокняжеского дворца. Адриан уже знал, что девицы-институтки после свержения самодержавия были вывезены начальствующими придворными дамами куда-то от греха подальше, а пустующий дворец занят Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов и теперь превратился в настоящий штаб новой революции. У Смольного – караул из солдат и рабочих, пулемёты, даже трёхдюймовая пушка под брезентом.

Благодаря хлопотам Александра Ильича большевики и левые эсеры из делегатов Всероссийского съезда ротных фельдшеров получили на Втором Съезде Советов право совещательного голоса. Однако во время революции кого заботят всякие там формальности? Политические противники большевиков считали съезд вообще нелегитимным, и насколько он действительно представляет мнение Советов огромной страны о дальнейшем развитии России, никого из однопартийцев ротного фельдшера Лаптева не интересовало.

Вот так Адриан вместе с неполной тысячей делегатов оказался зрителем судьбоносного политического спектакля. Съезд открыл Федор Ильич Дан, видный революционный деятель, один из руководителей меньшевиков. Он был в военной форме с погонами военврача и уже тем этот улыбчивый, остроумный человек вызвал симпатию Адриана. Потом выступали один за другим товарищи Дана, меньшевики, правые эсеры и еврейские марксисты, бундовцы. Все они говорили о несвоевременности вооруженного восстания – и это в то время, когда весь Петроград, по слухам, был уже в руках восставших рабочих и матросов, за исключением Зимнего дворца, где пряталось Временное правительство. Премьер-министр и главнокомандующий Керенский, надоевший всем хуже горькой редьки, уехал из города будто бы навстречу идущим на подавление восстания войскам с фронта.

От большевиков выходили на трибуну, в частности, пламенный оратор Лев Троцкий и таинственный, легендарный Владимир Ленин. Прежде Адриану доводилось видеть обоих только на газетных портретах. Колоритного брюнета Троцкого фотографы-газетчики изображали похоже, а вот Ленина, с обритыми бородой и усами, он не узнал. Клубы махорочного дыма поднимались над рядами делегатов, сидевших в папах и кепках. Кое-где над папахами торчали примкнутые штыки винтовок. Если бы не роскошная обстановка большого зала на втором этаже гигантского дворца, с колоннадой и

огромным портретами важных дам в золотых рамах, происходящее очень походило бы на армейские митинги и съезды, уже несколько прискучившие ротному фельдшеру межпартийной борьбой, а ещё митинговыми преувеличениями и враньём самолюбивых ораторов. Однако при мысли о том, что сказанное и проголосованное в этом холодном прокуренном зале может навсегда изменить жизнь во всей России, сделать её справедливой, а возможности успеха равными для всех, у него побежали мурашки по коже.

Потом был избран президиум Съезда, куда вошли только большевики и левые эсеры, после чего противники восстания покинули съезд. Под далёкий грохот орудийных выстрелов, для Адриана и других фронтовиков привычный, но многих в зале явно испугавший, меньшевики и прочие умеренные социалисты, ворча, пробирались со своих мест к выходу. И вдруг Адриан увидел в проходе Александра Ильича, настойчиво показывающего, чтобы подошёл. Хотелось ещё послушать, что скажут вожди, но он, следуя за обсыпанной перхотью спиной какого-то политика в пальто и котелке, послушно выбрался в проход.

– Оружие есть ли? – шёпотом спросил бледный, с горящими глазами Александр Ильич.

– Браунинг с собой. На дне вещевого мешка, – кивнув Адриан. И не выдержал, полюбопытствовал. – А зачем нам, Александр Ильич?

– Да пора наконец Зимний братъ, Адриан Иваныч, – усмехнулся военврач. – Что-то наши красногвардейцы да питерские солдаты-запасники, замешкались они. А мы с тобой на войне и не такое видели, враз справимся.

– А если без шуток? – Адриан оглянулся на зал. Там с десятков военных поднялись со своих мест, когда меньшевики уже покинули съезд, и на лицах ближайших солдат было то особое выражение, что у фронтовика появляется перед атакой.

– Там надо помочь. Вот делегаты-добровольцы получают оружие, и на подходе к Зимнему отряд матросов-балтийцев на транспорте, крейсер уже у Николаевского моста, и миноносцы плывут. Дадим прикурить, как солдаты говорят! А для нас с тобой я приготовил по санитарной сумке. Товарищ Антонов, председатель Военно-революционный комитета, вдруг опомнился: при штурме возможны потери, а медиков под дворцом нет. Да не огорчайся ты, Адриан Иваныч! Сейчас будет объявлен перерыв часа на два, на три. Мы возьмём Зимний дворец и вернёмся устраивать бывшую империю на рабоче-крестьянский манер. Опомниться не могу, что делается...

Повесив на плечи санитарные сумки, они забрались в кузов грузовика и вместе с молчаливыми солдатами из различных полков тем же революционным способом

передвижения домчались по тёмному ночному городу снова на Дворцовую набережную. Если из окон Смольного лился яркий электрический свет, то городские улицы были темны. Александр Ильич разъяснил, что большевики заняли электростанцию, тогда как телефонная станция переходит из рук в руки.

А вот и тёмная громада Зимнего дворца, только в некоторых окнах слабые огоньки свечей. Грузовой мотор затормозил на Миллионной и выгрузил своих воинственных пассажиров. Солдаты сбились в кучку и принялись возиться с винтовками. Адриан хлопнул себя по лбу, перевесил свою сумку на военврача, снял с плеч вещмешок и, в нём порывшись, достал из-под запасного белья браунинг. Передёрнул затвор и перевёл предохранитель на «feu», боевой взвод. Сунул в карман шинели и начал было объяснять, почему выменял этот короткоствольный «Руди» на длинноствольный револьвер, снятый во время газовой атаки с убитого немецкого офицера, но почувствовал, что военврачу неинтересно. Ещё бы! Впереди тёмная масса осаждающих рванулась было к дворцу, но отхлынула с матами, когда застрекотал пулемёт и бахнуло несколько одиночных выстрелов.

Пули прошли над головами, а медики и сами не заметили, как улеглись на торцовую мостовую. Вскоре глаза привыкли, и уже можно было рассмотреть, что у парадного входа в Зимний стоят четыре броневика, несколько орудий, а защитники прячутся не за баррикадой, как сначала показалось Адриану, а за штабелями дров.

– Вот бы перевезти сюда из Смольного трёхдюймовку и шарахнуть по дровам! – поделился идеей ротный фельдшер, прикативший с фронта в столицу вовсе не для того, чтобы ложиться животом в грязь. – Сразу этих бездельников поленьями бы разметало!

– Нельзя, Адриан Иваныч! – отрезал военврач. – Вот именно с этой стороны Зимнего дворца, с нашей, в нескольких залах остался царский госпиталь для тяжелораненых. Врачи там очень неплохие, доктора Тихомиров и Молотков...

Тут опять затопали сапоги, флотские и штатские ботинки. Это возвращались сторонники новой власти, приклеившиеся после очереди к стенам домов на Миллионной. Ворча, встали на ноги и медики. Застрекотал вдруг мотор мотоциклетки, и едва ли не громче, чем давеча пулемёт юнкеров. С заднего сидения спрыгнула странная фигура в широкополой шляпе набекрень. Кто-то из красногвардейцев принялся закуривать и невзначай осветил лицо прибывшего – на первый взгляд, очень молодого человека в очках, усатого и с роскошной шевелюрой длинных волос.

– О! Да это же товарищ Антонов! Секретарь ВРК! – обрадовался Александр Ильич. – Теперь, Адриан Иваныч, дело пойдёт! Товарищ Антонов! Мы здесь!

– Отлично, доктор! – тотчас отозвался странный молодой человек. – Медицина на месте. А где Чудновский?

– Тот солдатик? Комиссар! Товарищ Чудновский пошёл к Временному правительству! Парламентёром! – загудело с разных сторон. – Уговаривает! Требуется сдаваться, мать их!

Раздался рык мощного двигателя, и на середину площади выехал броневик. Опять затрещал пулемёт. Народ с винтовками снова отхлынул к стенам Миллионной, повалился на мостовую, матерясь и чертыхаясь. Застонал раненый. Когда Адриан разыскал его, возле раненого уже возился санитар. Тем временем толпа убежавших снова прихлынула.

– Что за бардак, товарищ Антонов! – возмутился Александр Ильич.

– А это революция, доктор. Третья это моя революция, – серьёзно ответил Антонов, отряхивая пальто. И вдруг засмеялся весело. – Такое делается без правил! И если есть-таки правило, то вот вам оно: революции без бардака не бывает.

– Вы же кадровый офицер! Даже я понимаю, что надо переползать и подбегать по одному, а возле баррикады всем подхватиться и с «Ура!» забросать юнкеров гранатами.

– Вы привезли гранаты, доктор? Жаль... А с нами не воинская часть, а революционная толпа. Как вы заставите переползать рабочих и матросов? Наши прекрасно держатся: не разбегаются, сохраняют азарт... О, наконец-то!

Это ударил недалёкий орудийный выстрел. Снаряд с шуршаньем ввинтился в воздух – и негромкий глухой взрыв.

– Слава богу! – несколько непоследовательно порадовался Александр Ильич. – Теперь долго не продержатся министры...

– Да! Это комендоры Петропавловской крепости перестали митинговать. А с «Авроры» так и не станут стрелять. Отказались, черти... Будто бы дворец в мёртвой зоне... Ну, вот и Чудновский!

Адриан понял, что Антонов узнал Чудновского в темноте по голосу.

– Это ты, товарищ Антонов? Уже легче, – молодым тенорком зачастил Чудновский. – Сдаваться министры не хотят, меня сначала арестовали... Но из защитничков кое-кого удалось распропагандировать. Казаки уехали, я даже перекрестился... Броневики уже без команд, орудия без obsługi... А вот и барышни идут.

Действительно, от Зимнего приближалась тёмная толпа.

– Сдаёмся, товарищи! Только не обижайте! – звенит истерически женский голос.

Это ударницы, служилые девицы и бабы из «женского батальона смерти». Гуськом подходя, бросают винтовки прямо на панель. Ударниц уводят солдаты. Вроде бы в казармы Павловского полка, тут рядом. Возле одной из пленниц происходит стычка,

даже слышен взрыв гранаты. Одновременно продолжается орудейный обстрел со стороны Невы. Новая толпа военных тянется от дворца. Теперь это сдавшиеся юнкера. Рабочие, успевшие разобрать винтовки ударниц, выдирают оружие у юнкеров прямо из рук. Баррикады из дров уже заняты восставшими.

– А не пойти ли мне снова парламентёром? – предлагает бесстрашный Чудновский.
– Авось, теперь министры-капиталисты посговорчивее...

– Мы все сейчас пойдём, Гриша, – качает головой Антонов. – Спасибо тебе, но хватит переговоров. Пойдём арестовывать. От медицины – вы с нами, фельдшер. Доктор, вы как член ВРК останьтесь присмотреть здесь за порядком.

– Хорошо, Владимир Александрович, – без большого энтузиазма ответил военврач, а Адриан поймал себя на том, что пытается щёлкнуть каблуками.

– О! Продавили наши, наконец, заслон в вестибюле. Вперёд, товарищи!

Вот так, с пистолетом в руке и с санитарной сумкой на плече, оказался Адриан внутри царского дворца. Распахнутые фигурные ворота, разбросанное ограждение сразу после парадного, наверное, входа. Здесь уже есть скудное, наверное, аварийное освещение. Толпа восставших хлынула наверх по мраморной лестнице, а в вестибюле остались только юнкера, бросившие винтовки. Чудновский, при свете оказавшийся красивым молодым брюнетом в солдатской форме, уверенно повел ошестинившийся штыками разномастный отряд. На втором этаже Адриан увидел ходячих раненых. На бледных лицах испуг и любопытство. Были они в нижнем белье и огромных больничных халатах, некоторые укутаны в цветастые женские платки. Восставшие проходят несколько залов и комнат на третьем этаже и натываются на первую линию защиты министров. Это окаменевшие от ужаса юнкера с винтовками наизготовку.

Безоружные Антонов и Чудновский спокойно подходят к шеренге, с трудом вырывают у юнкеров винтовки, бросают на узорчатый паркет.

– Где правительство? – спрашивает Антонов.

– Я, я знаю... Я покажу, – подсказывает какой-то смертельно бледный юнкер. – Я с вами, господа...

Еще несколько десятков шагов – и новая шеренга наставивших винтовки юнкеров. Эти растеряны, Адриан видит, как дрожат штыки на винтовках. Антонов идёт прямо на штыки, юнкера расступаются, и тотчас же их сминает нахлынувшая толпа. Антонов распахивает высокую дверь – и вот она, прокуренная большая комната, где укрылось Временное правительство.

Господа среднего возраста в несвежих воротничках, небритые, почему-то все сидят за одним длинным столом. Адриану просто не верится, что именно эта дюжина обычных

таких буржуев правила всей огромной страной, бывшей империей, пыталась продолжать войну, уже стоившую России миллионы жизней, и не желала отдать земли помещиков крестьянам.

– Именем Военно-революционного комитета объявляю вас арестованными, – выкрикивает вихрастый молодой человек в широкополой шляпе набекрень и в очках. У Адриана мелькает в голове, что эту важную фразу Антонов сложил заранее, когда пробирался и пробивался закоулками дворца.

– Кой хрен арестованными! Кончай их! В Неву! – заревела толпа, но Антонов сумел успокоить своих.

Он принялся обходить министров, забирая у них документы и наскоро составляя список. Тринадцать оказалось министров. Чёртова дюжина! Антонов назначил Чудновского комендантом Зимнего дворца и приказал выводить арестованных.

Снаружи темень уже рассеивалась кострами, на них пошли дрова из поленниц. Возле одного из костров Адриан нашёл Александра Ильича. Прежде чем окликнуть и начать разговор, достал наградные часы и установил, что времени половина третьего.

Он передал военврачу поручение Антонова вернуться в Смольный и передать Троцкому и Ленину новость об аресте Временного правительства. Но на Съезде не объявлять. Лучше уж он сам это сделает, Антонов, если удастся довести министров до Петропавловской крепости невредимыми.

– Как сказал бы Чудновский, если народ не подвергнет их суду Линча, – хмыкнул Александр Ильич. И в ответ на недоуменный взгляд Адриана пояснил. – Это в Америке, когда граждане просто скопом убивают преступника. Ну, пошли искать мотор.

По дороге, щурясь на горящие уже огни уличных фонарей, произнёс военврач загадочную фразу:

– Революцию в России мы худо-бедно совершили. Кажется, я придумал, Адриан Иваныч, как совершить революцию в твоей трудной судьбе.

ХIII

Первое заседание Второго съезда Советов завершился только ранним утром. Петроград потихоньку просыпался, когда Александр Ильич, шатаясь от усталости, привёл Адриана на свою квартирку в неприглядном доходном доме на Обводном канале. Они ещё успели выпить чаю, съесть по сухарю из полученных на рассвете в Смольном, и отключились, не успев или не пожелав раздеться – военврач на своей кровати, Адриан – на диванчике в той же единственной комнатке.

Проснулись уже после обеда, когда в Питере снова начинало темнеть. Снова чай и сухари, и снова – прокуренный Смольный. Снова вечернее заседание Съезда, затянувшееся до позднего на этот раз утра, зато какой результат – образован Совнарком, новое временное правительство, приняты Декреты о мире, о земле, о передаче всей власти советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов! Адриан отбивал руки в овациях, орал до хрипоты «Даёшь!» и «Позор!», голосовал, хоть и не имел на то права, однако, несмотря на всё общероссийское, мировое и даже, как заявил один делегат, междупланетное значение совершавшихся на его глазах и даже с его участием событий, держал в памяти и странное обещание Александра Ильича. Иногда Адриана одолевало сомнение, не в революционной ли горячке были сказаны те слова? Да помнит ли вообще о них Александр Ильич?

Наконец, кое-что прояснилось. После завершения съезда приятели позавтракали в столовой Смольного, и военврач заявил:

– Отоспимся после победы мировой революции! Сейчас поедем вместе с товарищем Рыковым в бывшее Министерство внутренних дел. Рыков, если помнишь, теперь народный комиссар внутренних дел. Будет принимать если не дела, то очень неплохое здание на Фонтанке.

– А мы-то причём здесь?

– Это у меня поручение такое от медиков-большевиков. Мы задумали организовать под шумок особый наркомат здравоохранения. Меня просили посмотреть, что можно будет использовать из помещений и оборудования Медицинского совета и Департамента здравоохранения при Министерстве внутренних дел. Рыков за нами заедет. А мы заодно и твоё дело продвинем.

– Моё дело?

Александр Ильич открыл было рот, но тут к подъезду подкатил легковой мотор, а за ним – грузовой с вооружёнными красногвардейцами и матросами. С сиденья легкового привстав, медиков приветствовал нарком Рыков. Весьма элегантно одетый, с красивой тросточкой, он выглядел, однако, совершенно по-крестьянски: грубые черты лица, длинные всклокоченные волосы, неухоженная борода... Был Рыков в приподнятом настроении. Безошибочно распознав в Адриане фронтовика, он пожал ему руку, как и военврачу, и поздравил, легко заикаясь, с участием в поистине эпохальных событиях. Адриан уселся рядом с шофёром, а Александр Ильич – в салоне с Рыковым.

Ехать пришлось недолго – под импозантный куб Министерства внутренних дел, что торчал рядом с набережной Фонтанки. Здесь запах сгоревшего бензина смешался с

рыбной вонью: рядом кипела торговля рыбой с лодок и шхун. Прилавками служили и парапеты набережной.

Прибытие революционеров под красным флагом, а в особенности полного грузовика матросов и рабочих с винтовками вызвало среди торговков немалое волнение.

– Барин бородатый, купи наваги!

– Эй, большаки, чур наших покупателей не разгонять!

– Матросики, матросики! А вот селёдки дёшево!

– Скажите лучше, б-б-бабоньки, какие ещё есть входы к жандармам? – спросил любезно Рыков, приподняв котелок.

– Да нет давно жандармов, барин! А чёрные хода я покажу, если солдата с ружьём поставишь мой товар посторожить, – ответила самая бойкая.

С помощью разговорчивой торговки были выставлены караулы у всех дверей здания с приказом никого не впускать и не выпускать. Рыков и медики с остатком матросов вошли в просторный вестибюль и обнаружили там только престарелого сторожа. Старинушка стоял навтыжку, выставив перед собой роскошную пушистую бороду, трясся всем телом и не мог два слова связать.

– А ведь п-п-пятница сегодня, день присутственный, – вспомнил вдруг народный комиссар. – Должен же был среди чиновников найтись хоть один идиот, притопавший на службу!

Через пару минут такой идиот в чиновничьей шинели показался в одной из застеклённых дверей, попытался было скрыться, был пойман и принуждён, как не преминул заметить Александр Ильич, исполнить при народном комиссаре Рыкове роль Вергилия, проводника по министерскому чистилищу.

Адриан ещё переваривал эту шутку военврача и провожал взглядом Рыкова с его эскортом, когда Александр Ильич вдруг показал ему на мраморную доску, сияющую золотыми выпуклыми надписями:

– Вон они, все нужные нам сведения! Медицинские учреждения не были секретны, мы их теперь сами, без сторожа, найдём. Третий этаж, кабинет «17». Вперёд, Адриан Иваныч! Достань, на всякий случай, свой револьвер.

Шли они довольно долго длинными коридорами, и разговор их продолжился под шуршанье бумаг, устилавших чистые, без пылинки ковровые дорожки и поблескивающий паркетный пол перед распахнутыми дверями кабинетов и залов для совещаний. И когда вспоминал впоследствии доктор Лаптев сказанное в те минуты военврачом, перед его глазами вставали эти коридоры с высокими сводчатыми потолками, одновременно аккуратные и замусоренные.

– Ты, Адриан Иванович, медик серьёзный. И с большими способностями. Даже талантливый. Я к тебе давно присматриваюсь, знаю, что говорю. На фронте и, осмелюсь думать, на моих хирургических курсах ты получил бесценную практику. По некоторым показателям ты уже врач, а не фельдшер. По некоторым, да не по всем. Тебе необходимо получить фундаментальное медицинское образование. У нас это шесть лет учёбы в одном из университетов.

– Ничего себе, Александр Ильич... Выучился – и помирай.

– Не так оно и ужасно. Вот в армии и на фронте – ты уже сколько лет?

– Призван в одиннадцатом году... Полных шесть лет, Александр Ильич.

– Вот видишь, тоже шесть лет! И не помер же... Царская армия разваливается, тебе ли этого не знать? Однако пока не будет заключен мир, едва ли наши решатся объявить полную демобилизацию. Допустим, я добыл бы тебе мандат Совета народных комиссаров, но зачисление на тот же медицинский факультет того же Московского университета происходит летом, а занятия с первого сентября... Я уж не говорю о том, что наши вожди предвидят буржуазную контрреволюцию и гражданскую войну. Хороши же будут у тебя занятия! Как военного медика тебя мобилизует новая пролетарская милиция, она заменит армию, а как партийца – наша партия большевиков! Вот товарищ Рыков в свое время поступил на юридический, да ушёл в революцию, так и недоучился. Я придумал, как отправить тебя учиться за границу. При этом именно в Швейцарию, в Базельский университет.

– Батюшки-светы... – и Адриан невольно приставил ногу. Стоял, тупо уставившись на вывешенный в простенке живописный портрет чиновника со строгими глазами и в круглой седой бороде. Военврач усмехнулся и потянул его за рукав шинели.

– Пошли, Адриан Иванович... Почему в Швейцарию и именно в Базельский? А вот почему. С Германией мы в состоянии войны, в страны Антанты сейчас тоже не сунешься. А вот Швейцария – страна нейтральная, и в Швейцарию... – тут военврач подтянул Адриана за лацкан шинели к себе поближе, огляделся в пустом коридоре и зашептал на ухо. – ...в Швейцарию на днях тайно поедет посланник Троцкого. Думаю, что Сокольников. Требуется прощупать возможность если не признания нас державами Антанты, то хоть установления неофициальных контактов. Поедешь с ними через Финляндию и Швецию, имея свой мандат, и там останешься. Я вчера договорился. Ну, пошли...

– Какой мандат? – прошептал Адриан.

– А вот сейчас мы его сделаем. Я решил, что надежнее подготовить прошение от имени Медицинского департамента Временного правительства. И задним числом. В

Базельский же университет просто потому, что я сам в нём доучивался и могу кое-что подсказать... Вот здесь!

И они остановились перед внушительной дверью с эмалированной табличкой на ней. Перед запертой дверью. Рядом другая дверь, где на такой же табличке значилось, что это канцелярия департамента. Она тоже заперта.

Однако для Александра Ильича в тот день не существовало преград. Он повернулся к Адриану.

– Это хорошо, что ты, Адриан Иванович, не спрятал свой револьвер. Мне раненый разведчик рассказал о замечательном способе отмыкать все замки. Надо просто выстрелить точно в замочную скважину. Ну-ка, давай откроем канцелярию.

Достал Адриан свой «Руди», передёрнул затвор, поставил на «feu» и – бабах! Но после выстрела раздался шум и в коридоре справа. Выглянул Адриан – а там лежит девушка в кроличьей шубке и рядом с нею семь дестей, не меньше, писчей бумаги.

– В обморок шлёпнулась, – пояснил военврач. – Эти ещё мне кисейные барышни! Украсть казённую бумагу не побоялась, а вот от звука выстрела хлопнулась. Если она работала на ремингтоне, мы её приспособим к делу.

Дверь теперь открылась, и военные медики проникли внутрь. Там на одном из столиков стоял, к радости военврача, чёрный железный куб пишущей машинки. Круглые клавиши её поблескивали, как чешуя сказочного чудовища. Открытые полки для папок с бумагами были пусты, шкафы со стеклянными дверцами, затянутыми зелёными шторками, распахнуты, шкафчики для картотек чернели пустыми прямоугольниками отверстий. Бумаги, карточки и каталожные ящички валялись на полу, устилая его довольно толстым ковром. Пуст был и стенной несгораемый шкафчик с откинутой толстой железной дверцей.

– Так, так... Разделим обязанности, – распорядился Александр Ильич. – Я ищу печать департамента и чистые бланки, а ты, Адриан Иванович, будь добр, поройся на полу. Перебирай бумаги одну за другой, пока не найдешь с подписями начальника департамента и заведующего канцелярией. Вот ведь бюрократы чёртовы!

Не отрываясь от поисков, военврач раскрывал Адриану детали своего головокружительного замысла. Оказалось, что в Базельском университете за обучение платит государство, иностранные студенты от оплаты тоже освобождены. Поэтому только туда! Тем более, что кантон там немецкий, а учат на двух языках, немецком и французском, а Адриан знает оба, ведь так?

– Не сказал бы, что в совершенстве, – промычал знаток языков. – Объясниться могу, это да...

Далее выяснилось, что направление на учебу от новой, народной власти администрация швейцарского университета могла бы встретить в штыки. Поэтому они и возьмется сейчас... Пусть Временное правительство два дня как низложено, но почему бы его чиновникам, самим того не зная, не помочь фронтовику? Военврач всё не мог обнаружить печать департамента, а Адриан как раз нашёл два подходящих образца для подписей, когда из коридора, куда дверь была предусмотрительно отворена, раздался слабый стон и шуршание бумаги.

– Ага, опомнилась она, наша помощница! – воскликнул Александр Ильич. – Влачите-ка её сюда. Хотя...

Тут он присмотрелся к Адриану и спросил, а не умеет ли он сам печатать на ремингтоне. Пока удивлённый Адриан отнекивался, барышня оправилась, собрала уворованную бумагу и чуть было не успела улизнуть. Когда ротный фельдшер притащил-таки её в канцелярию, девица расплакалась. Еле-еле удалось военврачу одновременно успокоить её – и напугать военным судом, если не станет сотрудничать. На счастье медиков-революционеров, она действительно служила ремингтонисткой в соседнем департаменте, ветеринарном. Усаженная на стул, пишбарышня утёрла платочком слёзы и резво настукала в одном экземпляре прошение на русском языке, а вот с французским вариантом ей пришлось повозиться и испортить несколько бланков – тем более, что и Александр Ильич диктовал уже с явной заминкой. Отпустив пленницу, фальсификаторы, радостно гогоча, подделали подписи – военврач расписался за начальника департамента, а ротный фельдшер – за начальника канцелярии.

Решено было поставить на обеих версиях прошения министерскую печать, а в благодарность презентовать народному комиссару Рыкову отобранную у пишбарышни писчую бумагу. Рыков, которого задуманная Александром Ильичом авантюра весьма позабавила, лично приложил к филькиным грамотам большую печать министерства, а от себя щедрой рукой выдал будущему студенту валюты из министерского несгораемого шкафа. Пояснил, приятно заикаясь:

– Это вам на гражданский костюм и в Швейцарии на жильё в первое время, на учебники и на пропитание. Всё едино рано или поздно придётся посуду мыть в ресторанах, так уж лучше поздно, а не в самом начале учёбы. Ведь вы, как и я, выходец из бедных крестьян (не ошибся ведь я, правда?), а нам, сметливым мужикам среди утончённой интеллигенции, сама судьба велела друг дружку поддерживать.

Попрошавшись с народным комиссаром, медики вышли в коридор. Здесь, рассеянно наблюдая, как ошарашенный Адриан прячет банкноты и драгоценные бумаги между листами старинного «Травника», Александр Ильич заявил задумчиво:

– Я думаю, что солдатская книжка и мандат на съезд в будущем позволят тебе, Адриан Иванович, выправить гражданский паспорт. И насчёт денег на прожитьё товарищ Рыков, как опытный политэмигрант, дело говорит. Мы вот что ещё сделаем, мы сэкономим на гражданской одежде. Пока Гриша Чудновский остаётся комендантом Зимнего дворца, неужели он не найдёт для тебя в царских гардеробах подходящего костюма, пальтеца и котелка?

Так и не поймав извозчика, они уже подходили к Дворцовой площади, когда Александр Ильич вдруг остановился и хлопнул себя по лбу.

– Господи! Ну и дурак же я! Чуть не забыл... Ещё ведь нужно два рекомендательных письма от медицинского факультета, от декана и от одного из профессоров-медиков. В питерском университете медицинского факультета нет. В Женском медицинском институте у меня нет таких знакомых... Вот! Эврика! Придётся доктора Тонкова из Военно-медицинской академии о помощи просить. Только сначала расскажу ему о твоей поездке. Владимир Николаевич человек добрый и справедливый. Авань не откажет...

Однако получить официальные письма от медиков Военно-медицинской академии оказалось достаточно сложным делом и для только что назначенного новым президентом этой академии доктора Тонкова. Именно из-за этих бумаг, уже переодетый в гражданское, Адриан чуть было не опоздал к кассам поездов дальнего следования на финляндском вокзале, где в условленный день и час собиралась группа скромно одетых господ, отправлявшихся кружным путём в тайную дипломатическую миссию.

Прошло всего несколько дней, и бывший ротный фельдшер вдруг опомнился и по-настоящему, во всех правдивых красках и звуках бытия, внезапно ощутил разительную перемену в своем существовании. Сидел он тогда на одном из стульев в приёмной ректора Базельского университета, ожидал его резолюции. Пахло в приёмной совсем не по-нашему, видно, от секретарши средних лет шёл цветочный дух, да и от него самого несло одеколоном. Только что побывал он в немецкой парикмахерской, поэтому вымытые волосы его были подстрижены, усы тоже, щёки и подбородок гладенькие. После гимнастёрки, сидевшей на Адриане, будто собственная кожа, трудно было привыкнуть к крахмальной сорочке и пиджаку, зато ноги отдохали в лёгоньких гражданских ботинках. Тёмно-красное здание университета стоит на набережной с наивным названием Rheinsprung, невдалеке торчит громада Базельского собора, и всё это чистенькое и цветное какое-то, весёлое жизненное пространство будто на другую планету убежало от фронта с его вшами и крысами в траншеях и даже от прекрасного, но заплёванного семечками и пропахшего солдатской махоркой Петрограда.

Всё замечательно, но что ему делать, если резолюция будет «нет»? Силой воли русский путешественник отогнал панику, тем более, что высокая дверь ректорского кабинета вдруг приоткрылась, и в приёмную высунулась голова пожилого господина – ректора, как понял Адриан. Он тотчас же вскочил, вытянулся, наклонил голову в поклоне и попытался пристукнуть каблуками на толстом ковре. Холёное лицо важного старика скривила усмешка, недобрые серые глаза из-за пенсне просверлили русского ротного фельдшера, явившегося в храм науки прямо из окопов мировой войны... Ректор еле заметно кивнул в ответ и исчез за дверью. Через минуту на столе у секретарши звякнул звоночек (конечно же, электрический), она поднялась из-за стола, быстро поправила причёску и, в свою очередь, исчезла в кабинете.

Стоя, ожидал её возвращения Адриан и был ни жив ни мёртв. Вернулась секретарши и возвратила ему прошение. С трудом разобрал он рукописное: «Auf medizinischer fakul'tät zu anrechnen». Поблагодарил и вывалился на улицу, смутно вспоминая, что секретарша поздравила его, велела идти в канцелярию и не забыть про две фотографии.

Она даже подсказала, добрая фрау, где ближайшая фотостудия, но этого Адриан уже не запомнил. Сам разыскал фотоателье, а своё полноценное положение швейцарского студиязуса осознал только вечером, в каморке, снятой поблизости от учебного корпуса и базовой больницы факультета. Осознал, воткнув взгляд в кирпичную стену, ведь из его окошка её только и можно было увидеть.

Но, как вскоре выяснилось, не полностью русский путешественник осмыслил тогда своё новое положение в жизни. Оказалось, что нет у него времени глядеть в окно на красные кирпичи. Чтобы полностью понимать лекции, надо было усовершенствоваться – и это ещё мягко сказано! – свой немецкий, а также потребовалось различать на слух сотни специальных терминов, сыпавшихся на ротного фельдшера как из рога изобилия, вот-вот, als aus Gehörn Amalfei! Единственным спасением стал рацион впроголодь и частые холодные души. В доме туалет был во дворе, из удобств в комнатке предусматривалась только раковина с краном. Адриан приспособился: купил резиновый тазик и обливался из кружки. Выданные добрым товарищем Рыковым фунты старался растянуть как можно дольше и ругал себя последними словами за то, что в первые дни, не владея ситуацией, менял их по расточительному курсу.

Так в треугольнике, образованном университетской библиотекой, а рядом и больница, учебным корпусом со столовкой внутри и доходным домом, где снимал он комнатку, пролетел для Адриана, а если точнее, так промелькнул, целый год и ещё полгода. В его отечестве тем временем чёрт знает что делалось, но о кровавых сенсациях

Гражданской войны Адриан узнавал из разговоров однокурсников на переменках, да ещё, если удавалось на ходу в сквере подхватить со скамьи газету, оставленную читателем. Бывало, что его охватывала тревога, иногда за родственников – мнимых усть-сожских и непонятных старобельских, иногда за товарищей по партии. Но эти правильные чувства на самом деле были как дым, как утренний туман, только застилающие порой настоящие его, студенческие заботы. Ведь у Адриана, явочным порядком (или, напротив, неявочным?) покончившего с германской войной, тут завязалась своя война – с немецким точным языком и с трудной медицинской наукой. А в этой войне дела его были успешны: по количеству лекционных дисциплин и практик, ему зачтённых, был уже тогда Адриан где-то посередине обычного четвёртого курса. Поскольку же всякое везение когда-нибудь да заканчивается, произошёл сбой и здесь.

Как-то поздним вечером, уже в койке, решил Адриан утомить напоследок глаза, чтобы легче заснуть. Повторил он про себя прочитанное только что в пособии: «Die primitivste Form ist der Gastralraum... der Nesseltiere, der zugleich Ausscheidungsorgan ist». Понял, о чём речь, закрыл глаза и попробовал представить зримо. Но вместо примитивного желудка, являющегося одновременно и органом выделения, увидел вдруг прельстительное движение крутой женской попки под юбкой. При этом не было никакого сомнения, чья она, попка. Чья же, как не Радки из комнаты «10»? Чешки-соседки, с нею обменивается порой парой слов на общей кухоньке по утрам, когда он кипятит себе воду для чая, а она – для цикорного кофе. Он к ней на русском, она на чешском, иногда забавно выходит. Но вот такой специфический интерес к Радке – это нечто новое...

Внезапно опротивели Адриану все на свете желудки с их пищеварительными и прочими функциями, и решил он отдаться стихии. Заложил страницу пособия закладкой, вырезанной из глянцевої открытки-рекламы, снова закрыл глаза и вернулся к той картине, которую вчера наблюдал вечером, возвращаясь в свою каморку. Орудя ключом, краем глаза заметил Гражину, что рылась в ридикюле в поисках, очевидно, своего ключа. И вот теперь он увидел перед собою эту рыжую худышку всю, во весь рост, и жадно её рассмотрел. И было ему, вот именно, до лампочки, что не одна она топталась у своей двери, а рядом беспокойно оглядывался жгучий брюнет средних лет. Канотье он снял, держал в руке, набриолиненные волосы, разделённые прямым пробором, и тонкие усики выдавали в нём человека не университетского круга общения. Да плевать на фронта!

Валяясь на кровати, Адриан всё вглядывался в припомнившуюся соседку. И теперь оценил её, огненно-рыжей, белокожесть. По лицу, шее и рукам вдруг всю её, белокожую, представил – и едва не задохнулся от внезапного желания.

А тут стук в дверь. И голос её, Радки:

– Пан Ондршей! Пан Ондршей!

Он подскочил с кровати и тотчас же распахнул дверь. Или на свете всё-таки существуют флюиды, недоступные современным измерительным приборам, или она и в самом деле наведальась только за спичками, и уже тогда, стоя в дверях, прочитала всё на лице Адриана... Мгновенно приняла решение, подмигнула ошеломлённому русскому увальню, задвинула хлипкую щеколду на двери и, снова повернувшись к нему, принялась, деловито закусив губку, расстёгивать халатик.

Вот так начался в базельском бытии Адриана, до того момента сурово аскетическом, едва ли не монашеском, новый, фривольный период. Как вскоре оказалось, внезапная страсть к Радке (называть любовью своё отношение к ней у него язык не поворачивался) серьёзно угрожала его студенческому будущему. Прежде всего потому, что Адриан, отнюдь не желая сбавлять темп в учёбе, теперь проводил с Радкой часы, ранее отведённые для сна. Нельзя сказать, чтобы совсем ничему не учился по ночам, однако качество дневной, университетской учебы начало неуклонно снижаться.

А тут ещё приспел в основном обучении важный момент, о котором Адриану не преминул деликатно напомнить его куратор, доктор медицины, адъюнкт кафедры физиологии Мартин Шульц. Разговор их состоялся в коридоре учебного корпуса, возле подоконника, ведь своего кабинета у доктора Шульца не было. Глядя мимо русского варвара, своего ровесника, subtilный и тщательно одетый немец говорил о том, что пора выбрать тему для докторской диссертации, а если планов на докторат не имеется пока, то со специализацией вот уж точно необходимо определиться. Не желает ли gerr Lapteff присмотреться к специальности венеролога, ведь там путь к диплому выйдет покороче?

Адриан поблагодарил смущенно и промычал, что подумает. А немец, коротко взглянув на собеседника, продолжил. Дескать, что-то сильно похудел gerr Lapteff в последнее время, да и прозектор жаловался, что добросовестный, в общем, студент заснул на вскрытии, стоя у стены. Не в денежной ли проблеме дело? Быть может, стоит пока не зарабатывать по ночам, а вступить в университетскую кассу взаимопомощи и взять ссуду?

Побагровев, он поблагодарил снова и опять обещал подумать. Доктор Шульц невзначай, добра желая, наступил на любимую мозоль подопечного студента. Радка очень скоро установила, что обычный рацион её нового любовника недостаточен для углублённых и постоянных ночных занятий, и теперь они перед каждым свиданием с буржуазной основательностью ужинали в кафе, а в его каморке их ожидала купленная загодя, в дешёвой винной лавочке, бутылка эльзасского рислинга, подкрепляющего ничуть не хуже дорогущего шампанского. Тем не менее брешь в запасе английских фунтов, презентованном любезным народным комиссаром Рыковым, была пробита и

расширялась катастрофически. Похерив природную свою скупость, Адриан к скорому разорению отнёсся философски. Радка ведь не проститутка была, а студентка юридического факультета. Среди девушек-студенток обнаружилась-таки, как шептались, одна бесстыдница, зарабатывающая себе на жизнь вот именно проституцией, имелась и пара-тройка лихих, отчаянных искательниц приключений вроде Радки, а все остальные смотрелись обычными буржуазными барышнями. И вовсе не жадной была чешка, а просто жизнь выработала в ней особые представления об обязанностях кавалера относительно девушки.

Адриан был искренне благодарен Радке, к тому же понимал, что она одаривает его такой отрадой, какой у другой не получишь ни за какие деньги. Надо было, пока не поздно, в этом деликатном вопросе разобраться, ведь не любит он загадок, ни в чём их не терпит! Вообще же ночами они почти не разговаривали, ограничивались больше междометиями и короткими распоряжениями, а эти приказы по постели отдавала Радка, несказанно забавляя тем своего русского поклонника. Но как-то раз, когда они, по-прежнему прижатые друга ко другу (вот когда узкая койка – настоящий дар богов!), уже засыпали, Адриан решился задать подружке вопрос, давно вертевшийся на языке. На смешном их собственном, русско-чешско-немецком наречии он признался, что не имеет в амурных делах большого опыта, но всё же... Как оно так могло выйти, что по сладости женской Радка в сравнении с прежней его партнёршей всё одно, что небо и земля?

За окошком уж серело, и ему хорошо было видно, как Радка стряхнула дремоту и польщённо улыбнулась. Пояснила, что это порода у неё такая, вон «матке» уже за пятьдесят, а кавалеры за нею табуном ходят. И «бубучка», говорят, такая была. Просто есть женщины вкусные, а есть никакие и ещё противные тоже есть. А вот у них в роду все вкусные. Ано, Ано! И они заснули, на полчаса – пока у зануды-соседа будильник не зазвонил.

Потом настал грустный час, когда высчитал Адриан, что на его счету в банке осталось как раз на прощальный ужин с настоящим шампанским и на плату за месяц вперёд квартирной хозяйке фрау Шнитке. Снял Адриан все фунты, разменял на швейцарские франки, расплатился с хозяйкой. Сидя за столом в своей камерке, пролистнул ненужную теперь чековую книжку, а потом задумался над оставшимися чистыми страничками. Хотел было нарисовать на последней кукиш, устыдился собственной грубости и ограничился большим красивым нулём. На следующее утро, когда, расставшись на полчаса, они сошлись снова на кухне кипятить воду для своих утренних напитков, Адриан показал Радке бранные останки чековой книжки. Она даже всплакнула коротко над страничкой с нулём, чмокнула Адриана в щёку и пообещала, что

никогда его не забудет и что он всегда сможет прийти к ней, если станет ему невыносимо одиноко. У него в ушах шумело от волнения, он вполне мог из-за этого чего-нибудь не расслышать и что-нибудь не так понять, но насчёт основной мысли Радки едва ли ошибся.

С тех пор они снова встречались больше на кухне, иногда в коридоре доходного дома, а то и в университете. Радка всегда очень ласково ему улыбалась, но Адриан уверял себя, что ещё не достиг нужного градуса невыносимости в своём одиночестве. Если реальный роман его со сладкой чешкой закончился, то в размышлениях продолжался, и тут разное приходило ему в голову и о своих чувствах, и о деньгах, и о Радке. Раньше о любви, такой, как у людей она бывает, Адриан судил по стихотворению поэта Лермонтова «К ...». Стишок этот дал ему переписать под большим секретом односельчанин и ровесник Фомка Козлов. Прочитал тогда Адьяка – и стало ему невыносимо горько, что высокие любовные чувства опального поэта и благородное его самолюбие бесконечно далеки от его собственных чувств к Фёкле Ефимовой, к той, с фигурой, как у популярного музыкального инструмента, и мыслей о себе по поводу этих своих чувств. Вспомнив теперь пьесу Лермонтова, понял Адриан, что она юношеская, головная, написанная до опытов реального общения с противоположным полом. И рассмешили его, нынешнего, строчки:

Как знать, быть может, те мгновенья,
 Что протекли у ног твоих,
 Я отнимал у вдохновенья!
 А чем ты заменила их?

Рассмешили же потому, что применил их к своим с Радкой отношениям, на место вдохновения подставив подготовку к семинарам. Да разве возможно тут вообще сравнение? Да дьявол с ними, с занудными по-немецки этими семинарами! И какими бедными показались теперь его попытки осуществить свою страсть к зажатой в кулачок Катишь, те, что предпринимались на брачном ложе! Есть ведь с чем сравнить теперь... И есть кому теперь сравнить: ведь это несомненно, что щедрая Радка и его самого в чём-то весьма важном для мужского самоуважения наставила и утвердила.

Что же касается денег, потраченных на их совместные (вот именно!) угощения, то они могли бы продолжить агонию фунтов из несгораемого шкафа отменённого революцией Министерства внутренних дел разве что на пару месяцев, не дольше. Какая, в сущности, разница? И без того забавно, что щедрый подарок товарища Рыкова позволил ему продержаться на плаву без малого полтора года, в то время, как сам Алексей Иванович подал в отставку с поста народного комиссара уже через неделю после назначения. В знак протеста против того, что правительство не коалиционное. И надо же –

потом до самого июльского бунта входили левые эсеры в правительство вместе с большевиками! А товарищ Рыков давно уже председатель Высшего совета народного хозяйства. Об этом рассказали Адриану в посольстве Советской России в Женеве, куда он наведывался в надежде урегулировать вопрос о партийных взносах. Там он совершенно случайно узнал о гибели на Украине бесстрашного Гриши Чудновского. Посол Ян Антонович Винтер пообещал Адриану переправить его домой после окончания учёбы, но не сумел выполнить свое обещание: через месяц после поездки Адриана в Женеву Швейцария разорвала дипломатические отношения с Советской Россией, и посольству пришлось уехать.

Удивительно, но Адриану не пришлось мыть тарелки в ресторане, чем пугали его в Петрограде. Усидчивый и нетрадиционно мыслящий русский студент успел уже заработать авторитет на медицинском факультете, и куратор доктор Шульц устроил его на полставки ночным сторожем в один из университетских корпусов. Вот где пригодилось фронтовое умение спать в полглаза! Вообще же Базель – городок тихий и спокойный, так что дежурства Адриана были рутинны, да и неплохим они оказались временем для самостоятельных занятий. Именно на дежурствах повадился он, обложившись словарями и заглядывая в «Травник», пописывать статейки о русской народной медицине и рассылать в швейцарские и немецкие научные журналы, а то и просто в газеты. Бедный старый «Травник» тотчас же распух от закладок, да и растрепался чуток! Статейки, как правило, принимались редакциями и приносили неплохой навар. Так и вопрос о докторской решился: «Русские народные антибактериальные средства» – чем не тема? Она была утверждена Учёным советом мгновенно, и Лаптев принялся теперь подрабатывать уже адресно – на бумагу для рукописи и на её перепечатку на ремингтоне.

Прошло ещё полгода, и русский студент Lapteff выставил тезисы своей докторской диссертации для обсуждения на Учёном совете медицинского факультета. Перед этим ему пришлось сдать кучу специальных экзаменов и получить отзыв на полный текст диссертации от научного руководителя. По общему мнению, в отличие от российской, западная система защиты предполагает экспертизу в первую очередь знаний претендента, и уже во вторую – его способностей исследователя. Адриана этот подход вполне устраивал.

Через несколько дней после успешного диспута Адриан расписался в толстенной промоционной книге Базельского университета и получил на руки красиво отпечатанный диплом доктора медицины. Тотчас же у нотариуса снял несколько заверенных копий, дал под своим присмотром диплом сфотографировать и заказал в ресторанчике «Atelier» столики для традиционного ужина с участниками защиты. Не расслабляясь и не позволяя

себе терять понапрасну время на эмоции, отправился он на квартиру, чтобы собраться для отъезда.

XIV

Не терять время на эмоции? С заветным дипломом доктора медицины в потрёпанном портфельчике, купленном на еженедельном блошином рынке на Петерплатц, Адриан летел как на крыльях! И кто бы смог его за то осудить, что напевал на ходу, безбожно фальшивя, хор солдат из «Фауста»? Однако, когда пробежал мимо той самой скамейки в скверике, на которой и находил чаще всего уже прочитанные газеты, увидел, что скамья не пуста и что сидит на ней Радка.

– Привет! – воскликнул он радостно. – До чего же мне приятно тебя видеть, золотце!

– Привет, Адья, – ответила она, скупно улыбнувшись. – Сядь, bitte, поговорить надо.

Он присел, прижимая к себе портфель и продолжая улыбаться.

– Хорошо тебе, Адья, сияешь... als медный Groschen, вот.

– Да я рад, что удалось попрощаться с тобой, – ещё шире улыбнулся он. – Утром исчезаю отсюда, а уже через три часа mir es ist nötig in ресторан des «Atelier»... мне нужно в ресторанчик Schutz der Dissertation с оппонентами und wissenschaftlicher Führer, отметить защиту с оппонентами и руководителем ... Хочешь, зайдём ко мне?

Предложил, и только вот сейчас к ней присмотрелся. Ого! Одета в серенькое, вопреки обыкновению. Роскошные рыжие волосы осветлила и обкорнала, теперь у неё короткая причёска «каре». Почти не покрашена. Ничего себе преобразилась...

– Мне туда нельзя, да и здесь сидеть опасно. Пошла на риск, потому что надеялась перехватить тебя, – заявила на их русско-немецко-чешском наречии.

– О!

– Мои вещи bei Frau Шнитке пропали. Ты и не заметил, небось, что я не выходила на кухню... Адья, возьми меня с собой в Россию, пожалуйста.

Отпрянул от неё на скамье, покопался в памяти. Конечно же, в последние дни одна защита была на уме, но о Радкиных неприятностях слышал и он краем уха.

– Хочешь уехать, не доучившись? Проблемы на факультете? – спросил осторожно.

– Хуже, Адья, хуже. Пришлось перейти на нелегальное положение. Добрые люди меня предупредили, что полицайпрезидиум Женевы получил из Парижа требование о моей выдаче. Швейцарцы могут и не экстрадировать меня, но у полиции возникли

вопросы о нелегальном пересечении границы. Не хочу я в тюрьму, Адя. Вывези меня с собой.

– В большом бауле, что ли, тебя люб..., поклонник привёз?

Радка кивнула, как ни странно. Быть может, не поняла им сказанного.

Улыбку погасив, Адриан тяжело и надолго задумался. Он и сейчас не был уверен в том, что обосновался в Базеле легально. А возвратиться в Петроград ему поможет товарищ Винтер. Оказавшийся известным партийцем Берзином, личным другом Ленина, тот не забыл о своём обещании советскому студенту-медику, фронтовику и члену партии. И неделей раньше к Адриану на квартиру наведалься не назвавший себя левый социал-демократ. Убедившись, что Адриан именно тот русский студент, которого нужно переправить в Гамбург, швейцарец попросил запереть дверь и сунул лоскут серого шёлка, густо заполненный мелкими буквами. Прямо при нём пришлось Адриану, не прочитав, зашить это секретное донесение в Зарубежный отдел ВЧК за подкладку своего пиджака. Конспиратор изложил ему общий план эвакуации, а ещё через пару дней познакомил с железнодорожником, и уже тот рассказал, что именно нужно будет сделать. С одной стороны, швейцарским левым вряд ли понравится, если им придётся переправлять ещё и девушку. С другой, почему бы и нет? Где одного взяли вывезти, нетрудно будет вывезти и двух. А главное, Радка ему совсем не чужой человек. Вот только... Он прокашлялся.

– А всё-таки... Что ты там, у французов, натворила? А? Пристрелила кого-нибудь?

– Знаешь, Адя, если ты хочешь мне помочь... Тебе тогда лучше не знать, в чём меня обвиняют. Ано.

Он подхватился уходить. Радка придержала его за руку – и как много сразу вспомнилось при этом коротком прикосновении! Адриан опустил на скамью, а бывшая подруга пояснила кротко:

– Я не имею права болтать. Скажу только, что анархистка. Сама я, лично, никого не ликвидировала.

– Ладно. Это я, допустим, понял. А зачем тебе всё-таки в Россию?

Она пожала плечиками. Проговорила, на Адриана не глядя:

– Ну, из новой, пролетарской России меня уж точно французской полиции не выдадут. И мне кажется, что такой авантюристке, как я, только у вас, русских, сейчас и место.

– Русский солдат назвал бы тебя козырь-девкой, – буркнул Адриан. И вдруг посерьёзnel. – А ты газеты-то читаешь? Ты знаешь, что белые наступают на Москву?

– Россия большая, не одна же в ней Москва.

Адриан вздохнул. Он никогда не бывал в Москве и как столицу этот древний город воспринимал слабо. В газетном сообщении была безбожно перекручена фамилия белого генерала, командующего наступлением, но Адриан сообразил, что речь идёт о Май-Маевском, бывшем командире его дивизии. Худо дело! Генерал это опытный, умный, цепкий. Будто бы Харьков уже взял... Ну, и цыганское же счастье у нашего доктора медицины! Нашёл, однако, наилучшее время, чтобы возвращаться! И зачем только он ещё и эту обузу берёт себе на шею? Вздохнул, развёл руками, в одной держал портфельчик, и проговорил ей на ухо:

– Бесплатно мы доедем только до Фрайбурга. Во Фрайбурге выходим. Оттуда до Гамбурга поедem другим поездом через пару часов. У меня только один билет. Ты сможешь купить билет для себя? За марки, и это для меня, например, большие деньги.

Она поджала губы и, кивнув, достала из сумочки довольно толстую пачку швейцарских франков пятидесятками. Он кивнул и снова склонился к её ушку, согласно моде спрятанному теперь за прядью волос:

– Отсюда до Центрального вокзала идёт трамвай «1».

– До Центрального? До Базель SBB? Или до Базель-Бадишер-Банхоф?

– Да, до Базель SBB. Ровно в четыре утра ты должна быть на последней остановке этого трамвая перед вокзалом. Лучше, если раздобудешь тёмный плащ, а голову прикроешь тёмной же кепкой. Деньги должны быть с тобой. И лучше купи чемоданчик, пусть будет при тебе, хоть и пустой. Пассажир без багажа привлекает внимание.

– Спасибо, Адя. А я пойду сейчас. Не могу тут долго оставаться.

Адриан посмотрел ей вслед. Станные ощущения он испытывал. Тело его уже вспомнило подружку и радостно предчувствовало кое-какие безумно приятные события. Разум же бунтовал. Покинув фронт, вот уже без малого два года Адриан жил только для самого себя, ни за кого, кроме себя единственного и любимого, не нёс ответственности. Если заставил себя забыть о жене и маленькой дочери, имеет ли он право брать на себя заботу об этой лихой девке? И только потому, что надеется на возвращение восхитительных отношений с нею.

Он покрутил головой, достал из жилетного кармана часы, подаренные верховным главнокомандующим несуществующей теперь армии. Половина третьего. Если сейчас же собрать чемоданчик, окончательно рассчитаться с фрау Шнитке и сдать комнату, он успеет ещё до вечеринки посмотреть город. Вот именно! За всё время учёбы Адриан так и не смог высвободить несколько часов, чтобы побродить по Базелю, не торопясь осмотреть его достопримечательности, попить неспешно пива из высокой кружки, поглядывая одобрительно на городские ворота Шпалентор, построенные, только подумать, в конце

XIV века и, надо же, достоявшие до нашего времени. Что ж, здесь не бывало войн, и добрые базельцы разрушали только то, что сами хотели. Разрушали, чтобы построить для себя нечто ещё более полезное и красивое.

И он прошёл Средним мостом до середины и долго топтался у старинной часовни. Перегибался через парапет, стараясь получше разглядеть то ли окно, то ли дверь, откуда палач сбрасывал в Рейн связанных девиц-детоубийц и жён-прелюбодеек. Не торопясь, рассмотрел вблизи замечательную Ратушу и дважды обошёл вокруг удивительного древнего фонтана с фигурами святых на Рыбном Рынке. Ему говорили, что именно фонтаны в Базеле уникальны, поэтому он нашёл и фонтан Гольбейна, похожий на объёмную рождественскую открытку. Толстые румяные щёчки, сытые животики крестьян, неуклюжие ноги и грубые лица их жен и девиц, мягкие, успокаивающие глаз сочетания цветов вечной керамики... Адриану показалось, что он понял замысел древних архитекторов, скульпторов и живописцев Базеля: они хотели, чтобы добрые бюргеры могли прочесть свой город, как каменную книгу со цветными завлекательными картинками. Не потому ли, что художники слишком хорошо знали, что эти упитанные любители светлого пива не при какой погоде не станут читать настоящих книг?

Он еле успел к началу традиционной вечеринки. И не надеялся, что она доставит ему большое удовольствие, но такой скучищи всё же не ожидал. Беда была и в том, что бытовым немецким, на котором в неофициальной атмосфере заговорили приглашённые учёные мужи, русский варвар владел куда хуже, чем той версией литературного языка, на которой читались лекции, составлялись учебники и научные статьи. Поэтому и шутки гостей не всегда понимал. В конце концов, немцы начали обсуждать свои проблемы, на молчаливого героя торжества обращая не больше внимания, чем на кельнера. Да и выпил он за всё время ужина только полкружки лёгкого пива.

Рассчитавшись с метрдотелем, новоиспеченный доктор медицины подошёл попрощаться к учёным мужам. Те снова заметили его присутствие и даже по пьянке принялись похваливать уже заплетающимися языками. Адриан провёл научного руководителя до остановки трамвая, а сам вернулся вдоль колеи к загодя присмотренной дешёвой гостинице, снял номер на ночь и попросил разбудить себя в половине четвёртого. Побрезговав гостиничным бельём, он улёгся поверх покрывала и мгновенно заснул.

Казалось, и минуты не прошло, как разбудил его громкий стук в дверь.

– Aufwache!

Ну, да, портье будит... Через пять минут он уже скатился по крутой узкой лестнице. Звякнул звоночек на двери. По улице плыли полосы густого тумана. Это хорошо... Имея, как мудрец Диоген, всё свое на себе и с собою (или это Цицерон сказал?),

зашагал он решительно и, только подойдя вплотную к условленной остановке трамвая, увидел там на скамейке Радку. Сидела, как сирота казанская, и чемоданчик у ног.

– Я думала, Адя, что ты не придёшь. Что обманешь, – проговорила Радка с таким видом, будто и в самом деле обманул, не пришёл.

Адриан крикнул. Такой вариант он тоже планировал, отсиживая в «Atelier» с усатыми и бородатыми учёными медиками. Вот только где бы тогда поймал своего железнодорожника? Не говоря уж о том, что опасался брать на совесть такую тяжесть. Тут и путеец, лёгок на помине, вынырнул из тумана. Он не ругался, этот швейцарский товарищ, только с укоризной посмотрел на Адриана, но так, что у того загорелись уши. Молча развернул немец свой пакет и, подумав, наделил потрепанным форменным пальто Адриана, а железнодорожной фуражкой – его даму. Потом они довольно долго поспедали за размашисто шагавшим путейцем, Адриан с некоторым усилием, а Радке так вообще приходилось подбегать. Ныряли в туннели, пересекали железнодорожные пути, обходили какие-то депо и диспетчерские вышки. Однажды до них донёсся густой львиный или тигриный рык. Радка ойкнула.

– Звери просыпаются. Зоологический сад тут рядом, – пояснил железнодорожник и вывел их снова на шпалы. – Товарная станция позади, теперь уже недалеко, товарищи.

Туман заметно проредился, и небо уже заметно посветлело, когда вышли они на запасной путь, где, как понял Адриан, отстаивался нужный им утренний поезд «Базель–Штутгарт». Поезд стоял тёмный, огни горели только на паровозе. Путеец, несмотря на солидный свой возраст, ловко забрался на лесенку вагона «б», открыл дверь ключом, подал руку Адриану, а потом они вдвоём втянули в вагон Радку.

Швейцарский товарищ, оказавшийся проводником вагона, зажёл в нём тусклое дежурное освещение и, времени не теряя, показал своим гостям, где им придётся прятаться до немецкого Фрайбурга. Этим убежищем оказалась узкий чулан, смахивающий на большой пенал. Там стоял ящик с углём, на нём щётка с длинной ручкой для уборки и висели половые тряпки.

– Одному можно простоять пару часов, а вот вдвоём тесновато будет, товарищи, – заявил немец и ухмыльнулся.

Проводник открыл для них туалет, хоть и не по правилам это, и предупредил, чтобы укрылись в закутке, как только поезд начнёт подтягиваться к перрону. Радка фыркнула, но промолчала. Только руками развела и первой отправилась в туалет.

Еще четверть часа нетерпеливого ожидания, и раздался гудок. Вагон дёрнулся, лягнули буфера, потом в окошке медленно поплыли синие железнодорожные огни. Ворча, проводник распахнул дверцу чулана, и Адриан сначала помог Радке забраться на

угольный ящик, а потом уже и сам втиснулся рядом с нею. Он ожидал, что запутается носом в паутине, однако немецкая аккуратность проявилась даже здесь. Лязгнула дверца. Пристраивая у себя между ног портфель, с которым не захотел расстаться, Адриан пробормотал:

– В тесноте, да не в обиде.

Пришлось растолковать спутнице, что это значит. Она хмыкнула и заявила, что мало им довелось целоваться в своё время, всё находились другие занятия. Он улыбнулся:

– Ну, не в бирюльки же мы играли тогда.

Теперь пришлось объяснять, что такое бирюльки. Тем временем поезд лязгнул пару раз и остановился. Раздался голос проводника, ему отозвались незнакомые – то ли пассажиров, то ли таможенников. А вот для Адриана и Радки, вновь неотвратно прижатых друг к другу, всякие разговоры теперь стали запретными. И вот что напоследок прошептала ему в ухо козырь-девка:

– Начинаю praktische Beschäftigung... Цвичици. Ано.

Эти практические занятия немало скрасили им полтора часа (Адриан посмотрел на часы, когда освободился из пенала), проведенные в душной темноте до остановки поезда уже на территории Германии, за несколько миль до Фрайбурга. Поезд стал, чтобы паровоз пополнил запасы воды и угля, а проводник, убедившись, что никого нет в коридоре, быстренько выпустил своих нелегальных пассажиров, сунул им чемоданчики и буквально вытолкнул из тамбура в двери, противоположные перрону маленького полустанка.

Стояло солнечное утро, для многих раннее, когда Радка и Адриан проводили глазами поезд, оставивший после себя только клубы дыма, скатились, ещё не вполне управляя собственными ногами, с железнодорожной насыпи и пустились в том же направлении по тропинке, петляющей рядом с пшеничным полем, словно где-нибудь под Вологдой. Однако город, вскоре показавшийся на горизонте, весьма мало походил на Вологду.

– Красиво-то как! – восхитился Адриан.

– Вот эта громадина посредине – колокольня славного Фрайбергского мюнстера, городского собора. Знаменитый профессор нашего университета Яков Буркхардт писал, что это самая прекрасная из башен, построенных христианами.

– Здорово! А неужели ты специально читала об этом Фрайбурге?

– Ну, я собиралась, когда закончится война, проехаться по Германии туристкой. Не так, как сегодня, конечно...

– Если ты всё знаешь, скажи, почему крыши Фрайбурга красные, как у немцев положено, а вот стены домов белые?

– Точно не знаю, но думаю, что это местная черта земель Бадена. А так не знаю я.

Но вот они уже на улочках предместья. Но железнодорожную колею не упускают из виду.

– Почему бы тебе, Адья, не поймать Fuhrmann? – прохныкали Радка.

– А у тебя найдутся марки на извозчика? – прищурился на неё Адриан. – Франками едва ли стоит рассчитывать.

– Da doch Teufel!

Обошлись без немецкого извозчика и вскоре оказались возле вокзала. Был он настолько мал, что казался игрушечным, уж точно безнадежно провинциальный. Не нашлось внутри или на перроне даже окошечка или прилавка менялы, и Радке пришлось отправиться в городской банк. Адриан и последнюю жалкую пятидесятку швейцарских фунтов ей отдал, чтобы тоже поменяла на марки.

Свой поезд он нашёл в расписании, написанном мелом на чёрной доске, вроде университетской, только намного уже, и убедился, что сегодняшний рейс не отменён. Отлично: весьма проблематичная для человека без германских документов ночёвка во Фрайбурге ему не грозит. Достал свои наградные часы, проверил их по вокзальным. До отправления оставалось ещё два часа. По увиденной части Фрайберга и вокзалу нельзя было бы догадаться, что в Германии произошла революция, император свергнут, и царит вместо него, хоть и буржуазная, но демократия. Какие там грузовики с солдатами, какие красные повязки на рукавах? Даже красных флагов нигде не видно... На круглых афишных тумбах ещё выцветают военные плакаты со зверообразными казаками, улепётывающими от германского солдата. Нынче у немцев Веймарская республика! Вожди социал-демократов Карл Либкнехт и Роза Люксембург зверски убиты, восстания рабочих потоплены в крови. Часть Германии оккупирована французами, а поезда ходят точно по расписанию. Европа!

– Адья!

Он обернулся. Радка летит к нему, на усталом личике недовольная гримаска. Говорит на их интернациональном языке:

– На твой поезд билетов уже нет, хоть и здесь формируется. Есть только на скорый, через три часа, но прибудет в Гамбург на час раньше твоего.

– Бери. Что ж делать?

– А я уже взяла. Пошли по городу погуляем, пока на твой поезд не начнётся посадка. Вот, держи свои марки.

– Многовато, Радка.

– Инфляция! Всё у немцев дорожее. Знаешь, вот, возьми ещё. Я хоть уверена буду, что ты поешь перед дорогой.

Милая забота! Попытался он отказаться, но Радка всунула деньги ему в карман. Хотел было тотчас же угостить её жареными колбасками с лотка уличного торговца, но она сморщила носик. И в самом-то деле, чёрт его знает, из чьего мяса при нынешней немецкой бедности могут быть эти колбаски... Поэтому перекусили бутербродами с сыром в маленьком кафе, запивая цикорным кофе, хотя обоим очень не помешало бы глотнуть по чашечке настоящего. Но это тебе не Швейцария, нет. Адриан прекрасно помнил, какими упитанными, краснорожими были немцы в Восточной Пруссии в самом начале войны, не хуже нынешних мирных швейцарцев. Здешние же немцы осунулись и похудели. Конечно же, встречались люди с нездоровой худобой, но и у большинства запали щёки. Дети как раз проходили мимо в школу, и мальчики, как один, были в вельветовых костюмчиках гольф. Так вот их ножки в чулках показались Адриану болезненно тонкими, кожа да кости. Наголодались немцы за войну, но у них, войну проигравших, и мирная жизнь что-то не налаживается. Горе побеждённым!

Он прекрасно помнил, как те багроволицые солдаты летом четырнадцатого года морили его и прочих пленных голодом, однако сейчас не злорадствовал. И не то, чтобы вовсе не жалел этих немцев, нет. Да и как было не пожалеть детей, ни в чём не виноватых? Но в своей жалости не доходил до такой экзальтации, чтобы с себя последнюю рубашку снять, да и несчастным отдать. Ведь на фронте именно родители этих вот голодных страдальцев истово исполняли приказы своего начальства, желавшего таких, как Адриан, разорвать на куски снарядам, прошить пулями, отравить газом! Подзабыл это он среди говорящих на немецком швейцарцев, а тут вся вражда сразу вспомнилась. Ну, и была ещё одна серьёзная причина для экономного расходования жалостных чувств бывшим военфельдшером. Нет, не о бессердечности речь, благоприобретённой в траншеях Германской войны и отнюдь не смягчённой душу выматывающей гонкой за знаниями и дипломом в Базеле. Неизвестно, что творилось сейчас в России, где голодовка – не самое страшное зло, которое может свалиться теперь на человека. Почему же он не попытался остаться в богатой Швейцарии, почему не ушёл через границу в благополучную Францию-победительницу? Голос крови? Нутряной патриотизм крестьянина? Но ведь не мечтает он вернуться в родимую Усть-Сожу, не говоря уже о Старобельске... Или вдруг проснулась в нём большевистская партийная дисциплина? Но если белые побеждают, коммунистам приходится снова уходить в подполье. Ничего себе перспектива для доктора медицины...

– Адь! Ты посмотри, какая смешная башня! Это Martinstor! Мартыновы ворота!

И в самом деле. Между обычными трёхэтажками высится чудовищный монстр. Никакой военной целесообразностью не объяснить такую высоту башни с воротами на городской крепостной стене. А зачем на ней огромные часы? Он спросил.

– Ты о чём? Лучше на картину посмотри. Картина тоже знаменитая.

На картине, написанной, похоже, масляными красками, довольно неуклюже намалёванный конный римский воин выезжает из ворот. Мечом он разрезает свой плащ, чтобы отдать половину нищему. Говоришь, Martinstor? Да, это святой Мартин. Небось, подвизался где-то здесь. А часами он не напрасно заинтересовался.

– О чём я? Мы стоим перед южными воротами Фрайбурга, ведь так? Так что ж оно получается – часы поставлены на городской стене, чтобы враг, осаждающий город, знал точное время?

Радка захихикала. Потом бледным от недосыпа подбородочком показала на вывеску справа от ворот. Ага, «Restoraunt zum Martinstor»...

– Может быть, перестанем экономить? Наедемся по-человечески перед дорогой, а?

– Да ладно тебе... А на башне вон там, под картиной, о чём та надпись на мраморной доске? Давай почитаем, Радка.

До чтения ещё предположила начитанная спутница Адриана, что там говорится о ведьмах. Ведь в башне была тюрьма, где держали и пытали ведьм, перед тем как сжечь их на Соборной площади. Радка целую речь произнесла, обличающую невежественных и тупых немецких мужланов, в её устах и на их общем с Адрианом языке это прозвучало достаточно забавно. Он тем временем присмотрелся к мраморной плите, и надпись на ней оказалась о подвигах фрайбуржцев в войне против Австрии в 1796 году. Стало быть, не всегда они были нейтральными, швейцарцы. Тьфу ты, какие швейцарцы? Это ж Германия уже. А что касается таких излишеств, как заоблачная высота воротной башни, картина на ней и мраморная доска, так ведь хоть в Киеве посмотреть на древние ворота – разрушенные, Золотые, и целые, лаврские. Ведь над обоими стояли церкви – как подумать, так ведь тоже не слишком уж логично. Откуда таким тёплым в душе пахнуло, когда вспомнил о Киеве?

Под ручку, они, поглядывая время от времени на часы Мартиновых ворот, погуляли по Фрайбургу, а осмотрев вблизи грандиозный кафедральный собор, зашли с некоторой робостью и вовнутрь. Ничего радостного для человека не нашлось ни снаружи, ни внутри Мюнстера, и даже яркие стёклышки цветных окон должны были подчеркнуть ничтожество зрителя перед величием Бога и его святых. Недаром и статуи волхвов, приветствовавших Иисуса-младенца (по-немецки это Три короля), вознесены на Соборной площади на немыслимую высоту. Впрочем, когда они по второму раз обошли вокруг

собора, позабавили их водостоки, особенно тот, что изображал голого молодого человека, готового выпустить дождевую воду из трубы, вставленной в собственный зад.

– Ну и ну! – поразился Адриан. – Это при том, что весь собор такой мрачный. Значит, и тут никакого веселья, а только желание голым задом оскорбить и отпугнуть нечистую силу. Amen.

– Я читала, – снова сморщила носик Радка, – что в той стороне, куда указывает задница, жил горожанин, пожадничавший дать денег на построение собора.

– Вас заинтересовала эта горгулья? – раздалось вдруг за их спинами на немецком.

Они разом обернулись, Адриан, давно готовый к неприятностям, скорчил самую невинную, по его разумению, рожу. Однако едва ли был он для них опасен, этот мышинный жеребчик в канотье, с маленькими усиками и в белоснежных гетрах поверх начищенных до блеска башмаков.

– Ja, natürlich, – пискнула Радка.

– О, иностранным студентам простительно этого не знать, – усмехнулся прохожий. – А причина была такая. На той стороне площади жила богатая вдова. Она сначала одарила архитектора своей благосклонностью, а потом прогнала его. И вот вам месть. До свидания!

И немец, приподняв канотье, развернулся и принялся, не торопясь и поглядывая по сторонам, пересекать Соборную площадь.

Адриан перевёл дух.

– Да что за дьявол! Одет я вполне пристойно. Хоть и в немодное, но всё на мне из гардеробной в Зимнем дворце. Здесь по такой моде половина одета. Ботинки, правда, за два года изрядно стоптались, но тоже из Зимнего. Как же этот господчик понял, что мы иностранцы?

– Да тебя, Адьа, как ни одень, всё будешь смахивать на русского медведя, – махнула она на него рукой. – Говорили мы не на немецком, вот в чём фишка... А ты что ж, грабил Зимний дворец? А мне ничего не рассказывал, противный...

От всей души согласился Адриан, что тут лучше вообще помалкивать. И на их так называемом немецком тоже. От темы Зимнего дворца удалось её отвести, тем более что Радка критически присмотрелась к спутнику.

– Э, да тебе пора побриться. И волосы по моде укоротить.

Пока брили и стригли Адриана, Радка перебирала журналы и газеты, лежавшие на низеньком столике в углу парикмахерской.

На улице она снова взяла русского медведя под руку.

– Знаешь, Адя, из России плохие новости, – проговорила снова на их собственном языке. – Пишет корреспондент из Гельсинфорса, будто генерал Юденич получил от диктатора Сибири адмирала Колчака телеграмму с назначением его, Юденича, командующим войсками Северо-Запада России.

Он помрачнел. Выходит, красному Питеру тоже угрожает опасность. Однако от назначения какого-то генерала командующим до похода его войска на Петроград должно ещё пройти время. Стало быть, они с Радкой в белый Петроград уж точно не приплывут. Сказал ей об этом как можно короче и напомнил, что договорились ведь на улице помалкивать. Ещё они договорились, что Радка встретит его на выходе из вагона в Гамбурге, ведь своим скорым приедет раньше. И молчали до самого возвращения на вокзал.

А потом он занял место в тесном вагончике, положив на сиденье свой чемоданчик, и встал у окна, уставившись на Радку. Раньше его никогда не провожали так вот: когда нельзя сказать кучеру «Ну, поехали!», нельзя обняться перед разлукой, промолвить друг другу прощальные слова. Теперь приходится ждать, пока механическое средство передвижения загудит, засвистит и затарахтит своими колёсами. Ситуация идиотская, неудобная для обоих, а главное, во все глаза тогда разглядывая Радку, блудный доктор медицины поразился, до чего же эта девушка чужая ему. Где были его глаза? Или охватившее его вдруг безразличие связано с тем, что нельзя безнаказанно целоваться полтора часа подряд?

Но вот вагон дёрнулся, сцепки лязгнули, крошечный перрон Фрайбургского вокзала и фигурка нечаянной подружки уехали вправо. Адриан стёр с лица глупую улыбку и занял своё место. Прислонился спиной к твёрдой стенке купе и почти тотчас же заснул. Проснулся уже ночью, где-то посреди Германии, а разбудили тупые боли в промежности. Спросонья сильно перепугался, понавоображал себе кучу болезней, одна одной страшнее и позорнее, пока не поставил правильный диагноз: первый приступ простатита. А чему удивляться? Долгое воздержание на мирной военной службе и на фронте, короткие периоды половых излишеств... А приступ запущен, конечно же, этими сумасшедшими полутора часами поцелуев – в сухую, без возможности естественной разрядки! Вот тебе и наказание, дураку! Хорошо ей, шалаве, у неё предстательной железы вообще нет!

Кончается всё на свете, утихли и противные эти боли. Адриан тотчас же закрыл глаза и снова заснул, повторяя: «Необходима правильная половая жизнь». И она ему приснилась, эта нормальная половая жизнь, но в таких дурацких и неожиданных формах протекала она во сне, что даже и не вспомнились эти причуды при пробуждении.

И вот он, наконец, Гамбург. Поезд бесконечно долго идёт по городу, какими-то мостами через реки и выползает на главный гамбургский вокзал. Вагон, наконец, останавливается, и кажется Адриану, что он испытывает дежа вю. Потому что через стекло того же вагонного окна, только загрязнившегося в дороге, он видит Радку в той же самой позиции, так же одетую и с тем же озабоченным выражением милого личика, что и во Фрайбурге. И вот он на перроне. Но там вокзал был малюсенький, а тут ого-го-го! Радка хватает его за руку и тащит. По пути он отдаёт свой билет, а она свой перронный. Огромная привокзальная площадь.

– У нас уже есть мотор, Адя, – говорит Радка.

И в само деле, белозубый усач, весь затянутый в шофёрскую кожу, распахивает перед ними скрипучую дверцу чёрного монстра с табличкой на крыше: «Тахе». В салоне, воняющем бензиновым чадом, Адриан присматривается к Радке: она румяна и, следовательно, умыта и покрашена. Значит, разыскала в гигантском центральном вокзале дамскую комнату.

– Куда ехать, мои господа? – спрашивает автомобильный извозчик. Но не получает ответа. Потому что его седок вытаращивает глаза и в думу тихо погружается. Именно тогда пришло Адриану в голову, что Радка могла присоединиться к его нелегальному выезду неспроста. А если это провокация против Советской Республики? Или того хуже – продвижение французскими империалистами в Советскую Республику женщины-агента вроде Маты Хари, расстрелянной в прошлом..., нет, уже в позапрошлом году?

– Адя, что с тобой? – возможная агентесса не только озабочена, она близка к панике. Неужели догадалась, что он догадался?

– In billiges Gasthaus, bitte, – выговорил Адриан, хоть ещё парой минут раньше собирался назвать адрес, вызубренный наизусть в Базеле за неделю до защиты диссертации.

Отель «Alt Nürnberg» оказался в двух шагах от Центрального вокзала, хотя вёз к нему автомобильный извозчик чуть ли не полчаса, и Радка расплатилась с ним, закусив губку. Быть может, отель и дешёвый, но портье за стойкой попросил паспорта, так что пришлось ретироваться: Адриан догадался сказать, что им нужен номер с телефоном.

Перед отелем уже не оказалось «Тахе», только запах бензиновой гари.

– Мы пойдём в сторону, противоположную вокзалу, до первого газетного киоска, – предложил Адриан.

Киоска не нашли, зато обнаружился одорукий газетчик, работавший с открытого прилавка. Адриан подавил в себе желание спросить, на каком фронте воевал калека. Купил у него самую толстую вечернюю газету, отвёл Радку за угол и принялся

просматривать «Gamburger Echo» с конца, с объявлений. Вот оно! «Посуточно сдаю комнату в Гамбурге. Дёшево. Все удобства». Он быстро посмотрел на странице и её обороте, нет ли других таких предложений, очертил ногтем объявление и оборвал по краям. Просмотрел ещё несколько страниц и сунул в карман пиджака ещё три таких клочка бумаги.

Теперь им удалось поймать дрожки, и комната, предлагавшаяся в первом же объявлении, оказалась свободной. Радка заплатила за сутки вперёд, и после недолгих колебаний Адриан, попросив её сидеть на квартире и не высовывать носа наружу, отправился, как он ей сказал, разузнать насчёт парохода. На самом же деле, он хотел на полученной в Базеле явке обсудить с немецкими товарищами ситуацию, сложившуюся у него с Радкой, и уже во вторую очередь заняться пароходом.

На этот раз гамбургский извозчик привёз Адриана в рабочий район, застроенный некрасивыми и явно запущенными доходными домами. Здесь пахло речной водой, да и краны порта торчали недалеко. Дрожки остановились возле очередного доходного строения, и Адриан проверил, тот ли номер. Номер совпадал, а название нужной ему улицы читалось на эмалевой табличке, прикреплённой к стене соседней ободранной четырёхэтажки. Квартира немецкого товарища оказалась на втором этаже. На двери не дверной молоток, как принято было в Базеле, но кнопка новомодного электрического звонка. Прозвучало чёткое дребезжанье, и выглянула круглолицая женщина лет тридцати в сером домашнем переднике. И беременная на конце срока.

– Guten Tag! Ich anreiste aus Basel. Ich ist nämlicher russisch, – выдал он давно заготовленное.

В ответ молодка затрещала с такой скоростью, что он разобрал только, что это к мужу и что муж, Эрнст, скоро придёт. Пришлось подождать в очень аккуратной, небогато обставленной комнате. На стене висели портреты Маркса и Энгельса в рамках и под стеклом, а также вырезанный из газеты портрет Ленина. В одном углу высилась круглая чугунная печь, в другом – портновский манекен, на полочке теснились потрёпанные книги и брошюры, а на столе, использовавшемся и как письменный, лежали, кроме книг, листовки и газетные вырезки. Адриан счёл неприличным присматриваться к чужим книгам и бумагам, поэтому решил скромно, с руками на коленях, посидеть в уголке на табурете.

Доваривая обед на кухне, хозяйка, представившаяся Розой, продолжала разговор, заглядывая в комнату. И года не прошло, как муж её возвратился с фронта, теперь снова работает грузчиком в порту. На каком фронте воевал? На Западном, служил наводчиком орудия. Эрнст – председатель профсоюза портовиков, руководитель ячейки die USPD...

Тут гость обнаружил своё политическое невежество, спросив, что это такое, die USPD. Оказалось, что Независимая социал-демократическая партия Германии. Адриан призадумался. Он был уверен, что с большевиками сотрудничают немецкие коммунисты, «спартаковцы». Роза тем временем с гордостью заявила, что работала до замужества гладильщицей в прачечной, а Эрнст, ухаживая за ней, убедил вступить в профсоюз.

А там и хозяин пришёл. Когда снял грязную спецовку и кепку, оказался необычайно симпатичным лысым красавчиком. Он сполоснул лицо и руки в тазике, стоявшем тут же, в комнате, на покрытой белой салфеткой тумбочке, и наскоро воспользовался полотенцем. Протянул Адриану ещё влажную руку и представился:

– «Тедди».

Гость в ответ повторил свою затверженную фразу. «Тедди» уселся за письменным столом. Он внимательно выслушал корявую речь Адриана и потратил несколько секунд на её обдумывание. Потом пояснил, что не опасается провокации или какой-либо многоходовой комбинации империалистических спецслужб. Не та международная ситуация. И если девушку послали французы, едва ли она станет связываться с их агентурой в Гамбурге. Да, социалистическая революция в Германии подавлена, наши вожди Роза Люксембург и Карл Либкнехт подло убиты милитаристами, но рабочие продолжают борьбу, и в пролетарском Гамбурге как раз удачно. Может быть, русский товарищ слышал, что здесь удалось предотвратить контрреволюционный путч бывших офицеров. А девушка? Хочет плыть в Советскую Россию, пусть плывёт. В отличие от немецкой, русская социалистическая революция показала, что умеет защищать себя. В Чека с самозванной попутчицей разберутся.

И «Тедди» вдруг подмигнул.

Адриан спросил насчёт парохода. Оказалось, что пароход уже здесь. Стоит у причала и будет стоять ещё несколько дней. Но лучше всего сегодня же вечером, как стемнеет, просто подняться на него по сходням. Никакой охраны не будет. Разумеется, прежде нужно убедиться, что поблизости нет полицейского. Пароход называется «Morning Gladness», под панамским флагом. В Гамбург доставил тайно винтовки и патроны для рабочих, вернётся с грузом бумаги для печати советских денег.

– Будут ли проблемы с добавочным пассажиром?

«Тедди» не думает. Придётся заплатить за питание не одного пассажира, а двух. Ну, и едва ли там, на этой старой калоше, найдётся ещё одна укромная каюта для нелегала на борту.

И лысый симпатяга «Тедди» подмигнул снова.

Четыре дня на борту «Morning Gladness» запомнились Адриану как непрерывная оргия для двоих. Нет, на самом деле они делали ночные перерывы на сон, и тогда к дневным, вечерним и полуночным телесным радостям присоединялась утренняя – особенная, со свежими, обновлёнными чувствами и вновь воспрянувшим интересом друг к другу. Завтраки, обеды и ужины им приносил корабельный стюард, стучал в железную дверцу каюты и оставлял поднос на полу. Не обходилось и без солёных шуточек. Радка только загадочно усмехалась, а он реагировал с неожиданной тупостью: все силы души уходили известно на что, на юмор их не оставалось. Сначала Радку укачивало немного, а потом она признала, что качка добавляет пикантности их объятиям.

– Почти как заниматься любовью на багажной полке скорого поезда, – сравнила Радка на своём языке.

Адриан тогда оторвал свои губы от её нежного, на вкус солоноватого плечика, небрежно вдумался в сказанное и кивнул головой. Его любовный опыт так далеко не простирался; да чего там, такое бесстыдство он сам, без подсказки и вообразить не смог бы. Вообще же, стоило Адриану отклеиться от подруги и включить в работу голову, как он принимался изумляться их обоюдному неистовству. Свой пыл он ещё мог объяснить физиологически и даже психологически. А разве не вытеснялось либидо в глубины психики при многомесячном, годами воздержании на фронте и в сумасшедшей, на грани нервного срыва и на пределе физических сил, гонке за дипломом? Да, себя он мог понять, а вот Радку... Другой удовольствовался бы мыслью, что женщины вообще непостижимы, однако новоиспеченный доктор медицины Лаптев напоминал себе, что он не из тех, кто терпит вокруг себя неразрешённые загадки. Хрупкое тело его подруги должно было насыщаться быстро, да и не была она слишком сильна и вынослива в обычных, бытовых обстоятельствах: Адриан прекрасно помнил, как быстро уставала и повисала на его плече в их пешей прогулке по Фрайбургу. Уж не больна ли Радка безнадежно и потому отчаянно стремится отлюбить наперёд на всю оставшуюся жизнь? Исподтишка к ней присмотревшись (а невольная пациентка и вершка своего тела от него не скрывала), не обнаружил доктор Лаптев никаких симптомов смертельной болезни, потому и это предположение пришлось отбросить. И, разумеется, не была она влюблена в попутчика в обычном смысле этого слова, равно как и он при здравом размышлении не мог бы признать, что влюблён в неё. Тела их, вот они-то отчаянно втрескались друг в друга, тут ничего не скажешь.

Если и полагал Адриан, что их безумное взаимное влечение – явление вполне обычное в тех отношениях мужчины и женщины, где он был раньше туповатым профаном, то очень недолго оставался в этом заблуждении. Их страсть уникальна? Такое

в жизни бывает только раз? Как в романсе: «Только раз бывает в жизни встреча...». Или там поётся «встречи»? Но разве могут встречи бывать «только раз»? Счастливый на четыре дня любовник догадывался, что для него эта «встреча» вряд ли повторится, и старался извлечь из неё всё, что только окажется возможным, и пока судьба даёт добро. На этом пути ждали его замечательные открытия. А именно, некоторые из интимных развлечений, выглядевшие в ночных казарменных разговорах безобразными извращениями мужчин, унижительными для женщин, и наоборот, оказались просто милыми прихотями, доставляющими совершенно своеобразные приятности, при навывке перерастающими в нешуточные наслаждения. Забавам этим весьма благоприятствовало, что рядом обнаружился душ, забортная вода для него подогревалась у котла паровой машины. Вот он, редкий случай, когда дьявол веселился, поощряя стремление грешников к телесной чистоте! Но эти сладкие пути тогда лишь приоткрылись перед затворниками укромной каюты, и его тело только начинало к ним привыкать. Равно, как и то, что он в прежние времена называл душой, а теперь нравственным чувством.

А глаза его тоже наслаждались. Близость паровой машины досаждала постоянным стуком, к нему они быстро привыкли, зато в маленькой каюте всегда было тепло. Радка совершенно не стеснялась разгуливать голой, и Адриан не отрывал от неё глаз. В полутёмной каюте, освещённой только иллюминатором с треснутым, грязным стеклом, его ослепляла безупречная белизна кожи Радки, и он горько сожалел, что она обесцветила перекисью водорода и подстригла свои огненно-рыжие волосы. Мягкая покатошь плеч обнажённой козырь-девки, формы её маленьких грудей, текучие в сумраке линии бедер и ягодиц казались ему безумно привлекательными и волнующими, более того, единственно возможными в чём-то вроде эталона желанной женщины, как ни смешно бы это не звучало. Только в эти замечательные минуты вдруг понял Адриан, в жизни не бывший в оперном театре и не посетивший ни одного балета, как могут быть прекрасны женские ноги и каких именно «желаний своевольных рой», как писал Пушкин, способны они вызывать.

При этом он понимал, что сложена Радка, по-видимому, не идеально, и своему чувству красоты не шибко доверял. Ему просто очень нравилось на неё смотреть и нравилось, что она явно понимает и безусловно поощряет такое его пристальное и восторженное внимание.

XV

– Эй, да вы так всё на свете проспите! К Питеру подходим.

В сонной одуре не сразу сообразил Адриан, что именно прокричал стюард, только что разбудивший их с Радкой бесцеремонным стуком. Когда же эти слова дошли, наконец, до сознания, он не тотчас же разбудил нагую подругу, уже снова безмятежно уснувшую. Предпочёл сперва сбегать в галлюн, потом умыться, а уж потом вволю на неё насмотреться. Поняв, что происходит, Радка очаровательно зевнула, картинно потянулась... Маленькие её грудки встопорчились, а руки решительно потянули к себе Адриана.

Как-то слишком быстро, наспех всё произошло, будто оба успели мысленно перенестись в иной мир, где их объятиям уже не найдётся места. Разойдясь по разным углам каюты и не глядя друг на друга, они торопливо оделись, собрали вещи. Тем временем и гудок раздался, здесь, в железной коробке, прозвучавший, как некий трубный глас.

Вышли путешественники на палубу и увидели, что пароход на самом малом ходу пробирается и без того тесноватой акваторией питерского порта, а сейчас ещё и загромаждённой множеством брошенных и ржавеющих малых и средних судов. Свободные от вахты члены команды толпились у борта. Поглядывая на них испытующе, обнаружил Адриан на их лицах выражение, появлявшееся на лицах фронтовиков, только что избегнувших большой опасности.

– Да что стряслось-то? – поинтересовался у ближайшего матроса.

– Ну, ты и даешь, женишок, – невесело усмехнулся матрос. – Неужто проспал или как раз в тот момент кувыркался? Мы же прошли Балтийским морем между минными полями, а плавающую мину от носа я лично багром отталкивал! И уже в Финском заливе видели мы дымы британских военных кораблей. Пальба из орудий там начиналась, да Бог миловал.

Адриан похолодел. Вот так, в объятиях языческого бога Морфея или в объятиях божественной чешки, он мог вместе с каютой переместиться на дно холодного Балтийского моря. И он читал ведь что-то о морской блокаде Питера, да голова не тем была забита.

– Что случилось? – осведомилась Радка. Не желая её пугать, он буркнул, что у «Morning Gladness» были проблемы при входе в Финский залив. Она кивнула небрежно, вся в мыслях о том, что ждёт её в Питере.

И Адриан об этом думал, пока пароход занимал свободное место у причальной стенки. Не сразу команде удалось выкричать какого-то босого бродягу в грязной тельняшке, сумевшего принять и закрепить швартовы. На причале не обнаружилось никаких таможенников или пограничников. Адриан подозревал, что на корабле притаился

агент ЧК, контролирующей операцию, и что именно этот агент займётся ими с Радкой, когда окажутся все в Питере, но такого на палубе не оказалось. Явно не принадлежащий к команде бородатый господин в светлом летнем плаще и канотье был, видимо, представителем казначейства и интересовал его только груз «Утренней радости», бумага для печатания банкнот.

И тогда Адриан решился. Если гора не идёт к Магомету, тогда Магомет идёт к горе. Найдя взглядом капитана, он приподнял котелок и легко поклонился (капитан небрежно кивнул в ответ), взял Радку под руку, и они первыми сошли по сходням на замусоренный грузовой причал.

Как-то очень быстро покинула парочка порт и очутилась на не менее грязной и запущенной городской уже набережной. В прошлый свой приезд, с фронта, Адриан выработал себе представление о Питере как о городе памятников. А вот и первый на этот раз. Бронзовый офицер в старинной форме стоит себе спокойно на невысоком пьедестале. С кортиком – моряк, стало быть. Путешественник подвёл спутницу ближе – а внизу надпись: «Первому русскому плователю вокруг света адмиралу Ивану Федоровичу Крузенштерну». Когда обходили они памятник, припоминал Адриан, кто из европейцев и когда впервые обогнул земной шар на корабле. Имя всё не всплывало в памяти, а вот век был точно шестнадцатый, на три века раньше... Что такое?

– Адья, ты du allein подивей!

Он присмотрелся, хмыкнул. Нет, на сей раз Радке, вообще-то свихнутой на дурном и нехитром деле, не показалось: с этой точки рукоятка кортика мореплователя очень уж походит на нечто живое и непристойное. Однако... Или он и сам уже свихнулся? Вот любопытно, выдержал ли бы он и кругосветное путешествие в таком же безумном стиле, как морской переход от Гамбурга до Петрограда? Не загнулся ли бы от сладких трудов?

Но тут мрачная действительность военного коммунизма напомнила ему о себе шарканьем подошв по булыжнику. Он перевёл взгляд: в сторону порта направлялась команда буржуев, явно мобилизованных на уборку мусора. Питерские рантье, торговцы, монахи, священники, клерки, с мётлами и лопатами на плечах, с одинаковым выражением покорности судьбе на усатых, бородатых или чисто выбритых бледных лицах. Толстяков среди трудового десанта Адриан не увидел. Да и сопровождавший буржуев красноармеец в английском кителе без погон и офицерских хромовых сапогах был худ. На Радку и Адриана парень посмотрел подозрительно, и Адриан сообразил, что лучшим решением теперь будет вернуть на плечи гимнастёрку и шинель. Пожалуй, что и наградные серебряные часы не стоит вынимать в людных местах.

– Ах, як займаве, Адья! Mein Gott, als interessant!

Адриан, не глядя ей в глаза, пробурчал:

– Оно, быть может, и занимательно, Радка, и даже интересно, то, что делается в красном Питере, но... Надо самим явиться в ЧК. Я это сделаю обязательно, и тебе настоятельно советую. Тебе же нужно легализоваться... Есть у тебя варианты?

– В Жуковски улици се нахази... ist Klub der Anarchisten...

– Не лучшая идея, Радка. Анархисты преследуются большевиками. Да и народ они... ненадёжный, скажем так. Пошли лучше со мной. Ты же хочешь легализоваться в Советской России?

Она кивнула. Но лицо её приобрело несчастное и уже по-настоящему озабоченное выражение, почти такое же, как у тех, охваченных принудительным трудом, буржуев. Чем ближе они подходили к громоздящемуся на горизонте мосту-великану, тем звучнее шуршал под ногами ковёр из шелухи семечек. Похоже, что с самого отъезда Адриана из Питера улицы тут не подметались. Выщербленные мостовые были пустынно. Наконец, вышли они к остановке трамвая, Адриан перекинулся словом с лежащим на скамейке одноруким старичком. Оказалось, что трамваи теперь во всей республике бесплатные, зато и на маршруты они выходят чрезвычайно редко.

Пошли было пешком, но Радка, преодолев на своих двоих ещё и длиннющий мост, успела устать. Зато к следующей остановке подкатил, завывая электрическим двигателем и гроыхая, трамвай, и им удалось, к счастью, подъехать-таки поближе к особняку в начале Гороховой. Впрочем, как объявил им кондуктор, теперь эта улица называется Комиссаровской. По дороге показал поклонник Радке знаменитого Медного всадника. Выглядел тот по-прежнему внушительно, только был на сей раз безбожно обгажен птицами. А вот и страшный для нынешнего обывателя особняк.

Часовой у входа, отставив влево от себя винтовку с пропусками, наколотыми на штык, загородил им проход.

– Нам в отдел международных отношений, – пояснил Адриан.

– Тогда вам не сюды, граждане буржуи, – показал часовой жёлтые зубы. – Нету в Петрогубчека такого отдела.

Начались разбирательства, появился дежурный, молодой жгучий брюнет с непонятными нашивками на рукаве. Адриан всё не мог привыкнуть к военным в форме с ремнями, но без погон. Дежурный привёл их в свой кабинет, безликую казённую каморку. Всё голо, только на стене портрет худого мужчины интеллигентного вида с узкой бородкой. Рядом темнел невылинявшими обоями пустой квадрат побольше.

– Документы на стол, – распорядился дежурный.

Адриан выложил солдатскую книжку и базельское студенческое удостоверение, Радка – какие-то свои бумажки. И не подумал в них заглянуть Адриан, до того волновался.

– Товарищ! – выдавил он из себя. – О себе я могу сказать только наедине.

– Вот как? – поднял чёрные брови брюнет. И, заглянув в Радкины документы. – Тогда вы, Водичкова, подождите в приёмной.

Адриан рассказал, как был переправлен на учёбу, и кто организовал его возвращение. Показал на воротник своего пиджака и заявил, что там зашито донесение в отдел международных отношений ВЧК, с содержанием которого незнаком.

– Я не имею права, не уполномочен, вот... принимать эту шифровку, – нахмурился дежурный. – Тебе надо в Москву, на Лубянку, и первым же поездом. Срочно!

– На Лубянку? – удивился Адриан. Словно это имеет какое-то значение, что ему представлялось, будто вся советская власть разместилась в Кремле.

– Ну да, ВЧК там с мая, в роскошном здании страхового общества «Россия», – думая уже о другом, пояснил дежурный. – Получишь в Петроградской трудовой коммуне... нет, теперь опять в Петросовете... удостоверение личности. Я выпишу отношение. И в кассу Николаевского вокзала... И разрешение на оружие. Теперь на любую пукалку надо иметь с собою бумажку. У тебя ж браунинг небось?

– Да я ж из Швейцарии... – развёл руками Адриан. – Нет у меня ничего.

Свой трофейный пистолет перед отъездом в ноябре семнадцатого он оставил доктору Александру Ильичу, и смешно было бы думать, что мог бы теперь взять его назад... Что он говорит, дежурный?

– ...на Николаевской железной дороге поездов пока не останавливали, но сейчас, перед возможным белым наступлением, от бандитов можно ждать чего угодно... Да и от беляков уже тоже. На Юге, там чёрт знает, что делается. А тебе надо шифровку доставить. Ну, эту задачу я решу у председателя Петрогубчека. А пока... Вот тебе талон в столовую. Не шамал, небось, сегодня?

– Да, как-то не вышло поесть... А на девушку талона не дашь?

Дежурный хлопнул ладонью по лбу, попав и по безукоризненному пробору.

– Вот беда... Забыл я про твою фифочку. Расскажи-ка, что о ней знаешь.

Он пожал плечами и рассказал. Потом брюнет попросил его позвать Радку. Та сверкнула глазками на Адриана и заявила, что тоже требует разговора без свидетеля. Брюнет сморщился, соображая ею сказанное. Адриан помог ему.

– Будете, мамзель, требовать в другом месте, – окоротил Радку дежурный, разобравшись. – Да и не понять мне вас без переводчика. Я слушаю!

Оказалось, что Радка участвовала в подготовке покушения на короля Альфонса XIII. Взорвать короля планировал молодой анархист Дуррути в отместку за убийство семидесяти рабочих во время подавления забастовки в Леоне. Дуррути, один из руководителей стачки, успел сбежать во Францию. Там он и начал планировать покушение. Радка, приехавшая из Австро-Венгрии, чтобы поступить в Сорбонну, будто бы помогала испанскому другу, подбирая в газетном отделе университетской библиотеки легальную информацию о передвижениях короля и о традициях встречи в Париже почётных гостей. Предполагалось прихлопнуть Альфонса XIII бомбой во время визита во Францию, когда поедет Елисейскими полями в открытом моторе. Один из участников заговора, химик, готовивший бомбы, был арестован по доносу соседа и повесился в полицейском участке. Радке пришлось нелегально переправляться с Швейцарию, где была зачислена на юридический факультет Базельского университета. Но вскоре девушку разыскали агенты королевской полиции Испании. Испанское правительство потребовало её выдачи, и вот...

Она развела руками. Адриан насупился: зачем анархистам понадобился химик? Неужто во Франции не могли достать прекрасную французскую бомбочку, ручную гранату F-1? Так не враньё ли Радкины розказни про покушение? А дежурный, выслушав русский перевод, пожал плечами.

– Вам, барышня, тоже в Москву надо. Вот, возьмите и вы талон на обед. Столовая у нас на втором этаже, от ближней лестницы третья дверь направо. А я сообщу по телефону нашему председателю, пусть уж своей властью с вами решает.

Уже покидали они каморку-кабинет, когда дежурный остановил:

– И запомните, что без пропуска никто вас отсюда не выпустит!

– А зачем бы нам, товарищ? – обернулся уже в двери Адриан.

Он заметил, что дежурный чекист так и не назвал фамилии своего начальника. Видимо, после убийства товарища Урицкого, первого председателя петроградской ЧК, чекисты начали заботиться о конспирации.

По дороге понял Адриан, что подруга уже пересердилась. Она потребовала его талон, заявив, что желает сама накормить своего спасителя и повелителя. Между тем чекистская столовая оказалась оборудованной очень бедно, и от запомнившейся Адриану бесплатной столовки для нищих и бездомных в Базеле (он забрёл туда случайно) отличалась разве что кумачовыми плакатами на стенах. Присмотрелся Адриан – а на одном белыми буквами: «Да здравствует красный террор!». У раздачи никакой очереди, пусто и по ту сторону стойки, только через пару минут из смежной комнаты, из кухни,

заслышав голоса в помещении, вышла к стойке бабёнка в грязном белом халате и красной косынке.

– Ваше счастье, граждане иностранцы, – прокричала она. – Обед приспел, горячий, а обеденный перерыв ещё не скоро.

Рассмотрев, что подносы не предусмотрены, Адриан сам подошёл к стойке. Они получили по две тарелки, в глубокой – пахучий селёдочный суп, на мелкой – по горке пшённой каши без масла. Радка попросила ложки, но за ложки раздатчица потребовала залог – на двоих двести рублей. Он вздохнул. Похоже, придётся вернуться к фронтовому обычаю носить ложку за голенищем сапога. Успел придержать за руку Радку, когда она полезла за своими фунтами. Сошлись на том, что Радка оставит свои перчатки.

– Почему ты не дал мне расплатиться, Адя? – спросила она, хлебнув рыбного варева и сморщив носик.

– Потому что в Советской России валютные операции запрещены. Не стоило рисковать. А ты ешь – ничем лучшим нас тут не накормят.

– О, йидло здесь, как в австрийской тюрьме. Зато мы сами будем на свободе.

«Как знать?», – подумал он, однако кивнул в ответ.

Тут приглушенный пушечный выстрел грохнул, и Адриан под столом выставил на своих наградных часах советский полдень. На душе почему-то сразу стало полегче. А на дне тарелки, когда вычерпал он суп, обнаружился затейливый вензель «РСФСР» и слесарный молоток сбоку. Присмотрелся к мелкой тарелке: и на ней выведено по краям «Да здравствует советская власть!», а из-под размазанной каши выглядывает тот же молоток, а рядом большие клещи.

– О! А говорят, что вся промышленность не работает у Советов! – прозвенела Радка.

Он кивнул. Это хорошо, что тарелки тут свои, советские, не из дворца какого-нибудь. Но то, что пушка в Петропавловской крепости продолжает ежедневно обозначать полдень, это куда важнее. Это значит, что власть следит хоть за временем, а время – это... Однако Адриану не довелось придумать чего-нибудь умного насчёт значения времени для человечества – потому что прибежал дежурный, плюхнулся на стул рядом с ним и прошипел:

– Доедайте скорее! Председатель вызывает – срочно.

В просторном кабинете навстречу «гражданам иностранцам» поднялся молодой человек лет тридцати, ровесник Адриана. Был он ширококул, с бородкой-эспаньолкой – точно такой, как на уже знакомом Адриану портрете худого интеллигента, а тот и здесь висел на стене, только в раме подороже и с табличкой внизу: «Ф. Э. Дзержинский». От

однопартийцев доводилось слышать о «Железном Феликсе»: этот поляк долгие и суровей всех других большевиков мыкал горе в тюрьмах и на каторге, так вот как он выглядит. Да, теперь понятно, кому подражает своей бородкой молодой председатель Петрогубчека...

– Вот именно, товарищ Лаптев! – усмехнулся председатель, пожимая руку Адриану и обозначая, будто целует ручку у Радки. – А я Медведь, Филипп Демьянович. Вот именно! Феликс Эдмундович мне двенадцать лет тому назад давал рекомендацию в социал-демократическую партию, тогда Королевства Польского и Литвы. Крестный, можно сказать!

– А я вступил уже в партию большевиков, в пятнадцатом, на фронте, – счёл нужным пояснить Адриан. И, скосившись на Радку, не удержался, похвастался, что брал Зимний и был рядом с товарищем Антоновым, когда тот арестовывал министров Временного правительства. И что после этого был отправлен на учёбу в Швейцарию.

– Революция творит удивительные судьбы, – кивнул ему главный питерский чекист, – а гражданская война, бывает, их жестоко обрывает. Если б не спешка, хорошо бы взять за шиворот какого-нибудь доцента-историка и заставить записать твой подробный рассказ о взятии Зимнего дворца. Ведь событие эпохальное, в истории сопоставимое разве что с Парижской коммуной! Если доживём с тобой до окончательной победы пролетариата, попомни моё слово, ещё увидим, как накрутят вокруг всякой-разной чепухи.

Адриан хмыкнул. Ему такое не приходило в голову. Медведь улыбнулся и продолжил:

– Но ты использован заодно, как я понимаю, в важной международной игре. Если и догадываюсь я, о чём речь, не скажу. Моя задача – доставить тебя безопасно в Москву, а если уж так сложилось, то и вместе с твоей спутницей. Лишние уши тут не нужны. Вот ты, «Южанин», принимал доктора, тебе сама судьба велела его доставить на Лубянку.

– Мне, товарищ Медведь? – изумился брюнет. – Да я ж дежурный...

– Передай заместителю дежурство и дела по отделу. Ты только туда и назад. Два часа на разработку операции. Как раз успеете отбыть сегодня.

Уже смеркалось, когда на служебных дрожках Петрогубчека Адриан с подругой отправились на Николаевский вокзал. «Южанин» должен был приехать отдельно. На Невском, грязном, разорённом, но по-прежнему людном, Адриан только головой вертел. Но по-настоящему изумила его грандиозная свалка, устроенная возле Аничкова моста.

– Адьа, ты *du allein* подивей! Bettler! – дёрнула его тогда за рукав Радка. На первый взгляд, и в самом деле нищие. Сидят под бронзовой скульптурой мускулистого юноши, удерживающего вставшего на дыбы коня, двое – представительный старик в черном

пальто и солдат с карабином без штыка. Левую ладонь солдатик держит перед собою открытой, а у старика шляпа на коленях. Вот только служивый лушит семечки, беря их по одной с ладони, а на пальто под горлом старика приколот булавкой полулист бумаги. И не жалостные слова, будто «не ел три дня», а «Саботажник» – вот что начертано на бумаге. Это наказание позором, получается.

А вот и грандиозный Николаевский вокзал. Возчик-чекист высадил их за полквартала до главного входа. Припомнив инструкцию «Южанина», на запасном пути разыскал Адриан московский поезд, посадил Радку в четвёртый, как договаривались с чекистом, вагон, забрался в него сам и, предупреждённый, не удивился, что все сидячие места уже заняты. Отсчитал четвёртую от входа поперечную скамейку. Слава богу, нет на ней, условленной с «Южанином», матери с младенцем, да и вообще в вагоне одни мужчины буржуазной внешности. Сам же Адриан уже не походил на заграничную штучку. Щёки кстати небриты, рубаху с высоким воротничком и галстук, отправленные в чемоданчик, сменила поношенная солдатская гимнастёрка, брюки из Зимнего дворца – такие же солдатские шаровары, голову украсила снятая с Радки кепка. Подруге понадобилось только голову модным платочком повязать, а пальто Адриана накинуть на плечи. Они стали у окна, напротив выбранной лавки, и ждать пришлось недолго.

Им показалось, что вагон закачался на рессорах, когда в коридоре появился «Южанин». Бесшабашного солдата-кавказца, да ещё во хмелю, вот кого он изображал. Трудно было представить, что угольного цвета куст волос на этой забубённой головушке ещё утром был причёсан на прямой пробор. Усмехнулся Адриан: его ловко сшитый пиджак сидел на чекисте, как на корове седло. Потрясая «маузером», прогнал «Южанин» со скамьи всех занявших её несчастливцев и разлёгся там, не выпуская из рук оружия и продолжая ругаться. Поднявшим крик пассажирам удалось убедить дебошира, что вагон отнюдь не спальня, и он вдруг потеснился, сумев посадить рядом с собою Адриана и Радку. Предполагалось, что все трое друг с другом незнакомы. «Южанин» обязан был прикрывать спутников от советских проверок, защищать от воров и случайных бандитов, а в случае большой неприятности бузить, качать права и отвлекать внимание на себя. Это если, паче чаяния, поезд остановят бандиты либо белые. За послание, зашитое под воротничком чёрного пиджака, теперь отвечал тоже он.

Вот, наконец, вагон дёрнулся, и поезд, пыхтя, отправился под роскошный купол крытого перрона. После официальной посадки обиженные «Южанином» пассажиры растворились в густой толпе, скандал угас сам собою. Народ стоял и в проходах между скамейками, и Адриану вспомнилось сравнение «как шпроты в банке». Он знал, что это такие маленькие копчёные рыбки, но пробовать не приходилось. Вскоре в вагоне нечем

стало дышать. А когда застучали снова колёса, Адриану безумно захотелось спать. Он и заснул сидя.

Проснулся, будто и не спал. Разбудило его лязганье досылаемого в ствол патрона.

– Ша, ша... Не надо шума... – прошелестела черная тень, склонившаяся было над чемоданчиком Радки. И втиснулась в толпу дремлющих стоя.

Адриан снова закрыл глаза. Кто-то догадался открыть и заклинить дверь в тамбур, а из тамбура на площадку. В вагоне громче загрохотало и застучало, зато свежего воздуха прибавилось. Радка, спавшая, как обнаружилось, на коленях у обоих спутников, завозилась было, потом снова успокоилась. Выспавшись, как видно, Адриан после воровского визита не сразу смог заснуть. Он ведь знал, что в начале восемнадцатого года советское правительство переехало в Москву, но вопреки очевидности ожидал увидеть и сам Петроград таким же бурлящим и, выражаясь красиво, устремлённым в будущее, каким оставил северную столицу, и на улицах – тех же энергичных и весёлых революционеров, с которыми так внезапно расстался в семнадцатом году. Да и подспудно ему, выросшему в Усть-Соже, Питер с его мужиками из окрестных северных губерний на базарах, с этнически родственным северному крестьянству городским простонародьем, с его белыми ночами и влажным климатом, казался душевно близок. В Москве же он никогда прежде не бывал, но уже теперь побаивался её, бойкую родину всяческого жулья и воря, где на ходу подмётки рвут. И ещё казалось ему, что москвичи, особый народец, с которым он познакомился на фронте, и без того заметно высокомерные с сельскими и провинциалами, сейчас, когда их город снова, два века спустя, стал столицей, тем более станут взирать на тебя сверху вниз. Господи, да что его там вообще ждёт? И надо же, наконец, что-то решать с семьёй.

Прекрасно понимал Адриан, что в таком вот положении, с горячей грудью Радки на его коленях, вспоминать о жене и дочери едва ли уместно. От подруги струилось уютное тепло, словно от спящей кошки, свернувшейся в клубок, и Адриан вдруг осознал, до чего же в определённом отношении (да, да! в том самом отношении...) привык к ней. Четыре с лишним года, как расстался он с Катишь, маленькой Лизаньки так вообще никогда не видел, даже на фотографии, и три года, не меньше, не имел от них никаких вестей. Последние два месяца даже не доставал и не рассматривал «визит-портрет» Катишь и Зизи, душевной её сестры: то подготовка к экзаменам и защите диплома не оставляла времени на сантименты, то это сумасшествие в каюте «Утренней радости». Рассказывали, что разводы в советской России невероятно упростились: достаточно подать заявление, и дело решается в суде заочно. А на церковный брак передовым людям теперь совсем начхать. Но как раз разводиться ему очень не хотелось. Адриан и полусонный ни на

минуту не забывал, что со сладкой чешкой они завтра расстанутся и, должно быть, навсегда. А разве может человек оставаться совсем один – и не свихнуться от одиночества? В любом случае придётся поехать на юг, разыскать Катишь и таинственную личность эту, Лизаньку... И только в том маловероятном случае, если Катишь, презрев венчание в церкви, сама успела воспользоваться советским правом на развод и снова вышла замуж, хоть и за хахалю своего тайного, настоящего отца Лизаньки, стоит поставить на всей достаточно нелепой старобельской истории крест. И уже снова почти засыпая, понял он, что не хочет для малышки Лизаньки, которую и не видел-то никогда, такого унижительного положения, в котором сам малышом оказался в семействе Лаптевых. Ведь Лиза рождена в браке, и если он вернётся к Катишь, то девочка и не узнает никогда, что отцом её был другой человек. В приятном осознании собственного благородства Адриан задремал.

А очнулся он уже утром. Поезд стоял в Твери. Оказалось, что им повезло, и до Твери поезд промчался с чудесной, почти довоенной быстротой. В Твери сошло довольно много народу, и совсем немногие пассажиры ворвались с красивого тверского перрона в вагон. Это не сложно было пояснить: Москва и Питер под ударом белых, а в Твери глубокий тыл. Когда поезд тронулся, Адриан переглянулся с «Южанином». Тот криво улыбнулся:

– Подержите, гражданин, девушку, мне до ветру срочно требуется.

– Не иначе она вам затылком надавила на мочевого пузырь, – блеснул вслед ему медицинской эрудицией Адриан. Сам он мог ещё потерпеть.

Радку удалось разбудить, они по очереди решили свои неотложные проблемы, но вот руки помыть было негде. Девушка донельзя вытаращила глаза, когда чекист принялся отбивать воблу прямо на скамье. Впрочем, точно такие стуки доносились со всех углов вагона, ненавязчиво вторя колёсному.

Засветло достигли они московской окраины, но потом ещё долго тащились по задворкам новой столицы, пока поезд не подкатил к здешнему Николаевскому вокзалу. Последовала проверка документов, после чего на чекистской пролётке «Южанин» доставил спутников на Лубянку. Здесь Адриан был быстро и безжалостно разлучен с Радкой, а вечер и большую часть ночи провёл над тем, что оперуполномоченный Особого отдела ВЧК, ему не представившийся, назвал «отчётом-справкой». На беседе с этим улыбчивым молодым евреем, похожей скорее на допрос, бывший базельский студент впервые в Советской России испытал ощущение серьёзной опасности. Покончив с писаниной, он выпросил у приставленного к нему солдата иголку с черной ниткой и на первый случай зашил по шву пиджак в том месте, откуда было выпорото послание.

Утром он прошёл по роскошному вестибюлю, сквозь высокие двери вывалился на площадь и несколько секунд тупо наблюдал, как часовой накалывает его пропуск на штык своей винтовки. Внутренний голос говорил ему, что нужно уносить ноги. Вчерашний чернявый оперуполномоченный, сегодня подписавший ему пропуск на выход, не соизволил ответить на вопрос о Радке Водичковой. Значит, так тому и быть. Прощай, Радка!

У него был написан на бумажке адрес наркомата здравоохранения: «Рахмановский переулок, 3». И хотя именно там и стали бы искать его московские чекисты, если передумали бы и решили бы всё-таки арестовать, туда, порасспросив народ на трамвайной остановке, Адриан и отправился. На бесплатном трамвае, разумеется. Под июльским утренним солнышком Москва показалась ему повеселее сумрачного Петербурга, да и улицы тут худо-бедно убирались.

Возле внушительного особняка народного комиссариата здравоохранения не стояли авто, вроде бы положенные красному министерству, не наблюдалось и конных экипажей. Адриан прошёл через распахнутые ворота под несбитой надписью «Московская сберегательная касса» и пересёк запущенный газон, весь покрытый белыми пятнами выброшенных документов. Вестибюль, не столь роскошный, как в здании ВЧК, пустовал, однако явственно слышны были внутри здания стук каблуков и мужские голоса. Потом на лестнице показалось двое гражданских: первым спускался бородач средних лет в серой тройке с белой рубашкой и при галстуке, за ним бритый молодой человек в толстовке и с кожаной папкой подмышкой.

– Ну, что я вам говорил, Федор? – повернулся к молодому человеку бородач. – Жизнь в Наркомздраве, несмотря на бегство некоторых его пугливых сотрудников, всё-таки продолжается! Если вы, таинственный незнакомец, пришли на приём к наркому, то вам повезло: доктор Семашко перед вами. А этот юный джентльмен – мой секретарь Фёдор. Просто Фёдор. Вон у Луначарского в секретарях поэт Рюрик Ивнев, а у меня без претензий.

Адриан удивился, снял кепку и представился. Нарком пожал ему руку и предложил устроиться за столом швейцара. Усмехаясь, заявил:

– Очень приятно, Адриан Иванович. А вы называйте меня, пожалуйста, Николаем Александровичем. Разумеется, я никогда не хотел стать красным министром. Но среди старых большевиков медиков мало, да и вообще нас, старой гвардии, то бишь безотказной рабочей скотинки партии, негусто, вот и пришлось согласиться. Единственно, что примиряет меня с должностью, так это здешний обычай. Ко мне, словно к падишаху, приходили Шахерезады обоих полов и рассказывали каждая свою историю. Это пока

Май-Маевский не взял Харьков и не посадил пехоту в теплушки, чтобы ещё быстрее наступать. Расскажите же и вы мне свою историю, доктор Лаптев.

И Адриан рассказал.

Семашко усмехнулся и почему-то соизволил поделиться теперь уже своей историей:

– В Базеле бывать не приходилось, а вот в Женеве довелось прожить пару лет на партийных хлебах. Вам-то повезло, а меня арестовывали швейцарцы – и по какому поводу! Из-за прекрасной дамы. Приятель всем теперь известного Сталина, неустрашимый Камо удачно ограбил банк в Тифлисе. Однако деньги надо было разменять. И вот южная красавица Сарра Наумовна Равич, бывшая жена Зиновьева, получает задание разменять часть денег в Мюнхене. А номера ассигнаций, как оказалось, были переписаны. Немцы нашу очаровательную разводку хватают – и на посадку. Ей бы, бедняжке, догадаться, что газеты раструбят об её аресте, но Сарра дисциплинированно спешит доложить о неудаче товарищам. И пишет письмо мне! Немцы письмо тут же перлюстрируют и переправляют копию швейцарской полиции. Меня арестовывают. Вот такая у них демократия! А буржуазные газеты кричат, что эти русские социал-демократы – одна, мол, воровская шайка.

– А разве это было не так, Николай Александрович? – потупившись, вполголоса произнёс секретарь.

– Конечно же, нет! Мы ведь только в самом крайнем случае, только когда совсем уже куковали без денег, натравливали боевиков на банк. И только на государственный. Но и тех же эсеров нельзя же поголовно обвинять за экссы! Разве можно представить себе почтенного Виктора Михайловича Чернова в маске и с револьвером?

Адриан всё-таки попробовал представить первого и последнего председателя Учредительного собрания в роли грабителя и хохотнул. Нарком кивнул, повернулся к оставшемуся стоять секретарю и продолжил:

– А вам, Федор, надо бы держаться поскромнее. Если вы печатаете на ундервуде ловчее любой пишбарышни и если я обещал вашей маме, что присмотрю за вами, это ещё не означает, что вам позволяются, как мне, сомнительные политические шуточки. И баста. Так чем я могу помочь вам, ... э-э-э, Адриан Иванович?

Адриан пробормотал, что хотел бы отчитаться о командировке, заплатить членские взносы...

– Отчитаться? Да вы уж отчитались – устно, а письменный доклад можете вот продиктовать Федору и подписать. Взносы, говорите? Наш парторг тоже в нетях сегодня,

и я, попирая своё природное человеколюбие, надеюсь, что он захворал, а не, пардон, смылся. Если появится, не избежит обследования.

– Спасибо, Николай Александрович...

– Пока не за что. А не хотите ли в аппарат наркомата? Вот ведь сколько у нас вакансий на должность завотдела? – и он простецки ткнул за спину оттопыренным большим пальцем. – Квалификации у вас хватит на любой отдел, доктор Лаптев! И я бы на вашем месте выбирал бы не отдел, а кабинет с красивым видом из окна!

Секретарь фыркнул и отвернулся.

– Сердечно благодарен, Николай Александрович, – покраснев от незаслуженной похвалы, пробормотал Адриан. И собрался с духом. – Но мне нужно съездить в Старобельск. Я не видел жены больше четырёх лет, а маленькой дочери вообще никогда... Не знаю даже, что с ними, живы ли. А разобравшись с семьёй, буду в полном распоряжении Наркомздрава.

– Старобельск – это откуда Гаршин был родом? И там безусловно белые... Доехать только через Харьков... Сейчас никто отсюда не пустит на Харьков пассажирские поезда, пойдут только воинские эшелоны. И бронепоезда, если остались в резерве. Положение-то скверное... Ладно, дайте подумать.

И совсем ненадолго задумавшись, выдал нарком решение:

– Вам теперь на север Украины иначе не попасть, как с воинским эшелоном. Военно-медицинский наш отдел в порядке, и мы вас прикомандируем к первой же дивизии, которая будет отправляться из Москвы на деникинский фронт, в полевой госпиталь, инспектором от наркомата. Сможете покинуть госпиталь, как только сочтёте нужным... Реально госпиталю поможете, конечно. Мне потом отчёт пришлёте, и чтобы толковый! А доберётесь до Старобельска, там уж действуйте по обстановке... Хотя... Эврика! Я уже знаю, что вам подойдёт, вот только поднимемся в мой кабинет.

Через несколько минут довелось Адриану ознакомиться вот с каким посланием: «Товарищ Ленин! Ваше красное высокопревосходительство! Пишут вам делегаты сельского схода села Гмыровка, Старобельского уезда и неизвестно какой теперь губернии. С самого конца гетманщины пустует у нас земская больница, а при ней и флигель для доктора с семьёй. А фершал наш помер. Лекарства, что были в аптеке тамошней, струмент лекарский, сосуды всякие и книги врачебные в тряпки да рогожи замотаны и закопаны в надёжном месте. Пришлите нам нового доктора на всё готовое, только непьющего, пожилого, коли такой найдётся, и обовязково женатого, чтоб девок не портил. Продуктами земледелия удовлетворён будет, а вот денег у нас отродясь не

водилось. В нашей просьбе просим не отказать». И подписи, такие же корявые, как и почерк писавшего. Адриан поднял глаза на Семашко. Тот ухмыльнулся:

– Мужики использовали всю площадь четвертушки. Резолюция на обороте, доктор Лаптев.

Адриан перевернул бумажку. Резолюция председателя Совнаркома переадресовывала просьбу «т. Семашко».

– Я, пожалуй, тоже не стану сочинять отдельный мандат, а напишу свою резолюцию, что вот вы направляетесь, непьющий, семейный и с обязательством не портить девок. Идёт?

Адриан кивнул, помедлив. Его угнетала необходимость по доброй воле возвращаться на фронт, да ещё не прежней, привычной войны, хоть как-то упорядоченной всякими международными конвенциями, а гражданской, жестокой и непредсказуемой. Конечно же, бывший базельский студент лелеял совсем другие планы, но ведь и передохнуть после такой умственной гонки на чиновничьей должности в наркомате было бы совсем неплохо.

XVI

Доктор Лаптев с недоумением осмотрел кнут (и зачем только прихватил с собою?) и оглянулся. Сонную Харьковскую улицу заливал призрачный лунный свет. Высокие городские дома темнели, и едва ли его негромкий стук в оконное стекло мог разбудить кого-нибудь из соседей. А внутри, за окном, брызнуло жёлтым огоньком, затем зажглась и разгорелась свеча или коптилка, не разобрать за занавеской. Чья-то тень метнулась к окну, а потом в сторону двери. Была ли это Катишь, он не смог бы сказать. Плюнул и перебрался к входной двери.

Но вот именно её голос, Катишь, из-за двери спросил:

– Кто там? Неужто это вы, Адриан Иванович?

– Кому бы ещё, Екатерина? Открывай, бога ради! – прошипел.

Ведь злость его переполняла. Из-за этой манерной курицы он, вместо Москвы или Питера, оказался здесь, в тылу у беляков. Долгая вышла у него дорога в Старобельск, грязная, кровавая. В теплушке, на санитарной двуколке, в ватаге мешочников, на попутной подводе, пешком. И что обидно и горько, снова ведь пришлось брать винтовку в руки – а ведь клялся себе, что больше никогда в жизни! Однако пришлось, кровь из носу, организовывать оборону в полевом госпитале и вместе с легкоранеными да крикливыми

санитарками отстреливаться от полуэскадрона белых казаков. Чудом и жив остался. И в том ему повезло, что в Гмыровке не стоят белые. А мог бы в то время мирно трудиться в лаборатории где-нибудь в уже безопасной Москве. Научные открытия совершал бы, самая для того во внутреннем течении его жизни, в умственном развитии, настала пора! И вот теперь пошёл на риск, пробрался в Старобельск лесной дорогой, через въезд в город, где белые не выставляют дозорных. Спасибо старосте Ефимычу, что доверил телегу со старым мерином Ворчуном, не побоялся.

Разумеется, едва обосновавшись в Гмыровке, сначала провёл он в Старобельске разведку. Объяснил ситуацию разбитной дивчине из соседней с больницей усадьбы, Ксаньке: той предстояло с небольшим обозом отправиться в уезд на воскресный базар. Дал адрес библиотеки, где подвизается Марфа Люлькина, чтобы от его имени порасспросить трудящуюся девушку о семействе Сколимовских. В понедельник при виде доктора состроила Ксанька такую грустную мордочку, что у него сердце упало. Начала с того, что библиотека заколочена. Старушка-соседка рассказала, что перестарка-библиотекаршу арестовала белая контрразведка. Её повезли было в харьковскую тюрьму, но расстреляли на полдороги до станции Сватова Лучка. Однако Ксанька не растерялась. Навела справки прямо на базаре у покупательниц-старобельчанок и при этом, как уверяла, про товарища доктора и словом не обмолвилась. Так, вот, старуха Соколимоновская давно померла, старый барин расстрелян красными, а Катька-фельдшериха живёт в том же доме на Харьковской с маленькой дочкой. И младшая незамужняя сестра при ней. Белых у них на постое вроде нет. Вдохнул тогда облегчённо Адриан и принялся организовывать экспедицию за своей семьёй.

И вот дверь скрипнула, отворилась... На пороге явилась Катишь. То есть фигурку её узнал Адриан, лицо оставалось в тени. Он тотчас же протиснулся в сени и, нащупав, задвинул засов. Зашептал:

– Давай веди куда-нибудь, чтобы огонь с улицы не был виден. Времени чуть. Неровен час, подводу уведут.

Меринка пришлось привязать к коновязи в переулке за углом. Не очень-то верилось Адриану, что конокрады шастают ночами по Старобельску, если главными улицами проходит патруль белых. Однако сердце у него было не на месте: мало того, что сам окажется в глупом положении, ведь с Ефимычем за всю жизнь не считаешься...

Тут в тёмном коридоре снова явилась Катишь, на сей раз держала за ручку переносной подсвечник с сальной свечкой. Провела в комнату, где стояла большая кровать и подле неё – маленькая, детская: там тихонько, нос в решетчатую стенку уткнув, спал длинноволосый ребёнок. Елизавета, загадочная эта Лизанька, вот кто это был.

– Не так я представляла, Адриан Иванович, ваше прибытие к нам... – начала было Катишь шёпотом, не садясь и ему стул не предложив. Едва ли это не были слова, давно на сей случай заготовленные. На случай возвращения с неведомых фронтов блудного мужа.

– Некогда рассусоливать о том, как ты там себе представляла, – перебил он, тоже шепча и помогая себе жестами. – Я знаю, что замуж снова не пошла, а ребёнок жив-здоров. У меня предложение: собрать вещички на первый случай, забрать Елизавету – и со мной в Гмыровку, трудное время там пересидеть. Насчёт сестры своей решай сама. Хочешь, пусть с нами едет, прокормим как-нибудь, а нет, пусть остаётся, квартиру постережёт. Если не работает, будем помогать, чем сможем.

– А вы уже в крестьяне записались, Адриан Иванович? Землю пашете? – поинтересовалась она, не тронувшись с места. – А мне чего в Гмыровке делать? Прикажете там конопля трепать?

Он окинул себя взглядом. Имел на себе всё солдатское, выношенное. Сверху свитка, занятая у соседа. Не брился неделю, волосы не причёсывал, космы торчат из-под чужого картуза с поломанным козырьком. В кармане выгоревшей добела гимнастёрки – только царская ещё солдатская книжка, в другом – наградные часы от великого князя. Всё на случай, если напорется на беляков.

– При чём тут конопля? Я, к твоему сведению, уже доктор медицины. И в Гмыровке мы будем жить в флигеле для врача, там большая земская больница. Подучу тебя, будешь, если захочешь, помогать мне принимать больных. И обещаю тебе, – тут он повысил голос, – в Гмыровке мы не засидимся!

– Тише, прошу! Ребёнка мне разбудите, – окоротила его Катишь. – Вы столько на меня вывалили всего. Обдумать надо...

– А ребёнок и не спатки, – пропищало тут с детской кровати. – Мамочка, это наш папа домой просится, да?

Сглотнул он комок, возникший в горле, а глаза защемило резью. Пришлось тыльной стороной ладони протирать. Это с недосыпу, наверное. Дитя встало в кроватке, пошатываясь со сна и за резное ограждение держась, и Адриан пытливым взглядом в свеженькое, несмотря на недавний сон, личико. Что на мать свою и на Зизи похожа, в том сомнения нет...

– Да, я твой папа, мамочки твоей муж, – пробормотал. – Вот, вернулся домой. А ты, Лизанька, будешь ли со мною дружить?

– Как мамочка скажет. Мы ещё должны решить с Деменковыми, нужен ли в семье сиволапый мужик. Вот. И я Лизочек, а не Лизанька.

Он, не дождавшись приглашения, опустил на стул и упёр руки в колени.

– И зачем таким глупостям ребёнка учишь? – спросил изумлённо. – Мне твои Деменковы не указ. Решай сейчас же, Катишь, поедешь ли со мной.

– Деменковы вам не указ, надо же! Когда перестали продукты за вас поступать, а потом красные изверги папá моего убили... Конечно, я пыталась шить на продажу, но продержаться помогли нам именно Деменковы, родичи наши.

Адриан почувствовал себя сбитым с толку. Помолчал, осмотрелся. Девчонка смотрела на него во все глаза, и он подмигнул ей. Лизанька прыснула.

– Извини, из-за нервной обстановки и этого маскарада совсем я забыл спросить, считаешь ли ты себя ещё замужем за мной? Я, кстати, ценю, что ты при советской власти не развелась заочно, хоть и могла бы.

– Как можно, Адриан Иванович, после церковного венчания-то? – всплеснула она руками. – Таинство брака ненаруσιμο, нас здесь покойный отец Евлогий венчал, а ангелы – на небесах...

– Ангелы на небесах? Дирижабли с бомбами и «Ньюпоры» с пулемётами на небесах теперь... – пробурчал он. – Если решилась, собирай ребёнка и сама собирайся. Сестру, кстати, разбуди. Нам надо выехать из города до света.

Тут и свояченица выползла, в клетчатом тряпье каком-то поверх ночной рубашки. Мано за эти годы совсем не изменилась, осталась такой же бестолковой. А вот изменилась ли Катишь, он не понял пока. Вообще не присматривался ещё толком к законной своей супруге. Потому, наверное, что чувствовал свою перед ней вину. Вишь, оказался он недостаточно передовым мужчиной, до полной то есть бессовестности передовым... Что?

Ага, они договорились. Катишь хотела взять Мано с собой, а та заупрямилась, остаётся стеречь квартиру. В душе Адриан вздохнул с облегчением. Ему и так будет нелегко от душевной жизни в одиночку, бирюком, перейти к тесным, нос в нос постоянно, семейным отношениям. Вот только недалёкой свояченицы ещё недоставало! Вспомнилось, как Мано сидела за бюро в комнате сестёр и, высунув розовый язычок, заполняла открытки-приглашения на жульническую свадьбу Катишь. Тотчас же хлопнул себя по лбу:

– Там же дом для врача пустой совсем! Мужики всю мебель по избам растащили. Что из больничного оборудования найду, стерилизатор, к примеру, то верну, мне пообещали, но столы-стулья никто не отдаст.

– И что же из этого следует? – сморщила Мано свой невысокий лобик.

– Надо на время прихватить кое-что отсюда. Детскую кроватку обязательно, пару стульев. Письменный стол бы мне, какой-никакой... Для работы, больных принимать.

– Папин стол не отдам! Никогда! Никогда! – вдруг подскочила к зятю и принялась трясти кулачками перед его носом Мано.

– И не надо! – окрысился Адриан. И тут же, обиженный несправедливостью нападения на него, ляпнул лишнее. – Мне от вас ничего не нужно! Никогда не поверю, что вы, Мария Митрофановна, не участвовали в этой... подлой афере со свадьбой своей сестры!

Тут Катишь усмехнулась криво и потянула сестру за рукав:

– Отстань от него, Мано. Лучше помоги мне собраться.

За дверью сёстры вполголоса переругивались, а вот собирали ли вещички при этом? Он достал часы. Половина второго. Затемно надо выехать из города, не то придётся хорониться у дружных сестёр до вечера. А с упряжкой что делать тогда? В хозяйский двор завести? Ворчуна ж распрячь ведь надо будет, напоить, чем-то покормить...

– Дай Лизочку! Дай! Дай! – а это девчонка просит у него часы.

Жалко, что ли, для ребёнка? Он и протянул ей часы поиграть, присматривая, правда, чтобы не уронила за кровать, на пол. Натешившись, девчонка честно вернула блестящую игрушку, да ещё и присоветовала при этом:

– Дядя-папа, мамочке тикалку дай! Мамочка в волосиках спрячет.

Ухмыльнулся Адриан и приложил палец ко рту. Это просто замечательно, если Катишь сумела сберечь свою долю фамильных драгоценностей, и неплохо, что он об этом узнал. Но вот если Лизанька станет болтать об этом направо и налево...

Выехали уже в половину четвёртого. Сёстры всплакнули, расставаясь. Адриан сумел удобно устроить Катишь среди узлов, а сам взобрался на облучок. Колёса, обильно смазанные дёгтем, поскрипывали тихонько. Лизонька уже спала в своей кровати, привязанной и к поклаже, и к коробу подводы. Она заснула, как только положила головку на подушку. До конца Харьковской Адриан погонял меринка, а потом отпустил вожжи, и Ворчун сам, без понуканий, ходко пустился домой, да и дорогу гривастый помнил лучше, чем Адриан. Был неприятный момент, когда почти уже на выезде встретился им солдат-пехотинец. Сумрачно пьяный, беляк выделявал ногами мыслете; он не попытался остановить подводу, только промычал нечто непонятное. Очень было странно Адриану снова увидеть мужика в российской форме и в погонах не через прорезь винтовочного прицела. Не пристал служивый, и то хорошо.

Выехали из города. В лесу уже всю распелись перед рассветом соловьи. Меринок уверенно потянул через росистый луг к лесу и остановился перед просекой, которую несколько часов назад сам же Адриан довольно небрежно замаскировал ветками и срубленной впопыхах невысокой сосной. Выехали на просеку, и Ворчун снова встал.

Когда Адриан вернулся к подводе, стряхивая хвою с рук, небо совсем посветлело, а вокруг, в лесу, сосны уже серели, выступая из темноты. Взобрался Адриан на облучок, тронул вожжами спину меринка и проговорил негромко, не оборачиваясь:

– Ну, Катишь, в лесу чужих ушей нет, сможем, наконец, обсудить наши дела откровенно.

– Почему мы ехали через Сонькин луг? – начала неприятный разговор Катишь. Издалёка начала, но уже напряжённым тоном. – Никогда не поверю, что здесь каждую неделю проезжают селяне твоей... Чмыровки?

– Гмыровки. Ты права, есть другая, прямая, всем известная дорога. На ней застава белых. А эта для тайных поездок, Катишь.

– Хорошо. Отчего ты прячешься от наших освободителей, воинов Вооружённых сил Юга России?

– Ну и каша же у тебя в голове... Даже название здешней группировки беляков запомнила. Освободители... Для кого они освободители, Катишь?

– Как это для кого? – вспыхнула она. – Вас тут не было, и вы не видели, как наши старобельчане встречали добровольцев – хлебом-солью, цветами и колокольным звоном!

– Давай разберёмся сначала, кто встречал. Уверен, что буржуи разные, попы. Вот какая публика. Да к ним зеваки, ещё дети – те и на марсиан побегут поглядеть, если в город вступать будут.

– Какие ещё марсиане?

– Есть такой роман. Надо бы тебе почитать, – буркнул Адриан. – Ладно, марсиан побоку. Красные, они отнюдь не марсиане, это те попугали, да сами и вымерли. Красные сейчас и здесь отступили, но всё равно победят. У них в руках огромная страна, и российский рабочий люд стоит за них, а это большая сила. И они, большевики-вожди, люди решительные и смелые, это тебе не министры Временного правительства, не красной Керенский. Я был в Питере, в Москве, прошёл с красноармейским госпиталем до Старого Оскола. Советская власть – это навсегда теперь, Катишь. Ну, на наш с тобой век она безальтернативна... Достанет её, то есть, на нас с тобой. Так что привыкай, жёнушка, к мысли, что жить мы будем в красной России.

Тут услышал он за спиной хлюпанье. Соскочил с облучка, хлопнул Ворчуна вожжами по крупу, чтобы не вздумал останавливаться, а сам на ходу присмотрелся к Катишь. Она сидела, выпрямив спину, будто палку проглотила, и плакала, стараясь не разбудить дочь.

Адриан разозлился. Ему женские слёзы, что нож острый, с самого детства, да и среди парней в деревне было принято презирать баб за плаксивость. И последние годы

возле себя наблюдал он женщин, которых не мог и представить плачущими. Это как же надо было бы допечь Радку, чтобы она начала рюмсать! А девушки-санитарки из полевого госпиталя? Известно ведь, как страшно и бесчестно закончили бы жизнь, если бы белоказаки захватили госпиталь. Но они готовы были биться до последнего за раненых и за себя.

– Зачем ревёшь? – спросил грубо. – Я правду говорю. Я ведь старше тебя, Катишь. А если не умнее, то уж образованнее во всяком случае.

– Значит, тот кошмар вернётся и останется навсегда. Снова страшно будет пройти улицей, страшно выйти за порог в красивом мамином платье. И свой красный враг будет всё время рядом, под боком, снова приставать станет... Вы должны были предупредить, что вы краснопузый, Адриан Иванович, когда сватались ко мне.

– Вам с папашей вашим тогда не до того было, интересоваться моими политическими убеждениями, – вложив как можно больше яду, заявил он. – А тебе лично я говорил не раз, что я эсдек. Ишь ты, краснопузый... И кто, спрашивается, такому научил?

– Ваши товарищи, Адриан Иванович, убили моего папá. Что же мне – благодарить вас за это?! Откуда я знать могла, что такое эсдек, что это чудовище в человеческом образе?

И она зарыдала в голос, уже не боясь разбудить ребёнка. Адриан крикнул. Взял себя в руки, на ходу заглянул в кроватку: дитя спало.

– Ну, давай разбираться, – проворчал. – Что значит – убили? Ты давай, расскажи. А то я только и знаю, что Митрофан Винцентович был расстрелян.

– Епифан... Сколько вам повторять?

– Ну, извини, никак почему-то не запомню. Кончай реветь, рассказывай.

Оказалось, что безвредный, в общем-то, небокопнитель Пифа погиб во время «красного террора». Был взят ЧК в заложники как бывший предводитель дворянства. Сам пустышка, оказался в компании местных воротил. Сидели там двое важных Деменьковых, с ними богатейшие городские купцы, трое священников, в том числе отец Евлогий, и даже отставной генерал, опрометчиво понадеявшийся дожить в Старобельске на дешёвых хлебах и в провинциальном покое. Дочери успели принести к тюрьме только одну передачу, а потом им сказали... Тут Катишь опять зарыдала.

– Ну, ну... Я сочувствую тебе, конечно. Но это революция. Когда было сброшено Временное правительство, большевики через день отпустили под честное слово всех министров. Контрреволюция сама начала сводить кровавые счета в восемнадцатом, убив Володарского, но наши смолчали. И только когда был застрелен Урицкий, и эсэрка

всадила две пули в Ленина, только тогда большевики ответили террором на террор. Вот так. А что твои белые творят, сама вдумайся. У вас тут, мне говорили, в контрразведке библиотекаршу Марфу Павловну расстреляли. И не её одну, понятно. Думаю, из рабочих-большевиков в Старобельске только те сейчас и живы, кто хорошо спрятался в окрестных сёлах.

– Да мне дела нет до вашей Марфы Лелюкиной, тощей сплетницы! Папá моего убили ни за что, ни в чём не повинного. При чём тут ваша Марфа? При чём эти рабочие?

– А при том, что горе горем, а ведь и прислушаться не грех, что муж, как никак доктор наук, говорит. Это революция, такие эксцессы неизбежны. Думаю, что о французской революции ты кое-что слыхала. Там вот, историки и сосчитать не смогли, сколько во время неё было отрублено голов. Кончится и у нас гражданская война, начнётся тогда нормальная жизнь, без заложников и расстрелов.

– Можно подумать...

– А вот думать о политике тебе самой не нужно теперь. Есть у тебя муж, он и будет думать. Ты, Катишь, только о том должна мозгами шевелить, как мой приказ выполнить. А он такой. В Гмыровке дворян не любят, так что будь тише воды, ниже травы. Ксанька и без того всем уже разболтала, небось, что ты дворянка и что дочь расстрелянного предводителя бывшего. А я всем расскажу, что вот была ты дворянка, а теперь жена красного врача, выучившегося из простого крестьянства. И убеди как-нибудь Лизаньку, чтобы впредь помалкивала о том, что ты свои драгоценности в причёске прячешь.

– О! Так вы на драгоценности мои фамильные нацелились, вот оно что... А эта откуда взялась, Ксанька?

Бестолковые птицы всю приветствовали новый день. Легко пованивал дёготь в ведёрке, болтающемся под днищем телеги, кусты бесполезной лещины поблёскивали от росы, а стволы сосен смолой, и её уже можно было разглядеть. И всякий раз, когда впоследствии вспоминалось доктору Лаптеву знаменательное продолжение того разговора, в его памяти вставал этот лес на зорьке. И всякий раз, не надоедая повторением, сопровождала это воспоминание зряшная обида на природу, равнодушную к человеческим страданиям.

Удивительно, но именно Катишь вместо того, чтобы молчать в тряпочку, завела мучительный для обоих разговор. Спросила задиристо:

– Потрудитесь объяснить, Адриан Иванович, о какой это афере со свадьбой её сестры вы намекали бедной моей Мано?

Крякнул тут Адриан – и не стал скрывать от жены своих медицинских расчётов, связанных со временем рождения Лизаньки, а также горьких для себя выводов, логически

из научных фактов проистекающих. Ещё не дослушав, Катишь сорвалась с места, спрыгнула с телеги и скрылась от глаз мужа за горкой узлов. Он закончил обвинительную свою речь, но она продолжала по-дурацки прятаться, ни слова не говоря. Адриан уже прикидывал, как убедить Катишь, что отмалчиваться бессмысленно, когда та, по-прежнему из-за узлов, вдруг принялась выкрикивать:

– Да, да, вы правильно догадались кое о чём, грубый, противный мужлан! А ещё и краснопузый, оказывается, убийца и вор! И ты посмотри, какой пронизательный, пронюхал ведь! Я, это я придумала принять ваше предложение, а покойного моего бесхарактерного папа вынудила согласиться со мной! Конечно, у меня был любовник, я в своего душку Зенона Аристарховича была влюблена, как кошка. Когда папа узнал о нашей связи, он рвал на себе волосы, кричал, что я собой пожертвовала, чтобы Зенон Аристархович не подал его векселя ко взысканию...

– Какие ещё, к дьяволу, векселя? – проревел Адриан.

И разбудил, наконец, девчонку, самому же и пришлось успокаивать: Катишь упорно не желала покидать своё укрытие. А когда ребёнок снова уснул, переспросил уже более спокойным тоном.

– Её укрыть надо, Лизочка... Векселя? Долговые бумаги такие. Так сложилось, что Зенон Аристархович был одним из папиных кредиторов. Вам известно ли, что такое кредитор?

– Осведомлён, – буркнул он. И подумал, что не осведомлён о другом. Что женился на дуре, притом бесстыжей.

– Это глупости бедный папа выдумывал... Я влюбилась, и всё... И, конечно, мы с Зеноном Аристарховичем не только за ручки держались. Но он не мальчишка какой-нибудь был, понимал, что мне замуж ещё выходить... Так что о каком-то восстановлении девственности это вы уж нафантазировали, Адриан Иванович. Это вы сами меня зверски невинности лишили, Бог вам судья. А с Зеноном Аристарховичем... Оплошали мы с ним, потому что увлеклись... В общем, протекло кое-что опасное туда, куда не надо было.

– Понятно, – пробормотал он, чтобы не молчать. А как хорошо вышло, что не послушался старосты Ефимыча и не прихватил с собою обрез! Устроено для него под днищем тайное местечко...

– И вот задержка. Грандиозная задержка! Что я должна была думать? Это теперь я уже предполагаю, что задержка могла произойти от страха, а тогда? Обзавестись незаконнорожденным дитём, и это при нашей бедности и долгах! А тут вы в меня втюрились, Адриан Иванович! Субтильный фельдшериска, еле живой, а глазами так и поедаете просто, а из плечи прямо вот-вот дым пойдёт!

– Из какой ещё плеша? – опешил он.

– Неужто до сих пор не заметили, Адриан Иванович? – и она хихикнула злорадно. – У вас есть проплешина на затылке. Мало того, что парвеню, так ещё из нижних чинов, тщедушный, плюгавый, плешивый, одно для мужчины достоинство, что сравнительно молодой – но вы были единственным спасением. Сами посудите, могла ли я вам отказать?

А он совсем о другом задумывался. Плешивый, это ж надо... Бывало, в Базеле француз-парикмахер ему показывал, с помощью двух зеркал, как затылок подстрижен, так неужели не просвечивало? Не присматривался, не до плеша было... Что она спросила? Ответил честно:

– Не знаю, что мне и сказать вам на это, мадемуазель. Обругали вы меня, будто баба базарная. За то, что со страху пошли за меня, а потом из-за ошибки своей локти кусали? Или за то, что «зверски», как говорите. Так это ж в браке...

– ...дитя либо недоношенное, либо... Если я забеременела от той неловкой ласки Зенона Аристарховича, то, уж простите, Адриан Иванович, но Лизочек по моему расчёту выходит слишком поздняя. Сама толком не знаю, но кажется мне, что это всё-таки ваш ребёнок.

– Сами ж писали, Екатерина Митрофановна: «Обыкновенного веса, пяти фунтов с небольшим». Какая уж тут недоношенная? Хорошо. То есть, что ж хорошего, право? Вот я ещё хотел спросить, а кто мне... нам, собственно, устроил перевод в Киев? Этот же ваш хахаль?

– Хахаль? Фу... Нет, нет, что вы! Перевод наши родичи Деменьковы устроили, у них везде есть связи. Были связи, то есть... Папа, он ещё писал Саша, старшей моей сестре, если помните, в столицу. Но эгоистка Саша, как вышла замуж, так и не написала нам ни разу, отрезанный ломоть она, как папа часто повторял.

– Ну, если за границу не убежала, может ещё и к вам прикатить. И чтобы уже со всякими недоумениями покончить, скажите мне, Екатерина Митрофановна, кто вам помогал из Киева возвратиться в этот ваш распрекрасный Старобельск? Уж не... не любовник ли ваш бывший? В письме вы обмолвились, что не одна ехали...

Снова молчание стало ему ответом. Долгое на сей раз, тревожно затянувшееся. Тихо стало в лесу, только запоздалые соловьи продолжали посвистывать и пощёлкивать. Да мерин Ворчун тягуче вздыхал, предчувствуя скорый отдых и кормёжку. Почему она замолкла, ведь столько грязи уже на него вывалила? Бросил он вожжи на седёлку и пошёл посмотреть, не отстала ли Катишь намеренно от телеги. Да нет, успел увидеть край подола, когда бросилась вперёд, продолжая прятаться. Плюнув, он снова взял вожжи. Что ж, если бы сбежала, то не заблудилась бы, держась просеки. А волков в лесу вроде нет,

медведи тут, ему говорили, никогда не водились. Вот насчёт диких кабанов не был он уверен. Но не пропала бы, в общем. А вот чего ему пришлось бы наплести мужикам в Гмыровке, объясняя, где и как потерял жену, это уже другой вопрос...

– Хватит отмалчиваться, Екатерина Мит... Епифановна! – прикрикнул. – Раз молчите, значит, именно он вас в Старобельск и привёз. Да только вы тогда уже почти на сносях были, какие там шуры-муры. Я же понимаю...

И понятливый супруг, чёрт знает почему, припомнил, что Радка ухитрилась помиловаться с кем-то (не с лихим ли итальянским анархистом?) в грохочущем поезде на багажной полке. Потом попробовал представить козырь-девку с большим животом и какое выражение при этой okazji имела бы на мордашке – и чуть не проморгал очередную пощёчину своему самолюбию. Ибо Катишь взвизгнула:

– Да! Тогда всё было в высшей степени пристойно, церемонно! Ехали первым классом, а перекусывали на вокзалах в буфетах... Но потом, через полгода после родов, я не выдержала порыва страсти и отдалась стихии! Надеялась, дурочка, что с любимым человеком испытаю то небесное наслаждение, которого была лишена с вами, Адриан Иванович. Какое там... Зато потом наложил на меня эпитимью покойный отец Евлогий: не подпускал к причастию, пока не отбила я тысячу земных поклонов. А стыд-то, стыд-то какой...

– Я повторяю уже заданный ранее вопрос, – глухо, с трудом выговорил он, как бы откуда-то со стороны удивляясь собственной кротости. Одновременно оценивал возможность пустить в ход кнут или выломать ножку из стула, в свои будущие действия далее пока не заглядывая. – С небольшим добавлением, вытекающим из ваших признаний. Почему же тогда вы не развелись со мной и не сошлись со своим... Гм, с любимым человеком? Дал же бог ему имя-отчество, мне, фельдшеришке, и не выговорить... Вот и не пришлось бы развлекать попа нашей семейной драмой.

– Да я же вам с самого начала это сказала! Зенон Аристархович был женат! И жена у него была нестерпимо ревнивая старая грывза! Он не мог на мне жениться, мой седой голубчик!

– А почему вы сказали «был», «была»? Был женат ваш любовник, а потом развёлся?

И новая порция визга. Услышал затем Адриан, что тупее его на белом свете нет, а если у него есть какой-то диплом теперь, то это значить только, что где-то эти дипломы напрасно сельским дурачкам раздают. Неужели он уже успел забыть, что несчастный Зенон Аристархович был расстрелян как заложник вместе с её бедным папа?

Он крякнул. Многое мог бы на это сказать, но удержался. Дикарское желание выломать ножку из стула тоже отступило, равно как и совсем уж идиотское огорчение, что топор на дне короба под соломой завален теперь рухлядью Катишь. Конечно же, в Усть-Воже любой здоровый мужик, такое от жены выслушав, да ещё и с поносными словами в качестве приправы, ответил бы соразмерной руганью, а потом засучил бы рукава и поучил бы изменницу. Кулаками бы поучил, а то и тем, что под руку попадёт – но не до смертоубийства же, конечно. Возможно, что и с топором или с вилами погонялся бы за нею по двору, да только погрозил бы. Любопытно, а как ведут себя в такой ситуации мужья из провинциального дворянства? Да нет, не очень любопытно, правду сказать. В отличие от причин истерики Катишь... Не удивился бы Адриан, если б оказалось, что законная жёнушка оскорбляет его и только что визжала, как баба базарная, именно потому, что ожидает от него такого простонародного наказания. Побоев боится, вот. Но он не только обманутый супруг теперь, но и доктор медицины, большевик к тому ж. Интеллектуал, мать его. Свободу для женщин и свободу любовных чувств никто не отменял! А если хреново тебе, то страдай молча в тряпочку.

А тут и Ворчун запрядал ушами и вдруг лихо выкатил телегу на опушку. Нахмурившись ещё мрачнее, поймал Адриан вожжи и натянул. Надо было посмотреть, не шастанут ли по Гмыровке белые или бандиты. Проснулся деревенский люд, дымки над летними кухнями поднимаются, а вот чужих на улицах, пулемётных тачанок и оседланных коней у коновязей не видно. Тут Ворчун коротко всхрипнул и хвостом махнул, хоть слепней поблизости не заметно: это он удивлялся, к чему задержка, когда до родной конюшни рукой подать?

Мудрый доктор Лаптев придержал конька и, не оборачиваясь и раскинувшись на горизонте Гмыровку, мирную вроде как, продолжая созерцать, заговорил громко:

– Эй, Екатерина... Епифановна! Прекратите скандалить. Не бойтесь меня, я вас лупцевать не собираюсь. Женские права уважаю и ваши чувства... Ну, ладно, тоже уважаю. И что приставать к вам стану по поводу исполнения супружеских обязанностей, этого отнюдь не бойтесь. Нет у меня в данный момент к тому сердечного расположения. Обдумаю я всё вами сказанное, а тогда и вернёмся к сегодняшнему неприятному разговору. Согласны? Что? Не слышу ответа!

– Согласны! – пропищала вдруг Лизанька.

Удивительно, но он даже не улыбнулся.

– Буду считать, что и молчание знак согласия. Теперь о том, что нам предстоит в Гмыровке как семье из трёх человек. Первое дело: наши внутренние отношения баб-сплетниц не касаются, это понятно?

– Да как вы могли такое подумать, Адриан Иванович? – это сама Катишь наконец-то подала голос. – Что я стану откровенничать с грязными сельскими бабами? Что до такой степени унижусь?

Крякнул Адриан. Выходило, что на водочном заводе, общаясь с товарками-работницами, Катишь умело прятала свою дворянскую спесь. Да уж, тщедушный фельдшершшка, ну и супружницу ты себе невзначай отхватил! Вслух сказал:

– Только не давайте им понять, что их считаете грязными сельскими бабами. Ну, на водочном заводе вы с такой задачей справлялись... А теперь посмотрите на Гмыровку. Видите обгорелые стены на холме? Там был помещичий дом на два этажа. Когда сюда докатились весть о новой революции в Питере и про Декрет о земле, гмыровцы этот дворец разграбили, а земли помещика поделили. И в восемнадцатом году, в гетманщину, как они это называют, дождались на свою голову карательную экспедицию из немцев и белогвардейцев. Немцы для острастки обстреляли Гмыровку из пушек, а белогвардейцы начали ходить по дворам и где найдут вещь какую-нибудь или инвентарь из имения, там ставили к стенке хозяина и старших сыновей. Солдат-большевиков и старосту тоже расстреляли, само собой. Староста Гмыровки, такой себе Ефимыч, однурукий инвалид Германской войны, чудом выжил, после того как врач земской больницы его подштопал. И как эти мужики должны теперь относиться к дворянам, я вас спрашиваю, Екатерина Епифановна?

– Жуткие дела творились, Адриан Иванович.

– Угу. Врач здешний, а с ним и медицинская сестра, оба медроботника приезжие, не из местных, уехали в марте сего года, девятнадцатого. Уехали так уехали, а почему, нам с вами сейчас не очень интересно. А когда укрепились в уезде советская власть, староста, теперь председатель сельсовета, тогда то есть... В общем, гмыровский вожак Ефимыч составил прошение в Москву, чтобы прислали нового врача в больницу. Вот я и приехал с мандатом. Вам понятно, что и о прошении в красную Москву и о том, что я оттуда приехал, никому ни слова нельзя проронить, пока красные не вернутся? Понятно ли это вам, Екатерина Епифановна?

– Понятно, – снова пропищало невинное дитя.

На этот раз ухмыльнулся Адриан: напряжение уже отпустило его. Руки, впрочем, дрожали, когда он снова помогал жене усесться среди узлов, забирался сам на облучок и погонял меринка. Вслух он заметил:

– Ну, Елизавете Адриановне понятно. А как, всё-таки, поняла ли мной сказанное Екатерина Епифановна?

Уже можно было рассмотреть окна у хат и собаку, сидящую на выезде из Гмыровки, когда Катишь отозвалась:

– Да поняла и я, чего ж там не понять. А почему вы моего Лизочка Адриановной назвали? Неужто признаёте? И вот чего на самом деле не пойму, так это зачем вы-то сюда прикатили?

– Да, признаю. И признаю, исходя из своего отношения к вашему ребёнку, а не к вам, Екатерина Епифановна. Не знаю, как там теперь красные юристы поступят со старым российским сводом законов, но я в данном случае придерживаюсь «Кодекса Наполеона», а в нём сказано: «Отцом ребёнка является супруг». Я, знаете ли, никакой не юрист, но интересовался, наводил справки. И мне хотелось, чтобы ваш ребёнок воспитывался в семье. В нормальной, с отцом своим и с матерью. Хотя... Не знаю, честно скажу, как поступил бы, если бы всё, о чем вы сегодня изволили уведомить меня, узнал бы раньше, ещё в Москве. Или в Базеле. Быть может, предложил бы развод и алименты. Быть может, не стал бы рисковать жизнью, чтобы добраться сюда. Не стал бы, с моим отвращением к войне, снова напяливать военную форму. Не знаю, Екатерина Епифановна.

И в таких вот смутных чувствах, в составе нового семейства пребывая, въехал доктор Лаптев в Гмыровку, а затем и в распахнутые ворота земской больницы. Там осознал он, что получил возможность хлопотами отвлечься от тяжких дум. Вынул из кровати и поставил на землю зевающую Лизаньку, помог сойти на землю насупленной Катишь и принялся разгружать телегу. Как только кровать оказалась на земле, девчонка попросилась в неё: едва ли хотелось ей ещё поспать, скорее всего желала сохранить вокруг себя хоть частицу привычного жилого пространства. Потом он распахнул перед женой незапертую дверь докторского флигеля, а сам поехал возвращать телегу с Ворчуном.

XVII

Тёплая осень девятнадцатого года тянулась долго, и внутренние пружины, несколько лет державшие в напряжении Адриана, начали разжиматься. Гмыровка, жившая своей особой жизнью, для внешнего наблюдателя сонной и ленивой, а внутренне деятельной и суетливой, оказалась прекрасным местом для отдыха от базельских умственных перегрузок. Врачебная практика не забирала у доктора Лаптева слишком уж много времени, после первичного наплыва всяких хроников и просто желающих вблизи поглазеть на нового врача и заносчивую врачиху настала рутина. Крестьяне обращались с руками или ногами, травмированными на сельских работах, а раны для него давно уже

открытая книга. Как терапевту ему очень помогли справочники и монографии, отрытые из земли вместе с хирургическими инструментами и небогатым оборудованием. Были они на немецком языке и принадлежали, как догадывался Адриан, не его непосредственному предшественнику, а одному из прежних врачей – тому, быть может, что завещал похоронить себя на больничном дворе. Адриан привёл было его могилку в порядок, а потом и забыл о ней.

Скучая в приёмные часы, он брал с самодельной полки и раскрывал какую-нибудь монографию. Но как только вчитывался в мудрёный медицинский текст, тут-то ему и вспоминалась его собственная диссертация. И оппонент доктор Крамер ему об этом сказал, и сам он ещё до защиты догадывался, что есть у него возможность развить кое-какие мысли, и не без пользы, быть может, для мировой медицины. Он пытался вернуться к тем перспективным идеям, но дальше продвинуться не мог. Видно, время ещё не пришло, да и лаборатории, как в Базеле, нет под руками.

А женский вопрос для него вовсе не был решён. Подвешен оставался, как будто Адриан продолжал сидеть в траншее. Он скучал по Радке, сам над собою за то подсмеиваясь. Обычно фронтовик, возвратившись наконец-то домой, набрасывается на жену и переживает с нею снова медовый месяц. И это независимо от того, как провела супруга эти годы без него. Ну, не без разбирательств, как водится. И оно естественно, такое поведение, вполне объяснимо психологически. Однако на Катишь был доктор Лаптев так глубоко, до самых недр своей заскорузлой мужицкой души, обижен, что даже удивлялся своей прежней к ней безумной тяге. Он сознавал и понимал, что и после родов она осталась пусть не красавицей, но тонкой, изящной и эффектной женщиной, что прежняя страсть уж чем-чем, а внешностью Катишь так уж точно оправдывалась, но теперь его желание как отрезало. Даже тот факт, что его «приставание» к себе жена, испытывающая от телесной любви разве что доuku, непременно расценила бы как попытку наказания физической болью, его не вдохновлял. Ему мерещились отношения, основанные на равенстве и гармонии духовного начала, некие обоюдные желания и даже прихоти в сфере телесных наслаждений, однако... На грубом топчане, сколоченном для врача местными плотниками, они спали хоть и не валетом, но завернувшись каждый в своё одеяло, и обращались друг к другу только на «вы» и с безукоризненной вежливостью.

Отраду, этакое удовлетворение инстинкта семейственности доктор Лаптев находил в общении с Лизочком. Малышка как-то сразу и безоговорочно им заинтересовалась и его приняла, она вообще, как оказалось, очень легко сходилась с людьми. Легко подружилась Лизочек и с новоиспеченной нянькой своей, на роль которой напросилась вся та же

соседская девушка Ксанька. Чуть ли не в первую же неделю Ксанькиной службы Лизочек упростила её пойти вместе с деревенскими детьми «на сторожу». Так назывались игры с утра до вечера на высоком пригорке за селом, вокруг ветряной мельницы. Однако при этом надо было и на дорогу из Старобельска посматривать, а видно от мельницы далеко. Чуть появятся на горизонте клубы пыли, а в дождливый день чёрные точки верховых и чёрточки тачанок, надо было стремглав бежать в село, к церкви. Звонарь тогда трижды бухал в колокол, а добрые люди закапывали весьма хитроумно всё из рухляди, на что военные могли покушаться, прятали привлекательных девок и молодых, а скотину угоняли в лес.

Заслышав тройной звон, Катишь поднимала свои густые и пышные волосы вверх и в них засовывала фамильные драгоценности, а доктор Лаптев укрывал наградные часы и бутылку с самогоном тройной очистки, служивший у него заменой медицинскому спирту, в специальном тайнике. Был то плод его долгих раздумий, а смастерил его Адриан своими руками, никому из сельских умельцев не доверяя. Ещё в двух отдельных тайниках хранил он свои документы: отдельно партбилет и советские, отдельно – такие, что белым и зелёным можно было показать, ещё в третьем – оригинал заветного диплома.

Белые и «зелёные», то есть всяческие бандиты волнами прокатывались через деревню. Иногда забирали лошадей у зазевавшихся хозяев, при этом, как правило, из тех дворов уводили лучшую лошадь, где их было две. Некоторые бандиты расплачивались самодельными, на литографском камне оттиснутыми банкнотами. А чаще, с деньгами не заморачиваясь, добывали самогон и допоздна веселились в хороводах с выпущенными из схронов девками, совсем как на Западном фронте при Керенском. Тогда из-за наглого дезертирства и так называемых отпусков, из которых никто не собирался возвращаться, полки настолько обезлюдели, что и недостаточных съестных припасов, поступавших с гражданки, стало не только хватать для котлового довольствия, но и появилась возможность кое-что продавать на сторону. Уже заправляли в армии солдатские комитеты, так что деньги, в прежние времена осевшие бы в карманах офицеров, теперь более или менее справедливо распределялись между всеми солдатами. В разгар этого веселья, тоже с хороводами и ухаживаниями за белорусскими девчатами, ротный фельдшер Лаптев укатил в Питер на свой съезд, но он догадывался, что праздничное фронтовое житьё продолжалось до Октябрьского переворота, если не до самого немецкого наступления в восемнадцатом.

А в девятнадцатом году красные всё не спешили возвращать себе Старобельский уезд, и доктор Лаптев продолжал чувствовать себя в Гмыровке достаточно неудобно, хоть немногие мужики знали, что он приехал по мандату из совдеповской Москвы, а о своей

партийной принадлежности он здесь вообще никому не говорил, кроме, кажется, Катишь. Впрочем, Адриан не мог припомнить, брякнул ли он ей сгоряча, что большевик, или всё-таки удержался. Расспрашивать же её теперь было бы сущим идиотизмом.

Вскоре появилось у доктора Лаптева пристойное, весьма далёкое от эротики и внешне как бы полезное для семьи развлечение, и приятели кой-какие при этом нарисовались. Никогда не интересовался он ручным ужением рыбы, но как-то за свадебным столом довелось разговориться с местным учителем. Савва Николаевич был тот ещё чудака. В очках, с длинными жидкими волосами, он уже разменял четвёртый десяток. Свои политические взгляды Савва Николаевич, как и многие в те времена, предпочитал скрывать, но, судя по тому, что всегда ходил в толстовке, исповедовал он вполне демократические и передовые убеждения, хотя едва ли мог назвать себя настоящим, правоверным толстовцем. Демократизм же его проявлялся и в сфере личной жизни. Старый холостяк, Савва Николаевич не завел себе зазнобу среди окрестных сельских учительниц или старобельских коллег в юбках, но и не представлял опасности для нравственности незамужних обитательниц Гмыровки. Дело в том, что он имел слабость не уклониться от романа с роскошной солдаткой, пышной брюнеткой Марфой Соломенковой. Предполагал учитель, что речь идёт о тайной, короткой интрижке, но не знал он Марфиной натуры. Не таковская была баба, чтобы выпустить из рук, если что в эти крепкие руки попало – будь это глупая соседская курица, забежавшая во двор, или не совсем уж поганенький по тем смутным временам холостой, да к тому ж образованный мужчинка. Ну, а сохранить такой роман в тайне – это где угодно, да только не в Гмыровке!

Муж Марфы при царизме служил в драгунах унтер-офицером. На фотокарточке, снятой в Бердичеве, таращился в объектив бравоый вояка при устрашающей сабле. Изредка он и письмами напоминал жене о себе. Из последней писульки явствовало, что вихри гражданской войны забросили бывшего драгуна в какой-то сичевой курень под началом Директории, что служба не пыльная и что возвратится он в Гмыровку не с пустыми руками. Ответы под диктовку Марфы писал учитель, в них не появилась встречная похвальба: и Марфа, мол, встретит мужа не без подарка, ведь принесла в подоле внебрачного сыночка, точную копию Саввы Николаевича. В отличие от бедовой Марфы, учитель страшно трусил приезда её грозного мужа, и рыбалка давала ему облегчение от перманентных тревог.

Обо всём этом Савва Николаевич счёл нужным исповедаться Адриану, когда оказались они рядком, как почётные гости, на свадьбе Ксанькиной подруги, Параски. Горестный рассказ его прерывался только тостами. Учитель тосты отнюдь не пропускал, а

собеседник его, сугубое внимание к ним демонстрируя, только пригубливал налитое в гранёную стопку. Выслушав, доктор Лаптев сперва надулся, обозлившись на любострастного сельского интеллигента, а потом сам посмеялся над собою. Получалось, что страдания и опасения Саввы Николаевича как бы зеркальны его собственным, и забавно было, что нарушитель брачных уз фронтовика тоже ведь оказался вовсе не в комфортной позиции. Посему и выслушал благосклонно изложенные заплетающимся языком похвалы ужению рыбы на зорьке, как замечательному средству успокоить расшатанные нервы и войти в контакт с родной природой. Правду сказать, в Усть-Воже если и ловили рыбу, то сетью выбирая из лесных озёр, причём даже в разгар лета на таком промысле запросто можно было и простудиться. На фронте Адриану приходилось наблюдать, как солдаты при случае глушили рыбу ручными гранатами, и он считал этот способ рыбной ловли технически наиболее совершенным. Однако Савва Николаевич спьяну пообещал сделать поистине царский подарок – два настоящих крючка, для мелкой и для крупной рыбы, чуть ли не золингеновской стали.

Вот так оно и вышло, что доктор Лаптев, сам над собой посмеиваясь, вырезал удилице, а, попросив у запасливой портнихи Катишь толстую белую нитку, позеленил её, потеряв листьями от того же орехового хлыста. На берегу Айдара нашёл подходящий стебель «окуги» и, подсушив, вырезал из него поплавок. Ещё засветло выпросил у Лизочка её жестяное игрушечное ведёрко, а на рассвете приобрёл на условленное с учителем место встречи, ко крайней хате Гмыровки со стороны речки. Детские, что ни говори, занятия настроили Адриана на сентиментальный и несколько игривый лад, и он испытал не тревогу, только чувство неудобства, когда в тумане вырисовались не один, а целый два силуэта. Рядом с Саввой Николаевичем распознал он фигуру гмыровского попаика, отца Силуяна, тоже с удочками на плече, и от неожиданности приставил ногу.

Большевики издали Декрет о свободе совести, и им явно не по пути было с православной церковью, при царизме государственной, а в гражданской войне вставшей на сторону белых. Как некогда сочувствующий старообрядцам и нынешний научный атеист, доктор Лаптев вполне разделял отношение своей партии к бывшей верной опоре царской власти, радостно подхваченное, надо сказать, массами трудового народа России. Рабочие и не были прежде особенно религиозны, крестьяне наконец-то могли реализовать своё исконное неприятие «породы жеребьячей». В Гмыровке попаик ещё держался, и церковь стояла, красуясь крестами на маковках, в силу нескольких причин. Ну, белые контролировали уезд, это раз. Молодых мужиков в селе раз, два и обчёлся, а фронтовики не все ещё вернулись, это два. Да и личность отца Силуяна тоже надо было принять во внимание. Выглядел он человеком добрым и симпатичным, а его едва ли не

патологическая смешливость весьма развлекала мужиков, у баб же вызывала зависть к матушке Прасковье: может быть, и голодно ей живётся, но отнюдь не скучно. Всё это промелькнуло в голове у доктора Лаптева, прежде чем он принял решение и, покашляв, произнёс:

– С добрым утром, Савва Николаевич! С добрым утром, батюшка! И вы, как вижу, собрались рыбку поудить?

Вдогонку своему решению доктор Лаптев подумал ещё и о том, что попик, как только вернётся советская власть, бесповоротно окажется в стане преследуемых, а если здание церкви будет использовано для общественного склада или «сельбуда», то бишь «крестьянского дома», лишится и средств к существованию. Интеллигент же должен поддерживать преследуемых, а не толкать их от себя взашей. Потратив свои умственные силы на выработку пристойной для себя линии поведения, Адриан, увы, обратился к отцу Силуяну глупее некуда, однако неудобства не возникло. Священник весело рассмеялся и заметил, что не видит в ужении рыбы сколько-нибудь значительного греха.

– Хотя перемещение окунька снизу наверх, а из воды на сковородку и нарушает круговорот веществ в природе, – заметил он.

Впоследствии, когда доктору Лаптеву довелось прочесть повесть Чехова «Дуэль», ему подумалось, что это прототип «отца дьякона» получил следующий церковный сан и был назначен в Гмыровку. Тогда же, не сумев ответить на замечание отца Силуяна, он принялся, сощурившись, привязывать к концу лески малый крючок, один из двух, только что торжественно вручённых ему Саввой Николаевичем. Учитель и священник тем временем дружно копали червей. Крайняя хата села стояла пустая, и на развалинах конюшни в унавоженной земле образовался, как выразился Савва Николаевич, настоящий Клондайк червей, толстых и жирных. У него и специальное хранилище для червей имелось. Из консервной банки, с самодельной деревянной крышкой, а внутри перегной и гнилая трава.

Пока дошли до речки, туман рассеялся, только над водой поднимался пар. Коллеги вывели неопита-рыболова на местечко на берегу, удобное для забрасывания удочек, а учитель любезно предложил воспользоваться его банкой с червями. Насаживая ни в чём не повинного червя на крючок, Адриан почувствовал неловкость. Свою инстинктивную детскую жестокость он давно осознал, осудил и даже втихомолку её стыдился. Студентом подписал петицию против вивисекции. А только что бестрепетно обрёл на мучения живое существо – и для чего? Не во имя прогресса медицинской науки, не для спасения жизни человеческой, в обществе людей имеющей большую ценность, чем жизнь животного. Ради пустого развлечения, вот зачем.

Вздыхнул доктор Лаптев от глубины сердца – и, удилищем взмахнув, забросил снасть в речку. Клёва почти не было, потому что стояла осень, хоть и не в пример тёплая. Поэтому и у заядлых рыболовов забава ужения через две-три недели сошла на нет, а у ленивого Адриана, с трудом одолевающего подъема перед рассветом, со вторыми петухами, тем более.

Вскоре общение с новыми приятелями переместилось в холостяцкий приют учителя, теперь по вечерам играли в карты, неторопливо обмениваясь новостями. Досиживали порой до рассвета. Резались в преферанс, и перипетии карточных сражений порой забивали голову Адриану и во время дневных занятий – пока не заметил он это за собой и не устыдился. Как бесполезна и даже преступна столь пустая трата времени, если можно делать наблюдения над природой, записывать их, собирать гербарий и продолжить работу над «Травником» незабвенного Ильи Елеферьевича!

Сгоряча он не потаил этих своих мыслей от новых приятелей, на что отец Силуян только перекрестил его, а Савва Николаевич усмехнулся и, проигнорировав немой протест попка, перевернул полулист, на котором они расписывали тогда «пульку». Адриан увидел страницу рукописи. Сверху посередине стояло «– 14 –», а первые две строчки он прочитал вслух:

– «...А. С. Пушкин тоже являлся защитником теории «чистого искусства». Характерно, что соответствующие сей фундаментальной теории взгляды он высказывает...». Что оно за диво, Савва Николаевич?

– А это страничка из моей магистерской диссертации, Адриан Иванович. Неоконченной диссертации... Я ведь кандидат Университета святого Владимира.

Доктора Лаптева удивила диссертация, написанная на русском языке. Ошибочно приняв его недоумение на свой счёт, учитель крякнул, подскочил с табурета, снял со стола подсвечник и предложил:

– Пойдёмте, я вам кое-что покажу!

Оставленный в темноте отец Силуян прокричал им вслед:

– Ты смотри, Савва, не устрой пожар-то на чердаке!

На чердаке? Однако учитель и вправду вывел Адриана в сени, поставил стремянку и ловко по ней вскарабкался. Тут и смех попка стих.

– Савва Николаевич, а не жирно ли было пустить диссертацию на записи «пулек»? – осторожно спросил Адриан.

– Жирно? Да ведь заполненные с оборота страницы я возвращаю на место, – раздалось с чердака. – Всё равно... Всё равно никакого от моего талмуда проку. Давайте поднимайтесь, Адриан Иванович! Не бойтесь, лестница крепкая...

На чердаке увидел доктор Лаптев большой сундук, а когда хозяин откинул крышку, там обнаружилась картонная папка с рукописью внутри, дюжина книг в потрёпанных переплётках и несколько номеров «Университетских известий».

– Как видите, доктор, – напыщенно произнёс Савва Николаевич, – несмотря на тяжкие условия деревенской жизни и настоящую культурную блокаду, я стараюсь поддерживать свою квалификацию.

Но Адриана в первую очередь заинтересовала лежавшая сверху книжка в четвёрку, переплетённая, только разрезанная. Попросив разрешения, он достал её из сундука. А поднеся ближе к свечке, прочёл: «А. М. Лобода. Лекции по народной словесности. Изд. студентов истор.-филол. факультета Университета Св. Владимира. На правах рукописи. Киев, в университетской типографии, 1910».

– Как интересно! – воскликнул доктор Лаптев. – Так это вы, студенты, сами издали? Дали бы вы мне из своих сокровищ почитать что-нибудь. Право, извёлся без чтения.

Савва Николаевич протянул свободную руку к Адриану, желая забрать переплетённую книжку.

– Тут всё специальное, о поэзии Пушкина, по эстетике. Вам, медику и естественнику, будет скучно...

– Да я только вот эту и прошу, неразрезанную, Савва Николаевич!

– Ладно, только не растреплите. Легко её растрепать...

Собираясь домой, Адриан попросил у хозяина какую-нибудь газетку, чтобы завернуть переплетённую книжку. И эта предусмотрительность оказалась далеко не лишней, когда тот вечер получил весьма неожиданное и даже гротескное продолжение.

Достаточно поздно, однако раньше обычного возвращался он домой, обдумывая услышанное от Саввы Николаевича об обычаях киевских студентов. Пришло тогда ему в самокритичную голову, что его собственное студенчество очень напоминает второе блюдо, поданное без гарнира. Один кусок питательной вареной говядины на тарелке, но никаких тебе рассыпчатых картошечек или иных гастрономических изысков, и только на краю – стручок красного перца, то бишь Радка. Тоже ведь, если подумать, чужая на студенческом празднике жизни. А что присутствовало в бытии базельских студентов и бесхитрое полудетское веселье, не одна только бесконечная зубрёжка, пробило доктору Лаптеву, когда однажды профессор опоздал на лекцию, а один молоденький немчик начал показывать соседям по аудитории только что выкупленную фотографию студенческой вечеринки. Довольно много юного народу поместилось в той гостиной, но некоторым, чтобы попасть в объектив, пришлось усесться по-турецки или лечь на пол. Девушки для смеха надели мужские шляпы, а молодые люди украсились их зонтиками.

Удивило тогда Адриана и выражение лиц. Не то, чтобы было оно абсолютно серьёзным, но и не давало предположить, что хоть минимальное количество спиртного было на момент съёмки употреблено...

– Товарищ доктор, вечер добрый!

Он не успел испугаться, когда от тёмной тени спящей хаты Каспруков отделился чёрный силуэт. По фигуре только узнал одну из подружек Ксаньки, и имя её не сразу вспомнил – Солошка.

– Добрый вечер, Соломия.

– А не желаете ли немножко пройтись, товарищ доктор? Вам не будет ли неприятно?

– Э-э-э... Что же тут...?

И не успел он договорить, что не видит в том ничего неприятного, скорее наоборот, как почувствовал, как под его локоть шустро просунулся чужой, горячий, а под предплечьем оказалась мягкая девичья грудь, ничем, кроме пары одёжек, не стеснённая. У доктора Лаптева зашумело в ушах, и он не тотчас расслышал, что же вполголоса втолковывает ему бедовая Солошка под молодой октябрьской луной. Она, оказывается, прознала, что товарищ доктор любопытствовал насчёт обычаев здешней молодёжи (да никогда он такими пустяками не интересовался!), и ей вздумалось показать ему, как учёному человеку, здешние вечерницы. Только где их теперь найдёшь, настоящие вечерницы? Потому как девиц в Гмыровке хватает, а вот парней или холостых ещё не старых, почитай, нет. Учитель не в счёт (тут она захихикала). А Адриану совершенно некстати пришло в голову, что собаки молчат. Солошка для них своя в доску, не то, что он, приبلуда...

– Но пустят ли меня парубки? – спросил. – Ведь на вечерницы женатым хода нет. Отмутузят ещё хлопцы такого изыскателя...

Солошка захихикала тихонько и на ходу прижалась тугим бедром. Какие ещё хлопцы? А на селе всем известно, что доктор со своей воображалой-докторкой не спит. Как есть соломенный вдовец! А в таком положении, да ещё когда настоящих парубков чортма, глядишь, и сгодился бы. Ведь тридцать ещё не стукнуло, правда? Чем не парубок? А с умным, да ещё и образованным молодым человеком наши гмыровские девицы всегда готовы посмеяться, а то и более серьёзным словцом перекинуться или песен ему попеть.

– Тогда куда же мы идём?

– А к старой Павлючихе, у неё всегда наша молодёжь хату для вечерниц нанимала. Она протопила, да к сестре спать пошла, храпит, небось, давно.

Тут нависла над ними большая хата снисходительной к молодёжи бабки Павлючихи. Темнеет она стёклами окошка. Доктор Лаптев останавливается у двери. Навстречу ему поблескивают под луной мелкие зубки Солошки.

– Нет, не приносила я ничего старой Павлючихе. У неё колени давно крутит, так я пообещала, что ты посмотришь. Знахарка не помогла. Это ничего, что за тебя пообещала?

Никто бы не сказал, что Солошка красива. Но Адриан уже решил. Гитары нет под рукой, слова жалостной песни про «саблю, саблю востру» наполовину забыты, но остаются другие способы для ухаживания.

Он уверенно толкает вперед незапертую дверь и спрашивает интимным полушепотком:

– Знаете ли, милая Соломия...?

– Солька. Мне так приятнее, дrolечка мой.

– У китов есть очень любопытные обычаи, Солька. Когда кит после охоты возвращается в стаю...

XVIII

Вернувшись после третьих петухов к своей стае, блудный кит не обнаружил дома ни китиху свою, ни Лизочка-китёнка. Слава богу, детская кровать и носильные вещи остались на месте, так что ни о каком серьёзном бегстве из Гмыровки и речи нет. Ушла из протеста, а также в наказание ночевать к подруге и ребёнка с собой прихватила? Во-первых, разве Катишь обзавелась здесь подругами? Во-вторых, Адриан добрался домой, когда уже почти рассвело, следовательно, можно было предположить, что женская часть семьи покинула общий кров ранним утром, до света. Тогда речь идёт о каком-то походе в гости (к кому, спрашивается?) или даже о прогулке. Как ушли, так и придут, стало быть.

Совершив кое-какие гигиенические процедуры, доктор Лаптев свалился на опустевшее супружеское ложе и мгновенно уснул. Проснулся он около полудня. Часы тоже показывали половину первого. Во флигеле и возле летней кухни по-прежнему пусто. Как и в чугунке, где рассчитывал найти пару-тройку оставшихся после ужина картошек в мундире. Значит, Катишь прихватила их с собою как провизию в дорогу. Разумно. Хмурясь, он разжёт печь на летней кухне, начистил картошки на всю семью, поставил чугунок на огонь и вернулся мыслями к событиям ночи.

Как здорово, что Савва Николаевич в последний момент нашёл-таки мятую эсеровскую газетку ещё с семнадцатого года, чтобы завернуть книжку! Неисповедимыми путями господними книжка оказалась под головой у Солошки и без обёртки вконец бы

растрепалась. Да и сам Адриан хорош: забыл бы в хате чужое уникальное издание, если бы не глазастая подружка. Обычаи малорусских вечерниц, как оказалось, здорово отличаются от севернорусских игрищ, называемых ещё вечереньками. Основное различие фундаментально и пикантно: если у Адриана на родине, попев и потанцевав, молодёжь расходится по домам, то здесь покотом укладывалась спать в той же горнице. Разумеется, и на Севере без эротических вольностей не обходится: парни, например, имеют право сидеть на коленях у девушек, да и похабщину на языке удерживать не принято. Здесь же вовсю дают волю рукам – и парни, и девушки. Запрещается только лишать девушку её «чести», ведь такая шалость может в будущем иметь серьёзные последствия. Иными словами, на вечерницах разрешается облегчённая телесная любовь, этакая «на правах рукописи».

Поглядывая на подымающийся над чугуном парок, доктор Лаптев задумался об эфемерности народных понятий насчёт приличий или нравственности. Удивительно, но отцы семейств Гмыровки, если верить Солошке, поголовно одобряют вечерницы. И почему? В холода, мол, в хате чересчур тесно. С точки зрения церковной морали, все участники малорусских вечерниц такого типа, как вокруг Старобельска, должны гореть в аду! Да и с позиции обычных человеческих представлений корявенько получается. Не нарушил ли он сам закреплённый мандатом запрет портить гмыровских девок? Хотя... Если и посягал ночью на девственность игривой Солошки, но тут же получал решительный отпор. Однако представим себе, что Солошка выйдет замуж и расскажет новобрачному о ласках, коими она и Адриан одаряли друг друга. Или даже рассказывать не станет, но супруг будет из этой же деревни, и сам сможет великолепно представить, в какие игры его жёнушка игривала с парнями на вечерницах. Хотя, вот именно! Если он будет односельчанин, то и не возмутится...

Катишь с малышкой вернулись только под вечер, смертельно уставшие и голодные. Сначала поели сваренной отцом семейства картошки, потом Лизочек мгновенно заснула, прямо на стуле. Катишь выслушала попреки мужа, а в свою очередь, отчитала его за то, что засиделся за своими картами до белого света. Только тогда соизволила рассказать, куда они с Лизочком исчезали. Оказывается, Катишь стороной узнала от соседок, что до села Каряковки отсюда недалеко, если идти прямо на полудень полевыми тропинками. Вот и возникла задумка показать ребёнку село, принадлежавшее её предкам, некогда родовое гнездо столбовых дворян Дементьевых. Для этого засветло наведальась на южную окраину Гмыровки, высмотрела тропку. А чтобы муж не запретил, придумала выйти в путь ещё до его возвращения с карточной игры у Саввы Николаевича.

– «Чтобы муж не запретил»? – крякнул строгий супруг. – И запретил бы, и ещё выругаю вас за эту глупость, Екатерина Епифановна.

Катишь пожала тонкими плечиками и зевнула, прикрыв рот ладошкой. Сказала, что хочет поскорее всё рассказать и выслушать мужнину ругань, чтобы раньше лечь спать. Вначале было страшновато идти тёмным полем, а там и рассвело. Среди скучных осенних полей Лизочек закапризничала, начала проситься на ручки. Пришлось ей сказки рассказывать. Пришли к полудню. В детстве отдохавшая там летом, Катишь едва узнала Каряковку без имени Дементьевых на холме, только по родовой Покровской церкви определилась. А поскольку церковь невелика и архитектуры непримечательной, пришлось для верности спросить название села у старушки, та сидела на завалинке крайней хаты. Добрая старушка подтвердила, что это Каряковка, и даже напоила путешественниц на даровщинку молоком.

– Надеюсь, у вас хватило ума не представляться? – ядовито спросил Адриан.

Катишь ответила, что, если Адриану Ивановичу угодно считать её, дурочку, ещё более глупой, чем на самом деле, пускай. Старушке она соврала, что покойная мама служила в поместье гувернанткой. Допили молоко, вернула она горшочек старухе и повела Лизочка на холм, где стоял помещичий дом, в детстве казавшийся ей дворцом. То ли последний владелец, в своём праве пребывая, то ли селяне в революцию разнесли все постройки буквально по кирпичику, остались только кучи глины и щебня, да обвалившиеся прямоугольные ямы на месте подвалов и амбаров. А также совершенно заросший ряской пруд-копанка. Вербами над прудом, вот чем там можно было полюбоваться. Церковь стоит заколоченной, дома для священника и отца дьякона пустуют.

– Во всяком случае, я довольна, что сама побывала там. И что моя девочка увидела имение своих предков по матери. И что услышала мой рассказ о них и о прежней жизни в родовой нашей Каряковке. Теперь можете ругать меня, Адриан Иванович.

Доктор Лаптев оказался в трудном положении. Он не сомневался, что уже на днях соседки найдут способ, как донести до Катишь известие о выходке бедовой Солошки. Тогда примирение станет неизмеримо более трудным. А он как раз сегодня додумался, что пора кончать дурацкую забастовку и восстановить нормальные интимные отношения с женой. Оставалось одно – мириться, пока жена про Солошку не узнала. С другой стороны, и сделанную Катишь явную глупость нельзя замалчивать. Он заговорил осторожно:

– Ругай тут, не ругай... Прошлой жизни уже не вернёшь, Екатерина Епифановна. Для вас-то вполне естественно втихомолку пожалеть порой о былом, но девочку в эти

чувствования впутывать было неразумно. Известно ли вам, что советская власть отменила все сословия, и люди в России теперь равны? Лизочек будет жить в новом, свободном мире, и ей лучше бы не знать, что по линии матери её родичи принадлежали к эксплуататорскому классу и даже владели крепостными. Было бы ей три годочка, элементарно забыла бы о вашей оплошной экскурсии, но ей уже пять. Боюсь, что это будет одно из её первых и ярких воспоминаний.

Катишь помялась. Снова зевнула.

– Три годика и пять лет... Откуда такая разница? – спросила. Заметно было, что удивлена мягкостью его упрёков.

– Доктор Фрейд доказал, что человек накрепко забывает всё, что с ним происходило до четырёх примерно лет. Отчего оно так, это другой коленкор.

Она задумалась. Видно, проверяла, помнит ли что-нибудь из первых лет жизни. Сам доктор Лаптев сразу поверил скандально знаменитому психиатру, потому что в отрочестве мучительно пытался вспомнить свою настоящую мать. Он вздохнул.

– Екатерина Епифановна, я думаю, нам пора забыть прежние обиды и вернуться к обычным супружеским отношениям. Великий пост чересчур затянулся.

Она снова вздохнула, на этот раз глубоко. От неожиданности даже приободрилась. Но высказалась осторожно:

– Только не сегодня, Адриан Иванович. Я так устала... И нам с Лизочком настоятельно требуется помыться, ведь изрядно сегодня запылились. Давайте уж завтра, хорошо?

Он кивнул. Оставалось надеяться на медленность продвижения сплетни деревней. И эта надежда, слава богам небесным, оправдалась. Зато случилась другая неприятность: в постели обмолвился Адриан и назвал супругу Радкой. В результате Катишь, если и начала было раскрываться, хоть в любовных отношениях только, навстречу мужу, тотчас же и закрылась. И насчёт вылазки его с Солошкой на вечерницы вдвоём тоже промолчала, обиду затаив. В том, что Катишь захотела приспособиться к нему, как к мужчине, с которым ей теперь придётся, хочешь не хочешь, спать, он ошибся, наверное. Ведь ему этого хотелось. Принял желаемое за действительность.

Впоследствии, после разговора с одним психологом, доктор Лаптев додумался, что тогда разумнее было даже и раздуть скандал с собственной изменой и тем самым дать себе повод разыграть нечто вроде «притворной размолвки», после чего любовники в умилении раскаяния и прощения ещё горячее бросаются в объятия друг к другу. Предположение это пришлось, после здравого размышления, отбросить. Ведь со стороны Катишь никакого увлечения им как мужчиной не было, и на нашлось бы в её душе

остывающих углей, чтобы их раздула хитрая уловка восточной эротики. Как бы там ни было, законная супруга доктора Лаптева вернулась в своё прежнее положение родовитой и тонко чувствующей молодой женщины, вынужденной по воле судьбы продолжать интимные отношения с нелюбимым, простоватым и чуждым во многих отношениях мужланом.

А сам он? В нём-то те угли прежней безумной и парадоксальной страсти всё ещё тлели. Вот именно потому, что было то нестерпимое желание обладать тоненькой дворяночкой не только парадоксальным, но и, увы, патологическим. Да, да, вот именно патологическим! Какая была бы пожива для доктора Фрейда, если бы мотнуться к нему в Вену и рассказать! Теперь же, вернув себе право на обыденный доступ к шелковистому изящному телу изысканной Катишь, Адриан после естественных физиологических радостей и сопутствующего им чувства душевной расслабленности испытал и немалое разочарование. Ведь с Радкой он плыл по любовной реке в обнимку, в дружеском и доверительном союзе, постоянно чувствовал её острое любопытство к себе и ощущал, что она наслаждается его телом. По крайней мере, так ему казалось. Если это была и иллюзия, связанная с её особенной «сладостью» (как забудешь такое?), то великолепная иллюзия. Тот случай, когда Пушкин мог бы с полным правом сказать: «Я сам обманываться рад». А Катишь попросту терпела то, что он с нею проделывал, и даже не удосужилась дать понять мужу, как отнеслась к его бесспорному усовершенствованию в «науке страсти нежной». Впрочем, Адриану приходило в голову, что жена, в пучину животных радостей вдруг нырнув, могла бы назвать его «Зенончиком» или «моим седым голубчиком» – и в какой дыре он оказался бы тогда?

И хоть вела себя в постели Катишь, как живая кукла, для равнодушной природы оказалось важным только то, что живая. Супруга доктора Лаптева снова забеременела и спустя совсем короткое время, когда ласки ещё дозволялись, объявила великий пост по знакомой уже мужу схеме. Однако он, на этот раз обогащённый новыми знаниями и опытом, полную забастовку сумел предотвратить.

Тем временем белые, наконец, отступили из уезда, а красные заняли Старобельск. К счастью, и отступавшие, и наступающие не проходили через Гмыровку, и она избежала грабежей. Святки на селе прошли весело, а Новый год отменно скучно. Доктору Лаптеву отчаянно хотелось продолжить научную работу, и он замыслил переезд в Киев. Надеялся проникнуть в биологическую лабораторию университета, а нет, так воспользоваться лабораторным оборудованием огромной Александровской больницы.

Но гражданская война продолжалась, и Адриан, навоевавшийся, как ему тогда казалось, впрямь на всю оставшуюся жизнь, вовсе не стремился попасть под мобилизацию

или отправиться на фронт по какой-нибудь партийной разрядке. В Гмыровке он не собирался засиживаться надолго, да ведь и Катишь это обещал. Полагая, что проводит он в селе последние месяцы, доктор Лаптев принялся пропадать в лесу и на лугах, собирая гербарий и создавая запасы лекарственных трав. В последнем руководствовался он «Травником» Ильи Елеферьевича.

Отраду духовную Адриан находил в одномнике Пушкина, выпрошенном на прочтение у Саввы Николаевича. Ему казалось, что Пушкин успел высказаться, и при этом в красивой стихотворной форме, обо всём, что только может случиться в жизни человека. Много Адриан заучивал наизусть, и часто, возясь с гербарием или на корточках высматривая полезные растения в весеннем мокром лесу, бормотал стихи себе под нос. Прочитал он и переплетённые лекции профессора Лободы, изданные студентами, однако тот пук страниц задерживать не стал, тотчас же вернул учителю. Неприятно удивила его, привыкшего к чеканному стилю немецкой медицинской литературы, небрежная описательность книжки, практическое отсутствие в изложении специальных приёмов анализа. Это характеризовало фольклористику (или этнографию, не поймёшь) как науку весьма неразвитую. Доктору Лаптеву вообще казалось странным, что люди, называющие себя учёными, записывают, пересказывают и истолковывают народные песни, всяческие рассказы и обычаи. Зачем, если каждый впитал всё эти древние и новые простонародные бредни с молоком матери? Он понимал, что в городе иная ситуация с языческим устным преданием и что его личный опыт в различении малорусских вечерниц и отеческих вечеренок свидетельствует-таки о присутствии в этнографии элементарного сравнения, этого зерна научной методологии. Однако тогда доктор Лаптев, несмотря на европейское образование, очень во многом оставался замшелым северно-русским крестьянином.

Переезд в Киев пришлось отложить из-за прискорбных событий польско-советской войны. Адриана до глубины души поразило, что какие-то поляки, о которых до Германской войны и не слышно было (они разве что позволяли великим державам воевать на своих землях), вдруг посмели оккупировать Киев. Предварительно поляки обстреляли город из гаубиц, а потом взорвали мосты, отступая. Впрочем, советская власть ещё раз показала не только свою слабость, но и гибкость. Засыпая дороги и поля трупами коммунистов и красноармейцев, она продолжала выживать и в конце концов неминуемо должна была победить. Иначе все жертвы, понесённые в гражданской войне рабочим классом и красной интеллигенцией, оказались бы напрасными, возопили бы к небу, и боги бессмертные в отместку покарали бы Россию какой-нибудь невиданной доселе

эпидемией. Так думал доктор Лаптев, сельский врач с припрятанным членским билетом РСДРП, тогда уже РКП(б).

До Старобельска поляки и украинцы, заключившие с ними союз (то-то Тарас Бульба изумился бы!) не дошли, в этих краях Стране советов угрожали иные враги, белые и Махно. Проигнорировав связанные с этим опасности, в конце лета Адриан переселился с семьёй в Старобельск. Основная причина переезда состояла в том, что квартира Сколимовских с кое-какой мебелью и вещами пустовала, как оказалось. Выяснила это обстоятельство энергичная Ксанька во время поездки «в уезд» на воскресный базар. Она должна была передать Мано кой-какие продукты, однако поцеловала замок на дверях, а от соседки узнала, что Манька-придурок, сестра Катьки-фельдшерихи, ушла с белыми. Адриан сообразил, что квартира оставалась незаселённой только из-за неразберихи, воцарившейся в головах у местных большевиков-заправил после суматошного восстановления советской власти. Катишь, тогда уже на сносях, стряхнула апатию и закатила скандал, доказывая, что квартира и имущество, оставленные Мано, не должны пропасть из-за нелепого сидения в Гмыровке. Муж, скрепя сердце, вынужден был с нею согласиться. Советская власть по всей стране национализировала доходные дома и съёмные квартиры, фактически передавая маленькие квартирки за небольшую плату жильцам, а в роскошные апартаменты заселяя по несколько семей рабочих. Бросать на произвол судьбы отдельную жилплощадь, купцу Ковтунову уже не принадлежащую, пусть она и в уездном Старобельске, казалось ему нелепым гусарством.

Было у доктора Лаптева и более серьёзное основание. Чтобы переехать в большой город, в тот же Киев или, быть может, в Харьков или Москву, надо сначала запастись деньгами. Ничего другого не мог он придумать, кроме частной практики, а для неё Старобельск вполне подходил. Там много богатых людей, а богачи обожают лечиться. И уездная больница плохонькая, хуже, чем даже сельская земская в Гмыровке, а её врачи не ахти. Единственное препятствие для успешной частной практики видел он в своей партийной принадлежности. Решение было принято такое: большевистскую партийность в Старобельске не засвечивать, а все партийные вопросы решить и взносы заплатить, когда устроится в большом городе.

Не сказать, чтобы гмыровские крестьяне были довольны отъездом молодого доктора. Он серьёзно поправил им здоровье, сняв обострения у хроников, и надёжно излечивал раны, ужасные заскорузлые фурункулы (по-местному «чиряки») и травмы. Не довелось ему совершать особых подвигов во славу Гиппократов, зато лечил народ уверенно и по науке. Себе в подарок он выпросил очень хорошую немецкую монографию по венерологии. На большом дворе старосты был устроен прощальный пир. Чисто выбритый

и подстриженный женой Адриан услышал о себе много добрых слов, к концу застолья чаще бессвязных. А Солошка попросилась с ним по-своему, на этот раз устроив вечерницы на свежем воздухе, на берегу Айдара – и в товариществе вездесущей Ксаньки, оказавшейся вовсе не такой скромницей, как прикидывалась.

Ранним утром староста Ефимыч прислал подводу с запряженным в неё меринном Ворчуном, а правил внук Стёпка, молчаливый, катастрофически прыщавый подросток. Адриан, после вечернего полстакана самогонки и всеобщих вечерниц в расслабленном состоянии пребывая и смутное чувство вины испытывая, тотчас же решил дать ему по пути пару толковых советов. Загрузились, среди мебели и вещей устроили надутую Катишь с большим уже животом, а Лизочек шла теперь пешком, за руку отца держась. Дорогой он восстанавливал в памяти немудрёную географию Старобельска, но почему со всех картинок улиц и площадей ему улыбалась Зизи, тонкая, как тростинка?

Стояли последние дни лета двадцатого года, пасмурно было, но дождь не моросил, и путешественники въехали в Старобельск ещё до обеда. А вот и дом на Харьковской. Позвав на помощь Стёпку, Адриан извлёк из телеги Катишь и спросил, на навесной замок показывая:

– Ваш ли, Екатерина Епифановна?

– Наш, наш! – запищала Лизочек.

Катишь, вся в желтоватой пыли, сощурилась, присмотрелась – и кивнула. Он облегчённо вздохнул. Хотя... Новые жильцы могли воспользоваться старым замком. Тем временем Катишь достала из ридикюля ключ и передала мужу. Адриан отпер замок, откинул щеколду, снял замок с двери и первым, с ржавой железкой в руках, вошёл в бывшую квартиру Сколимовских. Тотчас же уступил место в прихожей жене. Помог ей избавиться от пыльного плащика, развязать платок.

– Осмотритесь в квартире, хорошо?

Когда на кухне откинут был засов на двери чёрного хода, рухлядь занесена была внутрь, Стёпка отправлен назад в Гмыровку, а малышка в гостиной уложена в кроватку, Адриан разыскал свою супругу. Катишь стояла в самой маленькой светёлке у раскрытого бюро и, шевеля губами, перечитывала записку. Перечитывала, потому что при виде мужа порвала бумажку и обрывки зажала в кулачке. Объяснила:

– Лучше вам не читать, Адриан Иванович. Тут плохо про вас написано.

– Я и не собирался читать письмо, вам адресованное. Не такой уж невежа... Я просил вас осмотреться. И как?

– Что? Ах, да... Бедняжка Мано взяла только свои носильные вещи. И свою долю маминых драгоценностей, конечно. Она пишет, что уходит в большой мир с человеком.

Мано нашла его вдруг, внезапно. Очень надеюсь, что это у неё не просто увлечение, что наша с Зизи младшая сестра устроит свою личную жизнь. Вы, небось, безумно счастливы, что мебель осталась в квартире.

Доктор Лаптев крикнул. За кого его принимает законная супруга? Неужто он и на самом деле такой страшный скопидом и жадина? Но сказал о другом:

– Если ваша сестра втюрилась в офицера-добровольца, то ещё не факт, что он на ней женится, а не бросит по дороге. Или женится и всё-таки бросит. А в России белым не жить. Разве что будет объявлена грандиозная амнистия. Однако ЧК действует столь решительно, что как-то слабо в это верится. Может быть, они сумеют уйти за границу.

Катишь пожала плечами. Огляделась:

– Здесь, если вы, Адриан Иванович, не против, мы устроим детскую.

– Почему же против? Думаю, и спальню вы сами выберете. А вот с кабинетом проблема. Вы же помните, Екатерина Епифановна, я собираюсь начать частную практику. Мне необходимо помещение... Достаточное по площади помещение, чтобы принимать пациентов. Надо выбрать комнату. Это или гостиная, или кабинет вашего покойного отца. Что вам больше по душе? Я же не хочу оскорблять ваши чувства.

Она испустила глубокий вздох. Снова огляделась, теперь смотрела тоскливо, страдальчески выгнув тонкие губки. Почти прошептала:

– Вы как-то сказали, Адриан Иванович, что прошлое не вернётся. Вот и в нашей старой уютной квартире начнётся другая жизнь. Грустно вспоминать теперь, но мы, девки, всегда знали, что папин кабинет – это мужская территория, куда нам без особого приглашения и хода нет. Клава, ну, наша горничная, туда заходила чаще, чем мы. Убираться она заходила, не подумайте чего лишнего. А гостиная всегда была у нас и столовой, так что вам располагаться там со своей медициной и больными было бы неудобно для всех. Можете занимать кабинет моего бедного папы, что ж тут поделаешь. А я пойду прилягу, хоть на голые доски, ноги совсем уже не держат.

В бывшей комнате болящей пани Сколимовской пришлось теперь, хочешь не хочешь, устроить супружескую спальню. Впрочем, все неприятные запахи давно выветрились. Адриан скоренько развязал узлы с постельным бельём и постелил жене, помог ей разуться, а сам отправился в кабинет. Книжный шкаф, вот к чему он устремился! Увы, от сокровищ в одинаковых кожаных переплётках, осенью четырнадцатого года стоявших на полках тесными рядами, осталась едва ли треть. Очевидно, остальные дочерям книголюба удалось продать. Столешница старинного, с гнутыми ножками письменного стола пуста, зелёное сукно заросло махровой, серыми волнами пылью, а угол между рабочим креслом и диванчиком затянут паутиной. Адриан поискал, не поленился,

графинчик с коньяком, из которого покойный Пифа некогда обещал налить ему, да позабыл. Высокий узкий графин нашёлся за книжным шкафом. И не пустовал. Вот только в нём не таинственный коньяк обнаружился, а самогонка не лучшего качества. В Гмырове он запасся почти полной четвертью качественного самогона тройной выгонки, и тот вполне годится для дезинфекции. Стало быть, содержимое графина следует оставить для угощения гостей.

Ноги у Адриана после непривычно долгой ходьбы, почитай, отваливались, но он всё-таки нашёл ведро, сходил к колодцу за водой, добыл тряпку и принялся наводить порядок в своём новом кабинете. На следующее утро вырезал из школьных тетрадок Зизи чистые страницы и написал на них объявления, что, мол, врач со швейцарским образованием, доктор медицины, «от всех болезней» и адрес. Из пустого мешка для муки, найденного на кухне, вытрусил смешанной с пылью крупчатки достаточно, чтобы сварить клейстер, и самолично прилепил объявления к фонарным столбам в центре Старобельска, здесь называемом просто «городом».

Два дня прошли в ожидании. На третий во входную дверь постучали. Неразборчиво поздоровавшись с пациентом, Катишь привела его в кабинет, а доктор Лаптев поднялся из-за стола.

Если бы дело происходило через несколько лет, и Адриан осилил бы уже «Братьев Карамазовых», принял бы, несомненно, посетителя за Смердякова, вопреки сюжету достигшего преклонных лет. Тщательно вычищенное чёрное длинное пальто, невероятная смесь цинизма, чувства собственной значимости и восторженной даже какой-то угодливости на белом, как мука, лице.

– Желаю здравствовать, господин доктор! – прошамкал старинушка, уставившись выцветшими до белизны глазами на угол книжного шкафа.

Ответив на приветствие, Адриан добавил:

– У вас, по-видимому, катаракты на обоих глазах. Могу прописать глазные капли, но они помогают только чуть-чуть. А как мне вас величать прикажете?

– Да я не лечиться к вам притащился, господин доктор, а с приглашением, – степенно возразил гость, рассматривая теперь галстук на груди хозяина. – Извольте явиться сегодня в пять часов пополудни на чай к моим хозяйкам, барышням господам Дементьевым, на Второй Дворянской в собственном доме. А зовут меня Федором Трескуновым, с вашего позволения. Среди прислуги про меня молва идёт, будто выслужился Федька-лакейка до члена семьи. Преувеличение-с. Таковой чин для меня, червя ползущего, чрезмерно высок.

Адриан опешил. Пробормотал не без заминки:

– Если мне пациенты не помешают, приду. Так и передайте, Федор... э-э-э... Батькович.

Старик усмехнулся, обнажив почти совсем голые дёсны.

– На вашу отговорку, господин доктор, мамзель Мими велела сказать, что ежели к ним, моим хозяйкам, не придёте, то и к вам на приём никто из старобельчан не придёт. То есть из порядочных, достаточных людей. А мамзель Зоэ изволила сказать, что я стар-де стал и порученное перевираю. Посему приказала осведомиться у вас, господин доктор, уразумели ли вы этот, как его? Ага... намёк мамзели Мими.

Изо всех сил сдерживая смех, доктор Лаптев попросил передать, что уразумел намёк, и под локоть поддерживая, проводил старого лакея до входной двери. Теперь он понял, куда исчезали днём раньше жена и дочь, предварительно принарядившись. Сам он тщателью побрился и, с усмешкой подражая Федьке-лакейке, вычистил щёткой свой единственный костюм. Обнаружил на кухне жестяную коробочку с остатком засохшей сапожной ваксы, разогрел ваксу на свечке и привёл в более или мене божеский вид ботинки. Галстукон он располагал всего одним, так что ломать голову, какой выбрать, не пришлось.

Когда, принаряженный, переходил доктор Лаптев площадь, красноармеец с винтовкой, стоявший на часах возле уревкома, проводил его настороженным взглядом. «Да, это тебе не Петроград», – вздохнул Адриан, припомнив щеголеватого наркома Рыкова.

Не сумев извлечь в прихожей из доктора визитную карточку, престарелый лакей шумно, как паровоз, вздохнул, убрал подносик за спину и, оставив гостя в прихожей, прошёл в гостиную, где провозгласил:

– Доктор медицинских наук Андриан Иванович Лаптев.

– Проси, – ответили вразнобой женские голоса.

Адриан тотчас же вошёл. Четыре старых девы, от тридцати пяти примерно до пятидесяти с лишним лет, воткнули в него любопытные взгляды. Две постарше сидели в старинных креслах, ещё две – на диванчике такого же стиля. Обеденный стол-сороконожка приткнут у стены, для гостя явно был предназначен стул напротив диванчика. Приглашения сесть не последовало, и Адриан, сделав общий поклон, позволил себе усестся самовольно. Тётки с диванчика, очень похожие, глазели на него с нахальным любопытством. Одна начала вполголоса:

– *Sœurs, celui-ci parvenu...*

Он поспешил объявить барышне, что знает французский язык. Говорившая вытаращилась на него, на увядших лицах остальных промелькнули усмешки.

– Я позволил себе сесть, потому что не вижу необходимости стоять перед вами, будто провинившийся.

– Как это не провинившийся? – вскинулась с кресла полуседающая барышня в золотом пенсне. – Вы же посмели жениться на Катишь Сколимовской!

Адриан всмотрелся в лица сестёр Дементьевых. Известна ли им история выхода племянницы замуж во всех неприглядных деталях? А если нет, имеет ли смысл именно сейчас их просвещать? Едва ли...

– Новой властью, которая вернулась в уезд, сословия давно уже отменены. А я после фронта и учёбы за границей вернулся к вашей Екатерине Епифановне и её ребёнка буду воспитывать как своего. Тогда как мог бы остаться в Базеле, Питере или Москве, развестись и в лучшем случае выплачивать ей алименты на ребёнка.

О Базеле он ляпнул для красного словца, вовсе не уверенный, что смог бы там зацепиться. А старые девы переглянулись, и самая старшая, очень похожая на покойную мегеру, мать Катишь, промолвила неохотно:

– Это вы, доктор, правильно поступили. А что, у вас и врачебный диплом есть?

– А как же, имею диплом доктора медицины, выданный Базельским университетом, – ухмыльнулся он. – Знал бы, что с меня станут документы требовать, прихватил бы с собой.

Хозяйки переглянулись. Адриан тем временем рассмотрел, как одеты. Все в тёмном и закрытом, словно траур соблюдают. Пошиты платья как будто не по моде, зато из дорогих тканей. Вон как на самой младшей серый шёлк искрится... Что? Оказывается, их тоже заинтересовало, что надето на нём.

– ...оценили, что вы, доктор, не воспользовались гардеробом покойного своего тестя. Это вас... э-э-э, характеризует, с лучшей, неожиданной для нас, ваших невольных родственниц, стороны.

Это тётка в пенсне просипела. Явно страдала застарелой ангиной, её Адриан, на фронте понаторевший в лечении солдатских простуд, мог бы вылечить. Однако пора отвечать.

– Да уж, знаете, мадемуазель, это было бы не в моих принципах. Смахивало бы на мародёрство.

Для тёток он этак высказался, в шкурных интересах врачебной практики желая им понравиться, на самом же деле, как и всякий фронтовик, имея о мародёрстве несколько иное представление, нежели всякие тыловые моралисты. И штучные штаны покойного Пифы не постеснялся бы напялить, если совсем не было бы, чем голую задницу прикрыть.

Однако одёжный шкаф в кабинете пустовал, и обуви после тестя никакой не осталось: дочери всё, вплоть до галстуков и подштанников, снесли на толчок.

– Вот только ваша визитка, доктор... – начала одна из нахалок на кресле и, сложив губы гузкой, не закончила фразы.

– А что не так с моей визиткой? – поинтересовался любезно. Ведь речь шла о одёжке, выданном ему покойным Гришей Чудновским из гардеробной Зимнего дворца. Неужели классовый инстинкт барышню подвёл?

– Да она загрязнилась почти до неприличия, ваша визитка, – пояснила дама в пенсне. – Это хороший, крепкий английский шевиот. Её надо отдать портному перелицевать, вот и решение вопроса. Скоро все мужчины будут ходить в перелицованных костюмах. Но что поделаешь, если портным негде достать костюмных тканей, а у нынешних молодых людей нет денег?

– Перелицуете – и придётся вам расстёгивать ширинку левой рукой, – захихикала барышня из тех, что на диванчике, из младших.

– Фи, Софи! – прикрикнула дама в пенсне. – Как не стыдно!

– А что? Это же не человек из общества, – потупилась нахалка. – Наш самозванный родственник из селюков, он и не такое слышал, разве нет?

– На самом деле при перелицовке возникает только одна по-настоящему обидная неприятность, – рассудительно заметила самая пожилая из старых дев. – Верхний кармашек оказывается не слева, а справа. Это тот, куда принято вставлять сложенный носовой платок.

Адриан покосился на своё левое плечо – неужто платок потерялся? Нет, он на месте. Получалось, что пояснение предназначено какой-то из сестёр.

– Спасибо за совет, – наклонил голову Адриан и зафиксировал взгляд на самой пожилой сестре. – Появятся жалобы на здоровье, приходите. Вас буду пользоваться бесплатно.

– Да, да... Можете начинать практику, – слегка невпопад ответила мадемуазель Дементьева.

Доктор Лаптев откланялся. Чаем его так и не угостили, оно и к лучшему. О настоящем чае в уезде давно забыли. Теперь горожане поголовно пили «кофе» из пережжённого ячменя, напиток, быть может, и не вредный для здоровья, но что бесполезный, так это уж точно.

Полагал Адриан, что больше никто не помешает ему начать прибыльную врачебную практику. Он ошибался.

XIX

Доктора Лаптева разбудил колокольный звон. Бухтел самый большой колокол на монастырской колокольне. Из смутных сновидений окончательно вынырнув, он распознал набат. Катишь продолжала спать, на спине, её живот возвышался горой. Он откинул одеяло, и хоть помнил, что вчера было третье сентября двадцатого года, для верности бросил взгляд на рукописный календарь, нетвёрдой ручкой Лизочка украшенный незамысловатыми цветочками и крестиками. Вот именно, пятница, четвёртое сентября. Белые далеко, в Крыму и под Херсоном. Отчего ж тревога?

Наскоро одевшись, выскочил на улицу. Она утонула в густом тумане. Из белого облака вынырнули рога над бородатой мордой, потом тощая коза, ещё несколько разномастных коз, за ними хромой мужичонка.

– Что стряслось, почтенный? – спросил Адриан у козьего пастуха.

– Там махновцы, гражданин товарищ, – ответил тот, заикаясь. – Напоролся на них на Подгоровском лугу. Еле ушёл и этих проклятых отогнал... Под чёрным знаменем, махновцев там видимо-невидимо. Как раз строились... Отнимут коз, я с хозяйками за всю жизнь не рассчитаюсь... Валите, чёртовы овцы! Вперёд, твари упрямые!

Исчез пастух в молочных волнах и клубах. Адриан искренне понадеялся, что сейчас во всём Старобельске происходит то же, что делалось в Гмыровке, если дети, играя на холме у ветряка, засекали приближение вооружённых людей. И ещё, что большевики исчезнут из города, пока Махно не вошёл, ведь между ним и красными, как говорили, опять чёрная кошка пробежала. Были бои. Сам он ограничился тем, что запер на всё тот же висячий замок парадный вход и вдобавок заколотил его досками. Он не разрешил Катишь растапливать печь на кухне, пока махновцы не проедут улицей. Дверь чёрного хода на кухне закрыл изнутри на засов. Позавтракали всухомятку. Махновцы всё не показывались. Адриан осознал вдруг, что не слышит набата. Авось звонарь догадался спуститься с колокольни и спрятаться.

Потом стало известно, что Махно из осторожности не хотел входить в Старобельск, пока не рассеется туман. Только около восьми часов утра снаружи по Харьковской прокатился топот множества копыт, гиканье всадников и obsługi пулемётных тачанок, бренчанье оружия и снаряжения. Эти звуки притихли, зато из «города» донеслась винтовочная пальба. Смолкла и она, раздавались только одиночные выстрелы и крики. Махновцы громили лавки, торговые ряды и склады, не иначе. Затем выстрелы смолкли совсем, остался неясный гул.

Несмотря на уговоры побледневшей Катишь, Адриан через чёрный ход выбрался во двор, а там и на улицу. Пыль уже улеглась. Харьковская будто вымерла: ни людей, ни повозок. Над главными улицами поднимались дымы. Пришлось долгонько прохаживаться вдоль забора, пока не появился первый прохожий. Бледный, был он одет, как сиделец из торгового ряда, и оказался словоохотливым. Выяснилось, что махновцы ворвались в Старобельск через мост и с пашками наголо проскакали по нескольким улицам к «городу». Там они снова съехались, на площади.

– Пугали горожан, что ли? – прикинул вслух Адриан. – Психическая атака такая?

– Ох, не знаю я, господин хороший, что такое психическая атака, а вот нагнали же страху. На площади помитинговали, помитинговали, а потом атаман Махно и командиры стали на постой в самолучших домах в «городе». Остальные тотчас же бросились грабить торговые ряды и лавки. А как от души прибарахлились, с площади исчезли. Говорят, устроили лагерь на большом городском лугу у Притына.

– А что там за густая стрельба была, не сказали вам? – поинтересовался Адриан. – Вроде у собора.

– Ох, беда! Постреляли бандиты всех красных солдатиков возле уревкома. Валяются там без сапог. Махновцы сейчас шуруют в уревкоме и укоме, бумажки из окон так и летят! Нет, мне красные и белые милее бандитов! Те хоть и расстреляют, но не станут так нахально грабить!

– А горит-то что?

– Да во всех советских присутствиях горят костры из казённых бумаг. Будто советская власть, она в бумажках содержится...

Поковылял прохожий дальше, а Адриан снова заперся в доме. Его мучили дурные предчувствия, и не напрасно. После обеда со всех сторон слышна была одиночная стрельба. Утром соседки по двору рассказали Катишь, что махновцам удалось найти списки старобельских большевиков и им сочувствующих, вот они и рыскали по городу, по адресам. Тех, кого удалось поймать, расстреливали на месте. Пересказывая новость мужу, Катишь смотрела на него со странным выражением воздушного своего лица. Трудно было понять, то ли она только радуется возмездию, постигшему ненавистных большевиков, то ли ей хочется выдать махновцам своего собственного ненавистного «краснопузого». Сорвался Адриан и накричал на неё. Катишь расплакалась, жалуясь, что он думает о ней чересчур плохо. Лизочек ревела во весь голос. Адриан слонялся по квартире, проклиная себя за поспешный переезд из Гмыровки, да и за расклейку объявлений тоже, не менее опасную для него сейчас. Понятно, что не лечиться махновцы заявятся по объявлению, а

почистить доктора-богача! А у них даже на кухне хоть шаром покати. И запас картошки, привезённой из Гмыровки, заканчивался.

Махно властвовал в Старобельске три дня, а на рассвете четвертого внезапно оставил город. Говорили, что Революционная повстанческая армия Украины (так войско называлось официально) пошла на Беловодск, и у Адриана сердце сжалось от тревоги за Зизи. Махновцы исчезли, не оставив в городе гарнизона, и даже с уревкома сняли и увезли свой чёрный флаг. Советская власть выползла из подполья. Торжественно, с пением «Интернационала» и «Варшавянки», красные похоронили убитых красноармейцев и расстрелянных большевиков, а над уревкомом, чернеющим окнами с выбитыми стёклами, снова подняли свой флаг.

В те дни дожди так и не пролились, чернила с объявлений доктора Лаптева остались не смыты, и утренние туманы им не повредили. В парадную дверь постучал первый пациент, частная практика начала налаживаться.

А Махно со своим войском возвратился в Старобельск. Вошёл на этот раз тихо-мирно, уже не как враг, а как союзник красных. Рассказывали, что он договорился с ними о совместной борьбе против Врангеля, а переговоры с командармом Фрунзе вёл телеграфом из Беловодска. Красные войска здорово потрепали его банду под Миллерово, махновцы везли своих раненых в девяноста телегах, сам «батька» был тяжело ранен в ногу, переранен и почти весь его штаб. Перед новым вступлением Махно в город старобельчане обнаружили на фонарных столбах белеющие свежей бумагой экземпляры «приказа № 6 Старобельского уездного военно-революционного комитета». В приказе, подписанном «Председатель уездного военревкома – Маракулец», Адриан с удивлением прочитал: «Войска Махно вступают в город Старобельск 1-го октября, а потому военревком ставит об этом в известность ответственных работников и сотрудников советских учреждений и призывает считать советскими и все их законные требования выполнять аккуратно и своевременно. О всяких незаконных и самочинных действиях, каких бы то ни было войск, находящихся в городе Старобельске и его уезде, доводить до сведения военревкома для принятия мер выяснения и предания суду по законам военного времени». Получалось, что уездный военревком есть ни что иное, как покойный уревком, возродившийся наподобие феникса. Было совершенно непонятно, как собирался неустрашимый товарищ Маракулец, председатель военревкома, не имея под рукой и прежних двадцати красноармейцев и полагаясь разве что на собственный наган, ставить провинившихся головорезов перед военным судом. Сам же Адриан и то немалым подвигом почитал, что военревком не разбежался перед вступлением махновцев.

На сей раз Махно прибыл в испуганный Старобельск лечить себя, своих штабных и своё войско. Не удивительно, что махновцы оккупировали всю уездную больницу, а «батька» устроил из любимившейся ему горницы в доме Селиверстова, что напротив прежнего казначейства, домашний лазарет. Было бы вполне логичным, если бы кому-нибудь из подчиненных атамана попало бы на глаза и одно из не сорванных доселе со столбов объявлений доктора Лаптева. Самому Адриану такое и в голову не пришло – и просто потому, что была его голова забита опасениями за жену и дочь.

Однако же под вечер в субботу, на второй день повторного нашествия махновцев на Старобельск, под окном гостиной бывшей квартиры Сколимовских заржала коротко лошадь, зазвенели и брякнули, замолкнув, бубенчики. Адриан, ни жив ни мёртв, но в готовности пребывая принять пациента, выскочил на крылечко парадного входа. Там стояла бричка, выложенная коврами и запряженная тройкой, щедро увешанной бубенцами. С запяток прыгнули два увешанных оружием гиганта в черных папахах, а из кузова выбрался третий охранник – могучий мужик с одним маузером у пояса, зато с пронизывающим взглядом маленьких серых глаз. Мужик распорядился:

– Мыкыто! Зайди з чорного ходу и перевир! Потом доложишь.

Один из гигантов исчез во дворе, второй поднялся на крыльцо и встал рядом с Адрианом. На повозке остались только кучер и раненый командир. Кучер, усач такого ж могучего сложения, как и гиганты-охранники, только скользнул по лицу Адриана взглядом – не столько любопытным, сколько пресыщенным уже увиденными чудесами природы и причудами рода человеческого, а вот раненый, небольшого роста длинноволосый, скорее некрасивый человек лет тридцати с лишним, буквально буравил его своими умными глазами. Тут из двери выглянул исчезнувший во дворе гигант, просипел:

– Чисто.

Гигант исчез, а человек в кузове медленно улыбнулся в усы, скорее кучерские какие-то, чем офицерские, и проговорил легко:

– Вы ведь доктор Лаптев? Я бы хотел проконсультироваться по поводу раны на ноге...

– Доктор медицины Адриан Иванович Лаптев, с вашего позволения... А вы? Я ведь не ошибаюсь...?

– Не ошибаетесь, нет. Я Нестор Иванович Махно. Странно, что вы, человек образованный, не видели моих портретов, даже и на литографированных деньгах...

– Я почти всю гражданскую войну после октябрьского переворота проучился за границей, Нестор Иванович. Прошу в дом. Не мой, правда...

– Да уже доложили мне, что не ваш. Тестя вашего, расстрелянного чекистами. Я на их месте бывшего предводителя дворянства тоже поставил бы к стенке. Это – пока нас ваша супруга не слышит... Эй, парубки, да помогите же мне!

Парень-гора, ехавший рядом с атаманом, и один из гигантов проволокли Махно через гостиную в кабинет, а там уложили на диван. Адриан мельком, но с раздражением отметил, что обе его дурочки, большая брюхатая и маленькая, не догадались спрятаться, хотя бы в спальню. Потом он принялся снимать бинты, и все лишние мысли отступили на задний план. Когда нога снова была забинтована, доктор Лаптев заявил:

– Ну, операцию вам сделали правильно. Рана очищена и уже начала заживать. А вот ваше дыхание мне совсем не нравится. Пожалуйста, снимите одежду до пояса, я должен послушать.

С помощью человека-горы, до того маячившего в дверях, Махно был раздет. постоял, опираясь на охранника, а Адриан придирчиво выслушал его через стетоскоп. Разрешил одеваться, и отчеканил, глаз от пациента не отводя:

– У вас просто беда с лёгкими, Нестор Иванович. Вы об этом, конечно же, знаете, но как врач я не могу промолчать. Одно лёгкое просто не функционирует, я ведь не ошибаюсь?

– Да нет, не ошиблись, доктор. Каторга и тюремный карцер сожрали моё лёгкое, – проворчал Махно.

– Курение воспрещается категорически! На курорт отправить не могу.

– Да я уж лет пять, как не курю, доктор. Чуть потяну дым в себя, тотчас кашель. А у вас приметил я ловкость в перевязках. В госпитале практиковались?

– На фронте, военфельдшером, – кивнул Адриан и добавил, гордости не скрывая. – И прошёл через полевые хирургические курсы доктора Александра Ильича Сорокина. Так что...

– Да, мне прекрасно известно, что до старости не доживу, – ворчливо перебил Махно. – Но очень многим желательно прикончить меня уже сейчас, не полагаясь на чухотку. Вы бы не поверили, доктор, если бы я подсчитал, сколько было покушений на мою жизнь. Приходится побережться. Вот он, Тимко, теперь всегда со мною рядом. Призовой стрелок. На крайний случай своим телом прикроет. Правду я говорю, Тимко?

– Батько правду кажэ, – пророкотал человек-гора.

– А вы, доктор, я вижу, такой же «сэлфмэйд мэн», как и я. Только я наукам обучался больше в Бутырской тюрьме. А как вам удалось добраться сюда из Швейцарии? Неужто «зелёной тропой»?

– Через Германию. Немецкие товарищи помогли, – буркнул Адриан. Он хотел бы, но не смог сейчас солгать. – Сначала поездом, а из Гамбурга пароходом. Плыл по минным полям, под носом у британских броненосцев.

Глаза у Махно сверкнули. Он поднялся с дивана и стоял на одной ноге, упираясь рукой в валик дивана.

– Немецкие товарищи? Будь вы анархистом, сразу меня постарались бы обрадовать. Эсэры таких связей за границей не имеют. Нет, вы большевик.

– Странный способ доказательства... – пробурчал Адриан.

– А мне не требуются доказательства. Вот передал бы вас в руки своему начальнику контрразведки Лёве Задову, и вы сами бы всё рассказали. Спели бы ему «Песню варяжского гостя» не хуже Собинова, – Махно тоскливо огляделся и вдруг сменил тон. – Знаете что, доктор, мне воздуха тут не хватает. Давайте перейдём в ту комнату, где ребёнок сидел за столом.

Оказавшись в гостиной, Адриан чертыхнулся про себя: его женщины не спрятались, при этом малышка одета в лучшее из своих двух платьиц, а жена успела сделать высокую причёску, где прячет, несомненно, пресловутые цацки, а вот маленькие часы-медальон оставила на шее. Тем временем, устроив батьку на стуле, здоровяк Тимко встал на дверях из прихожей.

– Уф, спасибо, что успокоили насчёт ноги, – продолжил Махно. – А что большевик, то мы опять союзники. Заклятые друзья. Мы вам нужны, пока белых не побьём. Крестьяне-то бегут из Красной армии, а без крестьян-повстанцев Врангеля и прочую белую сволочь не уничтожить. Да и правду сказать, доктор, какой же вы большевик, если половину, не меньше, гражданской войны за границей просидели? Большевики же настоящие, вкусив государственной власти, здорово испортились. Я ведь когда-то к Ленину в Москву за правдой для крестьянства ездил, мы полночи с ним проговорили...

– У нас на фронте не было организации анархистов, – счёл нужным оправдаться Адриан, – а вот большевистская была. И мы не боялись военного суда, агитировали, чтобы «штык в землю!».

– А меня ещё до войны Одесский военный суд приговорил повесить, да не судьба была тогда голову сложить, – помрачнел Махно. – Я выходца из крестьян за версту чую, сам такой. Если и есть во мне какая эрудиция, то от товарищей в тюремных камерах полученная.

В ответ Адриан, которому только что страшно хотелось похвастать, что он Зимний брал и был рядом с Антоновым при аресте Временного правительства, вдруг ляпнул:

– А меня, Нестор Иванович, до глубины души огорчает моя необразованность. Вот именно под тончайшей плёнкой внешней информированности о мире, внутри – мужик мужиком. Все знания мои – только по медицинской специальности.

– К чему и веду, доктор, – повысил голос Махно. – Я же вижу, что сам я как личность вам более или менее симпатичен, а вот моих людей вы боитесь. Мои люди – это настоящие украинские крестьяне, и вы из крестьян, так что настоящей социальной неприязни у вас к ним быть не может. Стало быть, это неприятие – не социальное, а национальное.

– Однако ж вы и вывернули, Нестор Иванович... – Адриан даже опешил.

– Батьку, а я тэж не второпав, – прогудел Тимко.

Не поворачиваясь к нему, Махно проговорил тихо:

– Я тюремные университеты прошёл, а товарищ доктор настоящий немецкий университет в Швейцарии закончил. Если ещё раз влезешь в разговор учёных людей, велю тебе всыпать шомполами по заднице.

Лизочек засмеялась и захлопала в ладоши. Адриан задумался: а ведь до этого малышка слушала чужого дядю и не подавала виду, что заскучала. Что же, любопытно, сказала ей о госте Катишь? Махно, было смутившийся, вдруг улыбнулся.

– А вы, доктор, послушайте меня. Меня давно эти мысли мучают, а я могу не дожидаться до того, чтобы записать их в статью или в книжку. Потому обговорить их с умным, образованным человеком мне только в радость. Они не для митинга ведь. Вы, кстати, заметили ли, что я ни себя, ни вас не называю интеллигентами?

– Что бы оно ни значило, это слово, оно не про нас с вами, Нестор Иванович, – кивнул Адриан.

– Мы, может быть, интеллектуалы, но не интеллигенты. Жизнь и политику осмысляем, но по воспитанию и по инстинктам остаёмся в крестьянском сословии. Так я вернусь к своей мысли. Вы, русский крестьянин, брошенный судьбой на Украину, не доверяете украинским крестьянам. Инстинктивно не доверяете, потому что с молоком матери вы впитали иные, только великорусской народности свойственные взгляды на жизнь.

– Вот только не матери, – покачал головой Адриан. – Я подкидыш. А воспитывался, да, в семье северного крестьянина, середняка, как теперь говорят.

– То-то я по выговору слышу! Бьюсь об заклад, что украинки вам кажутся чересчур... Как бы при девочке да при матери её сказать? Свободными в своём поведении, вот. А украинцы – хитрыми, себе на уме, жестокими и готовыми вас предать, этакими Мазепами поголовно. Разве не так?

– Да нет, не думаю я так... – смутился Адриан. Вспоминать при Катишь о Солошкиных вечерницах ему было неловко. – Девушки, как девушки. Мужики украинские, как я заметил, большие правдолюбцы и с соседями, например, выстраивают тонкую политику. Но я их наблюдал на селе, где мужской молодёжи сейчас практически нет.

– Украинская сельская молодёжь? – ухмыльнулся Махно. – Да она на фронтах вся. Лучшие парубки у меня, все прочие если не у Петлюры, то у красных или белых. Я про них и говорю. Меня, украинца, возмущает, что многие из вас, русских, вообще не верят в существование украинского народа. Для них украинец – это малоросс, часть, как и великоросс, великого русского народа. Не замечать народ, которого в империи только было почти сорок миллионов, если не ошибаюсь, это же полная нелепость!

– Согласен, Нестор Иванович, – быстро произнёс Адриан. И тотчас же спросил. – А галичане, по-вашему, это тоже украинцы?

Махно ухмыльнулся.

– Вот, не ошибся я в вас, доктор! Галичане – это серьёзнейшая проблема. Они только себя считают настоящими украинцами и хотят, чтобы и мы, обычные, нас ведь большинство, надднепрянских украинцев... Чтобы и мы были точно такими, как они. А мы точно такими же быть не можем, потому что много веков живём в Российской империи, а наша культура, хотим мы того или нет, срослась с русской – да так, что без крови и не отдерёшь.

– О!

– Взять хотя бы то, что я, украинец, а разговариваю с вами на русском языке. И вы можете смеяться, но и дома, с женой, с «щирой» украинкой моей Галиной мы говорим тоже на русском.

– Не просто на русском вы говорите, Нестор Иванович, а на русском литературном языке! У нас в Усть-Соже тоже не так говорят, как мы сейчас. Это я в армии уже научился...

– Речь не о том, доктор. Я о том, что у нас тут всё здорово связано с русской культурой. Как наши войска называются, знаете?

– Повстанческая армия Украины...

– Примерно так. Но главное – не украинская, как у Петлюры, тоже мне социалист, а Украины! Страны Украины, в ней разные народы живут. У меня воюют и русские тоже, и евреи, и целый эстонский военный оркестр. Отпускал я эстонцев, когда нас белые прижали, обратно в Красную армию – не захотели! У вас, говорят, веселее. И заметьте, у

моих повстанцев не было ни одного еврейского погрома! Я с нашими анархистами ни одного не допустил, вплоть до расстрелов на месте!

– А говорят всякое...

– Плюньте в глаза брехунам, доктор. Погромы – это теперь позор навеки товарищу Петлюре и его бандам... А вы-то, доктор, где с галичанами имели дело?

– Да только на фронте, в семнадцатом году. Наш Белозерский полк разогнал под Конюхами то ли бригаду, то ли корпус галичан, выставленных против нас австрийцами, а мне как военфельдшеру пришлось возиться с ранеными из их пленных. Униженный какой-то народ, забитый. Нашим офицерам руки целовали и даже мне, за перевязку.

– Да? И вы сказали – «разогнал»?

– Вот именно, вояки никакие...

– Ну, теперь основные ударные полки Петлюры. Есть и набранные в надднепрянских губерниях, но эти парни легко перекидываются ко красным, а то и к нам. Это настоящие украинцы, не то, что забитые галичане, хоть и среди надднепрянских крестьян есть важное разделение. В одних сёлах, больше на Левобережье, живут потомки вольных казаков, закрепощенных только Екатериной, в других, на Правобережной Украине – крестьяне, попавшие в неволю к панам ещё в незапамятные времена. Первые – бойцы ещё те! Мне один историк в камере рассказывал о донесениях в царскую охранку насчёт крестьянских волнений на Левобережье, когда гавкнулось крепостное право. Мужики требовали настоящей воли, будто бы спрятанной чиновниками от народа. На подавление волнений были отправлены войска, так вот солдаты возвращались после стычек с погнутыми стволами ружей. Это украинские крестьяне грудью шли на штыки и голыми руками ломали ружья! Деды-прадеды моих орлов!

– Лихо! – и Адриан присвистнул.

Лизочек снова засмеялась, захлопала в ладоши. Адриан же поймал себя на беспричинном страхе и решил как-нибудь попозже подумать о возможной причине. Между тем атаман продолжал:

– Этих мужиков столетиями угнетали, вроде как зажимали в тиски, а с революцией в них будто пружина распрямилась. И если бы теоретики украинского национализма оказались бы поталантливее и ловчее...

– Теоретики украинского национализма? О чём это вы, Нестор Иванович?

– Вот-вот! Вы – человек образованный, живёте на Украине, желаете на украинцах зарабатывать, а украинский национализм для вас – звук пустой и даже вроде как неведомый. А меж тем эти господа давно уже проповедуют. Сами при этом часто служили царской России и говорили на русском, да... А у них председателем Центральной Рады

был профессор-историк, Грушевский по фамилии. Историк он, говорят, очень неплохой, да только не научился государством управлять у тех царей и князей, про которых всю жизнь историю сочинял. Другой верховод Центральной Рады, Винниченко – писатель! Петлюра – журналист! И вот – журналист оказывается во главе революционного движения украинцев... А их сорок миллионов, целый народ проснулся от вековой спячки. И наверху – журналист, и он привык писать, чего ему скажут. А Петлюра, он ведь ещё и бездарь как главнокомандующий армией и флотом (каким флотом?!), труслив, непоследователен и соглашатель, не умеет подбирать достойных людей на высокие должности. Про таких бабы говорят «бесхарактерный», вот как бабы говорят... Извините, товарищ докторша, хотел сказать «женщины».

Катишь попробовала улыбнуться. Малышка взглянула на маму недоумённо. Нахмуренный, Адриан спросил осторожно:

– Так вы думаете, Нестор Иванович, что Украина всё-таки отделится? И что русским придётся уходить, как из Королевства Польского? Я, знаете ли, служил ещё до войны в польской Ломже, и я видел, как русское население бежало из Варшавы во время Великого отступления.

– Ну, это же Польша, доктор, – не сразу ответил Махно. – Там свой гонор бывших господ Украины и Литвы. Поляки свою ненависть к россиянам лелеют, как к победителям себя и завоевателям своим. На Украине другое отношение к русским, да и религия одна – православные тоже. Впрочем, я об этом, кажется, уже говорил. Но вот что запомните, доктор. Теперь, когда украинцы попробовали независимость на вкус – хоть такую, куцую и испохабленную всякими атаманами Семесенками, они не останутся прежним быдлом в российском государстве, хоть бы им и ваши коммунисты управляли. Уже понятно, что большевики победят в России, Украину они никому не отдадут, а Крым, вот увидите, ещё завоюют, что бы там ни придумывал генерал Врангель.

– Батьку, а можна я до бесиды вчєных людей знову влізу? Тоби зараз до штабу трєба йихаты, – выдал вдруг громовым шєпотом Тимко.

Махно отмахнулся от него и, невольно скривившись от боли, полез в левый нагрудный карман френча. Хмыкнул и огляделся. Задержал взгляд на часах Катишь.

– Не скажете, товарищ докторша, сколько на ваших? Я свои, оказывается, на квартире оставил.

– Половина второго, Нестор Иванович, – выдавила она из себя, посмотрев.

– Да и в самом деле, пора. А у вас точно ли часы поставлены?

– Вроде бы точно. Вот муж по полуденному колокольному звону ставит...

– Да уж, часики у Катерины поставлены точно, – вмешался Адриан. Ведь уже смекнул, к чему дело идёт, и сообразил, что жена способна сейчас брякнуть о его наградных часах.

– Так не дадите ли мне их с собой на время? – протянул руку Махно. – Я свои часы поставлю и вам верну.

Уставившись на него, как курица на удава, Катишь перевернула часы с цепочкой, чтобы застёжка оказалась спереди, сняла с шеи и положила на небольшую, с обкусанными ногтями руку.

– Пожалуйста, Нестор Иванович.

– Батько не вэрне, – прогудел вдруг Тимко.

Махно, вовсе на рассердившись на телохранителя, улыбнулся одними губами.

– Да ладно тебе. Мы же не бандиты какие-нибудь. Вон доктор, человек умный, меня прекрасно понимает.

– Да, уж, Нестор Иванович. Ведь это вы гонорар взяли, правда?

Махно снова скривил губы, кивнул и обшарил взглядом комнату. Заявил прямо-таки светским тоном:

– Знаете ли, раненому мне всё время лежать приходится. Скучно без чтения. Не донесения же мне перечитывать? Я бы попросил у вас на время эту подшивку «Нивы». Пустой журналчик, а вот нервы, я полагаю, успокаивает. Почитаю и верну.

– Берите, Нестор Иванович – о чём речь, – столь же любезно предложил Адриан, наблюдая, как Тимко выдирает подшивку из ручонков насупленной Лизочка, и прикидывая, а не прикрикнуть ли на девчонку.

– Батько не вэрне, – прогудел снова Тимко. Он уже держал подшивку «Нивы» под мышкой, а другой рукой поддерживал командира. – Мыкыто! Сюды!

Махно поблагодарил, попрощался, при этом пожал руку Адриану. И исчез. Доктор Лаптев вышел на крыльцо, проследил, как удаляется улицей расписная бричка. А вот и бубенцы смолкли. По-видимому, мещанская роскошь выезда понадобилась Махно, чтобы пудрить мозги крестьянскому населению. Обвинять политика такого масштаба в безвкусице было бы нелепо. Адриан осознал, что без толку пялится на клубы пыли, оседающие на пустынной Харьковской, – и вдруг почувствовал, как спадает внутреннее напряжение. Словно объявил некую умственную мобилизацию и вот сейчас дал отбой.

В гостиной Катишь встретила его истерикой. Адриан не стал попрекать её, не стал и объяснять зловещую символику «гонорара наизнанку»: к чему пугать беременную? Лизочек на него тоже дулась: ведь позволил смешному дяде забрать её книжку с картинками. А на душу Адриана легла тревожная тень, и она не рассеялась, когда, уже в

конце тёплого в том году октября махновское войско, подлечившись, укатило на станцию Кабанье и начало погрузку в эшелоны. Ходили слухи, что за помощь против Врангеля красные пообещали Махно два уезда, Старобельский и Беловодский, позволив устроить здесь анархо-коммунистическую республику по своему вкусу. Услышав такое, Адриан только плечами пожал: ведь всем известно, что нет никакого Беловодского уезда, а сам Беловодск входит в Старобельский уезд.

Как бы там ни было, доктор Лаптев вовсе не желал, чтобы его жизнь и благополучие семьи зависели от прихоти Нестора Махно. Он начал собираться в дорогу, как только Катишь разродилась. Старуха-повитуха, рассмотрев мальчика, тут же завопила: «Точь-в-точь папаша – и такой же сурьёзный!». Адриан и сам убедился, что маленький Лаптев выглядит как его уменьшенная копия, только без усов, и втайне ужасно гордился этим сходством.

Парню, здоровому и крепкому, весом почти в шесть фунтов, выбрали простое имя, Николай. Робкая попытка Катишь назвать его в честь деда, Винцентом, была раскритикована Адрианом. Предвидя укрепление демократических порядков и народовластия, он доказал жене, что иностранное имя может осложнить жизнь их сыну.

Как только установился зимний путь, доктор Лаптев нанял в помощь жене горничную, согласную заодно поработать и нянькой, заготовил впрок дров и провизии, а сам сговорил возчика до Сватовой Лучки, откуда уже железной дорогой добрался до Киева. Наслышавшись ужасов о разрухе на «железке», он был готов пуститься в путь и «на буферах». Об этом способе езды по железной дороге, когда бесстрашный путешественник от станции до станции пытается устоять на буферах между вагонами, он слышал ещё до войны. Однако мандат и партбилет помогли ему доехать по-человечески, сначала стиснутым в тамбуре, а к концу перегона и заняв сидячее место.

Засыпанный снегом Киев выглядел на этот раз скорее полумёртвым. Белый пар поднимался над собеседниками и в губернском парткоме, где полусонный с дороги доктор Лаптев становился на учёт. В губернском медико-санитарном отделе он показал мандаты Наркомздрава и отчитался о выполнении поручений. Был принят на ура, получил назначение в Александровскую больницу, заняв вакансию старшего врача в очень вовремя открывшемся венерологическом отделении. И случилось чудо чудное, диво дивное: оказался он владельцем ордера на отдельную служебную квартиру. Трёхкомнатная с кухней, ванной и чуланом, во дворе сарайчик для дров. И место прекрасное: на Фундуклеевской, внизу, ближе к Гоголевской. Новое советское название улицы, «Ленина», тогда ещё не прижилось у киевлян. От прежних хозяев осталась кое-какая мебель, самая необходимая. По-видимому, всё остальное было сожжено или продано

прошлой голодной и холодной зимой. Адриан не стал узнавать у соседей, куда исчез прежний жилец. Ведь вполне возможно, что не расстрелян, а сумел эмигрировать. Или даже живёт теперь в роскошном номере «Метрополя», пока не подберут ему подходящую московскую квартиру. А эта киевская была даже удобнее, чем та, забываемая, от водочного завода на Подоле. Здесь установлен ватерклозет, устроен слив в канализацию, подведена электропроводка и даже сохранилась одна целая и не перегоревшая электрическая лампочка.

Едва осмотревшись и кое-как устроившись, доктор Лаптев поместил объявление в «Пролетарской правде», чтобы предложить застенчивым страдальцам услуги венеролога-частника. Объявление анонимное, указал только адрес «доктора медицины из Швейцарии». Указав часы приёма отдельно для мужчин и для женщин, Адриан пожалел, что служба не позволяет добавить уточнение, улыбнувшееся в воззвании к больным одного из киевских коллег: «Приезжие всегда». К весне двадцать первого года ему удалось заработать и скопить достаточно, чтобы перевезти в Киев семью, а после и вещи из брошенной квартиры Сколимовских.

XX

В условиях тотальной разрухи переселение семейства Лаптевых из уездного Старобельска в губернский Киев оказалось задачей трудной, но выполнимой. За женой и детьми *pater familiae* съездил по железной дороге (до и из Сватовой Лучки извозчиком, разумеется). Управился счастливо: младшее поколение не простудилось и не подхватило никакой заразы, а если Катишь в пути изнервничалась, то это было почти неизбежно. Отпоив жену валерьянкой, он тотчас же выпросил у директора Александровской больницы одну из казённых подвод с кучером, запаса в дорогу сухарями и отправился снова в Старобельск, на сей раз за приданым Катишь.

Возчик, явно придурковатый, оказался, слава богу, молчуном. Посему весь недельный путь в Старобельск Адриан Иванович безмятежно отсыпался на соломе в кузове, а возвращаясь уже пехтурой, рядом с нагруженной подводой налегке вышагивая, имел возможность всласть поразмышлять. Размышления перебивались проездами через сёла, местечки и города, где глаза доктора Лаптева, соскучившиеся среди однообразия озимых полей и лугов лесостепи, жадно вбирали красочный антураж украинского мещанского быта – от чернобровых баб и девок до красот старорежимной архитектуры, в первую очередь церковей – совсем не таких, как на родном Севере, но и не похожих на польские костёлы. Харьков снова поразил его огромностью одноэтажной застройки и,

несмотря на столичный статус и обилие творений советской «монументальной пропаганды», архитектурной серостью и несмываемым колером провинциальности. Славная в русской истории Полтава показалась всего лишь большим селом, а вот Лубны никак не запомнились. Быть может, потому, что на последнем отрезке обратного пути донимала Адриана тревога: слишком гладко проходило путешествие, без неприятностей, а теперь начиналась Киевская губерния, и вот именно пошли уезды, где безнаказанно действовала банда Смехуна, атамана невероятной наглости. В Киеве рассказывали вполголоса, что Смехун бравирует обычаем вешать всех попавших ему в руки коммунистов. Разумеется, Адриан Иванович оставил дома не только партийный билет, но и наградные серебряные часы. И не взял в дорогу браунинг, по доброте душевной предложенный директором больницы, известным терапевтом Брянцевым. В одиночку от банды не отстреляешься, а если заберут старую мебель и кухонную утварь, то и чёрт с ним, с барахлом, новое наживём! Кучер не должен был знать, что старший врач состоит в партии большевиков, а если вдруг и в курсе, то Адриану оставалось только надеяться на его молчание.

Под Борисполем остановил их милицейский патруль, усиленный красноармейским отделением. Командир в кожанке, внешностью типичный армейский унтер, долго, шевеля губами, читал удостоверение личности доктора Лаптева и не пожалел времени, сравнивая чисто выбритого, с аккуратными усиками буржуя на фото с усталым, заросшим полуседой щетиной мужиком в солдатской шинели. Приставать начальник патруля не стал, но вот посередине Красного хутора накрыл путников майский ливень и подмочил мебель, вроде бы и укрытую казённым брезентом, а где не хватило, обмотанную старыми, дырявыми мешками.

И хоть не привычным уже манером, не через вокзал и стильную Безаковскую, въехал тогда в Киев Адриан Иванович, старые стены «матери городов русских», вдруг снова окружившие его, наполнили душу чистой, в чём-то сыновней радостью. Тем более, что буйная майская зелень отвлекала внимание от сбитой штукатурки, отметин от пуль и осколков на фасадах, маскировала отодранные листы кровельного железа, кое-где свисающих с крыш, как ленточки с матросских бескозырок. Подъезжая уже к новой своей квартире, ощутил вдруг Адриан Иванович – у себя, приبلуды, вполне неуместную – гордость киевлянина, поселившегося не где-нибудь на Куренёвке, а в вальяжном и щеголеватом городском центре, в двух шагах от Оперного и Золотых ворот. Хоть и на краю города, это правда, ведь город официально кончался за Евбазом, Триумфальными воротами, которых давно и на свете нет. Зато это самый близкий к центру край города, прихотливо раскинувшегося на древних холмах и засыпанных мусором оврагах.

На нетерпеливый стук в дверь (надо будет починить звонок или поставить новый) отворила Катишь в заляпанном мукой переднике, а из-за неё выскочила и бросилась ему на шею Лизочек. Выяснилось, что маленький Коленька здоров, а как раз перед появлением папаши безмятежно заснул. Вместе с кучером затащили супруги Лаптевы мебель и мешки с кухонной утварью в квартиру, поставили, как пришлось. Рассчитавшись с кучером и отпустив его, Адриан Иванович вдруг обнаружил на тонких губах своей благоверной довольную улыбку. Труда не составило угадать: Катишь радуется возвращению мебели своей семьи, с детства родной и знакомой до последней царапины на лаке фигурной ножки. Что ж, её можно понять. Однако тотчас же запах промокшего и высыхающего старого дерева показался Адриану неприятным, словно пахнуло затхлым из комнаты безнадежно больной тещи или резкой цветочной вонью одеколона расстрелянного Пифы. Свят-свят-свят!

Сбросив пыльную шинель прямо на пол в прихожей, Адриан Иванович вытребовал у Катишь ключ от сарайчика и набрал дров для колонки. Осталось совсем мало дровишек, на двеготовки, не забыть бы сразу же прикупить, то есть тотчас после полочки или первого же поступления от пациента. Наколов щепок прямо на плиточном полу ванной комнаты, подле львиной лапы-подпорки чугунной ванны, он растопил колонку и отправился расставлять по местам мебель. Малышка, подпрыгивая и хлопая в ладоши, не отставала от папы и, высунув язычок, пыталась помогать. Когда мебель худо-бедно была расставлена, а мешки развязаны, чтобы Катишь могла разобраться с посудой, Адриан Иванович заперся, наконец, в ванной. Здесь остро пахивало дымком, но едва ли углекислый газ успел собраться в опасной концентрации. Нежась в горячей воде и задрёмывая от усталости, он попытался собрать и привезти в порядок итоги дорожных размышлений.

Что ж, достигнуто многое. Он сумел отчитаться перед РКП(б), партией, выбранной для себя на фронте, и уладил вопрос о членских взносах. Неуплата могла обернуться большой неприятностью, ведь партия бесстрашных революционеров превратилась в единолично правящую, и страшно подумать, насколько она ещё изменится в будущем, если уже сейчас настолько бюрократилась и бывших товарищей превращает в своих рабов – гладиаторов или гребцов на галерах. Тут Адриан потянул носом, убедился, что запах дыма ослабел, и криво ухмыльнулся. Ну, такие наблюдения лучше оставить при себе. Тем более, что лично ему покамест грех жаловаться. Он ведь и наркому Семашко послал отчёт, когда уже устроился. Нарком не пожалел времени, ответил несколькими строчками. Написал, что успокоился теперь насчёт судьбы Лаптева, и пообещал помощь впредь, если потребуется. А зачем ему теперь помощь внимательного к врачам-коллегам

Николая Александровича? Получил ведь прекрасную работу и завидную отдельную квартиру в городе своей мечты – в добром, солнечном и тёплом красавце Киеве. Вернулся к своей, судьбой определённой ему семье, и все возможности теперь имеет, чтобы обеспечить ей и себе нормальную, сытую жизнь. И не где-нибудь в провинции, а в Киеве, пусть уже и не столице (при украинцах, говорят, несколько игрушечной, ненастоящей), но в огромном древнем городе с театрами и музеями.

Он не мог и не хотел подавлять в себе недовольство своею нынешней специализацией. Недоволен обычный человек Адриан Лаптев, а доктор Лаптев не может себе такое позволить. Для настоящего врача все болезни равны, а если на венерических больных сейчас можно быстрее и легче заработать, чистоплюйство побоку! Теперь, когда в квартире живут дети и Катишь, следует тщательнее продумать вопросы гигиены и не лениться почаще делать дезинфекцию в кабинете. «Et nunc est arbeiten, und arbeiten, und arbeiten!» – подумал он на смеси латыни со своим корявым немецким. И потянулся за обмылком, запасённым для ванны после путешествия.

Однако в последующие дни, недели и месяцы доктору Лаптеву не удалось полностью подчинить свою жизнь службе и частной практике. Среди постоянных трудов выпадали ему замечательные ежедневные прогулки, полчаса утром и полчаса под вечер, когда он пешком отправлялся на службу и возвращался домой. Каждый день можно было выбирать утренний маршрут, в неизбежной спешке, конечно же, выбирать, зато вечерний становился результатом хоть и отрывками мыслей, зато неторопливого обдумывания на всём протяжении присутственных часов. Реальных, то бишь не предполагающих сознательного удлинения дороги, Адриан Иванович насчитывал три. Выбрав первый маршрут, он одолевал подъем по Фундуклеевской (то бишь Ленина, надо привыкать) и, отдуваясь, с удовольствием оглядывал плато, застроенное высокими и красивыми домами. Работая в двух шагах от Липок, доктор Лаптев редко заглядывал на роскошный Печерск. Наверное, именно поэтому ему именно кварталы Фундуклеевской между спуском к Гоголевской и Оперным театром казались наиболее европейскими и изысканными. Солидный и кичливый деловой центр Женевы, вот что они, эти гордые дома, ему напоминали. Нравились и красивые столбы с матовыми белыми шарами электрических фонарей, и бодрый треск подков и кованых колёс по аккуратной брусчатке, и даже грохот и резкие звонки трамваев. Правда, тогда фонари не горели ещё по вечерам, а трамваи ходили так редко и по столь прихотливому графику, что Адриан Иванович так ни разу и не заставил себя подождать железную коробку на остановке. Иное дело, если оказывался рядом, когда электрический монстр вдруг к ней подкатывал. А тогда – почему бы не подъехать до больницы бесплатно?

По современной и стильной Фундуклеевской можно было от Оперного спуститься до самого Крещатика, но на этом отрезке дома поплотнее, чаще попадались одноэтажные, а напротив театра Бергонье, ныне Второго театра Украинской советской республики, так вообще слободка раскинулась, хатки, где студенты по традиции снимают углы. Говорили Адриану Ивановичу, что это последние остатки бывшей Киевской Швейцарии – странное, однако, у людей о Швейцарии представление! И всё-таки он порой спускался там – ради удовольствия пройти хоть квартал Крещатицом, окунуться в разношёрстную толпу, наполняющую главную улицу Киева в любое время дня и ночи. Тут уж приходилось приглядывать за бумажником и часами, что удовольствие от прогулки несколько портило. Как и обилие в толпе размалёванных проституток под вечер, если возвращаться этим маршрутом.

А можно было повернуть направо уже в начале Пироговской и остаться под очарованием западноевропейской застройки ещё на несколько минут. После чего, обогнув желтую громаду бывшего Коммерческого института, оказаться на Бибиковском (теперь Тараса Шевченко) бульваре и прямо напротив университетского Ботанического сада. Тут легче дышалось, тут ослабевала вонь из проездов в дворы жилых домов, откуда мусор не вывозился, видать, со времён окончательного утверждения в городе пролетарской власти. Если же дойти по Фундуклеевской до перекрёстка с Большой Владимирской и свернуть там направо, можно будет насытить свой жадный взор торцом бывшей Ольгинской гимназии, замечательным зданием Педагогического музея с прекрасным резным фризом и проваленным после взрыва в девятнадцатом году куполом. Обогнув здание Первой гимназии, теперь Всенародной библиотеки Украины, Адриан Иванович опять-таки попадал на Бибиковский бульвар. Тут не воняло из дворов, высились только общественные постройки. Бульвар украшали два ряда высоких пирамидальным тополей, а напротив библиотеки зеленел маленький, но густо засаженный деревьями «Университетский сквер». Так что на этом отрезке тоже легко дышалось.

Все три маршрута сливаются на Бессарабке, подле Крытого рынка. Вот он, замок из бетона, стали и стекла! Подходит Адриан – и всё выше он громоздится, этот прощальный подарок лапотной Российской империи от изошрённой технологии лукавого европейского капитализма! Как и грандиозный отель «Пале-Рояль» справа, Крытый рынок казался доктору Лаптеву чужеродным телом в древнем и неуловимо провинциальном Киеве – или доброкачественной опухолью, нахально внедрившейся в кишечник добродушного толстяка. Именно поэтому ему импонировало, что мраморные прилавки внутри рынка оккупировали крикливые киевские перекупки, а снаружи красные

агитаторы усердно украшают его стены аляповатыми изображениями командарма Будённого на коне и с саблей, Троцкого и главного большевика Украины Феликса Кона.

Вот Крытый рынок нависает уже справа. Привычно справившись с часами, доктор Лаптев заканчивал путь до больницы по буржуазной, во всех отношениях пристойной Бассейной, здесь только сельские телеги, забившие площадь, выглядели неким диссонансом и данью простонародному колориту эпохи военного коммунизма. В конце пути избегал он поглядывать направо: большая тёмно-серая коробка городской ночлежки раздражала. Не потому ли, что, как и Крытый рынок, построена на деньги филантропа: только уже не Гинзбурга, а Терещенко? Миновав же ворота Александровской больницы, он непременно переключал свои мысли уже на служебные дела.

Жизнь Адриана Ивановича протекала в трудах, и время, свободное от занятий в больнице, выходные тоже, отнимала частная практика. В этой круговерти пролетело несколько лет. Работал он на износ, и поздно вечером, когда в кабинете записывал для фининспектора частных пациентов и гонорары минувшего дня, не раз предполагал, что будь постарше, засыпал бы, наверное, уронив щёку на пыльное сукно посреди столешницы. Не поднимая головы от своих больных и конспектов (он и лекции начал читать студентам-практикантам), доктор Лаптев как бы сплёл вокруг себя некий кокон и, в нём укрытый, не сразу осознал важность и для себя таких в полный голос обсуждаемых киевлянами общественных пертурбаций, как утверждение НЭПа и введение украинизации.

Но стряслось кое-что в семье, заставившее Адриана Ивановича на время выбраться из своего рабочего кокона. Событие достаточно безобидное, а там как сказать. Пожарник, тот вряд ли назвал бы безобидным. Как-то Адриан Иванович забыл отдать малый долг природе перед сном, и мочевого пузыря безжалостно поднял его ночью. Катишь мирно посапывала. Не желая будить жену, он решил пересечь квартиру впотьмах, тем более, что и ночь выдалась лунной. На пороге гостиной ноздри его почуяли запах разогретой ткани: кто-то посреди ночи гладил раскалённым утюгом, не иначе. И длинная, до полу, скатерть на круглом столе светилась изнутри, как огромный абажур. Что за чудеса!

Онемев от изумления, доктор Лаптев извлёк из-под стола Лизочка в ночной рубашке, а следом горящую керосиновую лампу и книжку в твёрдом переплёте. Еле выдавил:

– Господи, Елизавета! Ты же могла весь дом спалить!

– Н-н-е-е, папа, – захныкала она. – Очень оно мне надо – весь дом палить? А ты меня теперь будешь драть ремнём?

Он снова онемел. Наконец, ответил вопросом на вопрос:

– А разве я тебя когда-нибудь бил ремнём?

– Н-е-е... Алэ ж всех пацанов в классе бьют за шкоды, папа.

– За шкоды? Ладно... А что ты читала?

И поскольку Лизочек по неизвестной причине затруднялась ответить, Адриан Иванович поднял книгу со стола, куда было положил, и раскрыл на титульном листе. Эмиль Золя, «Жерминаль»! Господи мой боже!

– Неужели мама позволила тебе взять эту книгу?

Малышка помотала головой. Это хорошо, что не врёт. Это хорошо, что она ещё до школы выучилась читать, а теперь, в первом классе, пристрастилась к чтению, но... Вот она, обратная сторона медали! Сам Адриан, к стыду своему, этого романа Золя не читал, как и вообще романов Золя, ни одного. Не до чтения ему! Эту же книжку взяла у соседки Катишь, у неё-то свободного времени куда больше. И когда показала жена ему книгу, обрадовался Адриан, что она займётся на досуге чтением. А потом как-то поздним вечером, когда Катишь отправилась перед сном в ванную, Адриан взял с тумбочки лежавший там роман: ему захотелось посмотреть, что именно отметила супруга вырезанными из газеты закладками. Это оказались «сальные места», как называли их солдаты в казарме. Впрочем, скабрзости эти шустрые и озабоченные парни ухитрились найти даже в «Библии». Тем временем Катишь вернулась, он потушил лампу и попытался обдумать ситуацию, но заснул, не додумав. И вот теперь...

– Знаешь ли, Елизавета, – заговорил раздумчиво. – Отныне я разрешаю тебе читать по ночам в детской. Только когда Коленька заснёт, и сначала убедись, что свет ему не мешает. Так... Книжку эту я забираю, она только для взрослых. Да и соседкина она. Тёти Розы.

– Ты меня обижаешь, папа, – надулась Лизочек.

– Ну, обижаю... Если есть взрослые и есть дети, ведь это правильно, что есть взрослые книжки и детские книжки. Согласна? Вот и чудненько. В воскресенье, если не будет дождя, я отменяю два часа утреннего приёма больных, и мы отправляемся на базар покупать тебе детские книжки. Есть возражения?

Возражений не было. Ему удалось утихомирить Лизочка, и они, ухитрившись не разбудить Катишь и маленького, чинно-благородно, в очередь, посетили уборную, помыли руки и разошлись.

В ближайшее воскресенье не дождало, и после завтрака доктор Лаптев повесил на ручку двери квартиры картонную табличку на верёвочке: «Сегодня приём с 11 часов». При этом его не покидало ощущение, что получил долгожданное увольнение из казармы. Он взял за руку принаряженную и серьёзную Лизочка, обернулся к Катишь, чтобы

попрощаться – и удивился странному выражению жениного лица. Приревновала к дочери, что ли? Они спустились по лестнице, прошли через отдающий аммиаком подъезд. Два шага – и тротуар, замощенный каменными плитами. Тут Адриан Иванович сплеховал и повернул было по привычке направо, как привык ходить на службу. Лизочек тотчас же потянула его в правильном направлении.

– Ты что ж это, папа, заблудился?

– Да уж, извини...

Теперь перед его глазами поднималась к перекрёстку с Бульварно-Кудрявской зелёная и уютная Гоголевская. Киевские застройщики любили называть фактические продолжения уже существовавших улиц по-новому, и Гоголевская в другом городе именовалось бы Фундуклеевской. Они повернули налево и оказались на улице Гершуни, и в конце её слева темнел уже Евбаз. Сразу стал слышен его гул, издавна вовсе не угрожающий. Адриан подумал: если бы не безотчётное желание держаться от базара подальше, этот путь мог бы стать его четвёртым утренним маршрутом: на два десятка саженей длиннее, зато сразу выходил бы к Бибииковскому бульвару, да и подъём по бульвару не так крут, как от дома по Фундуклеевской... Это о чём же она?

– Повтори, пожалуйста, Елизавета, я не расслышал...

– Я спрашивала, а правда, что в Киеве цыгане ловят маленьких детей, убивают и делают из них мыло? Если дети бегают по улицам одни.

– Не знаю. Но что маленьким детям опасно слоняться на улице без взрослых, это правда. Здесь ведь тебе не Гмыровка. Там разве что бугая надо было сторониться или бодливой козы, а тут людей. Не обязательно цыган. Но разве ты, Елизавета, бегаешь по улицам без присмотра?

– Да нет, папа, я с мамочкой или с Параской, – пробурчала она с явным неудовольствием. Адриан пожал плечами.

Прискорбный недостаток мыла в стране победившего пролетариата грубо напомнил о себе, как только подошли к базару поближе. Из букета мужицких запахов выбивались манящие ароматы съестного: тогдашний Евбаз не соответствовал своему официальному предназначению как рынка носильных вещей, здесь торговали всем на свете. Обходя кучки свежего конского навоза, рундуки и прилавки с ненужным им сейчас товаром, папа с дочкой проникли в ряды собственно толчка, где носильные вещи продавцы держали на руках, а книжки можно было порой найти среди прочей мелочёвки, выложенной прямо на земле. Им повезло: у хмурой старухи в чёрной шляпке с чёрными же суконными вишенками рядом с остатками чайного сервиза притулилась стопка книг. Здесь нашёлся напечатанный крупными буквами, стало быть, для детей «Саардамский

плотник» некоего Фурмана, а ещё из стопки Адриан Иванович выудил приключенческую книжку знаменитого Майн Рида «Всадник без головы». Про удивительного и страшного всадника сам он не читал, но о приключениях в книжке слышал, что завлекательны. И хоть напечатаны обычным шрифтом, подойдут: уж если Лизочек одолевала умный и революционный «Жерминаль», приключения тем более осилит.

Обе книжки заботливый отец купил, не торгуясь. Пока не выбрались с толчка, доверил нести их довольной Лизочку, а сам незаметно придерживал бумажник: на Евбазе карманники шустрые. И ещё огляделся. Удивило, что крестьянский и, мягко говоря, демократический Евбаз окружают роскошные и даже щеголеватые многоэтажки. Рассказывали ему, что так же обстоят дела в Москве, вокруг знаменитой клоаки Сухарёвки...

– Пап, а, пап? А зачем старенькая бабушка в шляпке продает свои чашки? Из чего она, бедненькая, теперь сама пить будет?

– Найдётся у неё какая-нибудь кружка, Елизавета, – не сразу ответил Адриан Иванович. – На те два миллиона, что выручила за книжки, купит себе хлеба. Сейчас не о том люди думают, из чего бы красиво чаю попить. Ищут, чего бы поесть. Голод в стране, будто сама не знаешь.

– Да знаю я, папа! Противные им-пи... им-пери-алисты кистлявой рукой голода намагаются задушить государство рабочих и селян. Вот только Марына Павливно говорила, что голод в Поволжье.

– Марина Павловна? Это ваша учительница?

– Ну, папа, иногда ты меня удивляешь, – чинно заметила Лизочек. – Ну, конечно же, учительница.

– На Украине голод тоже. Наша семья не голодает только потому, что я работаю с утра до вечера. И потому, что мне прилично платят на службе, а это потому, что я получил хорошее образование. И я лечу людей. И я каждый месяц даю деньги в помощь голодающим. Комитету Помгола, слыхала о таком?

Она кивнула. Помолчала важно и заметила:

– Я, папочка, буду прилежно учиться и тоже получу хорошее образование. Тогда я тоже буду зарабатывать много миллионов, а тебе, папочка, не надо будет работать с утра до вечера.

– Вот спасибо тебе, Елизавета.

Тут пришло в голову Адриану Ивановичу, что жизнь вокруг изменяется слишком быстро и непредсказуемо. И только вот именно ребёнок, ученица-первоклашка, может решиться так далеко заглянуть в будущее. В любом случае, когда Лизочек выучится и

получит высшее образование, ему не стукнет и полтинника. Рановато будет ей брать папашу на буксир! Хотя...

Они уже поднимались по лестнице, и доктор Лаптев отбросил зряшные размышления и подобрался: под дверью квартиры переминался с ноги на ногу хорошо одетый господин лет сорока. С весьма типичным выражением лица, весьма.

Следующая возможность вернуться к своим личным мыслям появилась у Адриана Ивановича только после торопливого и скудного обеда. Домашний обед был столь же скуден, как и казённый в Александровской больнице, а безрукая во всех домашних занятиях Катишь не заботилась о том, чтобы сделать его хоть немножко да повкуснее. Уж коли не заявился пациент сразу после обеда, можно было засесть за конспекты для очередной лекции. Однако не сразу сосредоточился доктор Лаптев на коротком и ярком описании твёрдого шанкра, позволил сначала себе повитать в эмпириях.

То, что Лизочек, оказывается, вплетает в свою речь малороссийские или, как теперь принято говорить, украинские выражения, заставило задуматься о том, в какую, собственно, школу она ходит, в русскую или в украинскую. Он работал первого сентября, и Лизочка отводила в школу одна мать. Он знал только о школе, что эта ближе всех, сразу за углом. А вот на каком языке ведётся преподавание?

Не поленился Адриан Иванович, пошёл спросить у дочери. Лизочек, явно подражая матери, валялась на застеленной кровати, глаз не отрывая от «Всадника без головы». Буркнула недовольно:

– Ясна рич, що українською мовою. Ты, папочка, иногда просто удивляешь меня своей недогадливостью.

Он хмыкнул и вернулся в кабинет. Итак, Катишь, не мудрствуя лукаво, отвела Лизочка в ближайшую школу, а та оказалась украинской. Да, ты, доктор Лаптев, коренной русак, во всяком случае, воспитан в кондовой русской крестьянской семье, а в новой семье, тобой созданной, говорят на русском. Но ведь ты живёшь в Украинской советской республике, а Киев, в общем-то русскоязычный город, окружают украинские сёла и местечки. Любопытно выходит: не желая оказаться в сомнительной украинской республике под началом Нестора Махно, переехал в Киев, а здесь ты в настоящей большой украинской республике. Тоже пока условно украинской, а там бог его знает, а точнее, так Ленин с Троцким. Как же повести себя? А вот как, на первый случай: сохраняя уважение к украинской культуре, покамест слабой и недостаточно развитой, не забывать и о своих правах в национальном вопросе. То есть о праве решать самому, на каком языке говорить, на каком языке газеты читать и на каком языке должны учиться дети.

Следовательно, надо перевести дочь в русскую школу, пока есть ещё время. Начало августа на дворе.

Адриан Иванович навёл справки у коллег-врачей на работе. Оказалось, что ближайшая русская школа не так далеко от квартиры, это мужская гимназия Валькера на Тимофеевской. Мужская? Ну, теперь же все школы со смешанным обучением... Говорили ему, что репутация у школы была не очень: последнее-де пристанище для зlostных лентяев и хулиганов, выставленных из других гимназий Киева. Однако он рассудил, что едва ли это касается новой, советской уже школы, посему в тот же день на обратном пути завернул на Тимофеевскую. Не очень авантажное трехэтажное здание он нашёл в глубине двора, а на двери объявление, что директор принимает кандидатов в первоклассники каждый рабочий день и в какое время. Заодно прочитал и надпись мелом на дощатой двери в подвал, запертой на замок: «Здесь был Сверчок и Луцик». Вспомнилось ему: «Рекъ Боян и Ходына». Это из «Слова о полку Игореве», частица гимназического багажа знаний, теперь вроде и не нужного... Хотя, как знать.

Следующим утром, отпросившись со службы, Адриан Иванович вместе с насуспенной Лизочком отсидел недолгую очередь у директорского кабинета. А когда вышла в коридор мешанистая баба с босым по летнему времени мальчиком в косоворотке, проникли и они в школьное святая святых.

Из-за стола навстречу им приподнялась энергичная, коротко остриженная брюнетка лет сорока. Была она в гимнастёрке, на левом рукаве имела серебристый знак ранения.

– Я директор школы Софья Николаевна Огуреева, – представилась она. – А вы не поздно ли свою девочку привели, гражданин?

Адриан Иванович представился тоже и изложил своё дело. А Лизочек бойко прочитала из «Букваря» какую-то благоглупость и в ответ на предложение рассказать какой-нибудь стишок продекламировала не без пафоса «Рэвэ та стогнэ Днипр широкий...».

– «О ту пору», ага... «О ту пору» я на фронтах гражданской войны без сна, без отдыха по бывшей империи моталась... А вы что тогда подельвали, гражданин доктор?

Он не удержался и хмыкнул. Видно, очень уж по-буржуйски теперь выглядит, да и Лизочек, на намётанный взгляд директорши, чересчур упитанна по нынешним временам. Он рассказал о себе кратко, заметив при этом, что дочь слушает его очень внимательно.

– Так вы Зимний брали? Вот это здорово...

– Скорее присутствовал как военный медик. И когда товарищи Антонов и Чудновский арестовывали Временное правительство, стоял рядом с револьвером в руке.

– Гришу Чудновского и я знала... Погиб при отступлении из Харькова в восемнадцатом, – вздохнула директорша. – Так и не известно, от чьей пули погиб. То ли от германской, то ли от украинской... Ну, да. Теперь говорят по-другому: «петлюровской». Они его здесь, в Киеве, чуть не повесили: покойный Муравьёв спас. Но, как видите, ненадолго.

– Жаль, он такой весёлый, бесстрашный был юноша... Так вы берёте мою Елизавету к себе во второй класс?

– Да, конечно, товарищ Лаптев. Напишите только прямо сейчас заявление. И очень вас прошу, расскажите нашими школьникам в праздник Октября о штурме Зимнего.

– Мне, знаете, как-то неловко, Софья Николаевна. Но если нужно, расскажу.

– Спасибо, товарищ Лаптев, – и директорша очаровательно улыбнулась. – Так пишите заявление. И приводите свою Лизу первого сентября, на восемь, во двор школы.

Отведя непривычно молчаливую Лизочка домой, Адриан Иванович снова, по пути в больницу, поднялся Фундуклеевской. На первом перекрёстке бросил взгляд в сторону теперь как бы ожившей для него Тимофеевской. Странно, что в его годы уже встал вопрос о мемуарах, пусть и устных. Октябрьский переворот – событие, конечно же, историческое, вроде взятия Бастилии. И, скорее всего, окутается легендами, как Эльбрус облаками. А когда версия партийных публицистов созреет и обронзовеет, не станут ли опасны правдивые свидетели? Он и не знал, что доживёт до времён, когда история ответит на этот его шутовское предположение.

Как только собрал на путешествие толику денег, отправился Адриан Иванович на родину решать главный вопрос своей личной истории, загадку рождения своего.

XXI

– Эй ты, буржуй, чего насел русалочкой?

Адриан Иванович встрепнулся. Шум прибоя мешал расслышать. К тому же здесь, на безлюдном берегу Белого моря, в пяти верстах от уездного городка Онега, почему-то не ожидал он встретить земляка-пролетария, знакомого со славной копенгагенской скульптурой. Да и справедлива ли насмешка, прозвучавшая в вопросе? Да, уселся он, солидный мужик, на прибрежную скалу, желая с удобством поглазеть на морские волны, но ведь вовсе не в той позе, что бронзовая девица с рыбьими хвостами вместо ступней.

Прищурился Адриан Иванович: судя по морской фуражке с поломанным козырьком и пёстрому, жёлто-чёрному шарфу, его окликнул моряк, матрос торгового флота. Разговорчивость же, равно как и выражение красной физиономии, объяснялась

фармакологически. Экс-мореман взирал на доктора Лаптева с развесёлым изумлением, и его бравурно-задорное восприятие жизни подстёгивалось изрядной дозой выпитого самогона. Но пора было отвечать, и Адриан Иванович решил пустить в ход местный говорок, от которого вообще-то почти удалось избавиться. Сильно напирая на «о», а прочие гласные звуки безбожно растягивая, удивился и он, в свою очередь:

– Не знал я, паря, что тут на скале сидеть не дозволяется... А ты что же, в Копенгагене побывал?

– Здешний ты, значит... Слышь, рабочему человеку рассиживать теперь везде вольно, а вот насчёт буржуя не уверен я. Если ты здешний, зачем котелок-то нацепил? А куда я ходил, каким бортом и в какие заморские земли, к делу то не относится.

– Что ж относится, паря? – процедил Адриан Иванович сквозь зубы. Если и испытал он удовольствие от созерцания морского пейзажа, оно было испорчено.

– Да прилив относится, недотёпа ты! – прикрикнул начальственно туземец. – Вода уже поднимается... Или желательно тебе ноги промочить?

Адриан Иванович присвистнул, поднялся с твёрдого камня, побряхтывая не по возрасту. Прикинул путь до берега по не залитым ещё водой верхушкам камней и, помогая себе тросточкой, скоренько покинул скалу. В это путешествие отправился он в надёжных яловых сапогах, вовремя их смазывал, а в голенища сейчас так уж точно не набрал. Нечаянному собеседнику пояснил:

– Я родом из Усть-Вожи, что на Малой Онеге, если знаешь. До нас морской прилив не доходит.

– Знаю, что за медвежий угол твоя Усть-Вожа. А ты, лесной мужик, как забагател? Ишь, пальтецо у тебя какое ловкое... Гамбургского пошива, никак?

– Да заработал, как же ещё? Думаешь, только ты, паря, за кордоном побывал?

– Банку не желаешь опрокинуть? Наливают-то недалече, за углом.

За углом? Адриан Иванович хмыкнул. Здесь, на тупой оконечности мыса, всего-то и чернело две избы.

– Мне бы успеть на пароход. Пойду уже, пожалуй.

– Поспеешь и на пароход, – пожал плечами приставала. – И на пристани успеешь ещё соскучиться. Будто сам не видишь, что на «Северной звезде» паров ещё не разводили.

Адриан Иванович поджал губы и кивнул в знак согласия. Приподнял котелок над головой, развернулся и направился в город. Торопиться, страх свой являя оказавшемуся за спиной, не следовало. Доставать серебряные часы тоже поостерёгся, но и без них был согласен с бывшим моряком, что времени более чем достаточно. У него не меньше трёх часов, чтобы одолеть пешком пять вёрст и забрать саквояж из гостиницы в двух шагах от

пароходной пристани. Пьяный не увязался за ним, появилась возможность спокойно подумать о своём.

Получалось, что поездка Адриана Ивановича почти не дала результатов. Напрасно проделал он небезопасное по нынешним бандитским временам путешествие от Киева до Усть-Вожи, по прямой тысячу верст, не меньше. Предстояло ещё, впрочем, вернуться теперь домой, к семье. Но это будет уже совсем другой коленикор, простая доставка некоего тела (живого, слава богу) из пункта «А» в пункт «Б», как в гимназической задаче. Потому что до родины своей, дремучей деревушки Усть-Вожи, он добирался, лелея неясные надежды и даже в некоем приятном предвкушении. Адриан Иванович надеялся разузнать о своих настоящих родителях, чтобы при удаче наладить связь с кровными родственниками. Ведь он подкидыш, взятый в большую крестьянскую семью названным отцом, уже покойным, как выяснилось, Иваном Созонтовичем Лаптевым.

Если приёмные родители и помалкивали о его происхождении, то их собственные дети быстро просветили мальчугана. Сколько же их было, своих? Адя считался по старшинству четвертым, потом родились Петруха и Сенька, а ещё позднее сестрёнка, та долго не прожила. Рос Адя пареньком рассудительным, старательным, всякое деревенское грошовое знание на лету ловил – но при том оставался себе на уме. Последнее качество пришлось не по душе священнику Климентовской церкви отцу Павлину. Наскоро обучая Адюку чтению, письму и счёту, поп в глаза ругал мальчика непонятно, а потому и вдвойне обидно – «паршивой овцой, что всё в лес смотрит». Впоследствии именно влиянию батьки Павлина приписывал Адриан Иванович упорное нежелание приёмного отца отдать его в одну из школ уездного городка Онеги. Скорее всего, он вешал теперь на священника всех собак, часть вины за свои злоключения переносил на него с приёмного отца Ивана Созонтовича, ведь батю он был искренне предан. Можно сказать, что и любил его. По-своему, да.

Адриан Иванович по-армейски чётко приставил ногу, застыл на пустом просёлке и, не видя, уставился на серые воды Онеги, уже не отличимые здесь от свинцовых Белого моря. Он вдруг осознал, что нынешний его возраст, благополучный тридцатник, и обжитый уже внутренне душевный комфорт, вырванный у судьбы вместе со званием доктора медицины Базельского университета, сейчас мешают ему. Что едва ли уже способен без искажений воспроизвести сквозь даль времён своё ребячье восприятие мира. Вот вспоминает себя в десять лет от роду неким гомункулусом, живой машиной, созданной для поглощения знаний, однако мучительно буксующей в преисполненном невежества глухом северном селе – а так ли оно было на самом деле? Вон писал Пушкин о человеке «с своим озлобленным умом, кипящем в действии пустом». Но как бы сказал он

об уме, кипящем в условиях умственной пустоты? Всё услышанное мгновенно сжигалось в топке, а в первую очередь былины и сказки. В былинах князь Владимир Красное Солнышко правил в Киеве, так что недоумевал Адя, зачем терпит это царствующий государь-император Николай Александрович. В сказках славного сказочника деда Гаврилы перед ним открывались два мира, волшебный, для малых детей больше, и завораживающего своим многолюдством и каменными палатами Петербурга, где дед Гаврила сорок лет служил дворником. Но куда более горячий и энергетический материал давали книжки, в жадные руки мальчика они попадали самыми разными путями. Затрепанная лубочная «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего супруга», завалилась в сундуке у соседа, «Катехизис» удалось выпросить у отца Павлина, а рукописная «Четья-Минея» за июнь месяц, беспоповский кладезь премудрости, найдена на чердаке заброшенной охотничьей избышки.

Однако настоящее украшение книжной полочки Ади составляли училищные учебники арифметики, русской и латинской грамматики, а также французского языка. Учебники эти имели происхождение скорее горестное. Когда взято было Адю на семейную подработку, молевой сплав леса по Малой Онеге в Онегу, а там и в город на лесопилку, попробовал он самостоятельно устроиться в тамошнюю школу, Онежское двухклассное училище. Обучение бесплатное, но надо ведь где-то жить и питаться. Один из учителей, суровый старик, без разговоров велел ему возвращаться в Усть-Вожу. Второй, помоложе, Василий Петрович, посочувствовал пареньку и посоветовал обратиться к местному меценату, владельцу лесопилок и пристани. Как ни странно, богатый купец принял Адю в своем рабочем кабинете. Пахло у Севастьянова совсем не по-мужски, но оказался он вполне деловым человеком. Прямо при мальчишке навёл у приказчиков справки о приёмном отце Ади, а затем не поленился на пальцах объяснить мальцу, что его кормилец имеет полную возможность платить за квартиру и стол сына во время обучения в Онеге. От Ивана Лаптева всего-то и требуется сократить обычный запой после окончания сплава с полутора недель до трёх деньков, как у добрых людей водится.

Утерев тыльной стороной ладони скупые мужские слёзы, Адя снова обратился за советом к Василию Петровичу. Добрый учитель не мог взять его к себе, поскольку у самого семья большая, сидят на головах друг у друга в тесной казённой квартирке. Повздыхав сочувственно, Василий Петрович под большим секретом и клятвой молчания выдал учебники. Предполагалось, что они будут списаны в конце учебного года как пришедшие в полнейшую негодность. Уже осведомленный о славном жизненном пути такого же помора Михайлы Ломоносова, окрылённый Адя назвал эти книжки «воротами учёности» своей и вызубрил наизусть.

Однако время шло, и жажда знаний ослабевала, как слабеет чувство голода, если вместо настоящего обеда выпить в полдень пару кружек клюквенного киселя. Адриан Иванович усматривает тут и два важных фактора, один внутренний, а второй внешний. Первый своё выражение нашёл в усиках, зачерневших над верхней губой вытянувшегося вверх Ади, в прорезавшемся у него весьма неплохом баритоне. Принялся он тогда не без успеха у девок распевать модные песенки о том, как «отец сыну не поверил, что на свете есть любовь», а также про столь же несчастливых в любви рыбака и жену охотника. Начал мечтать о гитаре с шёлковой лентой и, пыльные свои чувства скрывая, вторился в ту самую Фёклу Ефимову – вот любопытно, с чем бы он сравнил теперь её фигуру? Стишки начал пописывать! Это с одной стороны. Но одновременно и беспоповский начётник старик Илья Елеферьевич, а он давно положил подслеповатый глаз свой на неглупого юношу из церковных, заманил-таки к себе Адю обширным собранием рукописных и старопечатных книг. И не батьке Павлину было бороться за православную душу Ади, он мог только слюною беспомощно брызгать. А ведь ещё владел незабвенный хитрован Илья Елеферьевич удивительными знаниями о лесных лечебных травах и кустарниках, и были они для юноши завлекательны не менее, чем заветная полка со старинными книгами. В деревянных переплётах, обтянутых потрескавшейся старой кожей, с потемневшими медными жуковинами, накладками и застёжками, книги на полке лежали, а не стояли, как в домашней библиотечке онежского учителя Василия Петровича. Струился от них лёгкий запах разложения органики, казавшийся подростку запахом древней премудрости.

И вот уже светила заматеревшему несколько Аде женитьба на невесте-перестарке из богатой старообрядческой семьи, а там и карьера наставника и начётчика, объясняющего единоверцам, в чём состоит адская опасность чая и почему грех пользоваться бесплатным кипятком на станциях бесовской железки. Да только сделала судьба нечаянный поворот. Исполнилось Аде двадцать лет, и осенью (какого ж это года? Да девятьсот одиннадцатого, какого ж ещё...) получил он повестку, приказывающую явиться на призывной пункт в Онеге. Предстояло пройти жеребьёвку. Не имел парень никаких прав на отсрочку или освобождение от действительной военной службы, и к тому же не повезло: вытянул несчастливо короткий жребий («16») и загремел в пехоту. Вынь да положь царю и отечеству четыре года молодой жизни! Правда, закон следующего года скостил срок действительной службы в пехоте до трёх лет, но никто тогда не знал, что изменения в призывных законах вскоре потеряют всякое значение. Да и призыв в царскую армию стал для деревенского увальня только началом крутого поворота в его жизни. Однако он, тогдашний Адя, и представить себе не мог, как обернётся его судьба, когда, изо всех сил сдерживая слёзы, укладывал в котомку вместе с застиранным бельишком

«врата учености» своей – и к ним же прощальный подарок Ильи Елеферьевича, собственноручно переписанный стариком с древней рукописи таинственный «Травник».

Опомнился Адриан Иванович, покрутил головой и снова зашагал по просёлку. Бедные двухэтажки Соборного проспекта уже маячили на горизонте. Он решил не вспоминать сегодня второго своего охлаждения к науке: саднило ведь до сих пор. Вместо этого позволил себе обдумать результаты фактически уже завершившейся поездки на родину – как будто для этого не нашёл бы времени, возвращаясь кружным путём в Киев!

Итак, полный крах всех надежд. Не то, чтобы совсем никаких сведений о родителях не удалось ему добыть, узнал-таки кое-что, но эти крохи только раззадоривали его интерес, вполне законный, конечно, однако в чём-то, следует признаться, и болезненный. И зачем самого себя обманывать, говоря о родителях? Ведь мать его, настоящая родительница, была, скорее всего, незамужней, а сам он изначально незаконнорожденным. Впрочем, виноваты перед ним и мать, и отец: оба трусливо отказались воспитывать и бессовестное безразличие проявили к судьбе своего ребёнка. До поездки Адриан Иванович не знал почти ничего об обстоятельствах своего появления в семье бати, поэтому очень надеялся на расспросы в Усть-Воже: полста изб всего, а значит, если в год его рождения в деревне жили ссыльные, будет откуда разматывать клубок. Приёмного отца он до армии расспрашивать стеснялся, а когда разок осмелился, нарвался на такую отповедь, что сам был не рад. Не то, чтобы согласился с Иваном Созонтовичем и почувствовал себя неблагодарным подонком, но очень уж ему стало неловко. С приёмной матерью ему повезло больше. Вообще-то Олимпиада Ефимовна – женщина забитая, но как-то в весёлую минуту, возвратившись на праздник из гостей, разговорилась. После выпитого с бабами позволила себе распустить язык, и тогда Адя узнал, что был найден в кружевных пелёнках с вышитыми в уголках «буквами». Вензель, значит, имелся на пелёнках. Теперь же он рассчитывал поговорить с приёмным отцом как взрослый мужчина и выпрести из него такие подробности, чтобы помогли выйти на настоящих родителей.

Увы, оказалось, что Иван Созонтович давно на кладбище. Пытался помешать увести корову то ли солдатам-белякам, то ли просто бандитам, не позаботившимся спороть погоны, вот и получил пулю в упрямую голову. Мать оплакивала и двух средних братьев: Павел был мобилизован и уведён белыми, да так и не объявился, Дорофей безвестно сгинул в красных партизанах, а в лес ушёл, чтобы отомстить за бату.

Олимпиада Ефимовна разослала сыновей Созонта, старшего брата, в лес за ним и к младшим его братьям: те обретались в усадьбах тестей, «в прыймах», как говорят на Украине. Посмотрел Адриан Иванович вслед последнему племяннику, сверкающему

красными пятками на безрадостной деревенской улице, а уж его потянула за рукав приёмная мать. Глаза мать-старушка имела на мокром месте. Показав же на недалнем погосте крест, под коим покоился Иван Созонтович, принялась причитать. Адриан Иванович отвык от северной причеты, настоящего воя, да и в детстве не часто доводилось её слышать. Посему чувствовал он себя перед могилой бати Ивана весьма неуютно, а настоящее горе испытал уже на обратном пути в Киев, проснувшись в слезах ночью в паровой каюте.

Олимпиада Ефимовна плакала, накрывая на стол в мужской половине избы, плаксиво отвечала на приветствия сыновей, живших отдельно, грустно здоровалась с их жёнами и продолжала рюмсать. Адриан Иванович обнимался с названными братьями, целовал ручки у снох, однако расходовал галантные жесты впустую, не уделив принарядившимся молодухам никакого больше внимания. Мать тем временем принялась причитать по Павлу и Дорофею. Адриан Иванович нахмурился, сообразив, что Павел вполне может оказаться в белой эмиграции, где-нибудь в Галлиполи. Плакивать живого грех, но не ему упрекать мать. На столе красовалась уже четверть мутного самогона и щедрая на полезные вещества летняя закуска. Он достал из саквояжа бутылку казёнки, не для такого случая припасённую, но как было не помянуть батю и братьев? За столом заметил, что Созонт, старший братан, вздохнул с облегчением и перестал прятать глаза, как только он чётко объявил, что на свою долю наследства после бати не претендует. После первой стопки попросил самого младшего из братьев (здоровый мужик из Сеньки успел вымахать!) принести свой вещевой мешок из сеней и раздал подарки, наскоро перераспределив. Дорогую трубку с кисетом, полным душистого грузинского табака, получил теперь Созонт (это в добавку к отрезу шевиота на костюм), братья Пётр и Сенька – по два отреза сатина на косоворотки, матери привёз ситчику на платье. Здорово постаревшая Олимпиада Ефимовна после третьей стопки сама принялась рассказывать о том, как покойный её муж спьяну подобрал подкидыша.

Адриан Иванович наострил уши. Вообще не любитель спиртного, а тем более самогона, вторую и третью стопки он только пригубливал. Братья давно уже долдонили о своём, их жены, раскрасневшись, перебивали косточки некоей местной великовозрастной Мессалине, поэтому кое-что из сказанного Олимпиадой Ефимовной приходилось переспрашивать. В целом же складывалась картина, разочаровавшая новоявленного семейного историка. Оказалось, что подброшен он был на порог трактира «Поморский» в Онеге, где догуливал после завершения сплавного сезона Иван Созонтович; по отчеству, впрочем, никто, кроме жены, его тогда не называл. В те годы запой продолжался у Ивана ещё по-божески, несколько дней, однако именно той весной он не возвратился в Усть-

Вожу и через неделю после того, как съехались участвовавшие в сплаве односельчане. Беременная вот им, Петрухой, мать оставила маленьких Созю, Павлика и Дороню на попечение соседки и с оказией (односельчанин ехал в город по своим делам) решила на путешествие в уездный город.

Выехали они поздно, и в Онегу въезжали уже в сумерках. Соседу нужно было на Хохлинку, он высадил Олимпиаду у поворота на Соборный проспект. Вот и «Поморский». Помолившись заповеде и положив на себя крестное знамение, еле справилась Олимпиада с разбухшей после дождей дверью заведения. И тотчас же увидела своего благоверного, почти трезвого с виду, непривычно бледного только – и с неизвестным младенцем на коленях. Первым делом согрешила она помышлением, вообразив в бессильной злобе, что это внебрачный выблядок её мужа, но вскоре от питухов, а в первую очередь от разбитного полового, самого трезвого из присутствующих, вызнала действительные обстоятельства происшествия, случившего всего несколькими минутами ранее. А именно: музыка безмолвствовала, пока упомянутый половой заводил граммофон, и в трактирном шуме прорезался младенческий крик. Мужики пошли разбираться, первым вышел Иван. Обнаружив на пороге одинокого младенца, Иван взял его на руки – и маленький человечек тут же замолчал и принялся разумненько этак осматриваться.

– Умный мышонок! – и Петруха сам первый захохотал, ему – визгливо – вторила жена.

– Да уж поумнее тебя, Петя! – прикрикнула на него старушка. – Ты-то мне после сплава ситчику ни разу не привёз. Не додумался родную-то мать порадовать.

А Адриан Иванович удивился, как этакий громила помещался в животе у щупленькой Олимпиады Ефимовны. Успел ещё подумать, что родные бревенчатые стены возрождают в нём донаучное восприятие действительности, и мягко попросил приёмную мать продолжать.

– Да уж, почему же не договорить? Всё скажу, как было, – согласилась Олимпиада Ефимовна. – Некого мне теперь бояться. Помер мой Иван Созонтыч, царствие ему небесное.

Все перекрестились – и Адриан Иванович за родичами вслед, хоть и рука с непривычки еле поднялась. А Олимпиада Ефимовна призналась, что это теперь Адя для неё родной и любимый, не хуже родных сыновей, а тогда, в кабаке, не то чтобы сам он не приглянулся, нет, младенца и в голову вовсе не брала, а вот непреклонное желание благоверного усыновить подкидыша ей крепко не по нраву пришлось. Тем более что про это мужнино решение наперебой сообщали ей чужие, пьяные мужики, а Иван Созонтович упрямо молчал. Однако с законным мужем не поспоришь.

Тут Адриан Иванович ахнул. Он вдруг понял, каким манером оказался в этой крестьянской семье, а не в казённом приюте, где шансы выжить были бы неизмеримо меньшими. Ведь спасшее его в младенчестве обыкновение немногословного бати он хорошо успел изучить! Да и все в деревне знали, что под конец запоя Иваном Созонтовичем всегда овладевает чувство глубокого и в похмелье тягостного раскаяния, и в таком состоянии он перед возвращением в деревню обязательно совершает странные, а с точки зрения членов семьи ненужные и разорительные поступки. То несколько дней поил и кормил в кабаке слепого калику перехожего, а его мальчишку-поводыря потчевал баранками, а то отдал два целковых явному жулику – бродячему монаху, сшибавшему в Онеге пятаки на построение церкви никому не известного святого. Сам Адриан Иванович скуповат от природы, и жизнь отнюдь не таким манером с ним обходилась, чтобы это качество души в нём пригасить. Понятно, что прежде и он, со всеми домашними единодушно, возмущался в таких случаях несообразной и вредной для семейного благополучия щедростью отца, но вот каким боком теперь дело обернулось...

И было что-то ещё сказано матерью важное, но ускользало из памяти, отуманенной стопкой казёнки и последующим самогоном – хоть и пригубливал только. Потом выплыло, конечно. Если Олимпиада Ефимовна заявила в «Поморский» сразу же после находки подкидыша, по дороге она могла встретить его настоящую мать, от кабака уходящую. Принялся он выспрашивать, но теперь, через тридцать с лишним лет, старушка не смогла ничего толком вспомнить. Однако, желая угодить потрафившему ей Аде, вроде припомнила, будто буквально столкнулась с какой-то молодкой в городском платье и что каблучки той уж чересчур часто стучали по доскам пешеходной дорожки. И будто бы подумала тогда Олимпиада, что встреченная барышня от уличного озорника убегает, да побоялась, не попадёт ли и сама в историю. Вот это уж слишком походило на явление ложной памяти, и доктор Лаптев даже приуныл.

Мать прислонилась к стеночке и вроде задремала. Братья допивали самогон, уже не предлагая Адриану Ивановичу, стучали кулаками по столу, крыли затейливым северным матом местный комбед, снохи шушукались, украдкой разглядывая вдруг объявившегося чересчур образованного и слишком городского родича, а ему, новоявленному Одиссею, стало вдруг на своей Итаке невыносимо скучно. Запахи родительской избы, такие родные спервоначала, опротивели вдруг, будто вдыхал их через нос, обложенный запущенным, гнилым насморком. И что сказали бы братья, если бы узнали, что он – большевик с германской ещё войны? Тут взгляд Адриана Ивановича упал на деревянное блюдо с остатками квашеной капусты, и он принялся прикидывать, сколько болезнетворных микробов уже перенесли туда руки родичей, разнообразно загрязнённые. Добро им, с

лужёными крестьянскими желудками и каучуковыми кишками! В целях частичной дезинфекции доктор Лаптев допил самогон из стопки, квашеной капусткой пренебрёг и побрёл на свежий воздух.

Во дворе тотчас же окутало его облачко гнуса – очередной привет от милой родины! Адриан Иванович пожалел, больше в шутку, что не курит, и принялся размышлять, а не включить ли блудному сыну в программу своего триумфального возвращения и визит к местной Мессалине? Краснощёкие снохи называли её Фёклой, и существовала вероятность, что из трёх усть-вожских Фекл подходящего возраста успела выйти замуж, овдоветь и пуститься во все тяжкие вот именно та фигуристая Феклуша. Но даже если речь о ней, былом объекте секретных вздыханий, можно было только представить, какое изменение со временем претерпела Феклушина конфигурация! А его жизнь приучила присматриваться в первую очередь, к стройненьким таким, хрупким барышням. Жизнь приучила? Ну, не столько жизнь, сколько супруга Катишь, ставшая для него невольным эталоном женской привлекательности. Относительно же прекрасного полу игрив Адриан Иванович, весьма игрив, но признать следует, что больше в мыслях. А на сей раз и такая мысль кстати приспела: ведь не запасся на такой случай подарком, а с пустыми руками идти – будет ли прок?

Тут бухнула входная дверь, и на высокое крыльцо вывалился Петруха, за ним его жена. Попрощавшись с жившей отдельно роднёй, пришлось Адриану Ивановичу досиживать за столом с Созонтом и старшей снохой Анфисой. Обещал, как водится, писать теперь, обязался помочь, если семья окажется в крайности. Оставил и восьмушку бумаги со своим киевским адресом, почти бесполезным, ведь задумывал переезжать. Укладываясь на отведённую ему скамью, предположил Адриан Иванович, что не сразу сможет заснуть в духоте, а вместо того будет всю ночь обдумывать услышанное от Олимпиады Ефимовны. Однако сразу же отключился. Спал как убитый, и грезилась ему настоящая мать, но одновременно была это и его базельская подружка. Нежна и юна она оказалась, призрачная родительница, добра и ласкова по-матерински, но испытываемое в её трепетных объятиях желание заставляло стесняться себя и даже урывками осуждать. Проснувшись ближе к рассвету, он лежал, не вставая, потому что надо было дожидаться физического успокоения, а духовно утешился банальностью: куда ночь, туда сон.

Утром, после по-крестьянски раннего, на рассвете, завтрака Адриан Иванович попросил брата Созонта отвезти его в уезд. Созонт кивнул и буркнул старшему своему, Фомке, чтобы запрягал Буланку. Быстро собравшись, их гость решил не терять времени на бесполезные уже разговоры с Олимпиадой Ефимовной, а осуществить лучше задуманную хмельным вечером прогулку деревней. Главной, а на его памяти единственной, улицей

направился он в сторону, противоположную дороге на Онегу, и добрёл до тёмной, древней, с годами ещё больше ушедшей в землю избы Ильи Елеферьевича. Давно уже покойного, как сказали вечером. Захотелось хоть так со стариком попрощаться, поблагодарить за науку, оказавшуюся для него важнее даже арифметики. Согласно обычаю беспоповцев, книги перевезены в избу следующего по старшинству начётчика, заветная полка, стало быть, пуста. В избе, однако, не без жителей: на веревке во дворе сушилось бельё. Вот только Адриану Ивановичу не о чём было бы поговорить с диковатой и десять лет тому назад дочерью Ильи Елеферьевича или с её мужем, если сумела им обзавестись.

А когда выехали они с племянником Фомкой за ворота, Адриан Иванович, помахав котелком Олимпиаде Ефимовне и прочим родичам, бросил-таки взгляд снизу вверх на мнимоотеческий дом. Много раз слышал он, да и читал тоже, что человеку, вернувшемуся взрослым туда, где провёл детство, всё на малой родине кажется мелким и незначительным. Однако в тот раз семейное гнездо Лаптевых нависло над ним такой же тёмной громадой, как и тогда, когда уходил в армию. Быть может, потому, что изба и вправду большая, на высоком подклете, а в нём скотину держат. И горожанин сказал бы, пожалуй, что дом двухэтажный. Только оглянулся Адриан Иванович на пригорок, где стоят в отдалении от деревни две старинные церкви, здешней угловатой архитектуры, Климентовская да Крестовоздвиженская, а между ним колоколенка. Хотел лишь убедиться, что не сгорели они в лихое военное время, деревянные ведь, и не спросил у Фомки, жив ли ещё климентовский попик батька Павлин. Но подумалось ему, что в прежней деревенской жизни церкви эти были для него просто церквями, никакими и нейтральными с точки зрения красоты, то есть эстетической. И надо было поездить по огромной России, побывать за границей, чтобы оценить своеобразие их форм. Теперь он видит, что обе церкви сложены будто из детских кубиков, но для этого опять-таки требовалось сначала эти кубики увидеть впервые. В польской Ломже, кажется, в писчебумажной лавке...

Летний северный лес стеной стоял за околицей, деревенская улица, обернувшись просёлочной дорогой, нырнула в его прохладное и по-утреннему сыроватое нутро, и Адриан Иванович вдохнул полной грудью целебный хвойный дух. Выросший в лесной деревне, он не любит, однако, леса, во всяком случае, северный лес воспринимает как дикий и враждебный человеку. О слишком уж тяжёлом труде эти болотистые дебри, заросшие елью и сосной, ему напоминают. А пожив в степи и лесостепи, научился он ценить открытые пространства, в которых не рискуешь, сделав следующий шаг,

наткнуться на медведя или бандита. Слов нет, полученные в лесу навыки помогли, когда пришлось бежать из плена, но и только.

Стоило путникам углубиться в чащу, как над лошадкой закружился столбик гнуса, и она принялась флегматически отмахиваться хвостом от слепней. Почти тотчас такие же живые облачка закружились над племянником Фомкой, сидевшем на облучке, и над самим Адрианом Ивановичем. Поднял он воротник пальто, нахохлился, обмотал лицо носовым платком. Доставать перчатки из саквояжа поленился, кисти рук, уже зудевшие, спрятал в карманах и подумал, что слепни, небось, приняли их с Фомкой за лошадей особой породы. Разница же меж ними в том, что Фомка, скорее всего, так и закончит жизнь рабочей лошадкой, а вот ему самому удалось вырваться из Усть-Вожи в широкий, опасный, но такой завлекательный внешний мир.

Меры против гнуса мешали созерцать лесные пейзажи, а зверьё какое-нибудь и не надеялся доктор Лаптев разглядеть: слишком уж громко визжали колёса, заглушили даже тревожный стрекот замечательно красивой в полёте вестовщицы-сороки, мелькнувшей над головой. Крепкие, однако же, нервы у его родичей! Ведь смазать оси дёгтем – это пара пустяков. Принялся задрёмывать, и колёсный лай начал слышаться ему уже женским горестным воем, и не понять было, то ли это Олимпиада Ефимовна батю оплакивает, то ли настоящая мать свою печальную судьбу.

Очнулся он, когда визг прекратился, и назойливое гудение комариной шатии-братии замолкло. Оказалось, что это Фомка, выехав на большую, залитую полуденным уже солнцем поляну, соскочил с облучка, чтобы подтянуть подпругу. Адриан Иванович стянул платок с лица, убрал в карман и тоже вылез из кузова, желая размять ноги. Бедное и короткое цветение северного лета уже не занимало его, мысли обратились к предстоящим в Онеге поиском. Поэтому он решил одарить Фомку прямо сейчас, чтобы не терять на это времени в городе, а то и вовсе забыл бы расплатиться – знает за собой этот грех.

Солдатский вещевой мешок, уже не нужный в этой поездке и вообще едва ли теперь нужный доктору Лаптеву, Фомка принял с обидным равнодушием, а вот червонцу в совзнаках обрадовался. Адриан Иванович хотел было рассказать, что этот вещмешок был с ним и на фронте, и в плену, и во время штурма Зимнего дворца, да предпочёл не метать бисер перед поросёнком. Он понимал, что дарит пареньку слишком большую сумму, но не исключал возможности, что будет-таки ограблен на обратном пути, и пусть уж тогда побольше достанется не совсем чужому человеку. В подштанниках были у Адриана Ивановича защиты страховые деньги – достаточно, чтобы отправить телеграмму жене Катишь. Конечно же, с Фомкой он поступил непедагогично, но тогда ему было

безразлично, скажет ли тот о подарке отцу или же припрятет втихую на свои подростковые забавы. Правду сказать, он и всех усть-вожских родичей выбросил из головы, как только проехали крошечный пригород Онеги, и телега поплыла по вечной грязи Соборного проспекта, ныне, небось, Ленина или Троицкого.

Перед низким крыльцом бывшего трактира «Поморский», а теперь «Кооперативной столовой № 1», Адриан Иванович спрыгнул на мостки, и местный дощатый тротуар прогнулся, хлопнув из щелей грязью. Заглянув в кузов телеги проверить, не забыл ли чего своего в соломе, он подхватил саквояж и наскоро попрощался с племянником. Ему и в голову тогда не пришло, что мог бы угостить Фомку каким-либо местным лакомством. Стоял и смотрел на вытертый сапогами порог. Так и не решился ступить на него, перешагнул.

И на что только надеялся? Найти здесь того же полового, который расслышал его плач тридцать с лишним лет тому назад? Лысый буфетчик, выслушав, послал официанта за заведующим, и они втроем, работнички общепита, принялись на него глазеть, вот уж точно, как бараны на новые ворота.

– Закажете чего-нибудь, гражданин подкинутый? – поинтересовался, наконец, заведующий.

– Доктор Лаптев, с вашего позволения, – буркнул Адриан Иванович, спрятав обиду в карман. Заглянул в меню и выбрал самое дорогое блюдо, сборную селянку. Ещё заказал компот. Попросил счёт вперёд. Сдачи не взял.

Лица общепитовцев разом подобрели, заведующий посоветовался с буфетчиком, и тот продиктовал адрес старого, уже на покое, официанта. Дряхлый в нынешние времена Трапезников служил в трактире, по словам лысого, с незапамятных времён. Адриана Ивановича подзуживало выскочить на улицу, однако он дождался, пока принесли селянку, и аккуратно очистил тарелку, на край её выкладывая ложкой кружки серой, распухшей колбасы. Пережитый в плену голод отучил его оставлять пригодную пищу не съеденной. Потом выбежал-таки, опрокинув в поспешности колченогий стул.

Улица Успенская, ныне Коммунарская, место проживания старичка-официанта, обходилась без тротуаров, даже дощатых, поэтому Адриан Иванович капитально измарал сапоги, пока нашёл дом Трапезниковых. Он постучал в дверь, и молодуха, в залатанном платье по моде начала века, провела его через калитку во двор. Своего старика семья содержала отдельно, в летнем флигельке, похожем на хлев. Вот только запах похуже, чем в хлеву. А разглядев на столе остаток завтрака бывшего официанта, куски желтого от старости сала с огрызком хлеба, Адриан Иванович приуныл. Ему пришлось убеждать себя, что доктору Лаптеву такая старость не уготовлена. Однако думалось об этом

несерьёзно, понарошку как-то, будто речь о другом, не о нём. Да и мало шансов у современного русского человека прожить мафусаилов век. Кто спорит, гражданская война закончилась, но ведь мировой революции никто не отменял, ни Ленин, ни Троцкий.

Тем временем уездный долгожитель выполз из-под тулупа и утвердился на лавке в сидячем положении. Посмотрел Адриан Иванович на его босые ноги – и отвёл глаза. Сперва бывший официант, в своих желтоватых от древности сединах смахивающий на отставного лешего, капризно и плаксиво требовал у некурящего Адриана Ивановича папироску, потом принялся жаловаться на неуважение к себе родни. Оказалось, что о находке в «Поморском» младенца он не помнит ровно ничего, хоть и прослужил, по его словам, в трактире «сорок годков». Прошлое воспринималось старинушкой как простое чередование зим и лет, долгих зим и коротких лет, а когда Адриан Иванович попробовал вытащить из его памяти происшествия лета девяностого года, года своего рождения, пришлось признать с досадой, что и сам не знает ни одного яркого события, которым этот год выделялся бы. Хорошо ещё, что догадался спросить, уже поднимаясь с табурета:

– А вот тогда, годков с тридцать тому назад, не было ли в Онеге ссыльных? Ну, политические не жили здесь?

Белёсые глазки старика вдруг сфокусировались на нём – и едва ли не заинтересованно:

– Политически? Скубенты? А как же, живали иногда...

Выяснилось, что запомнились ссыльные «студенты» как раз тем, что не наведывались в трактир, разве что кто из мужиков ихних заглянет за бутылкой водки навынос. Трактирщика, привыкшего числить приезжих в своей клиентуре, раздражало это обыкновение политических харчеваться исключительно дома, собираясь на утренние чаи и обеды в снятую сообща избу, где их бабы жили вроде одной артелью, и уж точно, что готовили на всю ватагу.

– Да так дешевле было им, ссыльным, столоваться, только и всего, – буркнул тогда Адриан Иванович.

– Э, не только, господин-товарищ, – оживился вдруг дедок. – Они здешним людом вроде как брезговали. Для них, для скубентов, своё препровождение времени полагалось, промеж своих только. Гуляли вместе, за руки взявшись, пели пение своё еретическое хором в потёмках... Баяли мне тогда, что и бабы у них были общие.

Крякнул Адриан Иванович, но расспросы продолжил. И хоть замшелый сплетник вошёл, кажется, во вкус, больше ничего толкового из его шамканья извлечь не удалось, вот разве только, что та окраинная изба сгорела. Однако политические тут не при чём: отбыли свои сроки и разъехались до пожара. Оставил Адриан Иванович на столе

совзнаков на две пачки папирос «Пушка», подхватил с лавки свой саквояж и покинул двор Трапезниковых, в смятении чувств пребывая.

Не ожидал такого? А что ты, собственно, рассчитывал услышать? Какую-нибудь умильную сказочку? Шлёпая по грязи, додумался Адриан Иванович, что напрасно надеется извлечь полезную информацию из проспиртованных мозгов онежских горожан. Жандармы, вот у кого должны были храниться сведения о ссыльных! И вспомнились ему, словно вчера увиденные, онежские жандармы, важно расхаживавшие в порту по набережной – все, даже рядовые, в блестящих хромовых сапогах, аксельбанты у каждого на груди, как у адъютанта, с саблями на боку, будто офицеры, и толстощёкие как один. Где вы теперь, дородны добры молодцы? Ау, где вы, усатые и чисто выбритые? А там же, где прошлогодний снег. Но вот архив здешнего портового жандармского отделения мог сохраниться только в одном месте – в уездном отделении бывшего ЧК, не так давно снова переименованного. У советских приемников царских жандармов то бишь. Усмехнулся Адриан Иванович: вслух такого не сказал бы.

Выбрался он на пешеходные мостки Соборного проспекта и немало напугал прохожего, осведомившись, а где тут у вас ГПУ. Удивился и сам, когда выяснилось, что онежские чекисты занимают особняк Севастьянова, и ещё больше – когда отвёл его красноармеец, вызванный часовым с винтовкой, в тот самый кабинет, где миллионщик выговаривал ему, мальцу, за излишнее пьянство бати.

Гордая роскошь испарилась из затейливого строения. А со стен кабинета казённая зелёная краска смела всякую бронзовую и золоченую мелочь, из мебели остался только вычурный письменный стол, зато на том самом месте, что у Севастьянова, и с тем самым, запомнившимся в детстве причудливым телефоном. За столом, под портретами Троцкого и Дзержинского, плотный молодой человек лет тридцати в гимнастёрке с зелёными «разговорами» и петлицами заинтересованно всматривался в документы доктора Лаптева – билет члена ВКП(б) и мандат, выданный киевской Александровской больницей.

– Здравствуйте, товарищ! Я вижу, вы вступили в партию ещё до Октябрьского переворота? – молодой человек энергично пожал посетителю руку и вернул ему документы. – Я здешний уполномоченный Курский. А вы садитесь, садитесь... Меня в вашем мандате вот что заинтересовало: «для поисков родителей». Что вы имели в виду, товарищ? Ведь это вы продиктовали, конечно, мандат?

– Да, вступил на фронте в окопах... – Адриан Иванович спрятал документы во внутренний карман пиджака. – Очень уж германская война меня достала. А призван был из этих мест, сам из Усть-Вожи.

Табурет, на котором предложено было сесть, был разве что покрепче своего близнеца в летнем пристанище старика-официанта. Такой же казарменный, с полукруглым вырезом посредине. Но ведь не усаживать же подследственного в мягкое кресло, оставшееся от миллионщика... Адриан Иванович присел, сосредоточился и в коротких, обдуманых словах рассказал нужное из истории своей жизни и зачем приехал. Встретился взглядом с ровесником-крепышом и в глазах его распознал живое сочувствие.

– В крестьянской семье воспитывался, говоришь? А я вот в приюте вырос и о родителях вовсе ничего не знаю.

– Да уж... Не позавидуешь.

– Суждение спорное... Иногда думаю: разве было бы мне легче, знай я, к примеру, что отец мой домушник, а мать проститутка? Так чем, ты говоришь, могу тебе помочь?

Адриан Иванович спросил о жандармском архиве. Чекист растянул тонкие губы в ухмылке:

– Логично мыслишь. И я, приехавши, когда ещё воняло здесь всюсю американскими и английскими портянками, тотчас же давай искать жандармские бумаги. Однако же... Стоп машина, в общем. Те жандармы, что тебе припомнились, они, как мне доложили, разбежались весной семнадцатого. Революционный народ, мать его, здешнее отделение разграбил, а бумаги спалил разом с присутственным строением. Ведь кое-кто догадывался, что демократия демократией, а погранохрана и таможня когда-нибудь да возродятся, и таким деятелям не улыбалось, чтобы тогда выплыла информация про ихние грешки при прежнем режиме. Что самое смешное, через два месяца после пожара пришёл, как мне говорили, приказ от Временного правительства переслать тот архив в Питер.

И что же тут смешного? И почему воняло здесь портянками, если на западе и солдаты в носках? Сейчас застарелым махорочным дымом несёт, не одеколоном, как при Севастьянове. Стоп. А если Севастьянов специально надушил кабинет, чтобы не слышать мужичьей вони от него, Ади? Зачем тогда вообще соизволил его принять? А если... Если знал, что крестьянский приёмыш – его внук по крови, и захотел на него посмотреть? Ой-ёй-ёй...

– Да не журишь ты, товарищ, как хохлы говорят! Не журишь! Архивов нет, и ладно: зато имеются у меня человечки из местных, вроде живого архива. Ты приходи завтра часам к десяти, я тебе сейчас сразу пропуск выпишу. Авось и прояснится что.

Ночью, в узком, как ученический пенал, номере местной гостиницы путешественнику спалось мало и плохо. Снилось ему статейка об уездном городе Онега, прочтенная в «Брокгаузе и Эфроне» перед поездкой, всплывали перед глазами строчки о том, что «судостроение в уезде ничтожно» и ещё, что «10 судохозяев владеют 12 судами

для торговли с Норвегией». Мнилось, что на следующей странице сразу за скучными геологическими подробностями будет сказано о его настоящих родителях, и будто бы уже и мерещились ему эти строчки, да только расплывались они, как только начинал читать. О Севастьянове он и сам вспомнил (или приснилось), что дочерей у миллионщика не было. Но это не значит, что неприятность с барышней не могла случиться в одном из десятка семейств купцов-судовладельцев, а на богатство матери разве не указывают пелёнки с кружевами? С Норвегией, ты ж понимаешь, они торговали... Уж не иностранец ли барышню соблазнил? Невозможно, и по той же причине невозможно, по которой ещё ранее отбросил Адриан Иванович самомалейшую вероятность своего еврейского происхождения. В душе он соглашался, что умён не совсем по-русски, да только ни у еврея, ни у норвежца не может быть такого славянского носа картошкой. Значит, и родителя, как и грешную его мать, нужно искать только среди русского населения Онеги. А как их найдёшь?

Утром чекист сразу же после рукопожатия произнёс озабоченно:

– Пустой номер нам выпал, товарищ! Не помнят ничего такого мои агенты. Будто и не было твоего драматического появления на подмостках российской истории, ты уж меня прости за старорежимное выражение.

– То бишь на пороге кабака? – усмехнулся Адриан Иванович. – Но я ведь... Вот он я, перед тобою. Разве я не живое доказательство? Не свидетельство собственного существования, а следственно, и появления на свет?

– Пожалуй, – без улыбки согласился чекист. – Знаешь, я тут, будто мне больше нечем заняться, поразмыслил над твоим казусом. Сидели бы мы сейчас в любом, самом маленьком городке Америки, там издавалась бы местная газетка, какой-нибудь «Занюханск-examiner», и мы прямо в редакции зарылись бы в подшивки за все годы. У нас же тут об уездных газетах и не мечтали – даже в губернских городах только официозные листки выходили.

– Да, в Архангельске тоже – «губернские ведомости», – оживился Адриан Иванович. – Только, помнится, кроме казёнщины, там разве что объявления печатались. А ты, что ж, товарищ, и в Америке бывал?

Только кивнув в ответ чекист – и продолжил торопливо, будто хотел побыстрее покончить со сторонним делом и выпроводить посетителя прочь из казённого помещения:

– Ты, конечно, можешь пошуровать в подшивке «Архангельских губернских ведомостей» хотя бы и в Питере, в Публичке, но лучше бы тебе не терять на это время. Как товарищу по партии, как товарищу по семейной несчастью я тебе советую

настоятельно: оставь, брат, всё как есть. Ты ведь в анкетах что пишешь? В графе «Социальное происхождение»?

– «Из крестьян», понятное дело, – и тут почувствовал Адриан Иванович, что обиделся, а на кого, неизвестно. – Что ж мне там иное писать? «Неизвестное» оно, моё социальное происхождение? Или «Наследный принц республики»? Пусть оно и не так по крови, но разве, ты сам посуди, я не отстрадал двадцать годков, крестьянскую долю отбывая? Малым я не понимал ничего, думал, что все так живут, это потом...

– Я как раз и хотел сказать, что правильно ты пишешь. А вот это только между нами: уже пару лет, как ребята вроде меня составляют списки социально чуждого элемента. В первую очередь, офицера, потом буржуев. И в этом году приказано уточнить. Ты соображаешь, для какой надобности от нас требуют эти списки?

– Разумеется, товарищ... – Адриан Иванович откашлялся. И, едва не пустив петуха, осведомился осторожно. – А как же тогда нэп?

– Нэп, неп... Будто мы с тобой вводили этот нэп? – чекист вдруг побагровел. – Если ты фронтовик, то знаешь, что иногда полезно отступить, чтобы бить врага с лучшей позиции. Ладно, давай прощаться, а то договоримся до таких вещей... Ещё мой зам – говнюк, между нами, порядочный – нас в одну камеру посадит.

Последовав основному содержанию совета онежского чекиста, Адриан Иванович, однако же, не прислушался к нему в малом. Доплыв на пароходе «Северная звезда» до Питера, он не пожалел времени и просмотрел в Публичной библиотеке номера «Архангельских губернских ведомостей» за лето 1890 года, а затем, на всякий случай, всю годовую подшивку. Потом, то ли обычной добросовестностью побуждаемый, то ли нелепым упрямством – и за 1889, и за 1891 годы. Ничего для себя не нашёл – и не очень-то надеялся найти.

В питерском муравейнике горечь от неудачи как-то размылась, смягчилась. А возвратившись из отпуска фактически с пустыми руками, вовсе не думал, что попадёт в переплёт, едва не разрушивший его новую семью.

XXII

Возвратившись в тот вечер со службы, Адриан Иванович был поражён, услышав из гостиной возбуждённый голос всегда спокойной, словно спящая рыба, супруги. Гости? Кто? Откуда? Хоть ноги горели в ботинках, не переобулся в домашние туфли. И вдруг застыл на месте, когда увидел из коридора в открытой двери воздушный профиль Зизи.

Пытаясь понять, что с ним происходит, Адриан Иванович помыл руки в ванной. Там отдавало дымком, в колонке оставалась ещё тёплая вода, а на верёвке сохло чужое дамское бельишко. Он отвёл глаза, вытер руки и вошёл в гостиную, встреченный «ахами» Катишь. Свояченица поднялась ему навстречу со стула. Адриан Иванович неловко поцеловал ей ручку, а Зизи в ответ легко приобняла зятя и прижалась на мгновение своей щекой к его, заросшей к вечеру щетиной. Из бестолковых объяснений жены выяснилось, что Зизи нагряднула в Киев отнюдь не для того, чтобы навестить младшую сестру. На дворе стоял сентябрь двадцать пятого года, нэп оживил Украину, и даже в замшелом Беловодске наметились благодатные перемены. Строится новая больница, и Зизи добилась путёвки на заочный отдел курсов для сестёр милосердия. Теперь она приехала на два месяца, это её первая учебная сессия. Сняла угол на Рейтарской, вблизи курсов. Визит сестре и зятю нанесла только в начале второй своей киевской недели, когда приспособилась к новому для себя ритму учёбы. Так она, во всяком случае, объяснила эту проволочку Катишь.

Параска, по праздничному случаю в чистом переднике, накрыла на стол, принесла обычный скромный ужин, к нему Адриан Иванович добавил из заглазника бутылку с вишнёвой наливкой и банку шпрот. Сёстры засиделись за наливкой допоздна, а с ними и Адриан Иванович. Они щебетали, вспоминая безоблачное свое старобельское детство и девичье прозябание в безвозвратно погибшей семье Сколимовских, а он помалкивал, услышанное мотая себе на ус и любуясь исподтишка Зизи. Тогда, из прихожей, увидел он свояченицу внутренними глазами, а на самом деле за десять лет её девичья воздушность и открытая в прекрасное будущее неопределённость черт прелестного лица сменились зрелой женской красотой. Приметил Адриан Иванович, что она молчит о своей нынешней жизни в Беловодске. В отличие от сестры, ведь у Катишь – вот это удивительно! – многое нашлось, чем сочла нужным похвалиться. И ещё Зизи сохранила осиную талию, о детишках своих не вспоминала. Стало быть, и не завела их с тем застенчивым телеграфистом. Скорее всего, и не счастлива с ним. Возможно, и развелись они. Да-с...

Было уже около полуночи, когда гостя заявила, что пора домой, то есть в коммуналку, где сняла у жилицы угол. Ночное путешествие даже с Фундуклеевской на недалнюю Рейтарскую оставалось тогда делом опасным, найти в полночь извозчика было проблематично. И как ни отнекивалась Зизи, её оставили ночевать. В детской, на кровати Лизочка, а сонную девчущку уложили вместе с родителями. Катишь была тогда непривычно оживлена, и возбуждённому её мужу казалось, что ему светил бы шанс на эротическое завершение вечера, если бы не присутствие дочери. Впоследствии, прокручивая в памяти эту ситуацию, он пришёл к выводу, что его тайное и даже

несколько боязливое восхищение Зизи осталось бы платоническим, если бы в доме нашлась раскладушка, и Лизочку не пришлось бы уступить свою кровать. И посмеиваясь горько над собою, сознавался себе в том, что не знает, чего ему хотелось бы больше – пережить-таки то сумасшествие, которое довелось пережить, или сохранить в браке скучное и обидное для себя статус-кво.

А тогда, после завтрака, Адриан Иванович вышел из дому раньше, чем обычно. Зизи предстояло заскочить на квартиру, чтобы прихватить конспекты и переодеться в белый халат, а он вызвался проводить. Повод для провожания придумал, в сущности, идиотский, но провинциалок-сестёр убедил: утром-де работяги с похмелья тянутся на свои заводы, могут и пристать к молодой женщине.

Они поднимались по улице Гершуни, и Зизи без умолку восхищалась киевской архитектурой, своеобразие которой для Адриана Ивановича успело уже размыться. Его беспокоило, что не решился взять её под руку: куда уж ему, если до сих пор ощущает прикосновение её груди после вчерашнего родственного объятия? Ведь по улице стыдно будет пройти! Но не примет ли она его за дурачка? Он огляделся. Тем ранним утром крутая на подъёме Гершуни была пустынна: то ли заводские рабочие жили в других местах, то ли отправились на работу в более ранний час. Он освоился немного и осмелился заметить:

– Дорогая Зизи! Вчера вы и словом не обмолвились о Сергее. Ну, о муже вашем. Как он поживает, где сейчас служит? По-прежнему ли по телеграфной части?

Зизи покосилась на него, да так, что жаром обдало. Потом сама решительно взяла его под руку. Проговорила сквозь зубы и явно нехотя:

– Хорошо мой Серёжа поживает. Обстиран, обшит и накормлен. Дослужился до уже теперь советского замначальника почтово-телеграфной станции. «Всегда довольный сам собой, своим обедом и женой...». Господи, до чего же я ненавижу эту его самоуспокоенность! Удивляюсь теперь, как он решился на мне жениться, почему не обзавёлся такой же довольной всем на свете мещаночкой?

Адриан Иванович крякнул. Он прекрасно помнил, что там, у Пушкина, речь шла о «рогоносце величавом». Самым тщательным образом выбирая слова, ответил на её скорее риторический вопрос:

– Ну, дорогая Зизи, я ещё не забыл, кто кем командовал во время вашей с Сергеем женитьбы... И как все тогда ему завидовали.

– Если и кое-кто из присутствующих ему тогда завидовал, мне это и сейчас лестно... Но если серьёзно, если не просто болтовня у нас, как вчера с Катись, то я

завидую вам, Адриан Иванович. Знаете, я сегодня почти не спала на новом месте и о многом ночью передумала...

– Я тоже почти не спал, – брякнул он.

– Неужели? А я сравнивала Серёжу с вами. Какой вы смелый, настойчивый, решительный! Я не о ваших поступках во время Второй Отечественной войны говорю, хоть вы, конечно же, не всё нашей клуше Катишь рассказывали.

– Теперь так не говорят, дорогая Зизи. Теперь принято называть ту проклятую, никому не нужную войну империалистической.

– Да, да, я просто забыла... И не отношу я... как сказать? Вот, к проявлениям похвальной смелости вашу влюблённость в мою сестру и ваше скоропалительное сватовство. Чем старше я становлюсь, тем чаще мне представляется, что обе амурные истории были с нашей с вами стороны, Адриан Иванович, преступным головоутием, что они отнюдь не оправдываются пылкостью юных... молодых чувств. Теперь я даже думаю, что в по-настоящему хорошо организованном человеческом сообществе за такие глупости полагалось бы наказание – ощутимый штраф или общественные работы.

– Я-то, пожалуй, до сих пор на общественных работах, – развеселился Адриан Иванович, – да и вы, как я понимаю, тоже. И прошу, называйте меня по имени, просто Адрианом.

Отсмеявшись, Зизи продолжила. Недавний смех окрасил её слова ироническими (или юмористическими?) интонациями, но оно и к лучшему. Если бы услышал он о себе такое, серьёзно или даже патетически сказанное, труднее было бы переварить.

– По-настоящему смелым и благородным поступком было ваше, Адриан, возвращение в разгар гражданской войны в Старобельск. Вы ведь могли остаться в Москве, служить на видной должности в министерстве... в наркомате, то есть. А с Екатериной-дурочкой развестись, тем более, что она провинилась перед вами. И я уверена, что процентов девяносто мужчин так бы и поступили. Страшно представить, сколько семей тогда распалось! Вы же вернулись к семье, хоть и понимали, что жена-дворянка помешает вашей карьере, вы ведь большевик. Вернулись, как я понимаю, рискуя жизнью.

Адриан Иванович покраснел. Всё это ему и самому приходило в голову, к тому же не раз, но слышать такое из прелестных уст Зизи было очень неловко. И смущала парадоксальность ситуации: если красавица-свояченица представляет его таким высокоморальным, не будет ли вдвойне нелепой попытка приволокнуться за нею?

– Да, в той ситуации ваш покорный слуга весьма походил на подкаблучника, – пробормотал он. – Кроме того, ещё на фронте я из письма Катишь вычислил, что она

снова встречается с этим... ну, отцом Лизочка, а потом оказалось, что не ошибся. А почему приехал... Я ведь сам подкидыш, дорогая Зиночка. Мне хотелось, чтобы девочка не осталась без отца, и к тому же, признаться, насчёт наших отношений с Катишь оставались кой-какие иллюзии тогда...

Зизи снова подняла на него свои лучистые глаза, на этот раз подольше уже задержала взгляд на его лице. Утро было прекрасным, солнце золотило верхушки и без того красиво пожелтевших саженцев в новом, этой весной только разбитом сквере перед фасадом Высших женских курсов, а теперь Ветеринарного и зоотехнического института.

– Этот весьма старомодный фонтан, – показал Адриан Иванович идеально выбритым подбородком, – раньше стоял на Софийской площади. Там он, похоже, помешал военным парадом. Или показался нынешним отцам города вот именно чересчур старомодным.

– Только подумать! Вот именно в этой помпезной каменной коробке я когда-то мечтала учиться. И что же, мечта исполнилась: учёные ветеринары и зоотехники нашли место в здании и для наших скромных курсов.

– А мне говорили, что именно здесь Высшие женские курсы недолго размещались. Началась война, их эвакуировали, аудитории пошли под палаты госпиталя. Потом революция перекроила структуру высшего образования. Зато теперь вы, Зиночка, имеете право учиться в любом вузе.

– Я? С моей анкетой? Где «из дворян»? Вы сыплете мне соль на рану, милый Адриан Иванович... Адриан.

– Уже то хорошо, что учитесь вы совсем недалеко от нашей квартиры. Значит, чаще сможете навещать.

– Наверное, Адриан. Но и надоедать вам с Катишь мне не хотелось бы.

– О чём вы говорите, надоедать? Ладно, а поселились вы где, если это не секрет?

– Какой же секрет, Адриан? Там, ещё выше, на Рейтарской...

– Что ж, улица роскошная. И довольны квартирой?

– Ну, хозяйку рекомендовала кураторша нашей группы на курсах. Комната на четверых получается. Хозяйка-старушка, она ещё довоенным курсисткам углы сдавала, две девчонки тоже с курсов и я.

– И каково вам там, Зиночка? – спросил Адриан Иванович рассеянно. Он обдумывал коварный план.

– Хозяйка невредная, а девчонки, если соизволят обратить на меня внимание, принимаются высмеивать за старорежимность. Сами-то из Белой Церкви, обе комсомолки

или кимовки какие-то, не разберу. Но я не огрызаюсь, согласна ведь, что старорежимная тётка.

– Тоже мне нашли старорежимную тётку! – возмутился он. Даже отвлёкся от своего коварного плана, а вместо того принялся подсчитывать чуть ли не на пальцах. Кроме того, воспользовался случаем, чтобы отступить на шаг и её всю, от макушки в чёрных кудряшках до ног в модных тапочках, обсмотреть с полным основанием и невозбранно. – Вам, Зиночка, сейчас и тридцати ещё нет, а выглядите и вовсе на двадцатилетнюю.

Под его восхищённым взглядом она приняла позу, подсмотренную наверняка у модели в модном журнале (видно, модные журналы доходят и до Беловодска), и выглядела сейчас хоть и не на двадцатилетнюю, конечно, однако привлекательно и в самом деле молодо. Потом назвала она Адриана Ивановича комплиментщиком, чему он искренне удивился, а доказывая неловко, что никогда не врёт и не стал бы выражать чувства, если в действительности их не испытывает, только усилил действенность комплимента.

Тем временем они подошли к роскошному особняку со львом, и Адриан Иванович рассказал на свою голову, что именно здесь была хирургическая клиника доктора Маковского, и сюда привезли из Оперного театра Столыпина, смертельно раненого студентом Богровым. Уж лучше бы ему промолчать, и Зизи по-прежнему проходила бы мимо исторического здания, оставаясь в неведении! Они поцапалась по вопросу о тактике большевиков относительно террора и на Большую Подвальную вышли надутые, друг от друга отвернувшись.

– Дорогая Зиночка! К сожалению, я не смогу провести вас до дома, – заявил тут Адриан Иванович обиженным по инерции тоном, прислушиваясь, не стучат ли поблизости копыта и ощупывая взглядом проезжую часть. – Если я тотчас же не поймаю извозчика, рискую опоздать на службу. Но я предлагаю встретиться после ваших занятий. Быть может, мне удастся найти вам что-нибудь получше для жилья. Если не секрет, когда вы заканчиваете обычно? Я мог бы встретить вас у главного входа.

– От вас никаких секретов, сказано же было вам! – воскликнула она – и вдруг просияла, наполнив его радостью на весь рабочий день. – Вы такой милый, Адриан! Обычно мы заканчиваем в четыре ровно.

– Замечательно! Не уходите, если опоздаю на несколько... О! Извините! – и он бросился на середину улицы, перехватывая извозчика.

Сторговался с «ванькой», уселся – и только тогда нашлось время оглянуться. Стройная фигурка Зизи уже растаяла в пространстве: видно, и она тем утром очень торопилась.

На службу Адриан Иванович не опоздал. Сразу же после пятиминутки он ухватил за пуговицу заведующего отделением и отпраился по семейным обстоятельствам на послеобеденное время. Добрейший Иосиф Исаакович поставил только одно условие: чтобы в ближайшее время был улажен вопрос с курсами по украинскому языку. Адриан Иванович тогда был готов наобещать, чего угодно. При первой же возможности он помчался в приёмное отделение больницы, чтобы принять внеочередной душ. Пуская в ход казённое мыло, думал о том, что задуманную им измену Катишь следователь признал бы преступлением с заранее необдуманном намерением. Но само намерение, ещё неоформленное, наличествовало уже утром. Иначе разве он прихватил бы перед уходом из дома всю наличность, заработанные частной практикой в этом году? Какое счастье, что Катишь способна заинтересоваться финансами семьи только в том случае, если Параска пожалуется, что не получила денег на продукты! Теперь же коварный план обрисовался перед ним во всех деталях.

Без пяти минут четыре Адриан Иванович с непривычно тяжёлым саквояжем слонялся уже под главным входом в бывшие Высшие женские курсы. Настроился на долгое ожидание, и Зизи, в самом деле, не оказалось в первой стайке весьма разномастных курсанток, выпорхнувших из тяжелых резных дверей. Появилась только через несколько минут – и завертела головкой, разыскивая, безусловно, его, Адриана. Была теперь в тёмном костюмчике и туфлях на модных толстеньких каблучках, свёрнутый белый халат держала под мышкой. Не заботясь ни о каком своём реноме, бросился Адриан Иванович ей навстречу.

– Как славно вас увидеть, Зиночка! – и сунул ей букет белых астр, до этого скрываемый за спиной. Тем временем рассмотрел, что Зизи подкрасилась, отчего и задержалась, небось. Тотчас же истолковал это пустяжное обстоятельство в свою пользу, и его, будто мальчишку, обдало горячей волной.

Она хмыкнула, сделала вид, что не заметила, как он покраснел, и чинно поблагодарила. Он рассердился на себя и выговорил чуть ли не свирепо:

– Кажется, нашлось для вас жильё, Зиночка. Только вам самой надо посмотреть – понравится ли?

Зизи улыбнулась – не то покровительственно, не то едва ли не по-матерински. И с чего бы это? Адриан Иванович не успел обидеться, как она непринуждённо повисла на его руке.

– И куда мы теперь, Адриан?

Он буркнул, что недалеко. Меблированные комнаты «Уют П. Л. Синюхи», с недавних пор сменившие вывеску на «Затишок...», располагались, и в самом деле, в двух шагах от курсов Зизи. Хозяин-нэпман каким-то чудом сумел расселить большую коммуналку в доме на углу уютной Святославской и зелёной Афанасьевской, а всего вероятнее, взял в аренду устроенное ранее в квартире коммунальное предприятие или учреждение. Сначала хотел Адриан Иванович погусарствовать, сняв для Зизи номер в гостинице, а потом сообразил, что в меблированных комнатах ей будет поспокойнее. Да и дешевле оно выйдет.

Они прошли проездом и со двора вошли в открытую дверь под законопослушной вывеской. Поднялись на второй этаж и под уменьшенной копией уличной вывески позвонили в оббитую кожей дверь. Тотчас же Адриан Иванович хлопнул себя ладонью по лбу и потянул за бронзовую ручку. В большой прихожей за крошечным столом дремал Панько, то ли слуга, то ли сам хозяин меблирашки. Голову он положил на скрещенные толстые и короткопалые руки, подставив глазам гостей белый прямой пробор между набриолиненными тёмными волосами.

– Эй, товарищ! – позвал Адриан Иванович.

Панько поднял голову, и Адриан Иванович имел счастье снова лицезреть его физиономию, типичную для довоенного полового в трактире, и снова удивился: откуда повылазили эти личности, что подельывали в годы военного коммунизма?

– А якже, заходьтэ, пан доктор. Вы сняли у меня комнату на сутки, и вот уже вернулись с гражданкой.

– Позволь тебе напомнить, Панько, что это моя свояченица. Сестра моей жены. Я же тебе втолковывал... Сейчас Зинаида Елифановна посмотрит комнату и, если понравится ей, переселится к тебе до конца октября.

– Так берите же ключи, гражданка. Тот, что побольше, от входной двери.

Комната Зизи понравилась, и она уже не вышла в коридор. Сунула Адриану Ивановичу своё свидетельство о рождении для прописки («Скажите ему, что на учёбу»), а сама принялась обследовать мебель и постельное бельё. Полностью заплатив за три недели и не скупно добавив на чай, он вернулся к её комнате в некотором расстройстве чувств: приятное самодовольство щедрого родственника окрашивалось горечью от только что совершенной глупости.

Дверь оказалась запертой. В недоумении пребывая, он постучал – и тут же маленькой ручкой был решительно увлечён внутрь. Картонка свидетельства о рождении Зизи выскользнула из его руки – на владелице документа было только жемчужное

ожерелье и туфли на каблуках. Ошеломляя белым сиянием, она источала уютное душистое тепло.

– Знаешь ли, милый, – промолвила Зизи задумчиво и принялась развязывать на нём галстук, – с маминым ожерельем на шее я не чувствую себя вульгарно голой.

Адриан Иванович засопел: обнажённая Зизи походила на фарфоровую статуэтку. Стройная и тонкая, с очаровательным маленькими грудками, формой вроде бокалов с бутонами на месте отбитых ножек и подставок, она остро напомнила ему юную и ещё не рожавшую Катишь. Однако нагую Зизи красила и та определённая женской красоты, та чёткость линий, что приходит только с возрастом. И ещё излучало она обещание, заставившее сердце доктора Лаптева затрепыхаться где-то под горлом. Ведь, в отличие от тех лукавых авансов, которые источало в воображении молодожёна тело коварной Катишь, её старшая сестра предлагала ему себя прямо, честно и с невыносимой щедростью.

И он откликнулся на нежный вызов Зизи со всей возможной для себя тогда пылкостью. Возможной для тридцатилетнего мужика, заезженного службой и бесконечной частной практикой. Не обычной врачебной, а венерологической, чтоб ей! И долгое воздержание, оно ведь тоже не только силы накапливает... На вредности воздержания для любви мысли доктора Лаптева прервались, и способность мыслить логически, а не только некими мыслишками-ощущениями и эротическими придумками, возвратилась к нему тогда только, когда Зизи потеряла сознание.

Не сразу Адриан Иванович заметил, что она отключилась, ведь сам в тот момент воспарил, а диагноз поставить смог, только когда возвратился на грешную землю после целого букета удивительных и неопишуемых переживаний и ощущений. Медицинский опыт помог, посему испугался разве что на секунду. Она дышала ровно, словно спящая, пульс частил, но опасности никакой не предвещал. Будто спящая... И беззащитна, как всякая спящая женщина, и точно так же позволяет себя рассматривать такой, какова на самом деле, и не способна подсунуть тебе то, что желает тебе показать. Он улыбнулся и выпустил из руки тонкое её запястье: глядя на застывшую без сознания нагую Зизи, вовсе не хотелось думать о всяких женских штучках. Лаская её жадными по-прежнему глазами и чувствуя себя при этом мальчишкой, из укрытия подглядывающими за голыми девками, выходящими из реки, он вдруг встревожился, рассмотрев опасность для шелкового покрывала. Тотчас же пустил в ход полотенце, сдёрнутое со спинки железной кровати, и откинулся на подушку.

Хоть помада на тонких, изящно изогнутых губах Зизи размазалась, а краска на ресницах немного потекла, выглядела она, как и всякая спящая женщина, невинно, по-

детски. Ему захотелось снова дотронуться до неё, чтобы убедиться в реальности того, что произошло между ними несколько минут назад, и он легонько провёл ладонью по её плечу. Она не очнулась от этого прикосновения, но он не успел толком обеспокоиться, как Зизи открыла глаза.

– О господи! Это... это был обморок? – прошептала. – Я не могу передать словами... Я будто заснула на самой высокой волне, на пике... На пике неземного наслаждения... Ой! Неприятность!

Адриан Иванович поневоле стряхнул сладкую лень и поднялся с кровати, освобождая ей дорогу. Она пересекла комнату и скрылась за ширмой, где, как вспомнилось ему, стоял мраморный умывальник с зеркалом, на нём кувшин, полный воды, и таз на полу. Постель они не раскладывали, потому что Зизи признала запах простынь затхлым и собиралась развесить постельное бельё на мебели, чтобы проветрилось. Не столь хозяйственная, сколько брезгливая и требовательная. Нет, правильнее будет сказать, что утончённая. Он прикрыл глаза – и снова увидел, как нагая Зизи пересекла комнату. И опять с полотенцем между ног. Какая другая женщина в такой некрасивой, даже гротескной позиции, сумела бы столь изящно протанцевать – иначе не скажешь? Теперь, пока Зизи в Киеве, надо было бы всей семьёй сходить в Оперный на балет. То есть и Лизочка взять, пора уже ей приобщаться, а вот брать ли с собою Параску, этот вопрос решить коллегиально. Волшебный полумрак зала, живая невероятная музыка, а через два кресла – загадочный профиль Зизи...

– Да ты тоже чуть было не заснул, милый! Но я всё равно скажу тебе то, о чём просто не сумею сейчас не промолчать. Я безумно благодарна тебе – и не стыжусь в этом признаться! Я о таком только слыхала – и никогда не надеялась, что такое может произойти и со мной! Господи, потерять сознание в постели...

– Это я должен благодарить вас, дорогая... – пробормотал было он, но она тут же закрыла ему рот поцелуем. Встав над ним на четвереньки, Зизи принялась целовать его грудь, как безумная, а потом улеглась сверху.

Не такой уж она оказалась невесомой, как выглядела со стороны, но бархатистая её тяжесть была столь приятна, что Адриан Иванович застонал от пробудившегося, с болью пополам желания. Ему было велено лежать смирно, прекрасное лицо Зизи то склонялось к нему, то отдалялось и смутно белело в сумерках, неожиданные прикосновения её кожи сводили Адриана Ивановича с ума. На сей раз она сознания не потеряла, но вот он был к этому очень близок. Когда оба снова смогли пошевелиться, Зизи снова отправилась за ширму, а он не стал возвращаться на постель, предпочёл присесть над своим пиджаком, лежащем на полу, и достать часы. Щёлкнул крышкой. Поднёс часы ближе к глазам.

– Смотришь на часы, милый? – откликнулась из-за ширмы Зизи. Там легко плеснуло.

– Это невероятно, но уже половина девятого. Вот почему в комнате темно! Признаться, я глазам своим не поверил.

– Так поздно? Я уже не буду заходить за своими вещами к бабке Горпыне. Заскочу после занятий, совру ей и девицам, что переночевала у сестры.

Ему стало грустно от того, что ведь и самому придётся придумать какую-нибудь отмазку по дороге. И от того, что вокруг самого прекрасного, что довелось испытать в последние годы, уже клубится неизбежное враньё. Он вздохнул. Но если придётся вот-вот уматывать... Безумно захотелось, если уж если ничего иного не будет позволено, хоть увидеть Зизи ещё раз без одежды. Осмотрелся в сумерках и попросил:

– Расположение проводов показывает: выключатель рядом с тобой за ширмой. Поверни рукоятку, пожалуйста.

– Ну, что с тобой поделаться, – вздохнула и она. – Да будет свет.

Электрическая лампочка накаливания свечей этак на сорок вспыхнула в матерчатом с кистями абажуре. Хоть и смягчил абажур её ослепительную резкость, тотчас же, стоило только привыкнуть глазам, безжалостно осветился живописный беспорядок на ковре, где валялось всё снятое и сброшенное с себя любовниками, его портфель, её ридикюль и развернувшийся белый халат, а ещё (так вот куда оно залетело!) её свидетельство о рождении. Там были и те чёрные туфли на толстых каблуках, в них его в дверях встречала, в них и на кровать, покрывалом покрытую, забралась – а вот когда скинула, не смог он припомнить... И правильно сделала, что скинула: иначе не довелось бы ему полюбоваться вытянутыми стройными ступнями и красиво изогнутыми тонкими пальчиками. Полюбоваться и поласкать даже. Тут вспомнилось Адриану, при каких обстоятельствах ухватил он своими лапищами её ступни, и почувствовал он, что кровь снова бросилась в лицо. Да что же это такое с ним делается, давно ведь не стыдливый юноша?

– Скажите... То есть скажи, дорогая, этот замечательный натюрморт на полу – твой бунт, да?

– Разумеется, бунт. Если я из тех жён, что бродят по дому за неряхой-мужем с веником и совочком для мусора, то бунт, само собой. И... Мне неловко напоминать... Но это тоже бунт, милый.

Доктор Лаптев в думу тихо погрузился. Хотел было ответить, что порою хаос может вызвать ещё большее внутреннее сопротивление, нежели самый бездушный

порядок вроде немецкого Ordnung'a. Но так и промолчал. Только помычал, соглашаясь. Раздался шорох.

– Ну вот, я зажгла свет. Это чтобы ты рассмотрел, как я постарела и поплохела за эти годы?

Прелестное видение уже стояло рядом с ширмой. Он горячо возразил, да тут уже и сама Зизи кое-что углядела – и быстро переместилась на кровать. Теперь, когда надо было, наверное, поторопиться, они, как на грех, не спешили. Словно прислушивались друг ко другу и пытались понять друг дружку без слов, самым восхитительным способом. Воспарили снова, опомнились – и на сей раз Зизи попросту закинула свои божественные ноги на стену и пояснила, что после придумает, как решить проблему. Воды-то в кувшине кот заплакал. Видно было, что она теперь совершенно не стесняется Адриана Ивановича.

– Меня, должен признаться, – заметил он, – беспокоит, что ты вынуждена обходиться холодной водой, сентябрь ведь на дворе. Знаешь ли, что я придумал?

– Скажешь, тогда и узнаю, милый, – усмехнулась она.

– Мы должны были в самом начале заказать самовар. И долить кипятка в кувшин.

Зизи расхохоталась.

– Если бы мы начали не с моего сюрприза для тебя, а с самовара, ты, милый, до сих пор пил бы чай с баранками и только тарашился бы на меня.

– Очень даже может быть, – кивнул он. И тоже вдруг расхохотался, до чего такой вариант развития событий показался вдруг смешным. Продолжил тоном уже более серьёзным. – А то, что сейчас начало сентября, для нас как раз на руку. Был бы октябрь, пришлось бы прятаться под одеялом. Был бы июль, мы бы с тобой взмокли, и мне пришлось бы вытирать всю тебя простынёй. Я-то не против бы, дорогая Зиночка.

– Не вышло бы у тебя, милый. Я не потею в самую жаркую погоду, так уж устроена. Да и не позволила бы я тебе прикасаться ко мне какой-то залежавшейся простынёй.

– Это обмен веществ у тебя медленный, – пояснил он, взглянув заинтересованно. – Долгая жизнь тебе предстоит, дорогая. Я сказал «начало сентября»? А число какое сегодня, не помнишь?

– Сегодня вторник, восьмое сентября, милый.

– Эврика! Здорово!

– Что же тебя изумило?

– Это же по старому стилю двадцать шестое августа, вот ведь какая петрушка... Мученика Адриана и мученицы Наталии! Мои именины, Зиночка! Я, правда, не отмечал их никогда, но мы сегодня ещё успеем отметить.

– Как – закажешь самовар с бубликами? – хихикнула Зизи.

– Самовар мы обязательно закажем, и я сам принесу его, как будет готов. А раньше возьму кувшин и схожу в ванную набрать воды. Тебя же на время похода запру на ключ. Стыдно признаться, дорогая, но в портфеле у меня совершенно случайно оказалась бутылка вина и кой-какая закуска.

– А вино-то какое, коварный ты соблазнитель?

– Крымское белое. Одну секундочку... «Мускат белый Массандра».

– Так, так... Дай-ка вспомнить. Французского шампанского давно уже не достать, а белое сухое весьма способствует... Ты ведь и правда хотел меня соблазнить, милый!

– Разве это сухое? Теперь я уж и сам не могу сообразить, дорогая, чего я хотел и на что надеялся... Трусливо надеялся, должен признать, – и чувствуя, что брякнул лишнее, принялся разыскивать свои тряпки на полу и облачаться. Завязывая галстук, он уже знал, что скажет дома: в отделении ординаторы и сёстры устроили ему именины, и было неприлично как виновнику торжества уходить, пока сотрудники не разошлись. Раньше он бурчал, обижаясь, что квартирный телефон до сих пор ему не поставлен, а теперь готов был благословлять бюрократов, окопавшихся на телефонной станции.

Все хозяйственные и прочие хлопоты исчерпались, и вот они, уже оба одетые, за круглым столом, покрытым дырявой скатертью. Полупустой самовар и заварочный чайник оставлены в небрежении, а стаканы вынуты из подстаканников и налиты вином. Сначала сели напротив, вот только Адриан Иванович, как ни взглянет на Зизи, так и растают на ней жакетка и блузка, а также дамская белая сбруя. Нагая даже в одежде, она определённо сбивала его с мысли, поэтому пришлось пододвинуть стол и сесть рядом. Непривычно быстро, от стакана вина, опьянев, он был теперь занят тем, что изо всех сил удерживал руки при себе, однако Зизи сама придвинулась к нему, приобняла и положила его ладонь себе на бедро. Обеспечив, таким образом, продолжение телесного контакта, она, тоже заметно подшофе, похерила свой тщательно выстроенный образ провинциальной простушки и пустила в ход интеллект гимназистки-отличницы. Другими словами, принялась потрошить доктора Лаптева.

– Могу я узнать, кто эта Радка? Ты ведь называл меня Радкой в пароксизме страсти.

Адриан Иванович изумился. В пароксизме... э-э-э, страсти? Да быть того не может! Вот между пароксизмами... Точно, он припоминал кое-какие кувыркания с базельской резвущкой Гражиной, чтобы ловчее приспособиться к ослепительной Зизи, ведь та с невероятной, вдохновляющей покорностью шла навстречу всем его интервенциям. Но нужно было отвечать. Он симпровизировал:

– Учился я в Базеле с чехами, хорошие были ребята, перенял кой-чего и в языке...
Радка – это та, что тебя радует. А ты-то как меня обрадовала, дорогая!

Она захихикала. Ткнула тонким пальчиком в сторону куска кулебяки, купленной Адрианом Ивановичем на Сенном рынке и неровно разрезанной карманным перочинным ножиком. Себя он никогда не побаловал бы такой дорогой игрушкой – в кожаном футляре, со штопором и несколькими лезвиями. Рассчитывал, что подарит Коленке, когда парень подрастёт... А что она только что вымолвила, наша прелесть?

– Это твой именинный пирог, говорю? Любопытно мне, что сказали бы мученики Адриан да Наталия о нас с тобой? Разве не совершили мы грех кровосмешения, милый?

– Что нет, то нет, дорогая Зизи, – и он серьёзно, без улыбки, посмотрел в её русалочьи глаза. – Ты удивишься, но я уже успел подумать над этим. Скорее у нас получился левират, дважды..., нет, трижды вывороченный наизнанку.

– Что такое левират, я помню. Насчёт всего прочего, будь добр, поясни.

– А надо ли? Слушал я лекцию о брачных обычаях народов мира, тот учёный немец и такой странный вспоминал обычай, название забыл я, когда мужчина обязан жениться и на сёстрах жены. Это где-то на Востоке.

– И такое есть? Однако... Нет, я спрашивала, почему «трижды наизнанку»?

– Ну, с нетрезвого языка слетело, милая... Во-первых, все участники казуса живы, во-вторых, тут мужик с двумя сёстрами, а не женщина с двумя братьями. Ну и ты ведь старшая сестра, а не младший брат.

– Уж точно не младший брат, – захихикала она. – Однако же всё едино гореть нам с тобой в аду, милый.

Мнилось Адриану Ивановичу, что ей сейчас море по колено, что не стесняется его ничуть, что прямо при нём стала бы теперь плескаться над тазиком или даже присела бы на ночной горшок. Вот почему он заговорил с максимальной откровенностью, будто к своему alter ego обращался.

– Ада потустороннего нету, это древняя гипотеза, давно отброшенная наукой. Искренне верующие христиане – они, да, ещё при жизни мучаются в воображаемом аду, обещанном за грехи бессовестными попами. Но и верующих, и атеистов после смерти ожидает только одно – пустота. Отсутствие чего бы то ни было. Отсутствие даже осознания того, что ты в абсолютной пустоте. Знаешь ли, дорогая, я не признаю и юрисдикции над собой церковной морали: по мне, человек сам может выбрать в жизни правильное и гуманное решение. Но я ведь врач, а стало быть, позитивист и атеист как бы по определению, а ты, дорогая, ты ведь из религиозной семьи...

– Не так всё просто... Ты ведь по Катишь, небось, судишь?

– Ну да. Настанет церковный праздник – платочек на голову и вместе с Параской, домработницей нашей, вперёд во Владимирский собор, а вот детей я с ними не пускаю. Тиран этакий, Нерон прямо. Гонитель киевских христианок.

– До Нерона тебе далеко, дорогой... Что племянница моя Лиза крещена, само собой понятно, а вот уверен ли ты, что Катись потихоньку, в тайне от тебя, не окрестила и мальчика?

– Как я могу быть в этом уверен, дорогая? Но обряд не имеет никакого значения, если не воспринимать его как святое таинство. Я и не воспринимаю. Окрестила, так окрестила. А Коленька... Готов поспорить, что в скором времени городская молодёжь будет удивляться, как это предки верили в такую чепуху. Советская власть сделала главное – отделила школу от церкви, и теперь куда легче будет воспитать у молодых правильное научное мировоззрение.

– Однако же и словеса пошли... А моя религиозность была, как я со временем убедилась, обрядоверием. И утверждалась она на двух китах – на детском восхищении отцом Евлогием и на впечатлениях от литургий в Покровском соборе, где он служил протопопом. Потом я вышла замуж и мужем... А он имел техническое образование и прогрессивные взгляды... Мировоззрение, как ты сказал... В общем, была мужем увезена в Беловодскую слободу, а там ни подчёркнуто православной атмосферы в семье (а как же ещё, если дед Винцент родился католиком?), ни душечки отца Евлогия, ни сызмальства родного Покровского собора. Когда дошла до нас весть о расстреле папá и отца Евлогия, сунулась было я за утешением в беловодский Свято-Троицкий собор, однако, говоря коротко, не нашла у тамошнего попа чувства душевного, а в соборе – чарующую атмосферу церкви моего детства. Так что теперь по своему мировоззрению – какое же, однако, шершавое, будто наждачной бумагой обёрнутое слово! – я, скорее всего, агностик в юбке.

Весьма встревоженный опасностями тёмной заводи, куда заплыл бумажный кораблик их беседы, начавшейся так беспечно, Адриан Иванович торопливо разлил остатки вина по стаканам и провозгласил:

– Предлагаю тост за агностика в юбке! За то, что он ещё более убедительно философствует, когда юбку снимает!

– Вот этого не дождёшься, милый, – она криво улыбнулась. Вдруг лицо её исказилось, испуганному Адриану показалось, что вот-вот заплачет. – Вру я, вру! Если ты и в самом деле захочешь, я сниму юбку. Ты просто не представляешь, до чего я преисполнена благодарности к тебе... Нет, не только за то, что щедро одарил меня тем, чего я от своего муженька так и не...

– Давай лучше не будем об этом, – попросил он, и в самом деле чувствуя преогромную неловкость. – Зачем говорить о том, что и без того чувствуем. Но на всякий случай, если ты не угадала сама того же с моей стороны... Скажу только, что моя благодарность взаимна.

– Хорошо, а то мне и самой непонятно, как об интимностях говорить с мужчиной. Какими словами? С женщиной тоже не приходилось, не с кем было в Белых Водах. Это станица ведь, всем всё о друг дружке известно, и сказанное мной по секрету о муже через пару дней было бы доложено Сергею. Станица – это что такое? Это когда побываешь на селе и возвратишься, хоть бы и из Семикозовки, увидишь три церкви, двухэтажные дома, лавки да лабазы, принимаешь Белые воды за город и называешь Беловодском. А когда кто из настоящего города приедет, увидит он непролазную грязь и хаты, подумает, что это село, и называет станицей Белые воды.

– Своеобразный какой патриотизм... – ухмыльнулся Адриан Иванович.

– Да никакого патриотизма! – стукнул она по столу кулачком. – Я ненавижу эту станицу! Чека расстреливало людей тут, в Киеве, и в многострадальном Старобельске, но это делал правительственный орган большевиков, и в Чека служили евреи, латыши и китайцы, на что всегда можно сослаться, если хочешь оправдать русских большевиков!

– И левых эсеров достаточно было, – буркнул он. – И русских по рождению.

– Ты меня не дослушал. Так вот, я могу засвидетельствовать, что в Беловодске не было никаких большевиков! Это крестьяне-повстанцы, украинское и русское простонародье заодно, делали свою мужицкую революцию, просто убивая и грабя богатых людей и офицеров. Там была своя местная «знать», в кавычках, конечно. Выше всех располагался купец-миллионер Семён Иванович Дугин с женой и дочерью. Жил в настоящем дворце и до того чванился, что в праздник элементарно не отвечал на поклоны моего Сергея и прочих мелких чиновников. Понятно, что простонародью досадил куда серьёзней. Так первым и угодил под лёд уже в начале восемнадцатого вместе со своими надменными бабами: весной всплыл на пару с одной из них, но кто это был, жена или сестра, зеваки не сумели установить. Или Дугин не так погиб? Но что была такая история с местным воротилой, это уж точно помню... А потом началось уж вовсе невообразимое.

– Давай-ка лучше выпьем, пока тост не забыли, – предложил Адриан Иванович, обдумывая ситуацию.

– Весь восемнадцатый год мужики Беловодска и окрестных сёл бунтовали против всех властей, кроме советской, от гетмана и немцев начиная и белыми заканчивая, нарывались на карательные экспедиции, хоронили своих убитых и в отместку убивали «господ». Тогда опять появлялись каратели. Всё завершилось рождественским бунтом

девятнадцатого года, когда казаки и офицеры закрылись в домище Дугина, а мужики, захватив, кроме этой крепости, весь город, и почти не имея настоящего оружия, пытались их оттуда выкурить. Тогда погибли даже священники, при этом один из попов Николаевской церкви, отец Анатолий, обезумел, взял сторону мужиков и бегал с вилами за казаками. Я удивляюсь, как не поседела тогда, милый.

– А твой муж, он какую позицию занял во время восстания?

– Ту позицию, что сидел в подвале рядом со мной. А потом, когда в ворота к нам стучали, а потом и в дом вламывались, мы перебрались в погреб соседней хаты, тогда пустовавшей. Убивали ведь и штатских чиновников, чины которых соответствовали военным. То есть более или менее значительным... Так погибли наши знаменитые коннозаводчики, штатские генерал и полковник, один за другим. Мой Сергей трясся от страха, хоть и был только коллежским секретарём, а по-военному поручиком. Его мог выдать курьер почтово-телеграфной конторы Ванька Степаненко, оказавшийся вдруг активным повстанцем. Весной белые его арестовали за убийство казачьих офицеров и расстреляли вместе с прочими у речки, в том месте, где всплыли трупы жертв. И начальник конторы пережил восстание, а уже летом уехал вместе с белыми, когда те отступали.

– А мне казалось, что телеграфисты нужны и белым, и красным, вот их и не трогают, – заметил глубокомысленно доктор Лаптев. Ему в тот момент было плевать на всех телеграфистов на свете, даже на мужа Зизи. Совсем о других вещах он думал, не убирая руку с её горячего бедра.

– Странно, но то же самое Махно говорил моему мужу, когда Сергей дымился от усердия, обеспечивая его телеграфные переговоры с красными в Харькове... С Фрунзе, кажется. А мужикам для чего телеграф? Все бунты начинались одинаково: связь пропадала – оттого, что перерезали провод. А тост?

– А тост? – воодушевился он.

– Мой тост за тебя, милый! Ты дал мне то, чего я трусливо желала, как ты выразился. Мечтала, что заведу в Киеве любовника, и этим подвигом дам жизни щелчок по носу. Киев-то ведь огромный, ему безразлично, если какая-то старорежимная шалава не первой молодости (да, да! И не возражай!), пойдёт налево, как мужики в Белых Водах говорят.

– Я разве так выразился? – удивился он. – Ладно, пусть...

– При всём при этом я прекрасно понимала, что, во-первых, скорее всего не решусь повеситься на шею какому-нибудь потасканному жуиру. А во-вторых, воображала будущего любовника киевским непманом, скоробогачом, богато, но безвкусно одетым, с

жирными, набриолиненными волосами. И что у него короткие и толстые пальцы в золотых перстнях.

– И с липкими ладонями, – усмехнулся Адриан Иванович.

– Почему с липкими? – распахнула она свои глазищи.

– Потому что такие типы не моют рук, вот почему. Кстати, всё не соберусь тебе сказать... Или места в разговоре не могу найти, куда с этим вклиниться... Послушай, тут есть ванная комната, но ванна в таком состоянии, что пользоваться ею можно только как поддоном для душа. И обязательно заведи резиновые сандалии! Впрочем, я могу принести хлорамина...

– Не сбивай меня! Ты, милый, избавил меня от душевных терзаний. Наша с тобой связь не свободна от грязи, но только метафизической... Я правильно сказала?

Адриан Иванович поставил стакан на стол и зааплодировал.

– Ну, вот, не ошиблась, слава Богу... Но мне плевать на метафизическую грязь. А руки ты моешь... За тебя!

XXIII

Не дослушав сдержанные поправки жены, Адриан Иванович тем поздним вечером заснул, едва голова коснулась подушки. По дороге домой он успел продумать ситуацию и пришёл к выводу: если уж повезло тебе заполучить в свои медвежьи лапы столь пленительное создание, значит, воспринимай, счастливцев, Зизи такой, какая есть, со всем грузом психологических комплексов, заработанных за десять лет прозябания в Беловодске. И если бы только прозябания? Жизни в страхе! Рядом с мужчиной, который не может защитить ни её, ни себя самого. Каким мучительным было, наверное, избавление Зизи от иллюзий о муже! Ведь её Сергей даже не решился убежать, как поступили очень многие беловодские буржуи, чиновники и учителя гимназии. Когда поведала Зизи об этом исходе местной культурной прослойки, Адриан Иванович заикнулся, что она могла занять вакансию в школе или там в библиотеке. И в ответ получил рассказ о том, как окрестные мужики принялись бунтовать уже против советской власти, стоило большевикам пустить в ход продрозвёрстку. В мирном двадцать первом году бандитский атаман Саенко захватил Беловодск, зарубил милиционеров, разграбил казначейство и сжёг городскую библиотеку. А школы были в таком состоянии, что из уездного наробраза поступило указание оставшимся учителям собирать книги в брошенных домах и хоть чему-нибудь учить по ним детей...

И это просто замечательно, что он, надеясь совсем на другое, блюдя свой мужской интерес, догадался снять для неё эту комнату в «Затишке П. Л. Синюхи». Зизи освободится от бытового соседства с провинциальными комсомолками, отдохнёт от местечкового жлобства, придёт в себя, расправит свои тонкие плечики... Если захочет, пригласит его к себе снова. В таком случае их отношения неизбежно окрасятся таким «Ты мне, я тебе», но тут уже ничего не поделаешь. За женщину нужно платить, такова тысячелетняя неписанная традиция. И разве чуткая Зизи не пыталась смягчить для него эту неприятную коллизию? Иначе не мог Адриан Иванович воспринять лестную оценку себя как любовника, уж такой он недоверчивый человек.

Утром он наскоро прошёлся по канве этих мыслей и не успел дочистить зубы, как выработал принципы своего дальнейшего поведения. В субботу повёл обеих сестёр и Лизочка в Оперный на «Евгения Онегина», при этом Параску пришлось оставить дома с малышом. Они поднялись по Фундуклеевской пешком, и Адриан Иванович испытал странное, но приятное чувство, сопровождая принаряженное семейство по маршруту, которым каждый день бегал в больницу. Внутри примелькавшегося здания доктору Лаптеву открылся новый волшебный мир, выпускник Базельского университета проклял культурный аскетизм своего слишком уж рационального образования и горько пожалел об упущенном времени. В полном смятении чувств пребывая, на вопросе Татьяны «Кто ты – мой ангел ли спаситель, Или коварный искуситель?» он поймал на себе вдруг лукавый взгляд Зизи.

Жертва коварного искусителя ещё трижды ужинала у Лаптевых и забегала несколько раз в свой обеденный перерыв, когда глава семейства был на службе. Любовники встречались в мебелирашках на Святославской при первой же возможности, и провели там взаперти с утра до вечера восхитительное воскресенье. В версии для Катишь это прозвучало как коммунистический воскресник по уборке территории в Александровской больнице, и добровольному труженику пришлось изворачиваться, когда такой воскресник был действительно объявлен перед празднованием «восьмой ричныци» Октябрьской революции. В октябре пошли дожди, в комнате на Святославской его встречал сырой холод, но чувства их с Зизи согревали постель, а психологическая гармония достигла уровня, испугавшего Адриана Ивановича, как только он удосужился о ней задуматься.

В начале ноября закончилась сессия на курсах медсестёр, и Зизи уехала. Адриан Иванович предпочёл не отпрашиваться со службы, поэтому на вокзале её провожала и на харьковский поезд посадила сестра. Он сделал пленительной подруге ещё один подарок, купив билет во второй класс, со спальными местами и постельным бельём. Эпоха, когда

страну пересекали в битком набитых теплушках или на крышах вагонов, уходила в прошлое.

Катишь поддерживала переписку с Зизи, а Адриан Иванович, завидев жену за письмом, всякий раз просил передать привет. И каждый раз после этого у него шумело в ушах, потому что давление поднималось. К июню, когда Зизи снова приехала в Киев на летнюю сессию, у Адриана Ивановича уже сформировалось чёткое представление о том, что ей удалось, о том даже и не догадываясь, совершить деяние, на которое оказалась неспособна Катишь. Удалось вылечить от психологической травмы, нанесённой проституткой Мими в борделе на Краковской в Ломже вот уже двенадцать лет тому назад. Образ Мими, стыдно притягательной и до рвоты отвратительной в то же самое время, поблёк в его воспоминаниях и теперь вызывал не больше стыда и презрения к самому себе, чем юношеская влюблённость в односельчанку Фёклу, в ту, с фигурой, как у гитары.

На сей раз Адриан Иванович тайно встретил Зизи на вокзале и сразу же, на извозчике, отвёз на Святославскую. Дела у предприимчивого Панька пошли в гору, и теперь комнату для Зизи пришлось зарезервировать. Она оказалась поменьше, чем прошлогодняя, и соседние меблированные комнаты на сей раз не пустовали, но место оставалось сравнительно тихим и, как выразилась Зизи, «вполне приличным». Пришлось тут же расстаться: Зизи привела себя в порядок после дороги и помчалась на курсы, ему же надо было как можно скорее возвратиться в больницу.

Они встретились в меблирашках под вечер и немало насмешили друг друга, когда, впервые обнявшись за запертой дверью, разом, как по команде, облегченно вздохнули.

– Как два авгура, вот только не улыбнулись, – промолвила Зизи, развязывая на зяте галстук.

Ему тогда было вовсе не до авгуров, и что это за фрукты, установил позднее, заглянув в больничный «Брокгауз и Эфрон». Сладость прикосновений к Зизи гротескно усиливалась близкой разлукой и, скорее всего, разлукой навсегда. Наступило время разговоров, и Адриан Иванович не вполне по теме перебил Зизи, щебетавшую о первом дне летней сессии, сообщением о том, что через пару месяцев перевезёт семью в Краснодар. Она как раз перебирала завитки волос у него на груди, и почти тотчас же её шаловливые пальцы остановились.

– Как же ты решаешься бросить... – Зизи замялась, проглотила слюну и продолжила с немалым пафосом. – Бросить такую прекрасную квартиру в самом центре Киева?

– Ну, дорогая, жильё здесь не главное, – возразил он, притворившись, что ничего не заметил. – Можно самую прекрасную квартиру занимать, а при том ощущать себя человеком второго сорта.

– Разве здесь воспринимают тебя (я подчеркиваю: тебя!) как человека второго сорта?

Адриан Иванович уловил безразличие её вопроса, но предпочёл сформулировать мысли, давно уже не дающие ему покоя:

– Уже понятно, что наши вожди не собираются выстраивать ту же империю, что и Пётр Первый, только красную. Будет союз национальных республик, не слишком уж независимых, правду сказать, зато национальных на всю катушку. Разработана специальная программа «коренизации» республик, у нас здесь оно называется «украинизацией». Поставлена задача добиться, чтобы в республиках представители коренной национальности, грузины, например, играли первую скрипку в политике, в культуре, в экономике, одним словом, везде. А это значит, что на Украине должны верховодить украинцы, а не русские или евреи.

– Но разве не именно евреи теперь, после смерти Ленина, – оттопырила Зизи свою прелестную губку, – вот именно и верховодят сейчас в Москве?

– Нет, на самом деле нет. Но речь не о них. А что оно такое украинизация, я сейчас объясню. Вывески теперь разрешаются только украинские. С вывесками в Киеве уже в гражданскую была комедия, ведь власть сменялась слишком часто. Теперь снова приказано иметь только украинские, так что русскому человеку, бывает, сразу и не понять, о чём речь. «Пэрукарня», к примеру, или «Йидальня», или «Укрнархарч». Да что вывески? Выписывали мы местную газету «Пролетарская правда», а теперь она выходит на украинском языке. Оттого мировые новости мы узнаем на полдня позже, чем добрые люди, потому что материалы ТАСС надо ещё перевести с русского.

– ТАСС – это что?

– Это вместо РОСТА, Российского телеграфного агентства, дорогая... Помнишь, мы ходили здесь на «Евгения Онегина»? Так вот, оказалось, что это последние спектакли на русском языке. Знаешь, я специально поинтересовался, как будет теперь звучать вопрос Татьяны в арии... Ну, когда она перепевает своё письмо Онегину, ты ещё на меня под эту фразу исподтишка посмотрела и усмехнулась, хитрюга... Приблизительно так: «Хто ты, чы мий янгол-зберигач, Або пидступный зваблювач?». Представляешь, дорогая?

– Не представляю, милый. Хоть тот момент и помню... Но ты ведь сам говорил, что слушал оперу тогда во второй раз в жизни. Так что небольшая, смею думать, для тебя

потеря... Кроме того, в опере главное всё-таки – музыка, и ещё можно ведь ходить только на балеты.

– Во второй, не во второй раз... Зато теперь повадился на Евбаз охотиться за пластинками с ариями из опер. Музыка, говоришь... Отныне в репертуаре будут преобладать оперы украинских композиторов. А балеты здесь не ставятся, я слышал, с девятнадцатого года, после того, как уехал знаменитый танцовщик Мордкин. Однако я вовсе не о том. Ты права, оперы на украинском можно было бы перетерпеть, тем более, что русская культура официально не запрещена. Ещё чего не хватало – ведь не Петлюра же у власти, в самом-то деле! Есть вон выше по Фундуклеевской, ближе ко Крещатику, русский драматический театр. Нет, дело вовсе не в этом.

Да, дело вовсе не в этом. И вовсе не украинизация его беспокоит сейчас на самом деле. Вот Зизи на сей раз привезла большой и тяжёлый чемодан, обвязанный верёвками – неужели всё своё барахлишко прихватила? Неужели решила сама развестись и от него потребовать развода? Такой переворот отчаянно неуместен сейчас, да и вообще: ему же уже под сорок, и приходится ответственно относиться к жизни. Да, между ними – интимный праздник, между ними гармония, а в оставленной семье воцарится хаос и бедность. Квартира – ведомственная, её не разменять, стало быть, пришлось бы для Катишь, детей и Параски снимать ещё одну, на это даже его зарплаты, крепко дотированной частной практикой, не станет...

– Тогда в чём же дело, милый?

– Начальство хочет, чтобы всё делопроизводство шло на украинском. А профессия врача связана с писанием бумаг, знаешь ли. Я не раз обещал заведующему не только записаться на курсы украинского языка, но и посещать занятия. Увы, нет у меня на такую учёбу свободного времени. В перспективе моё непосещение классов закончится строгачом, а то и увольнением. А за что? Разве я не имею права пользоваться тем языком, каким желаю? Далее, я этнический русак. Если украинизация будет продолжаться и углубляться, а к тому идёт, мне будет закрыта дальнейшая карьера, а мой заведующий отделением, милейший еврей, принуждён будет уступить свою должность этническому украинцу. Разве это справедливо, дорогая?

Зизи ответила не сразу. Тонкую свою руку она сняла с его груди, но лежала по-прежнему на боку. Хотела было перевернуться на живот, скорчила гримаску, передумала – и приняла свою излюбленную позу: на спине, с руками за головой, а ноги подняв на спинку кровати. У другой тридцатилетней женщины груди растеклись бы в стороны некрасиво, а у неё только изменили форму, превратившись в круглые холмики.

– Наверное, несправедливо, милый. До Беловодска эта самая украинизация ещё не доехала, поэтому твои слова для меня новость. Однако я согласна, что наши права, русских людей, нарушены. Даже царём-батюшкой пахнет. При нём ведь невозможно было бы представить мордвина или татарина премьер-министром.

«Несправедливо иное, умница ты моя. Несправедливо, что ещё два месяца – и я не смогу тебя увидеть обнажённой и рядом с собой на белой простыне. Несправедливо, что мы вынуждены расстаться и что нас разлучает придуманная в кремлёвских кабинетах «коренизация» – хоть я уже успел укорениться в тебе, а ты, надеюсь на это и боюсь этого, во мне навсегда». Но вместо этих слов Адриан Иванович продолжил свою филиппику.

– Ещё школа. Школы будут все украинские. Я не хотел бы, чтобы мои дети учились только литературному украинскому языку и всю мировую культуру воспринимали бы через его призму, а дома со мной говорили бы на ломаном, засорённом чужими словами русском. Зачем мне и им эти лишние сложности? Особенно насчёт мировой культуры, ведь переводов на русский язык делается неизмеримо больше, чем на украинский. Сам я постыдно необразованный, знаю только кое-что в своей медицине, а детям не желаю такой же кривой судьбы.

– Ты открываешься передо мной с новой стороны, милый, – медленно, не глядя, промолвила Зизи. – Я давно поняла, что ты чертовски умён, но ты также умеешь, выходит, заглядывать вперёд.

– О если бы! Тогда из Старобельска я повёз бы семью в Москву или в Петроград.

– Теперь это Ленинград, милый.

– Зачем переименовывать города? Я признаю, что это Ленинград, только если услышу, что сами питерцы так его называют. Однако дай договорить! Я не против украинского народа или его языка, поверь! Но за годы Российской империи многие города на Восточной Украине заговорили по-русски. Наш Киев был при царях русским чиновничьим городом, а теперь его хотят сделать украинским чиновничьим городом. Бог в помощь! Но без меня, товарищи...

– Послушай, но ведь столица теперь – Харьков...

– Харьков, как пришлось услышать, труднее украинизировать, и столица, скорее всего, будет перенесена сюда. Вообще, мне кажется, это две естественные столицы для Украины, и они между собой в таком же соотношении, как Москва и Петроград. Киев более древен и культурен, но чересчур близок к западной границе, вроде Петрограда. Знаешь, я не хотел признаваться тебе в этом или собирался сказать после... Пойми, я хочу уехать туда, куда во время следующей войны не сможет дойти враг-иноземец. А Киев недавно брали и германцы, и даже поляки. Я побывал в немецком плену, и мне этого

хватило на всю жизнь. Я больше не хочу. Я поеду в РСФСР, где не буду человеком второго сорта. С первого сентября я начинаю читать лекции в Краснодарском медицинском институте.

– Послушай, милый, а почему бы теперь тебе не исправить ошибку и не переехать в Москву или в Ленинград?

Он крикнул. Как только оживилась научная и академическая жизнь, а в центральных газетах появились объявления о конкурсах на замещение должностей преподавателей высшей школы, доктор Лаптев принялся лихорадочно рассылать копии своих документов. Увы, в столичных вузах отдавали предпочтение собственным выпускникам, и заверенная киевским нотариусом копия докторского диплома Адриана Ивановича произвела впечатление только на конкурсную комиссию Кубанского мединститута, вуза нового, открытого только пять лет тому назад. Но зачем знать об этом Зизи? Ведь есть ещё одна причина.

– Ты, небось, слышала, дорогая, у меня в груди хрипы...

– Да, и решила, что это от страсти, – хихикнула она.

– Не смею с тобой спорить, но... Ходил я на приём к лучшему пульмонологу Киева, и профессор Феофил Гаврилович Яновский, узнав, что мне на фронте пришлось хлебнуть отравляющего газа, посоветовал как можно скорее переселяться на Юг. Увы...

– Бедный...

Зизи уткнулась носом в коврик на стене и тихонько заплакала. Он прекрасно понимал, что именно она на самом деле оплакивает, и смотрел на её безумно соблазнительную спинку дурак дураком. Одновременно казнил себя, бесчувственного – и вдруг испытал к ней и себе такую пронзительную жалость, что едва не застонал в голос. Жалость преобразилась в не менее сильное желание. Он принялся целовать то самое любимое своё местечко между левой (или правой?) лопаткой и родинкой. Постепенно ему удалось утешить её. Известным способом, конечно, и хоть время сильно поджимало, он пережил одно из самых ярких слияний в своей жизни, а Зизи снова, как в первую их встречу, потеряла сознание.

И Адриан Иванович, когда внутри всё успокоилось, забылся на мгновение. Вынырнув же из сладкой и печальной дрёмы, первым делом посмотрел на часы. Они, с отщёлкнутой крышкой, лежали на краю стола, на боку, циферблатом ко кровати, и цепочка натянулась от них к пиджаку, сегодня аккуратно повешенному на спинку стула. Эта постановка для натюрморта, с виду случайная, позволяла незаметно следить за временем. Увы, в этом часу он обычно подходил к своему подъезду, но ещё оставалась возможность соврать, что пришлось принять пациента, когда собирался уже домой.

Зизи открыла глаза. Заговорила, будто сама себе свой же сон рассказывала:

– Мне очень хорошо с тобой, милый. По многим признакам судя, и ты можешь сказать то же самое. Как жаль, что наш язык так беден, что без матерных слов или твоей медицинской тарабарщины мы не можем обсудить самых важных, быть может, в нашей жизни вещей!

Он хотел было ответить, что едва ли тут нужны слова, но обошёлся утвердительным мычанием. Зизи продолжила:

– Ты согласен, я ведь правильно поняла? Так вот, совершенно естественно было с моей стороны вспомнить нашу первую встречу в Старобельске и прикинуть, не было ли у нас шанса сойтись уже тогда и вместе куда счастливей прожить эти десять лет. Я представляю, как быстро они пролетели для тебя, милый!

– Какая шальная мысль! – искренне восхитился Адриан Иванович. И тут же дал задний ход. – Но и... утопичная, что ли.

– Ты потом пояснишь, милый, что помешало бы тебе влюбиться в меня. А я вот уж точно не смогла бы тогда увлечься тобой... Ты просто не представляешь, как изменился за десятилетие. Ну, кем ты был в конце четырнадцатого? Обычным унтером с по-солдатски сметливой физиономией, вытаращенными глазами и усами щёткой, как у городского. А я была влюблена в своего Сергея... Но это особая, теперь болезненная для меня тема, милый.

– Хорошо, не будем об этом. Как и о моем безумном подвиге, когда посватался к Катишь. С тем сватовством были связаны очень уж неприятные для меня переживания, и не хотелось бы, чтобы ты проболталась об этом сестре...

– Я? Проболталась? Плохо же ты обо мне думаешь, любовничек!

– А у меня не раз возникало ощущение, что Катишь известно о наших отношениях...

– Ну, я-то ей ни в чём не признавалась... Чтобы получить от нашей тихони вилкой в бок? Ты, кстати, теперь должен был бы узнать её лучше меня, за эти-то годы.

– Я предпочёл бы снова вернуться к старобельским событиям десятилетней давности. Знаешь ли, теперь, когда рядом со мной Лизочек и Коленька, это сватовство к твоей сестре не кажется мне таким уж и безумным... Но меня заинтересовал мой тогдашний портрет, тобой нарисованный. Ведь по внутреннему ощущению я такой же, как тогда, я не изменился. Стало быть, молодой был я плох для тебя, а теперь, потасканный жизнью, вдруг стал хорош?

Красиво вырезанные глаза Зизи вдруг засияли.

– Да! Да! Да! Был ты неинтересный унтер, а стал вальяжным, интеллигентным, очень самоуверенным мужчиной с небрежным этаким европейским шиком. Ты там, в Базеле, учился, грыз гранит науки, и одновременно прекрасные здания, городские скульптуры и фонтаны, ты же мне о них рассказывал, весь европейский город незаметно причёсывал тебя под свою гребёнку. Ты того сам не ощущал, но в это же время ты бессознательно подстраивался под швейцарских горожан, чтобы не выделяться среди них. Вот ты и изменился, дорогой.

– То есть действовала мимикрия, а руссише студиозиус Лаптев вёл себя наподобие хамелеона... – усмехнулся он.

– Да! Вот именно! Это в природе человека. Когда наши пленные вернулись из Японии, у большинства из них глаза были щёлочками, а рост уменьшился. А я... Если бы ты знал, скольких душевных сил стоило мне удержаться и не повязать на голову платок, не заговорить на местном нелепом наречии, чтобы не выделяться среди беловодских мещанок! Мимикрия? Да, она бывает разной...

– Сначала собрался я было на тебя обидеться, дорогая, но... Послушай, а я-то думал, что мне этаким шарм придают следы пережитых страданий на войне. То есть те несколько лет в окопах.

– Нет, милый. Вон наши беловодские мужики не меньше тебя просидели в окопах, а как были тупыми хамами, так ими и остались.

Адриан Иванович кивнул. Очевидно, страдания могут благотворно подействовать только на душевно богатого человека, а там кто его знает... Нельзя сказать, чтобы его не задел собственный портрет конца четырнадцатого года, сохранённый памятью Зизи. Впоследствии он не раз сожалел, что сдержал тогда в себе желание отомстить и не стал выпрашивать у неё, почему всё-таки влюбилась в своего драгоценного Сергея.

Снова сходили всем семейством в оперу, теперь на «Запорожца за Дунаем», сбегали вдвоём с Зизи в киношку, при этом дважды на одну и ту же фильму, «Закройщик из Торжка». В первый раз, чтобы целоваться в последнем ряду под небрежное бреньканье тапёра и смех зрителей, а повторно, чтобы всё-таки и фильмой со знаменитым комиком Игорем Ильинским поразвлечься. На сей раз, лаская нежную ручку свояченицы своими мужицкими лапами, доктор Лаптев порадовался, что в Киеве, в отличие от славного града Торжка, есть водопровод и что знаменитый киноартист столь же умеренно кривоног, как и он.

Потом расстался Адриан Иванович со сладкой Зизи, а там и с прекрасным Киевом. Переезд в Краснодар получился сказочно комфортным, при этом мебель была отправлена малой скоростью в багажном вагоне. Маленький южный город доктор Лаптев представлял

себе куда более мелким и провинциальным, чем Краснодар оказался на самом деле, поэтому разочарования удалось избежать. Только Лизочек первое время задирала перед соседской ребятней нос как путешественница из миллионного города. Тогда Лаптевы ещё снимали квартиру, потом удалось выкупить пай в жилищном кооперативе при профсоюзе медиков Краснодара.

При устройстве на службу не обошлось без шероховатостей, прежде всего, потому, что основатель института, его первый ректор, известный патологоанатом профессор Мельников-Разведенков (он, собственно, и выписал из Киева Адриана Ивановича), как раз переехал в Харьков, где основал Украинский патологоанатомический институт. Поговаривали, что в Краснодаре милейшему чудаку Николаю Федотовичу негде было развернуться по своей основной специальности. Ведь институт занял здание, построенное для семинарии, и прозекторской в нём не было. Занятия по анатомии проходили на задах военного госпиталя, и студенты сами вытаскивали трупы из морга на лужайку.

После отъезда первого ректора в институте начались разброд и шатания, старая профессура конфликтовала с новыми преподавателями, набранными из закончивших курс студентов с заслугами перед советской властью. При ближайшем знакомстве доктор Лаптев выяснил, что некоторые из профессоров в своё время сбежали на юг из советских Петрограда и Москвы. Иные из них предпочли бы эмиграцию, но просто не сумели выехать, когда граница была открыта. Любопытно, что в Краснодаре, в ста двадцати верстах от моря, такая неприятность называлась иносказательно: дескать, «море не пустило».

Адриан Иванович не сразу разобрался в сложившейся в мединституте ситуации. Сначала его удивило, что прежний ректор был, оказывается, членом-корреспондентом Всеукраинской академии наук, а в Харьков вот именно вернулся, ведь преподавал в тамошнем университете с начала века. Как выяснилось, доктора Лаптева подвела его общекультурная необразованность! Краснодар оказался столицей кубанских казаков, а из них многие сохраняли язык и некоторые особенности быта своих предков-запорожцев. Но хотя развитие украинской культуры не подавлялось, а скорее, поддерживалось, в Кубанском крае как части РСФСР никакой принудительной «коренизации» не происходило.

Успокоившись на сей счёт, Адриан Иванович обнаружил, что ему придётся определить свою позицию в упорном противостоянии двух лагерей среди преподавателей института, а именно, примкнуть либо к адептам медицинского «академизма», либо к упорным приверженцам «фельдшеризма». Как получивший европейское медицинское образование и учёную степень, он, естественно, должен был выбрать профессуру, что и

сделал. Однако его, и тут был парадокс, числили среди своих и преподаватели-«фельдшера» – как бывшего ротного фельдшера-фронтовика, как большевика с дореволюционным стажем и участника штурма Зимнего.

Впоследствии Адриан Иванович пришёл к выводу, что явление «фельдшеризма» возникло на оборотной стороне замечательной демократизации медицинского обслуживания. Доступ к современной медицинской помощи открылся для широчайших слоёв деревенского люда, до этого обходившихся помощью знахарки, однако сразу же обзавестись необходимым для этого количеством настоящих врачей страна могла разве что по мановению волшебной палочки. Когда Кубанский мединститут набирал в двадцатом году первых своих студентов, право поступления без экзаменов получили фельдшера, в том числе и ротные, с вообще минимальными медицинскими знаниями, тогда как гражданские фельдшера имели за плечами четырёхлетнее профессиональное обучение в училищах. Студенты-медики из фельдшеров свысока поглядывали на бывших школьников и школьниц. Старые профессора жаловались, что «Клятва Гиппократата» для этих цинических практиков только звук пустой, над гуманистическим осмыслением медицинской деятельности они смеются, а учатся для того только, чтобы получить дипломы и больше зарабатывать. Медицину разумели они, словно в средневековье, только как сумму традиционных навыков и умений. Медик в их понимании мало чем отличался от слесаря. Можно было найти в «фельдшеризме» и определённое соответствие духу времени: именно тогда футуристы провозгласили, что поэт – это рабочий, он «делает стихи». Говорили, что пятилетняя учёба только расширила специальные знания таких студентов, так и не воспитав из них настоящих врачей, вроде прежних земских. А в том учебном году, когда доктор Лаптев был принят на должность исполняющего обязанности профессора, часть «фельдшеров» была зачислена в аспирантуру и в младший преподавательский состав. Поскольку же большинство из них так или иначе участвовали в революции и в гражданской войне на стороне «красных», эти полужайки претендовали на руководство кафедрами и лабораториями. Тем более, что тогда в СССР никого не удивляло назначение ректором вуза студента первого или второго курса.

Административная карьера не привлекала Адриана Ивановича, он видел свой путь в научных исследованиях. Если в Александровской больнице у него было немного возможностей поработать в лаборатории, то фармакологическая лаборатория Кубанского мединститута радушно открыла ему двери. Микроскопы фирмы «Карл Райхерт» с новейшими объективами были великолепны, и доктор Лаптев получил возможность выписывать нужные ему химикаты из Москвы. В начале лета и осенью он во главе студентов-практикантов бродил по окрестным лесам, собирая материал для анализов.

Когда оказалось, что по новым правилам для избрания на должность профессора недостаточно базельской степени доктора медицины, Адриан Иванович объявил тему докторской диссертации теперь уже российско-советского образца: «Современные методы лечения сифилиса». Основная борьба с бледной трепонемой возлагалась на салварсан, а средства народной медицины должны были использоваться для сопутствующей терапии. Новую стратегию лечения и полученные результаты удалось опубликовать в немецких медицинских журналах. Защитив в Москве вторую докторскую диссертацию и став полноправным профессором, не стал Адриан Иванович отказываться и от частной практики.

Дни, наполненные трудами и размышлениями, складывались в недели, недели в месяцы... Время летело. Дети подрастали, при этом Лизочек вдруг начала взрослеть – катастрофически, пугая возможными последствиями отца, у него у самого поседели виски, Катишь, по-прежнему сидевшая на хозяйстве, точнее, командовавшая новой домработницей, становилась всё более раздражительной, а внешне стала напоминать мужу одну из своих дальних родственниц, старую деву в пенсне из бабского ареопага Дементьевых, перед которым довелось ему некогда предстать в Старобельске. Отнюдь не склонный к философии, доктор Лаптев всё же испугался, осознав, что поле предстоящей ему впереди жизни неуклонно сокращается, а отрезок её, оставшийся позади, зияет пустотами бессмысленно прожитых лет, чему причиной не только внешние обстоятельства, но и собственная лень и бездарность.

К самому концу двадцатых, пережив болезненный период удушения НЭПа, когда Адриану Ивановичу, всегда весьма аккуратно выплачивавшему налоги, сильно досаждали беспардонные фининспекторы, он пришёл к более взвешенной оценке своих достижений: и то немало, что жив (а многие, бывшие рядом, уже в земле лежат) и практически здоров, а в медицине сделал, мол, что смог. Партийная же деятельность его долгое время сводилась к уплате членских взносов, а также к рассказам на октябрьские праздники в различных аудиториях о штурме Зимнего. Однако суровая советская действительность в своём всё более спонтанном и непредсказуемом развитии не позволила доктору Лаптеву почивать на лаврах. Сначала грянула сплошная коллективизация, когда во время командировки от крайкома партии он чуть не лишился партбилета. Потом постоянная нехватка хлеба, вызвавшая позорное в мирное время введение в городах продуктовых карточек, обернулась ужасным голодом тридцать второго года. Горестно поразило тогда доктора Лаптева известие, что трупы крестьян, умерших от голода на улицах Киева, складывались, между прочими местами, и в двух шагах от его последней киевской квартиры, на Гершуни, напротив бывших Высших женских курсов. Заезжий киевлянин

поведал также, что знакомец Адриана Ивановича, почти сосед, обитающий тоже рядом, в начале Гоголевской, университетский профессор-филолог, выжил вместе с семьёй только потому, что сдал в Торгсин свою и женину золотые медали – её гимназическую, а свою университетскую, «За лучшую научную студенческую работу».

Выслушав командированного, профессора-медики, собравшиеся за бутылкой спирта, заткнутого ваткой, на запертой изнутри кафедре общей хирургии, переглянулись – и дружно промолчали. На Северном Кавказе тоже свирепствовал голод, и много чего ужасного мог бы каждый из них рассказать киевлянину, вот только все были научены жизнью держать язык за зубами, а в данном случае ещё и опасались малознакомого собеседника: он в равной степени мог оказаться как беспечным болтуном, так и сексотом или провокатором. Только доктор Лаптев усмехнулся тогда. Краснодарское отделение Торгсина не сумело поживиться на его семье: Катишь наотрез отказалась менять на продукты или торгсиновские рубли свою долю фамильных драгоценностей, и семья жила впроголодь, спуская на чёрном рынке запас бумажных рублей, скопленный частной практикой отца и кормильца. Правда, Адриану Ивановичу пришлось сдать по цене серебряного лома свои наградные часы, но он пошёл на эту жертву потому, что надпись на них стала опасной. А там и с продуктами полегчало.

Сколотив капиталы на индустриализацию, государство сочло нецелесообразным вошедшее в привычку обыкновение морить голодом своих граждан, ведь им предстояло, хотят они этого или не хотят, ударными темпами строить социализм. Снабжение горожан продовольствием постепенно наладилось, в тридцать пятом году карточки были отменены, вождь провозгласил: «Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее». Уж кому-кому, а профессуре в материальном плане так уж точно теперь не на что стало жаловаться. Даже доктор Лаптев, на себя вечно жалеющий денег, сшил два новых костюма-двойки с кургузыми пиджачками и широкими штанинами. И как признание своих научно-медицинских заслуг расценил включение себя в делегацию от СССР на Международную научную конференцию по применению неосальварсана при лечении сифилиса. Конференция, посвящённая памяти Пауля Эрлиха, состоялась во Франкфурте-на-Майне весной 1937 года.

XXIV

Всегда организованный и внешне пунктуальный (а что внутри делается, это уже другой коленкор) Адриан Иванович приехал в Москву даже несколько ранее назначенного для членов делегации времени. Для него была оставлена броня на номер в «Метрополе», и

появилась возможность побродить по столице перед отлётом. После южной теплыни показалось ему здесь холодновато, пришлось подниматься снова в номер, чтобы достать из чемодана шарф и перчатки. Номер получил на одного, с телефоном и горячей водой в ванной комнате – комфорт просто зашкаливал.

Снова спустился он в лифте и через роскошный вестибюль снова вышел на Театральную площадь. Ободранная и заплёванная, шуршащая под ногами шелухой от семечек и всяческим мелким мусором, Москва девятнадцатого года вспомнилась тогда Адриану Ивановичу, и показалось было, что совсем не в том же городе он теперь оказался. В этом чинном, строгом и чинно выметенном центре дворники в белых передниках безукоризненно поддерживали чистоту и, надо думать, столь же безукоризненно составляли одну из первичных сетей оповещения для вездесущего НКВД. Прохожие на тротуарах и пересекающие площадь будто в фильме снимались: настолько аккуратно и чисто были одеты, такие начищенные имели ботинки и сапоги. Много людей в форме, словно в имперские времена, а многие по новой моде в полувоенном. Подсмеивался он когда-то, что Киеву суждено стать украинской чиновничьей столицей. Как теперь оно там в Киеве, и в самом деле снова столице Украины, неизвестно, а здесь так уж точно улей и питомник совбуров, краскомов, энкаведистов и пишбарышень.

Когда, в краснодарской квартире своей всесоюзную газету «Правда» в ожидании завтрака развернув, прочитал Адриан Иванович, будто в Москве, расширяя главную улицу, Тверскую, теперь имени Горького, передвигают многоэтажные дома, не поверилось ему: что советские газеты привирают, этого тогда не понимали только идиоты. Но вот сейчас поверил: москвичи точно зажрались, если наводят такой порядок в своей столице, оставляя провинцию гнить в бедности и антисанитарии. Впрочем, он ведь не видел толком, как обстоят дела за пределами Бульварного кольца: из окна вагона южная окраина Москвы показалась довольно неприглядной.

То ли эти наблюдения испортили настроение Адриану Ивановичу, то ли всё-таки промёрз, но так или иначе, он прервал прогулку и вернулся в «Метрополь», на сей раз в ресторан гостиницы. Слухи о возможности обменять перед заграничной поездкой солидную сумму рублей на марки не подтвердились, меняли только жалкие тридцать рублей. Ничего не оставалось, как прокутить лишнее в ресторане. Поджидая за столиком официанта, доктор Лаптев с удовольствием обдумывал заказ, когда услышал вдруг за спиной:

– О! Этот затылок ни с чем не спутать!

Хрипловатый женский голос, такой знакомый... И акцент! Да это же Радка! Он повернулся всем телом и увидел, что не ошибся.

– Знаешь, Адья, когда обошла я в Питере памятник Александру III, глянула на него сзади, тут же вспомнила твой затылок. И что же я давеча вижу? То ли бронзовый царь прискакал в Москву по шпалам, то ли это мой старый поклонник Адья, мой первый, не побоюсь этого слова, Вергилий в стране большевиков! И если и постарел, то самую чуточку.

Он наклонил голову и промычал приветствие. Смастерил ответный комплимент. Присмотрелся. Обросла нежным женским жирком, что в те голодные годы могло и красоту заменить, ухожена, одета великолепно по советским меркам. Вроде действительно рада его увидеть, но вот веселость базельской подружки показалась несколько натужной. Нельзя сказать, чтобы вовсе ничего из пережитого с нею не шевельнулось в его душе, но уж слишком скуп был отклик, хоть снова её невероятное тело – совсем близко и, вполне вероятно, снова доступно. Как глазам – вот эта совсем не изменившаяся белая шея в вырезе шёлковой пёстрой блузки.

– Ты здесь, в Москве, служишь? – выдавил из себя. Хотел добавить, что очень странно было её снова встретить, но удержался от банальности.

– Служу? Пожалуй... Переводчицей время от времени по старой памяти. А главная моя должность – жена.

– Хорошая должность, – усмехнулся он.

– Какая досада, Адья! Сегодня у меня каждая минута расписана, до самой полночи. А завтра ты что делаешь? Скажем так, в восемь вечера. Ты в «Метрополе»? У тебя отдельный номер?

– Да, отдельный... Вот только завтра в это время я надеюсь быть уже в Берлине, – с понятной гордостью пробормотал Адриан Иванович.

Она удивлённо расширила искусно подведённые глазки, протянула:

– Да, ты, Адья, забурел...

Тут Радку позвали, она махнула ручкой в лайковой перчатке и ушла. Он подумал, что, если бы не ковёр, каблуки её гремели бы: до того чётко и уверенно ставит ноги. Адриан Иванович снова развернулся всем телом вместе со стулом – а у стола уже официант. Доктор Лаптев вздохнул облегчённо и потянулся снова за меню.

Пассажирский самолёт, внутри отделанный, словно общий железнодорожный вагон, наконец-то коснулся колёсами взлётно-посадочной полосы, подпрыгнул, на секунду завис в воздухе, снова шлёпнулся на колёса и теперь покатился, легко подбрасывая пассажиров на кочках и неровностях грунтовой посадочной полосы. Будто автобус с непонятно зачем прицепленными крыльями.

– Это мы в Быково сели, на запасном, – озабоченно проговорил толстяк в свободном светлом костюме, ещё крепче прижимая к себе кожаную папку, которую весь полёт продержал под мышкой. – Главный аэродром, на Ходынке, тот ремонтируется.

Посольский работник с бородкой клинышком и в умопомрачительном французском галстук молча перекрестился, а Адриан Иванович ослабил усилие, с которым вцепился в поручни кресла. Тотчас же вернулся мысленно к картине, увиденной ещё с высоты, когда самолёт делал разворот над лётным полем. Кроме обычной группки встречающих, стояло у полосы трое в синих фуражках и бриджах, двое из них с винтовками, и возле них чёрная легковушка. Внутри салона повеяло холодом, пассажиры отшатнулись друг от друга. Доктор Лаптев поёжился тоже, но ему и в голову не пришло, что чекисты поджидают именно его. И здорово же он изумился, когда, едва спустившись по железной лесенке и не успев толком освоиться на твёрдой, не уходящей из-под ног поверхности, был подхвачен под руки и оказался между двумя мордоротами с винтовками, а потом зажатым между ними же на заднем сидении «Эмки».

В состоянии некоторого смятения чувств, но скорее обозлённого, нежели испуганного доктора Лаптева доставили таким манером на Лубянку и поместили в одиночной камере внутренней тюрьмы НКВД. Окна не полагалось, постельного белья тоже, одеяло и подушка грязные, в нос ударили вонь от параша и въевшийся в стены кислый запах невымытых человеческих тел. Никаких серьёзных грехов перед советской властью Адриан Иванович за собою не помнил, поэтому ожидал разбирательства по зряшному доносу, ведь в то время именно пустые, лживые доносы просто выкашивали номенклатуру, начальство и сколько-нибудь заметных людей. «От сумы да от тюрьмы не зарекайся», – повторял он, находя утешение в народной мудрости. Абы только не попасть под расстрельную статью, а в лагерях врачей используют по специальности, тем более высококвалифицированных. Неудобства камеры были всё-таки чепухой по сравнению с условиями на передовой германской войны, а тогдашняя постоянная готовность к внезапной смерти или увечью позволяла и в тюрьме не давать страху победить себя. Вот судьба семьи его беспокоила, тут ничего не скажешь. И жалел недавно только пошитый костюм. По летнему времени в камере было тепло. Адриан Иванович не снял рубашку, оставшись в пиджаке на голое тело или на майку, как опытные заключённые поступали, а свернул аккуратно пиджак и положил себе под подушку. Тюремная пайка оказалась съедобной, и ему не стоило большого труда вообразить, что сидит на полезной для здоровья диете.

На допросы долго не вызывали. Адриан Иванович, имея чистую совесть, выспался после нескольких месяцев вечной круговерти и недосыпу, а потом принялся, в уме и

запоминая текст на память, сочинять статью – отчет о конференции во Франкфурте-на-Майне для «Кубанского научного медицинского вестника». Ему было прекрасно известно, что попавшие в жернова чекистской мельницы назад уже не возвращаются, и гладкие, содержательные фразы придумывал, чтобы занять привычным делом мозги.

И всё-таки непонятная задержка (сбой в управлении? проскальзывание зубчатых колёс?) обвинительного механизма НКВД со временем не только начала нервировать, порой даже и бесить доктора Лаптева, но и дарила ему иногда надежду, опасную для устоявшейся в душе спокойной покорности судьбе. Но всё на белом свете имеет свой конец, закончилось и его тревожное ожидание. В начале мая был он выведен на первый допрос – вот именно на допрос, потому что не прозвучало сакраментальное «с вещами».

После недолгих переходов коридорами и лестницами огромного здания на Лубянке оказался Адриан Иванович в большой светлой комнате с очень высоким, как в питерских дворцах, потолком. Под портретом Менжинского сидел, погружённый в свои бумаги, худощавый энкаведист хорошо за сорок. В его знаках отличия Адриан Иванович не разобрался, однако отметил, что летний китель следователя безукоризненно бел. И не взглянув на арестанта, хозяин кабинета показал «вечным пером» на табурет. Адриан Иванович уселся, не размыкая рук, соединенных сзади.

– А что вы, профессор Лаптев, можете показать по поводу своей поездки в Германию? – осведомился следователь, по-прежнему не поднимая глаз на арестанта.

Он пояснил, что в последний вечер пребывания во Франкфурте-на-Майне, после банкета, написал всё, как положено, в «справке», а её отдал руководителю делегации. На самом же деле он и в «справке» не написал, и сейчас, даже если попытаться начать, словом не обмолвится о поразительном происшествии, случившемся с ним, когда в перерыве между заседаниями выскочил подкрепиться чашечкой бодрящего напитка. В кафе «Штерн» в ожидании официанта небрежно огляделся – и вдруг замер. Потому что увидел старика, похожего на себя, как две капли воды. Он до того смахивал на последнюю фотографию Адриана Ивановича, что тот даже не успел испытать беспокойства и недоумения, внутреннего протеста против осознания сходства, охватывающих человека, если доводится ни с того ни с сего столкнуться со своим двойником... Спустив очки почти на кончик носа, старик читал газету, а поскольку очки предназначались явно для чтения, рассмотреть Адриана Ивановича он тогда не смог бы. Тем не менее, доктор Лаптев пересел на другой стол, спиной к незнакомцу, проглотил кофе, не обратив внимание на вкус. Только почувствовав, что удивительного старика уже нет позади его, покинул «Штерн»...

– Я спрашивал вас, почему вы не вступили в Общество старых большевиков? Тогда мне не пришлось бы ждать, пока будет доставлено ваше дело из Краснодара. Послал бы за вашим досье на Советскую площадь – и все дела.

– Прошу простить, гражданин следователь... Извините, не разбираюсь я в этих ромбах... А что до Общества, то я вступил в партию только в пятнадцатом году, на фронте. Где уж мне в старые большевики, стажем не вышел.

– Я майор госбезопасности, фамилия моя Курский. А вы, профессор, неужели не узнали меня? Мы с вами встречались лет вот уже пятнадцать тому назад в Онеге.

– Точно, гражданин майор! Вы пытались помочь мне найти настоящих родителей.

– Да, много воды утекло... А вы, профессор, должны понять, что в нашей беседе я не собираюсь вас на чем-то подлавливать, в чём-то уличать. Более того, я открою вам, что кабинет радиофицирован, но техника вышла из строя, а заявку на ремонт я подал только сегодня. Вас арестовали по чужому делу, не вашему, а держали мы вас в камере как важного свидетеля. Одновременно хотел бы вам напомнить, что у нас тут очень легко из свидетеля стать подследственным. Прежде чем мы перейдём к тому самому основному делу, я обязан пройти вместе с вами по некоторым страницам вашей биографии. Старайтесь оправдаться, иначе не взыщите, э-э-э... Андриан Иванович.

– Да не в чем мне оправдываться, гражданин майор... Или мне можно «товарищ»?

– Сейчас можно и Михаилом Иосифовичем... «Называй хоть груздем...». А если «товарищем майором», то следует добавлять «госбезопасности». Итак, вы пишете в автобиографии, что поездку за границу на учёбу вам устроил хирург-большевик Сорокин, а валюту вам выдал Рыков, тогда ещё нарком внутренних дел.

– Да, да, Рыков... Я понял. Но... Из песни слова не выкинешь.

– На самом деле элементарно. Это я о слове. Просто в следующей автобиографии про деньги на учёбу пропустите, о них и не заикайтесь. Революция, хаос! Деньги вы и сами могли взять из несгораемого шкафа несуществующего уже министерства. И про Сорокина тоже сократите.

– Сам бы не взял... А что не так с Александром Ильичом? – вскинулся Адриан Иванович.

– Эх вы эмоционально! Он был тесно связан с Зиновьевым, и у нас были бы в прошлом году вопросы к доктору Сорокину, если бы он не погиб во время Антоновского восстания. Точнее, во время подавления этого восстания.

– Вечная ему память. Учитель мой в хирургии и в партию убедил вступить.

– Ладно. С вашим путешествием в пятнадцатом году на Юг я и сам по документам разобрался. Ах да, что случилось с вашими царскими ещё наградами?

– Георгиевским крестом моя дочь игралась, игралась, да и потеряла его. А часы я сам сдал в Торгсин в тридцать третьем году.

– Понятно... А с товарищем Антоновым доводилось ли вам сотрудничать после штурма Зимнего дворца?

Спросил об этом следователь нарочито небрежным тоном, но Адриан Иванович почувствовал, что это, должно быть, один из важнейших вопросов. В авансы-завлекалки майора Курского (явный псевдоним!) он не позволил себе поверить. Поэтому честно вылупил глаза и заявил:

– После штурма Зимнего я встречался только с доктором Сорокиным и с комиссаром Чудновским. И с обоими только в конце октября семнадцатого. Гриша, как комендант Зимнего, снабдил меня кое-какой гражданской одежкой, чтобы не ехать с дипломатами в солдатской шинельке. В середине двадцатых я случайно узнал, что он погиб в восемнадцатом на Украине.

– Ваш Гриша в эмиграции и после неё был сотрудником иудушки Троцкого, – пробурчал следователь. – Товарищ Антонов сейчас в секретной командировке, о нём лучше помалкивать. Вы по-прежнему рассказываете студентам и школьникам о штурме Зимнего?

– Так точно, рассказывал. Думал, и в этом году придётся – ведь двадцатилетний юбилей.

Следователь наморщил лоб, глядя мимо доктора Лаптева. Потом посоветовал:

– Вот мой вам совет. Дождитесь нового звукового художественного фильма об Октябрьской революции, он снимается к юбилею. Уж если выйдет фильм на экраны, так только с санкции Политбюро и после личного одобрения товарищем Сталиным.

Оба одновременно встали. Постояли молча. Следователь кивнул головой и сел первым, за ним Адриан Иванович.

– И вам следует рассказывать о нашей революции только таким образом, как это будет сделано в апробированном фильме, и только о тех её руководителях, которые будут там показаны. Уяснили? Теперь последний момент. У вас в досье указано, что в тридцатом вы подавали заявление о выходе из партии, а потом его забрали. Расскажите об этом подробнее.

И Адриан Иванович рассказал. О том, как поехав командировочным от крайкома в дальний, Новопокровский район, столкнулся с совершенно дикими поступками (да что там, преступлениями) секретаря райкома, принуждавшего казаков вступать в колхозы средневековыми по жестокости пытками, как, не сумев его урезонить, положил на стол в райкоме партбилет, а на следующий день забрал его, потому что утром в станицу пришёл

номер «Правды» с гениальной статьёй товарища Сталина «Головокружение от успехов». Встали, постояли. Садясь первым, следователь сказал:

– Я проверял. Тот секретарь оказался родственником и протеже одного из руководителей вашего крайкома, проходившего по делу троцкистов. Так и пишете впредь, профессор. На этом с биографией покончим. Я вашими пояснениями удовлетворён. Переходим к главному пункту, к вашей встрече с некоей важной для нас особой. Итак?

Он похолодел: неужели в том франкфуртском кафе за ним наблюдали? Еле выдавил:

– Прошу пояснить, товарищ майор госбезопасности, кого вы имеете в виду.

Тот усмехнулся:

– Да всего-навсего шикарную дамочку бальзаковского возраста, с которой вы, Андриан Иванович, имели беседу в ресторане «Метрополя» перед отъездом.

– А-а-а... Да мы с нею только несколькими словами обменялись.

– Ваша беседа была зафиксирована, Андриан Иванович, и она меня уже не интересует. Должен сказать, что мне большого труда стоило остудить пыл одного младшего моего коллеги. Он, видите ли, усмотрел в словах этой дамы зашифрованное сообщение, которое вы должны были передать её хозяевам за кордоном. «Затылок», «Питер», «Александр Терье», «ад» и «герр Гилле» – вот основные составные части шифра. Пытался и расшифровывать, губошлёп...

– Да какой-такой из меня шпион? Как это... Как я мог быть шпионским курьером? Радка и не знала, что я улетаю, а я не видел её с лета девятнадцатого года – и откуда бы я узнал, кому надо передать сообщение? «Затылок»... Вы позволите встать и повернуться к вам спиной?

– Спиной? Это всегда пожалуйста, Андриан Иванович... Руки можете опустить, кстати.

– Мой затылок напомнил ей затылок царя на знаменитом конном памятнике работы Паоло Трубецкого. У нас с отцом Николашки Кровавого одинаковый тип сложения – дай бог памяти... Ага, мы эндоморфы. Посмотрите, у меня толстая шея. И я ещё не дожил до старости, но мне уже легче повернуться всем телом, чем повернуть, как вам, одну голову. Не «ад», а «Адья», так меня называла Радка без малого двадцать лет назад. И «герр Гилле» – это «Вергилий», и ничего больше...

– Да я и сам понял, что чушь собачья... Впрочем, нелепость обвинения не помешала бы вам загреметь за шпионаж. Ладно... Я расследую дело чрезвычайной важности, и мне необходима только правдивая информация. Вы дважды назвали эту даму Радкой, а в документах она числится Ариадной.

– Ариадна, надо же... Я знал её как Радку... Гражину Водичкову, мы в одно время учились в Базельском университете и жили по соседству в пансионате для студентов фрау Шнитке...

Мгновенно сориентировавшись, Адриан Иванович принял решение ничего о Радке и об их отношениях не скрывать. Не утаил и того опасного для себя обстоятельства, что решение о нелегальном вывозе Радки из Швейцарии принял самостоятельно, однако подчеркнул, что уже в Германии поступил по совету местного рабочего лидера, тогда социал-демократа, а после коммуниста, по имени Эрнст, а по партийному псевдониму «Фредди». Фактически именно «Фредди» отправил Водичкову вместе с ним из Гамбурга в Советскую Россию.

– «Фредди»? И в Гамбурге? Лицо такое приятное? – поднял брови следователь.

– Да, это был Эрнст Тельман. Вождь немецкого пролетариата. Впоследствии я узнал его на портретах.

– Товарищ Тельман посажен фашистами в тюрьму. У него, к сожалению, не спросишь.

– Зато наверняка остались следы в Петрочека. Я привёз туда Водичкову, когда мы сошли с парохода. Чтобы она легализовалась. И петроградские чекисты тотчас же отправили её вместе со мной в ВЧК, в Москву. Я привёз шифровку для Международного отдела ВЧКа, и в поезде нас охранял и прикрывал чекист «Южанин». На нём был мой пиджак с зашитой в нём шифровкой. Да, забыл нашу отправку в Москву организовал тогдашний председатель Петрочека товарищ Медведь. Имя и отчество не помню, хоть он и представлялся.

– Личность у нас известная. Медведь летом тридцать четвертого был снова назначен начальником ленинградских чекистов. Арестован и осуждён по делу об убийстве товарища Кирова, трудится на дальнем Севере. Обращаться к нему за справкой нецелесообразно по нескольким причинам. Главная – дело, которое я расследую, чрезвычайно деликатно. «Южанин», помнится, по тому делу не проходил. Думаю, его стоит найти, – неохотно пояснил следователь. Он коротко распорядился по телефону, а потом снова поднял прозрачные свои глаза на доктора Лаптева. – А пока ищут, профессор, расскажите-ка мне по второму кругу, с самого начала, как вы вместе с бывшей Водичковой были переправлены в РСФСР.

И Адриан Иванович рассказал, стараясь повторяться слово в слово. Он слышал об этом приеме – выискивать различия в показаниях, но думал, что такое применяется только к письменным, не устным. Не успел он досказать, как зазвонил телефон. Положив трубку, следователь вдруг улыбнулся, блеснув золотым зубом.

– На этом ваша проверка закончена, профессор. «Южанина» допросить невозможно: застрелен кулаком из обрезка в тридцатом третьем году. Значит, так. Табурет ваш прикручен к полу, поэтому возьмите второй стул и присаживайтесь к моему столу с правой стороны, где свободно. Вот вам бумага, ручка и чернильница. Запишите подробно всю историю с Водичковой (у нас она проходит, понятно, под другой фамилией). Постарайтесь подробнее вспомнить, что она рассказывала о своих связях с анархистами и о своём преследовании во Франции. Этот будет единственный политический материал в деле вашей старой знакомой, а так всё больше пикантные сплетни. Она несколько раз выходила замуж, и каждый раз за заметных людей в нашем ведомстве. Кто-то из них сумел изъять и уничтожить её досье. Наше, здешнее, конечно. Медведь в девятнадцатом году бумаготворчеством не занимался, другие были у него заботы. Отправил вас двоих в Москву, да и забыл тотчас о вас.

Неудобно было писать Адриану Ивановичу: колени в тумбу письменного стола упирались, пёрышко скверное попало, бумагу царапало. А внутри ужасался – разве не донос он пишет сейчас? И если Радка расскажет теперь о своих французских похождениях совсем другую историю, кому поверят энкаведисты, ей или ему? Стараясь обезопасить себя, напирал на такие выражения, как «согласно её словам», «как объяснила мне тогда Водичкова». Наконец, дописал и отдал своё творение следователю. Тот внимательно, еле шевеля губами, прочитал, положил к другим своим бумагам. Потом повернулся к Адриану Ивановичу, уставился ему в глаза и заговорил, на сей раз уже ни разу не улыбувшись:

– Годится. И правильно сделали, что не умолчали о вашем с нею... о ваших интимных отношениях. С одной стороны, она об этом сама скажет. С другой стороны, вы тем самым дали мне повод посплетничать о ваших последователях. Среди них, кстати, был и знаменитый писатель.

– Дело молодое, как говорится... – прохрипел Адриан Иванович. – Взбадривая себя на учёбу, я тогда злоупотреблял холодным душем. А с нею и холодный душ не помог.

– Да уж, от этой, да ещё на двадцать лет моложе, холодный душ так уж точно не спасал. Я вас отпускаю. Сейчас подпишу пропуск, а выводному приказу отвести вас в службы, где вам вернут ваши вещи и документы по списку, получите также литер, чтобы использовать нашу бронь на сегодняшний поезд «Киев–Адлер». Сами вы не достали бы билета: поезда на юга забиты. Не скрою, что здесь есть ресурсы для того, чтобы привести вас в пристойный вид, но для вас целесообразнее как можно скорее покинуть наше ведомство. Я постарался помочь вам, потому что мы оба подкидыши, мы оба сами выстроили свои судьбы. Мне, кроме того, безумно приятно вспоминать о годах службы в

провинциальной Онеге, которые оказались самым светлым и самым психологически комфортным для меня временем.

– Благодарю Вас, товарищ майор госбезопасности, – выдавил из себя Адриан Иванович.

– Рано благодарите. Грядёт Большая чистка. Аресты в верхах – только цветочки были, ягодки впереди. Теперь и на местах номенклатура не отсидится. Директива уже поступила, теоретическое обоснование – обострение классовой борьбы по мере построения социализма.

Тут Адриан Иванович дёрнулся, будто желал привстать, а следователь сделал большие глаза и еле заметно кивнул. И продолжил, криво улыбнувшись:

– Хочется надеяться, что ваше неожиданное возвращение в Краснодар послужит вам своего рода индульгенцией. Если же местные мои коллеги воспримут его по-другому, сядете с первой же волной арестов. Советую дома сразу подготовить на скверный случай чемоданчик с нужным для отсидки. Оно и для психики вашей будет поспокойнее. А что должны молчать, как могила, понимаете и сами.

И после этих ободряющих слов следователь пододвинул к Адриану Ивановичу подписку о неразглашении, сунул пропуск, пожал руку на прощанье и нажал кнопку звонка, вызывая конвоира.

Хоть времени было впритык, освобождённый узник успел ещё наведаться в министерство здравоохранения, чтобы отметить командировку. Немало напугав секретаршу и чиновников своим видом, не говоря уже о причинах задержки после приезда, он выбросил в туалете заношенную рубашку и достал из чемодана надёванную, но казавшуюся теперь чистой. Прибежал на Казанский вокзал прямо к отправлению поезда и всё-таки смутил собравшуюся в купе молодёжь, двух девушек и парня. Все ехали на отдых; одетые в белое, и мысли имели, небось, светлые и весёлые, а тут грязный и небритый дядька. Но Адриан Иванович уступил нижнюю полку даме, неуклюже забрался на верхнюю и под радостные крики советской молодёжи спокойно заснул.

На следующий день к вечеру поезд дотащился до станции Тихорецкой. Первый рабочий поезд на Краснодар шёл только утром. Адриан Иванович провёл ночь в зале ожидания неожиданного большого и стильного вокзала. Было душновато, зато безопасно, он пытался заснуть, сидя на жёсткой скамье и зажав чемодан между ногами. То задрёмывая, то просыпаясь, доктор Лаптев не отдалялся мыслями от пережитого во Франкфурте и в Москве. Фантастические и, во всяком случае, причудливо искажающие реальность обрывки снов чередовались с трезвым анализом человека науки, привыкшего к дисциплине мышления. Так тасовались, то в гротескной форме, то в незамутнённых сном

воспоминаниях, то уже чётко оцененными и проанализированными, встречи с Радкой и стариком-двойником, его показания о прежней подруге, сделанные на Лубянке, и страшная информация о грядущей Великой чистке, открытая ему следователем Курским.

К тому времени, как солнечные лучи высветили причудливые узоры угольной пыли, осевшей на верхних полукруглых стёклах окон, раздалось пыхтение паровоза и Адриан Иванович, подхватив за ручку чемодан, поднялся, кряхтя, со скамьи в зале ожидания, он успел сделать выводы и выработал тактику поведения после отсидки на Лубянке. Что ж, старик в кафе мог быть и случайным двойником, этакой усмешкой природы, причудой генов, как сказал бы физиолог, и – с той же вероятностью – настоящим отцом. Возраст совпадает. Тогда это эмигрант, политический эмигрант из России. В восемьдесят девятом отбывал ссылку или был на поселении (а какая разница?) в Онеге. Один из «скубентов»? Революционеров? Ну, не социал-демократ, тогда о них в России и слыхом не слыхано. Все прочие революционные партии, в том числе и меньшевики, по недомыслию или преступно ошибались, как говорит нам единственный теперь вождь, а сохранившиеся подольше все стали врагами. Таким родством не похвалишься. В кофейне как был одет и обут? Незаметно, что как раз характеризует его общественное положение: потрёпанная одежда и обувь бросились бы в глаза и остались бы в памяти. И ведь не объедки на помойках искал, а пришёл в дорогое кафе в центре Франкфурта. Если из богатой семьи и эмигрировал до Германской войны, имел возможность часть семейных капиталов перевести в европейский банк. «Скубент»? Если закончил своё образование, мог сам прилично зарабатывать по специальности. Газета? Немецкая была газета, что ничего не даёт. Русские эмигрантские газеты выходят, но едва ли их выписывает владелец кофейни «Штерн». Да и не нужно копаться в деталях. Если это и в самом деле был отец, то сволочь он, урод, недостойный иметь детей. Позволил любовнице подкинуть своего незаконнорожденного сына и ни разу почти за полстолетия не сделал попытки разыскать его!

Случись такое на страницах романа, что сделал бы счастливый сын? Бросился бы на шею вновь обрётённому батюшке и оросил бы его манишку слезами. Однако Адриан Иванович не поддался инстинкту родства, его удержал – и слава богу! – куда более мощный у взрослого человека инстинкт. Инстинкт самосохранения. Тот же инстинкт уберёт его от информирования об этой встрече в официальной «справке» и на Лубянке. Пусть он совершил преступный акт недонесения на самого себя, но это было единственное безопасное решение. Представим себе, что это действительно его отец, они признали друг друга и решили узаконить родство. Помимо всех прочих прелестей, ожидающих в таком случае Адриана Ивановича в СССР, ему придётся отучиться от

привычки писать в графе о социальном происхождении: «Из крестьян». Все прочие формулировки, кроме «Из рабочих», смертельно опасны. Вывод: инстинкт не подвёл в этом эпизоде, всё сделано правильно. А о встрече с двойником продолжать держать язык за зубами, перед домашними тоже. Достаточно и того, что Лизочек, к сожалению, не забыла, как за ручку с матерью путешествовала в Варяковку на развалины некогда принадлежащего её предкам поместья. Разумеется, Адриан Иванович запрещает ей об этом рассказывать чужим, но эту девушку невозможно в чём-либо убедить!

Что же касается Радки, то бишь Ариадны, то ему хотелось думать, что отказался от нового свидания с нею не потому, что не выходило со временем, а желая сохранить свою призрачную верность Зизи. Тайный адюльтер с пленительной свояченицей с годами всё больше приобретал в его воспоминаниях характер романтического приключения. Посмеиваясь над собою, он думал о том, что дело закончится сочинением в мыслях романа о платонической любви. К Радке же он никогда не испытывал высоких чувств, поэтому не испытывал уколов совести, рассказав о ней всё, что знал. Сейчас в Испании анархисты воюют с фашистами в рядах республиканцев, это союзники коммунистов. Немного неловко вышло, что у энкаведистов есть теперь только его показания о французском прошлом Радки. Но... Кто знает, выпустил ли бы его старый знакомец из Онеги, если бы отказался помочь следствию этими показаниями?

«Выходит, ты у нас теперь доносчик, Адя?» – спросил себя он чуть ли не вслух и боязливо оглянулся. Вряд ли кто услышал: как раз проревел гудок паровоза, пассажиры рабочего поезда на Краснодар топали, шаркали обувкой и беззлобно переругивались, толкаясь в узких дверях. Адриан Иванович прекратил самокопание и сосредоточился на предвкушении: уже вечером он залезет в ванну с горячей водой.

XXV

Время ускорялось всё сильнее и всё более невозвратно. Грянула Большая чистка, предсказанная следователем Курским, и номенклатуре Краснодарского края уж точно мало не показалось. На работе народ ходил не выспавшимся, с мутными головами, потому что все до утра прислушивались, не едет ли «чёрный ворон». Ходили слухи о заранее заказанном из Москвы числе арестованных за месяц, называлось это «разрядкой». Местное отделение НКВД наверняка не успевало читать доносы. В мединституте в целом и на кафедре терапии в отдельности возникли вакансии, но им мало кто радовался. Следуя совету, полученному на Лубянке, Адриан Иванович купил на толкучке старый саквояж и набил его нужными в камере вещами. Только сухари и сало менял время от времени. А

главное, что психологически подготовился к новой посадке. Потом исчезновения среди знакомых прекратились, и Адриан Иванович позволил себе вздохнуть с облегчением: чаша нового ареста пока миновала.

Со временем был объявлен виновный в преступных перегибах и нарушениях социалистической законности. Им оказался малорослый и нестрашный с виду нарком НКВЛ Ежов, расстрелянный, как и загубленные его опричниками товарищи Рыков и Антонов-Овсеенко. О неестественности таких обвинений в отношении цепной собаки советской власти (ранее сгинул и предшественник Ежова, нарком Ягода) и о несомненной ответственности вождя за казни и расправы Адриан Иванович помалкивал, думать и сравнивать позволял себе только в мыслях.

Анонсированная чекистом Курским историческая кинокартина «Ленин в Октябре» в сильно потрёпанной копии достигла Краснодара и демонстрировалась в кинотеатре «Гигант». Доктор Лаптев достал себе билет на один из первых же сеансов. Катишь он оставил дома, потому что хотел бы вернуться в семнадцатый год без свидетелей. А чужие зрители, люди в соседних креслах – разве они станут к незнакомцу присматриваться? Сидя в душном зале под световыми лучами кинопроектора, он мысленно похвалил себя за предусмотрительность. Ведь фыркнул же, не удержался, когда увидел на экране, как из не существовавших в семнадцатом ворот Смольного института благородных девиц революционные солдаты выходят строевым шагом и стройными рядами. Выстрел из носового орудия крейсера «Аврора» был показан как сигнал к штурму – что за глупости? И словно не было тогда в Зимнем военного госпиталя, ни слова о нём, ни кадра. А вот и пробежка по лабиринтам дворца группы революционеров – со стрельбой, трупами, даже рукопашной, это надо же... Видно, картина овладения дворцом без рукопашных схваток и потерь, посылкой парламентёров, уговариванием казаков на невмешательство, а юнкеров и баб-«ударниц» на сдачу показалась недостаточно драматической. Внимание – арест Временного правительства! Где он, очкарик Антонов с длинными волосами и в широкополой шляпе? Где пламенный храбрец Чудновский? Вместо них впереди толпы революционного народа нарисовался симпатичный и лицом простоватый рабочий Матвеев, только что лихо прикончивший зловредного офицера с револьвером, за колоннами, правда. Именно он перед тем на экране убеждал товарищей не портить памятники культуры, для чего не стрелять из винтовок, а действовать прикладами. В реальности, конечно, такое мог бы сказать хоть бы и ошеломленный нынче товарищ Антонов, вот только едва ли кто-нибудь его послушал бы. И хоть было бы верхом нелепости ожидать, что явится на мерцающем экране актёр, играющий некоего ротного

фельдшера с санитарной сумкой и трофейным пистолетом, грудью идущего на вооружённых до зубов юнкеров, Адриан Иванович испытал безотчётное разочарование.

Возвращаясь по тихим вечерним улицам домой из «Гиганта», доктор Лаптев поймал себя на том, что держит руки сомкнутыми за спиной. Он усмехнулся: за несоответствие воспоминаний участника событий их официальной трактовке (по сути, новой советской мифологии) у нас вроде ещё не сажают. Пока не сажают, и статьи такой, наверное, нет. Но от рассказов о своём участии во взятии Зимнего дворца теперь придётся отказаться. Под благовидным предлогом, конечно. И в самом деле, незабвенного Александра Ильича только смерть спасла от опалы, говорить о нём нельзя. Что после фильма скажешь об аресте Временного правительства? Будто командовал штурмовым отрядом и министров-капиталистов арестовал придуманный рабочий Матвеев? И о том, что свержение Временного правительства удалось совершить бескровно, а арестованные министры были вскоре отпущены, просто промолчать? А если прямо спросят его о потерях?

Возвратившись домой, Адриан Иванович созвал всех домашних к столу в гостиной (домработница Глаша осталась стоять в дверях), чтобы выработать общую позицию по фильму «Ленин в Октябре». Он сказал, что все должны посмотреть фильм обязательно, но лично он как отец и коммунист, просит не комментировать сцены взятия Зимнего в том плане, что папа-де иначе об этом рассказывал. Катишь сделала большие глаза, Глаша разинула рот, Лизочек только плечиком дёрнула, а вот семнадцатилетний Николай, настырный, как и все подростки, осведомился ехидно, значит ли это, что папа всем им лапшу на уши вешал.

– И не вешал я лапши на уши, и сказочки не рассказывал, – натужно усмехнулся Адриан Иванович. – Я сочинять не умею. Как было, так было. Но вы увидите, что партия и её великий вождь товарищ Сталин...

Тут все, кто сидел, встали, постояли и снова сели.

– ... партия и вождь приняли решение утвердить другой вариант изображения событий. Я так понимаю, что это художественное произведение, помимо всего прочего, поэтому вымысел допустим. Если принято именно такое решение, я как член ВКП(б) могу только выполнить его. Теперь буду отказываться от роли свадебного генерала на предстоящих юбилейных собраниях, да и после юбилея, на рутинных годовщинах. И вам всем, повторяюсь... То есть вас всех очень прошу помалкивать о моих рассказах.

Конечно же, все Лаптевы, и Глашка тоже, позже посмотрели «Ленин в Октябре», и не по одному разу. Тогда зарубежные фильмы почти не закупались, в отличие от двадцатых годов, а киностудии СССР не могли обеспечить частую смену репертуара в

кинотеатрах, поэтому фильмы шли иногда по месяцу, а зрители привыкли многократно приходить на один и тот же фильм, точно так, как их предки всю жизнь слушали одну и ту же былинку. Мнение Глашки о фильме было тогда Адриану Ивановичу ещё неинтересно. Катишь не захотела поделиться впечатлениями, сказала, что голова у неё забита другими делами. Какими именно, он узнал несколько позже, когда супруга подала на развод. К тридцать седьмому году Лизочек повзрослела до такой степени, что, не спросившись у родителей и даже не предупредив их хоть словечком, вышла замуж. Она только что сообщила об этом важном событии в своей жизни (или не так уж важном? Кто их, нынешних, поймёт...), и Адриан Иванович положил разобраться в том, что с нею произошло, как только окончательно прояснит для себя ситуацию с фильмом. А о фильме «Ленин в Октябре» дочь сказала, что его нельзя оценивать как документальный и нельзя как художественный, это что-то вроде снятой на плёнку лекции по истпарту. А партия и её вождь, они сами решают, как писать свою историю.

Поэтому принципиальное значение приобрёл разговор с Коленькой, проведённый Адрианом Ивановичем конспиративно, в парке на отдельно стоящей скамейке с хорошо просматривавшимися подходами. Страной ширилась сомнительная слава Павлика Морозова, но как отец Адриан Иванович был абсолютно в этом отношении субъективен: он так любил Коленьку, что и мысли не допускал о предательстве в какой-либо форме, даже о непреднамеренном. Парень в следующем году заканчивал школу, был, как и Лизочек, активным комсомольцем, и в том важном для отца разговоре выяснилось, в частности, что следовало не жалеть времени на воспитание сына в семье и уж, во всяком случае, не полагаться в этом деле бездумно на школу и тот же комсомол. Чёрт возьми, а ведь не напрасно Адриан Иванович с началом тридцатых, когда закончилась эпоха немого кино, практически перестал отмечаться в некогда излюбленном кинотеатре «Мон плезир»! Вот не пришлось ему по душе «Путёвка в жизнь», её живописные уголовники и скверный звук, и времени негде взять на развлечения, да и разговор слышал краем уха, что в кино теперь сплошная пропаганда, даже в советских мюзиклах.

А Коленька, как и всякий краснодарский мальчишка, бегал на каждый новый фильм по несколько раз, читал запоем, и конечно же, не Достоевского или Леонида Андреева, а комсомольских поэтов и советские однодневки в прозе, коммунистическая пропаганда много лет со всех направлений давила на его мягкий и неокрепший ещё ум, на незрелое сознание, втолковывая, когда более изошрённо, а когда и на пальцах, «что такое хорошо, и что такое плохо». Только теперь попытался Адриан Иванович объяснить Коленьке, что разумный человек ничего не должен принимать на веру. Что интеллигент всегда находится в определённой оппозиции к существующей власти: ведь, даже если

разделяет её идеологию, он настроен либо более радикально, чем это допускается официальной пропагандой, либо консервативнее, тогда как власть вынуждена решать вопросы идеологии с неизбежным прагматизмом.

Сказанное пришлось растолковать и кое-какие слова заменить, но в результате Коленька посмотрел на отца с явным испугом. Проямлил:

– Но разве линия Партии и товарища Сталина не является единственно правильной?

Адриан Иванович крикнул. Однако отступать было некуда. Он заговорил тихо, медленно, с трудом выдавливая из себя каждое слово:

– Не всегда, дружок. Внутрипартийная борьба в верхушке ВКП(б) вполне могла обойтись без шельмования и уничтожения противников. Очень трудно поверить, что такое количество старых партийцев и красных полководцев оказались иностранными шпионами. Я вон знал Алексея Ивановича Рыкова, он мне помог на учёбу в Швейцарию уехать. Где бы мы с тобой сейчас были бы, если бы не он!

– И где же мы были бы, папа? – распахнул Коленька свои красивые мамины глаза. Всё лицо у него отцовское, посадка головы, телосложение, а вот глаза – копия маминых.

– Да хоть бы и в Старобельске бы вшей кормили, а я фельдшером или медбратом на карете «Скорой помощи» служил бы...

– Можно подумать, что там не люди живут и не строят социализм.

– ...и все бы там знали, что ты внук уездного предводителя дворянства.

– Я это как-то не принял во внимание... Ну, ладно, твоего Рыкова арестовали по ошибке, но разве ты не знаешь народной пословицы «Лес рубят, щепки летят»? И разве ты забыл, папа, что классовая борьба только усиливается с построением социализма?

– С чего ты взял, дружок, что в народных пословицах одна лишь высшая мудрость? «Курица не птица, баба не человек» – это что же, не народная пословица?

Коленька нервно хихикнул. Адриан Иванович огляделся и, хоть у него сердце начинало уже покалывать, решил довести разговор до конца. Кто знает, удастся ли ещё когда-нибудь поговорить с сыном вот так же откровенно?

– А пословицу насчёт щепок на Германской войне вспоминали, когда артиллеристы, метя в противника, убивали гражданских и разрушали их дома. Что же касается усиления классовой борьбы... Подумай сам, своею головой, с чего бы ей усиливаться? Враждебные классы уничтожены, кто захотел эмигрировать – выпущен в двадцать втором из страны, бывшие офицеры и буржуазные политики исчезли в двадцатые, коллективизация и индустриализация изменяют страну, наконец...

– А я своими глазами видел, как с виду «бывшие» радовались, прочитав в «Правде», что большевистские вожди Бухарин и Зиновьев оказались «врагами народа», – окрысился Коленька.

– Так ведь и народ радовался, когда Иван Грозный боярам головы рубил, и заплакал, когда в опричнину и за народ принялся!

Они переглянулись, и Адриан Иванович решил больше к историческим параллелям не обращаться. А вот и выигрышный аргумент.

– Почитай «Сталинскую конституцию» да поищи в ней враждебные народу классы! Их нет, все в СССР теперь имеют равные права, в том числе и бывшие лишенцы. И, потвоему, это не противоречие с тезисом об усилении классовой борьбы?

Коленька отвёл глаза. Выговорил с неожиданной обидой:

– Я не хочу об этом думать, папа. Как комсомолец, я должен придерживаться определённой политической линии. И мне странно, что слышу такое от тебя, ты же большевик с дореволюционным стажем. Нам бы лучше поговорить о том, куда мне пойти учиться после школы.

Вздыхнул Адриан Иванович. Да куда ж Коленьке поступать, домашнему мальчику, как не в один из краснодарских вузов? Его ж ни отец, ни мать не отпустят в общежитие. К тому же и графа социального происхождения, где «из служащих», сильно ограничивает зачисление везде, кроме Краснодара: у отца есть хорошие знакомые в ректорате каждого здешнего вуза, и в номенклатуре хватает секретно вылеченных им от позорных для мещан болезней. И если уже выяснилось, что не лежит у Коленьки душа к профессии врача, то и выбор небольшой – или в технологический институт пищевой промышленности, или в пединститут, как сестра выбрала. Был ещё в Краснодаре сельхозинститут, о нём в семье Лаптевых и не заикались.

– Послушай, дружок, у тебя ещё будет время обдумать. Не надо уходить от очень серьёзного разговора, раз уж мы решились на него. Я вот о чём хотел тебя спросить. Стороною, знаешь ли, узнал... Когда я не вернулся вовремя из командировки, к вам заходил председатель нашего жилкооператива. Будто топал на твою маму ногами и требовал уступить пай, а по сути квартиру, какой-то его родственнице из торговых кругов. Мама не соизволила мне об этом сообщить. Это правда?

– Правда, папа. В глаза мне никто в школе такого не говорил, но мама ходила к тебе на работу. Твои кафедры не сомневались, что ты арестован, по ним было видно. Сказать никто не решился, интеллигенция пуганая.

– Мне повезло, я оправдался на Лубянке. Такое редко случается, но бывает. Однако заметили опытные люди, что органы, если и выпускают кого-нибудь, то потом опять

сажают – или того хуже. Так что всем нам не надо расслабляться. Я давно уже хочу тебя спросить, да никак не решался... Скажи, если бы меня не выпустили, а здесь объявили бы, что я «враг народа», ты отрёкся бы от меня?

Коленька густо покраснел. Вот ведь семейная черта какая – и попробуй с нею утаить от окружающих интимные движения души!

– Ты ведь не «враг народа», у тебя просто чудаковатые, странные для коммуниста взгляды. Ты всегда в своей медицине, папа, в своей науке, не замечаешь, что делается вокруг тебя и в великой Стране Советов. Кроме того, ведь товарищ Сталин сказал же, что сын за отца не отвечает.

Не сразу заговорил Адриан Иванович. Ему-то всегда казалось, что любимый Коленька полностью и во всём повторяет его самого, но вот тебе и наследство Сколимовских да Деменковых: от первых мягкое польское лукавство, от вторых самовлюблённая дворянская дурь!

– Послушай, Николай, – заговорил он, сдерживаясь. – Есть сказанное вождём, а есть реальная деятельность органов. Существует статья закона, по ней члены семьи «врага народа», жена и дети тоже репрессируются. Младшие дети попадают в детские дома. Возможно, в будущем с ними поступят согласно словам Сталина. А для взрослых детей они, эти слова означают шанс остаться в нормальной жизни, но для этого надо публично отречься от отца или матери. Повторяю, дружок: ты отрёкся бы от меня?

– Я не знаю... – пробормотал Коленька. Лицо, шея, даже руки у него налились кровью. Свекольного цвета, переходящего в багровый.

Только рукой махнул Адриан Иванович. Рывком поднялся со скамьи, отвернулся от сына и устоялся на беседку с полукруглой крышей. Ничего он перед собой не видел, точнее, виденное не фиксировалось в его сознании. Постепенно гнев и обида схлынули, он опомнился... И что там этот сталинский комсомолец изрекает?

– ...Лизка правду сказала. Бывают и у девчонок прозрения. По-любому, это художественная кинокартина, а в ней возможны искажения реальных событий. По-настоящему министров-капиталистов арестовали твои Антонов и этот второй, оба интеллигенты-партийцы, а для художественного произведения намного сподручнее, чтобы революционный подвиг совершил простоватый рабочий. К слову, актёр похож на Чиркова, играющего в гениальной «Юности Масксима», и именно такие герои из народа нужны сейчас нам ...

В следующем году, успешно закончив школу, Коленька поступил в Краснодарский химико-технологический институт жировой промышленности. Свой выбор объяснил тем, что в нём-де готовят инженеров не для пищевых комбинатов только, а универсальных.

Мол, здесь работают преподаватели закрытого Технологического института. Адриан Иванович на это объяснение только плечами пожал. Он давно пересердился на Коленьку и положил воспринимать сына таким, каков есть.

А семья Лаптевых распадалась. Лиза уехала в Симферополь, к мужу. Перед отъездом, собрав семью, приятелей и подруг за праздничным столом (этакая свадьба с женихом-заочником), поведала удивительно романтическую историю о знакомстве. Встреча в Москве двух командированных (Лиза ездила на съезд комсомолок, учительниц начальных классов, или на подобное мероприятие), влюблённость, две чудесные отпускные недели в Ялте, совместный визит в ЗАГС в последний день отпуска. Джемиль старше её на двадцать лет, крымский татарин, член правительства Крымской АССР. Адриан Иванович не знал, что и подумать, вместо поздравления буркнул пару слов и за столом молчал. Катишь тоже поздравила дочь, но мысли её гуляли где-то в стороне.

Зато Коля говорил за них двоих. Он подшучивал над выбором сестры и едва не заставил её разрыдаться. В ехидных тостах от приличного для комсомольца пролетарского интернационализма не раз опасно вырुливал к великорусскому шовинизму, и его отец, сам в тот момент не без греха, не прерывал его словоизвержения только потому, что догадывался о глубинных причинах неприятия Коленькой этого брака. Коля просто ревновал старшую сестру, и не только как брат, но и как член племени, девушку которого иноплеменник хитростью уводит в своё становище. Хмуря свои начавшие уже сесть брови, Адриан Иванович додумался и до религиозных корней обиды, закипевшей в кротком обычно Коленьке. Невеста у нас – комсомолка, отринувшая христианство предков, жених – большевик, точно так же отбросивший ислам. Однако русская девушка и крымский татарин соединили свои судьбы не в стерильном идеологическом пространстве и даже не на развалинах прежних этнических и религиозных традиций, придавленных и выровненных дорожным катком марксизма-ленинизма. Им предстоит сохранять свой брак в обществе, где противоречия между нациями и религиями если и сглажены, то больше на словах...

К счастью, трое бывших поклонников Лизы, державшиеся за праздничным столом дружной кучкой и имевшие, надо думать, куда более оснований для ревности (о деталях отец невесты не желал задумываться), тоже сообразили, куда ветер дует. Один из парней, простыми словами и пуская в ход молодёжный жаргон, пристыдил Колю, а тост свой закончил сакраментальным «Горько!». Лиза, вытерев злые слёзы, достала фотокарточку кабинетного формата и поцеловала её. Фото избранника она никому раньше не показывала, посему Адриан Иванович попытался рассмотреть пресловутого Джемиля хоть издали. Увы, показался тот лысоват, а как на самом деле, кто знает.

Впрочем, внешность Лизиного мужа на самом деле не имела никакого значения. Ведь уже через полгода она со своим чиновным татаринном развелась, о чём сообщила в конце своего письма, присланного не из Симферополя, как прежде, а из Карасубазара – после справки в «Брокгаузе и Эфроне» оказавшегося древним татарским городком на дороге из Симферополя в Феодосию. Всё письмо было посвящено весьма эмоциональному отклику на развод родителей, а своему Лиза отвела всего несколько слов. Из последующей переписки выяснилось, что молодая жена наркома как кур в ощиц попала в весьма патриархальную мусульманскую семью. Муж Джемиль не пустил её в здешний наробраз искать работу, а велел сидеть дома, в женской половине, причём даже выйти на улицу Лиза могла только по его разрешению. Неприятно удивило её, что прежняя жена Джемиля ежедневно приходила накрашенная и принаряженная и вступала при ней в бесконечные беседы на татарском с мужем и свекровью Лизы. Энергичная и своенравная дочь Катишь, насытившись по горло радостями восточного брака, не стала долго терпеть столь унижительное положение. Будто бы, застав за приготовлениями к бегству, свекровь вдруг прониклась симпатией к бедовой невестке и помогла ей. Беглянка укрылась под крыло городского комитета комсомола. Начались довольно деликатные переговоры, в результате которых Лиза оказалась директором одной из средних школ Карасубазара. Получила нечто вроде отступного.

Видно, Лиза поуспокоилась в своём неприятии развода родителей, когда Адриан Иванович сообщил ей, что на развод подала вот именно её мать и что, если бы суд заседал до революции, именно она была бы признана виновной стороной. Как выяснилось, Катишь закрутила роман с известным в городе и довольно немолодым адвокатом-вдовцом, и на развод она подала, чтобы соединиться с любимым человеком. И хоть обиженный в глубине души Адриан Иванович не возражал против развода, расторжение брака происходило по новым правилам, в суде. «И почему ты не подала заявление в прошлом году?» – безмолвно вопрошал супругу Адриан Иванович, когда его особенно доставали беспардонные вопросы женщины-судьи. А та не отставала, крашенная корова:

– Скажите, вы сами изменяли жене, гражданин Лаптев?

– Да, изменял.

– И когда это было?

– Во время гражданской войны.

Каким взглядом тогда подарила его Катишь! Однако Адриан Иванович не мог солгать из-за показаний, данных о Радке в НКВД. Конечно же, он не переоценивал своего значения для органов (подумаешь, один муравей из муравейника), но чем чёрт не шутит? Если снова за него возьмутся, то и бракоразводный процесс не останется без внимания.

О единственно серьёзной проблеме, всплывшей во время разъезда, они с Катишь и не заикнулись в суде. Неверная жена хотела забрать с собою все свои фамильные драгоценности, но Адриан Иванович напомнил ей о семейном обычае Дементьевых и убедил оставить какую-то часть для Лизы. И в самом деле, зачем обижать девочку, если не дала для того никакого повода? И он хранил цацки в железном ящичке, в семье названном «сундук мертвеца», вместе с отложенными на чёрный день деньгами, пока Лиза не потратила несколько дней большого педагогического отпуска, чтобы навестить в Краснодаре отца и брата. Комсомолка, активная общественница и директор советской школы беспрекословно, только лобик наморщив, забрала свою долю драгоценностей столбовых дворян Дементьевых, и у её отца отлегло на душе.

О последующих перипетиях романа бывшей супруги доброжелатели многократно пытались информировать доктора Лаптева, однако он неизменно отказывался. Только когда Катишь уехала из Краснодара, позволил себе услышать краткую версию этих гротескных событий от секретарши своей кафедры. Несколько лет тому назад у них с этой тридцатилетней эффектной разводкой случилась короткая, ни к чему не обязывающая связь, с тех пор Нина Семёновна снова вышла замуж, но интереса к импозантному профессору Лаптеву не утратила. Старательно пропуская мимо ушей пикантные детали (они, куда денешься, всё равно застревают в памяти), Адриан Иванович думал о том, что без его вины тут не обошлось. Многие ведь супружеские пары живут вместе благополучно и без интимных отношений, но надо было уделять жене больше внимания и придумать, как вывести её за пределы узкого домашнего мирка. Он гордился тем, что зарабатывает достаточно, чтобы Катишь могла не ходить на службу, но палка-то оказалась о двух концах. Сорокалетняя женщина повела себя с третьим в своей жизни мужчиной, словно наивная старшеклассница – вот в чём настоящая её беда, и муж к ней причастен... Отфильтровав Ниночкин сочувственный лепет, он выделил действительно важное: Катишь сказала кому-то, что едет на свою родину, в Старобельск. Иначе, как её поражением, это не назовёшь.

Семья Лаптевым сократилась до трёх человек: доктор, сын-студент и домработница Глаша. С отъездом Лизы и исчезновением Катишь у Глаши появились шансы занять в семье положение повыше. Посмеиваясь в усы, Адриан Иванович пытался угадать, кого она выберет, чтобы прислониться – Коленьку или его самого? Всё, казалось бы, указывало, что девушка нацелится на Коленьку, тем более, что возникла бы возможность завидного замужества, однако... Увы, парню нравились болтушки из интеллигентных семей, чтобы можно было всласть потреться на темы культуры, к тому ж худенькие и блондинки. С Глашей, телесистой шатенкой, на такие темы не очень-то наговоришься, она

вообще молчалива. Похвально молчалива, на вкус доктора Лаптева. Когда девушка уже сделала свой выбор, Адриан Иванович задался вопросом, подваливала ли она сначала к его сыну? Глаша оказалась не девицей в техническом смысле, но Коленьку здесь обвинять не приходилось: самостоятельная казачка, по станичным понятиям так уже перестарок, с десяток лет уже шлифующая по выходным тротуары Красной улицы, своя в доску на танцах в клубе пединститута зимой и на парковых площадках летом, имела много возможностей, чтобы расстаться с таким пережитком прошлого, как добрачное воздержание. Тем более, что и на недалекие черноморские курорты за счёт хозяев несколько раз ездила. А всего больше убедила в Коленькиной непричастности совершенная индифферентность сына, проявленная им, когда Глаша с согласия Адриана Ивановича, накрыв однажды вечером на стол, сразу же поставила прибор и себе, а затем, усевшись без приглашения, заявила, что отныне она уже не домработница, а гражданская жена хозяина. От домашней работы не отказывается, но мужчины теперь должны больше ей помогать.

Только вытаращился на неё Коленька по-лаптевски эдак и промямлил:

– Вот ведь, перебила! Я же начал рассказывать совершенно балдёжную историю, как наша группа сдавала сопромат. А помогать – да разве я когда отказывался донести твои кошёлки, Глафира? Или пододеяльники выкручивать не помогал? А ты, папа, совсем как в романе Толстого...

Заинтригованный, Адриан Иванович при первой же возможности потребовал уточнить, что именно имел в виду отпрыск. Оказалось, что речь шла о какой-то шпионской книжке «красного графа» Алексея Толстого, где второстепенный персонаж, по профессии писатель, бросил жену с детьми, потому что соблазнился «молодым телом» мещанистой любовницы. Отец семейства усмехнулся в усы: только молодым телом Глашка его и прельстила, ничего другого завлекательного у неё нет. Адриан Иванович и восторга особого не испытал, когда она, дождавшись, пока заснёт в своей комнате Коленька, тихонько постучалась в бывшую супружескую спальню и, обойдя открывшего ей хозяина, разделась и хладнокровно заняла на кровати место у стеночки.

Не переживая никакого сколько-нибудь заметного сердечного увлечения, доктор Лаптев и глупостей не наделал, обычных в положении влюблённого пожилого мужа. Глаша заикнулась было, что надо бы расписаться, но после твёрдого отказа как девушка здравомыслящая не очень-то и настаивала. Он напирал на разницу в возрасте, но на самом деле не желал мезальянса и не хотел ещё и новым своим браком развлекать общество преподавателей мединститута. Глаша теперь отказалась от зарплаты в тридцать рублей и свободно, наравне с Колей, расходовала на себя зарплату Адриана Ивановича. За пару

месяцев она обновила свой гардероб, а взамен отказалась от походов на танцы и записалась в вечернюю среднюю школу. Теперь четыре раза в неделю Адриан Иванович выходил встречать Глашу к школе, и совместная дорога домой превращалась в полезную прогулку перед сном. И он только рассмеялся, когда выяснилось, что подружки Глаши принимают его за её отца.

Всем этим огорчениям и маленьким житейским радостям не придавал тогда доктор Лаптев серьёзного значения. Его дни и ночи вплеталась в жизнь окружающих его на работе и дома простых, мирных людей. Жизнь эта в Краснодаре, как и везде, наверное, в СССР на воле, не в первый раз на его памяти как бы сама собой устоялась, сама собой организовалась, приняла мало-мальски удобные для народа формы. Жизнь эта только казалась стабильной, доктор Лаптев остро чувствовал близкую опасность: бедное благополучие окружающих и его самого в любой момент угрожала снести чужая тёмная сила.

XXVI

Европа и Азия тлели, готовые вспыхнуть в большом пожаре, а за ними и весь обитаемый мир Земли, человечество в целом соскальзывало к новой мировой катастрофе. Германскую войну Адриан Лаптев встретил ротным фельдшером, умственно ограниченной песчинкой в солдатской массе, хлынувшей колоннами через русско-германскую границу в Восточную Пруссию, и понимал суть происходящего не лучше инфузории-туфельки, выплеснутой из лужи, куда бухнул сапогом. Теперь он оценивал свои возможности осмысления мировых событий более высоко, потому что считал возможным применить к политике исследовательский опыт, полученный в медицинской науке. Но если как учёный он пользовался индуктивным методом, из многих и многих опытов извлекая крупницы теоретических знаний, то к международной политике пришлось применить метод аналогий, фактически дедуктивный.

Время летело, пожирая мирные, спокойные дни, а ночи теперь всё чаще проводил Адриан Иванович в своём кабинете, над газетами и школьным географическим атласом, найденном в кладовке среди старых учебников Коленки.

Удалось по большому благу купить всеволновой радиоприёмник «СДВ-9», в пуд весом. Когда сын с ним наигрался, они вместе затащили лакированный ящик в кабинет, и теперь Адриан Иванович часть ночи тратил и на высиживание под динамиком приёмника, наблюдая за индикатором «зелёный глаз». Радостное впечатление, будто мир без границ открылся перед ним, оказалось иллюзорным. Диапазоны забивала турецкая тарабарщина,

перемежаемая тягучей восточной музыкой. Британские и французские передачи ловились, и порой неплохо, но английский язык он понимал не лучше турецкого, а во французском клекоте разбирал разве что половину сказанного, хоть в написанном виде те же сообщения сумел бы прочитать. Немецкие передачи доходили до Краснодара пристойно, вот только фашистская пропаганда показала себя не менее лживой, чем родная советская.

Неожиданное сближение с Германией в исторической перспективе выглядело не столь уж неожиданным, если примириться с мыслью, что коммунистический вождь Сталин, разочаровавшись в мечте о всемирной революции, теперь желает сделать из СССР достойного преемника некогда могучей Российской империи. Тогда этот гротескный (во всяком случае, на первый взгляд) союз фашистов и коммунистов заставляет вспомнить не только о невольном взаимном притяжении в двадцатые годы этих двух «париев Европы», двух государств, побежденных в Великой войне, официально поверженной Германии и фактически разгромленной Советской России, но и германско-российское сближение в конце XIX века. Во что оно тогда вылилось в конечном счёте, все помнят... И ведь фашисты из Германии никуда не делись: коммунисты и евреи как сидели в концлагерях, так и сидят, Тельман не выпущен из тюрьмы, готовится и «окончательное решение еврейского вопроса», страшно подумать, какое. Значит, оба, и Гитлер, и Сталин хитрят, пытаясь за счёт союзника достичь своих целей.

И вот грянуло! Немцы напали на Польшу с запада, танки Вермахта гонят и расстреливают «лучшую в мире кавалерию», а советские войска с востока отправляются освобождать Западную Украину и Белоруссию. Немецкие и советские войска встречаются на заранее обусловленной линии, и в Бресте происходит совместный немецко-советский парад победителей. Со стороны СССР что это, если не частичное возвращение территорий Российской империи, потерянных в результате Германской войны? А там и независимые страны Прибалтики принимают советские военные базы и покровительство... Возрождение империи продолжается.

Адриан Иванович не сомневается, что теперь Литва, Латвия и Эстония обязательно войдут в состав СССР. Посмотреть, так из земель Российской империи не возвращены будут только «русская Польша» с Варшавой и Финляндия, завоёванная ещё в начале XIX века. Очевидно, Финляндия теперь следующая цель, потому что начинаются претензии, переговоры, требования обмена земель, даже ультиматумы... А в ноябре тридцать девятого года советские войска, непонятно зачем, но весьма кстати обстрелянные на границе финской артиллерией, идут в наступление. Под пропагандистскую шумиху, конечно. На Всесоюзном радио и в «Правде», которая доходит до подписчиков Краснодара отнюдь не в день выхода в Москве, господствует настроение «Шапками

закидаем!»). Финская армия маленькая, танков и самолётов, дескать, нет совсем, и даже стрелковое оружие финнов безнадёжно устарело.

Если предыдущие военные затеи Страны Советов обходили семью Лаптевых стороной, то финская война ударила по ней достаточно болезненно. Начать с того, что Коленька ходил записываться добровольцем. Пошёл он в военкомат, не спросившись у отца, признался только тогда, как его уже отправили восвояси. Адриан Иванович охнул, схватился за сердце и свалился на стул.

– Так обидно, папа! Из студентов берут только спортсменов и то больше лыжников. А откуда у нас тут лыжники? Да и тем военком говорил, что напрасно их оформляет: не успеют до Ленинграда доехать, как наши Хельсинки возьмут – и войне конец.

Как и многие тогда, военком ошибся. Радио и газеты наперебой рассказывали о подвигах славных сталинских красноармейцев, но о продвижении войск не сообщали. Потом вдруг с улиц Краснодара полностью исчезли грузовики. Когда прознал стороной Адриан Иванович, что все автомашины с водителями поехали на финскую войну, он не удержался и присвистнул. Худо дело!

Уже без всякой помпы часть краснодарских медиков, что помоложе, получила повестки. Начальство объясняло, что они едут в ленинградские госпитали, чтобы срочно заменить военврачей, отбывших на фронт.

Пропагандисты заговорили о грандиозной военной помощи Финляндии со стороны международного империализма, запричитали о финских снайперах-«кукушках»: эти изверги расстреливали красноармейцев, спрятавшись в заснеженных кронах деревьев. Жесточайшие морозы и метровые снега странным образом мешали только Красной Армии. А там поползли слухи о советских дивизиях, окружённых и уничтоженных отрядами финских лыжников, о застрелившихся красных комдивах и о других командирах, расстрелянных перед строем. Немецкие радионовости сообщали о совершенно несоизмеримых потерях финской и советской армий.

Потом финнов-таки победили, закидав если не шапками, то мёртвыми головами красноармейцев. На второй день нового, тысяча девятьсот сорокового года Красная Армия снова перешла в наступление, объявленная ранее неприступной оборонительная «линия Маннергейма» была прорвана, Финляндия запросила мира. Граница отодвинулась от Ленинграда, требуемые СССР острова отданы, но Финляндия осталась независимой, и о просидевшем всю войну в советском тылу новом «народном» правительстве для оккупированной Финляндии все благополучно забыли.

Стремительно наступала весна сорокового и последнее мирное лето. В мединституте дело шло к сессии, когда в город вернулись студенты-добровольцы и, несколько позже, демобилизованные медики. Выражение лиц у большинства было такое, что бросавшиеся было расспрашивать в смущении останавливались. Теперь уже Адриан Иванович ждал большой беды, и вовсе не радовало самодеятельного провидца, что его гипотеза о сталинском плане территориального восстановления Российской империи оправдывалась присоединением Буковины и Бессарабии.

Война бушевала в Европе. Немцы захватили Францию, и пропагандистская символика подписания капитуляции в том самом вагоне в Компьенском лесу, где было двадцать лет назад подписано перемирие, фактически капитуляция Германской империи, только убедила Адриана Ивановича, что Гитлер захочет реванша и на Востоке. Но такие соображения следовало держать при себе. Государственная пропаганда утверждала, будто все договоры между СССР и Германией выполняются, а что Германия после побед на континенте нацеливается на высадку в Англии. И подтверждения тому были: разрушение Ковентри, бомбардировки Лондона и британских военных аэродромов. По ночам Адриан Иванович внимательно вслушивался даже в интонации немецких дикторов: нет ли, дескать, скрытой насмешки в их сообщениях о советско-немецких отношениях. Вроде не замечал такого...

Как-то за ужином решил он предложить:

– Время неясное, всякое может случиться. Надо бы продуктами запастись на чёрный день. Консервы там, крупы, спички, свечи, сухари...

– Про водку забыл, – захихикал Коля. – Видно ты, папа, давно в магазины не заходил. Народ не глупее тебя и всё, что не появится, тотчас подметает.

– Ну, если так, то закупиться на базаре, поискать выходы на чёрный рынок... Только ходите вдвоём, чтобы Глашу не обокрали или не ограбили бы.

– За меня, Адриан Иванович, не бойтесь, – заявила Глаша, сверкнув белоснежными зубами. – Запастись – дело хорошее, запас костей не ломит. Вот только...

И она потёрла большим пальцем об указательный. Пальцы у неё хорошей формы, но короткие, и с впритык обрезанными ногтями.

Адриан Иванович кивнул. И подумал, что незабвенная Зизи никогда не позволила бы себе, разве что в шутку, этот вульгарный жест. Как ей там живётся, в этом её Беловодске? От Зизи мысли его соскользнули к Катишь, но он, как ни странно, чувствовал себя виноватым перед нею из-за шашней с Глашей, поэтому тут же, усилием воли, постарался сосредоточиться на последнем фокусе дочери своей бывшей жены. Ведь Лиза снова вышла замуж. В письме она ограничилась весьма дозированной информацией о

новом избраннике, но материала для размышлений дала Адриану Ивановичу достаточно. Было похоже, что целеустремлённая и всегда очень себе на уме дочь своенравной Катишь выбирала мужа, стараясь, чтобы по всем параметрам был противоположностью первому. Если Джамиль порядочно старше её, то этот новый её, Бронислав, младше на два года. Тот крымский татарин, этот житомирский поляк. Тот своей национальностью точно бы угробил какую-нибудь из ареопага старых дев Деменковых, если бы узнали, этот продолжает семейную традицию, ведь и бабушка Лизы вышла замуж за поляка. Первый был наркомом, хоть и в крошечной автономной республике, второй – совхозный счетовод, то есть человек совсем не честолюбивый. И образование недостаточное вроде, чтобы заинтересовать дочь профессора. Да уж, любовь зла. Он, мол, самовольно перебрался к ней на квартиру и объявил соседям, что они муж и жена. Если Лиза позволила так с собою поступить, да ещё и написать об этом казусе, влюблена, небось, нешуточно. А насчёт того, что лучше для человека в тяжёлые времена – встречать невзгоды одиноким волком или создавать семью, Адриан Иванович так и не пришёл к определённом мнению. А там и неуместны они стали, такие рассуждения. Потому что большая беда, наконец, пришла.

Хоть и предвидел доктор Лаптев, хоть и ожидал он, что вот-вот грянет большая, ужасная война, она разразилась внезапно. Тогда подумал в отчаянии, что если бы знал точно, что война на носу, то жил бы эти последние мирные дни по-другому. Работе отмерял бы необходимый минимум, сидел бы в полотняной двойке подолгу в парке, глаза на южную природу и на по-летнему одетых девушек, волочился бы всюду за удивительно красивой ассистенткой Умаровой, через день нежился бы в ванне, полной пены, привёл бы в порядок свои отдельные оттиски и черновики монографии, ночами не стеснялся бы почаще тормозить Глашу... И злился на себя: почему не позволял себе всего этого? Ведь он же предсказал близкое начало войны, он же не ошибся!

Немцы перешли границу на рассвете в воскресенье, в три часа тридцать минут утра по берлинскому времени, и тотчас же «короткие волны» будто взорвались. Видно, в войсках у немцев после начала наступления было отменено молчание в эфире, и военные радиостанции начали окликать друг друга, проверяя связь. Цепеня от ужаса, Адриан Иванович настроился на берлинские «Новости». Знакомые голоса дикторов теперь звучали в его ушах зловеще, и будто даже злорадно. Бесспорно, и, увы, только снова и снова подтверждается основное сообщение – что Германия без объявления войны начала наступление по всей русско-германской границе, а в прочем толку не добьёшься. Выкрикивают, будто это русские большевики замыслили нападение на Германию, и мудрому фюреру пришлось упредить внезапный удар свирепого кремлёвского тирана. А

если не врут? А если Сталин решил повторить тот поход в Восточную Пруссию армий Самсонова и Ренненкампа? Господи, да какая теперь разница...

Рассвет уже обозначился за окном кабинета. Вошла, зевая во всё горло, Глаша...

– Вот, разбудили своим радио, Адриан Иванович... С чего бы это вас так перекосило?

– Фашистская Германия напала... Началось-таки. У нас с Берлином разница во времени три часа, но живём мы по московскому времени, и сейчас... половина шестого утра. Быстро одевайся и беги занимать очередь под магазином. Гребь всё съедобное, вот деньги тебе. А я пойду Колю поднимать.

– Ничего не соображу... А если это хитрая провокация? – заныла Глаша, принимая деньги.

Она ушла. Прежде чем бежать к Коленьке, Адриан Иванович вернулся к радиоприёмнику и перешёл на частоту московского радио. Там только легонько потрескивало. Не удивительно: передачи начинались с шести утра. Он быстро вернулся в спальню, оделся. Отметил, что Глаша перед уходом успела застелить постель. Он вздохнул: вспомнились почему-то русские прачки, пешком покидающие Варшаву в пятнадцатом году.

Осторожно толкнул внутрь Адриан Иванович дверь Колиной комнаты, она подалась. Значит, прошлым вечером сын не запирался в своей комнате, как порой под настроение. Понимает ли он, какой быт ждёт его в казарме? Или в пешем марше на привале? У Адриана Ивановича оставалась надежда уговорить своего комсомольца не идти добровольно на призыв, призрачная надежда, но оставалась.

Коля посапывал, уткнувшись носом в стену.

– Что за суматоха в доме? Почему не даёте мне спокойно поспать? – спросил вдруг. Неожиданно бодрым голосом, будто и не спал. И обернувшись, уже испуганно. – У тебя глаза блестят, папа!

Адриан Иванович, позабыв о платке, кулаком вытер под глазами. Тотчас же возобновился, чего он и боялся, спор о желании Коленьки записаться в военкомате добровольцем. Ни до чего не договорились тогда. И тут Адриан Иванович хлопнул себя ладонью по лбу:

– Бегом к приёмнику! Уже могли появиться первые новости. Как я хотел бы, чтобы наша дурочка оказалась права насчёт провокации, и чтобы всё обошлось!

Московский диктор бархатным голосом перечислял обычные мирные достижения. Из Берлина доносились восторженные репортажи о продвижении немецких войск, и несколько раз анонсировалась речь Гитлера. И вот он, этот истеричный, резкий и всё же

завораживающий голос, его ни с чьим не спутаешь... Голос Геббельса, министру образования и пропаганды поручено прочитать речь фюрера.

– Папа, переводи!

– В школе ты же учил немецкий, Коля. И в институте твоём...

– Я прошу! Худо я учил... Слова в что-нибудь путное не складываются.

– Ну, обычная их ложь... Мол, «пришло время вступить в борьбу против...», непонятно... «и также еврейских правителей... московского центра большевиков». Что за чушь? Ага, вот... «Сейчас происходит величайшее по своей ширине и объёму...», да, «наступление войск, такого ещё не видел мир». Не дай того бог! Говорит, будто они воюют «за спасение Европы и всего мира...». Вот ведь глупости какие...

– Ты переводи дальше...

– Опять пустая трескотня. Ничего, вот Сталин ответит Гитлеру, поставит гада ползучего на место. Есть ли смысл продолжать прослушивание? Главное, что война действительно началась. И я сомневаюсь, что нам, владельцам всеволновых радиоприёмников, долго ещё будут разрешать слушать границу. Как бы не взяли на цугундер задним числом... Вот что, сын, о том, что я Берлин ловил, никому ни слова.

– Ты прав, наверное... Ой, война началась, а я в одних трусах.

– Ты пойдёшь, помоги Глафире. Я послал её занимать очередь у магазина.

В семь утра главный местный базар был полон народу и бурлил. Ширился слух, что какой-то командированный дозвонился дежурному в Краснодарский крайком из Киева, рассказал, что там жуткие бомбёжки. Цены на базаре тотчас же подскочили, что вызвало бессильное возмущение горожан. Было непонятно, почему о начале войне с германскими фашистами молчит советская власть. Адриан Иванович бросился домой, к приёмнику.

Коля и Глаша встретили его в дверях, лица у обоих были глуповато-растерянные. Выяснилось, что на Колю очередь накинулась чуть ли не с кулаками, а Глаше было позволено купить ячневой крупы ровно столько, как позволялось «в одни руки». Когда Глаша пошла на кухню сочинять завтрак, отец и сын дружно бросились к приёмнику. Всесоюзное радио по-прежнему рассказывало о рекордных надоях молока, о стахановском движении на заводах в Туле, о подготовке к очередной Всесоюзной Спартакиаде. Наконец, уже в полдень, после нескольких предупреждений о предстоящем важном сообщении, дважды протренькали позывные, первые аккорды песни из кинокартины «Цирк», и прозвучало оно, официальное заявление советского правительства о нападении Германии на СССР. Правильное заявление и кончается правильными словами, удачно сочинёнными: о том, что наше дело правое и что враг будет разбит, а

победа будет за нами. Но почему это министра иностранных дел Молотова заявление, а не самого товарища Сталина?

Краснодарские власти успели подсуесться и в выходной, а поэтому горожане, не владеющие радиоприёмниками, имели возможность прослушать заявление Молотова, стоя под репродукторами на площади и в парке. Коля как раз бежал посмотреть, не открылся ли военкомат, и, пересекая редкую толпу, не заметил в ней радостных, улыбающихся лиц. Услышав такое, Адриан Иванович сразу же вспомнил, с каким патриотическим воодушевлением встретили начало Германской войны русские жители провинциальной польской Ломжи, а в Питере, как говорили, народ от восторга на ухах стоял, устроил манифестацию перед Зимним дворцом, снятую для киноэкрана. Теперь же, перетерпев долгие годы Германской войны, а за нею и гражданской, среднее поколение поумнело, выходит. Ну, а молодёжь, особенно студенты-комсомольцы, это особь статья.

В понедельник в мединституте возобновился учебный процесс, но и студентам, и преподавателям стало не до экзаменационной сессии. Московское радио повторяло указ Верховного Совета о мобилизации, принятый, оказывается, ещё в воскресенье, но вступающий в силу в понедельник. Успевшие втиснуться в кабинет декана, где стоит радиоприёмник, передавали услышанное по цепочке столпившимся в коридоре: «мобилизации подлежат военнообязанные, родившиеся с 1905 по 1918 год включительно».

На обратном пути Адриан Иванович заглянул в ближайший к дому магазин. Никакой очереди, ни снаружи, ни внутри. Даже продавщица отошла. Полки пусты, но в дальнем углу мешок. Раздался недалёкий звук спущенной из бачка воды, за прилавков возвратилась, юбку обдёргивая, мордатая продавщица Катя. В мешке оказался кофе в зёрнах, и доктор Лаптев в ответ на Катин вопрос только головой покачал.

Дома Адриан Иванович изрядно понервничал, дожидаясь Колю, и даже принялся обзванивать знакомых. К сожалению, у него не нашлось телефона Вари, последней девушки сына, и он даже не знал, можно ли с нею связаться по телефону, и откуда она сама звонит Коленьке. Наконец, сын явился, и Адриан Иванович замер в ожидании, скрывая ужас: а вдруг Коленька брякнет, что побывал в военкомате и уже записался? Это признание не прозвучало, слава богам небесным, и Адриан Иванович снова принялся уговаривать. Дескать, в указе сказано «по 1918 год включительно», а это означает, что отсрочка для студентов вузов пока сохранятся. Ведь все прочие военнообязанные девятнадцатого и двадцатого годов рождения сейчас проходят срочную службу, потому и не названы.

– Государство само решит, когда тебя призвать. И вот что во внимание прими. Это же факт, что, завершив образование, ты больше пользы принесёшь во время войны, чем сейчас рядовым красноармейцем.

Из немецких новостей Адриан Иванович знал об аховом положении Красной Армии, но помалкивал, потому что официальные сообщения из Москвы не давали реальной картины, пропагандисты предпочитали успокаивать народ. Но бывший фронтовик прекрасно представлял себе, что делается сейчас на западных рубежах, и не верилось ему, что в этих условиях пополнения будут хоть элементарно обучаться. А пушечное мясо, оно и есть пушечное мясо... Боже, какая разница с Великим отступлением пятнадцатого года! Тогда приходилось отступать, чтобы сохранить армию, и генералы были достаточно разумными и талантливыми, чтобы эту задачу выполнить. Теперь же создаётся впечатление, что советскими войсками командуют одни Самсоновы. А где советские Ренненкампы? Пусть немцы и врут о миллионе пленных, захваченных в первые дни войны, но даже если отбросить ноль, волосы на голове поднимаются... Что он только что сказал?

– ...Варя считает, что ты прав, папа. Я, пожалуй, повременю до призыва. Вот только стыдно перед товарищами. Многие ведь подали заявления, не знаю теперь, как им в глаза смотреть...

Чтобы скрыть предательски выступившие слёзы, Адриан Иванович обнял сына. Забормотал:

– Заметь, что я не пытаюсь освободить тебя от фронта по состоянию здоровья. Ты здоров, и мы оба не станем унижать себя...

– Многие пытаются, – злобно заметил Коля. – Подкупают членов медкомиссий за большие деньги.

– Вот не завидую я такому члену медкомиссии, – мягко ответил отец. – Вызовы на комиссию будут повторяться, а на всех взяточников денег у родителей не хватит. Хотя проблема есть, в этом ты прав.

– Из-за тебя я чувствую себя не намного более... ну, честным, что ли, чем эти маменькины сынки, – горько пожаловался Коля. – И перед Варей стыдно.

– Ты же не отлыниваешь, не пытаешься обмануть общество, ты только принимаешь отсрочку, предложенную тебе государством, – и доктор Лаптев покрепче стиснул плечи сына. – Наше государство суровое, если не сказать жестокое, оно ничего никому понапрасну не даёт. Да, это несправедливо, бесчеловечно, это подло, наконец, но для государства жизни людей, на образовании которых были потрачены его деньги, ценнее, чем жизнь необразованного сельского парня. Привилегии для образованных людей при

рекрутском наборе были и в царское время. А Варя как раз тебя поймёт. И вот что... Ссылайся на меня, что это я тебе запретил. Скажи, отец у меня суровый, послушаться нельзя. Вот украинцы здорово придумали: «Не лезь попэрэд батька в пекло».

Коля то ли хихикнул, то ли тихонько кашлянул в ответ.

На следующее утро запасные пути станции заполнили эшелоны, составленные из пустых теплушек, и город огласили песни призывников, рыхлыми колоннами уводимых на посадку. Пиликали и хрипели гармошки, голосили немногие деревенские бабы и девки, провожавшие своих до самой столицы края. Народ был одет во что похуже, на ногах – опорки или даже старые калоши, веяло перегаром самогона и домашнего вина. Отцу и сыну Лаптевым пришлось пропустить такую колонну, когда тащили они свой драгоценный «СВД-9» сдавать на почту. В глазах у полупьяных парней, орущих под взвизги гармошек весёлые песни из кинофильмов больше, Адриан Иванович увидел такую тоску, такое отчаяние, что замолчал и на почте не сказал ни слова. Коленька, видно, тоже кое-что разглядел, потому что разговор о добровольном походе в военкомат больше не возобновлял.

После сдачи «на хранение» (доктор Лаптев усмехался каждый раз, как вспоминал эту формулировку) радиоприёмника, успевшего превратиться в лакированного друга-приятеля, пришлось добывать информацию, прогуливаясь к ближайшему громкоговорителю, установленному на столбе. Запомнив прозвучавшие в сводках «Советского информбюро» названия населённых пунктов и «направлений», Адриан Иванович спешил домой и, справившись с картами школьного атласа, неизменно мрачнел. Во рту появлялся горький привкус. Ему не раз приходило в голову, что в правильной задумке раз и навсегда уберечь себя и свою семью от немецкой оккупации, а точнее, в реализации принятого по ней решения был недостаточно последователен. Убегать от немцев надо было на Урал или – добровольно – в Сибирь. Вот туда уж точно они не дойдут, проклятые колбасники со своим нелюдским «орднунгом». И кто мог бы думать, что Лиза окажется в Крыму, а Катишь вернётся в Старобельск?

После экзамена, назначенного на два часа дня, доктор Лаптев возвращался из института позднее обычного. Дорогой думал о причинах, побудивших его отказаться от «неудов». Если практикуются преждевременные выпуски из военных училищ, то и они не от хорошей жизни. А такие же выпуски из мединститутов были бы попросту вредны... Почему я не сказал «вредительскими»? Что это показывает мне Коленька? Неужели повестку?

Адриан Иванович грохнулся на диван в гостиной. Жестом попросил передать ему бумажку. Дважды прочёл, убедился, что не ошибся – и сердце отпустило. Повестка была выписана ему самому, не Коленьке.

– Всё хорошо, это мне. Видишь, на бланке для командиров запаса? Какое у меня там звание по военному билету? Военврач 3-го ранга? Сойдёт.

Про себя же подумал, что теперь Коленька раньше бабки в пекло не попадёт. Слабоватое утешение...

– Так, так... На завтра на 10.00. Время есть... Завтра меня, должно быть, отпустят домой переодеться. Вообще, едва ли отправят одного, ещё погуляю, пока группа военврачей соберётся. А где Глафира Наумовна? Почему не оглашает кухню рыданиями?

– Глашка вроде в вечернюю школу пошла. А там чёрт её знает...

– Нам это скорее на руку, сын. Давай-ка сбегай в сарай за лопатой. Встретимся в подвале.

Достал из-под кровати железный ящичек, замотанный в брезент. Открыл ключом, торчавшим в скважине, перенёс в кабинет, освободил место на столе, поставил. Из деревянной шкатулки вынул бережно драгоценные свои дипломы, завернул в пергаменную бумагу, уложил в миниатюрный нескораемый шкаф работы местного кузнеца. Заверенные копии – в сторону, чтобы взять с собой. Уложил фотографии, благо немного их оставалось. С собой решил взять только фото Коленьки, уже взрослого, а также визит-портрет молоденьких Катишь и Зизи. Готовые страницы монографии вынул из папки и втиснул в ящичек. Оттиски статей уже не поместились. «Травник» тоже. Впрочем, едва ли из катастрофически растрёпанной рукописи возможно было бы извлечь ещё что-нибудь толковое. Долго искал и едва нашёл в ящиках стола третью и четвёртую копии машинописного списка печатных работ. Одну решил взять с собой же, другую, сложив вчетверо, засунул под стенку ящичка. Туда же поместил, хмыкнув, квитанцию на возвращение своего «СВД-9» после войны. Сходил на кухню, стянул с гвоздя пару последних жировок – всё свидетельство на худой случай о владении квартирой. Положил жировки вместе с отложенным в саквояж, собранный для отсидки.

Посидел за столом Адриан Иванович, стараясь совладать с дыханием. От пыли в груди сипело, воздуха не хватало. Грусть накатила: да неужели всё, что он оставляет после себя людям, поместилось в ящичек, размером в коробку из-под сборной модели планера?

Отдышавшись, он запер минисейф, взял под мышку, на кухне зажёл фонарь «Летучая мышь» и отправился в подвал. Едва не наткнулся на Колю. Тот стоял в парадном, даже не на подвальной лестнице.

– Почему ты не внизу? Тебя с лопатой могли увидеть соседи... Выходил из них кто-нибудь?

– Там темно, папа.

Задуманное предприятие рисковало стать секретом Полишинеля, но Адриан Иванович не рассердился, только удивился, умилился даже. Одним ключом на связке они открыли замок, висевший на общей двери в подвал, другим – замок своей клетушки, одной из четырех. Адриан Иванович отбросил к самой стене тощий мешок с картошкой и лезвием лопаты наметил границы ямы. Потом принялся копать.

– Давай уж лучше я, папа. Зачем ты меня позвал?

– Ты меня сменишь, когда устану.

– Ты спрячешь «сундук мертвеца» от Глашки? Ей не доверяешь, а мне доверяешь?

Он передал лопату Коленьке, сам отступил на общую площадь подвала. Пояснил неохотно:

– Мы не «сундук мертвеца» закопаем. Тот стоит себе по-прежнему на моём столе. Теперь там только деньги, дамские цапки у Лизы. Я с самого начала купил два одинаковых железных ящичка у кузнеца на базаре, один припрятал. А закапывать добро научился у селян Гмыровки в гражданскую войну. Тут моя недописанная монография и дипломы. Допустим, убьют меня, а ты вернёшься с войны и откопаешь. А «сундук мертвеца» остаётся тебе, и ключ отдам, бери денег, сколько нужно, а если что... Да, тогда оставь остаток Глафире. Солдату на фронте деньги почти не нужны.

Передав в свою очередь лопату отцу и отдышавшись, Коленька протянул:

– Однако удивляешь ты меня, папа.

– Чем, сынок? – вздохнул Адриан Иванович. – Я поступаю, как подсказывает мой жизненный опыт. Знаешь, мне не жаль было прежних наших квартир. Все почти они служебные, а хоромы твоего деда в Старобельске, те просто чужими какими-то мне казались. Наподобие номера с ванной в бане, снятого на час. Но эту квартиру мне жаль, она ведь на наши кровные построена. Хотелось бы, чтобы досталась после войны тебе или Лизе.

В тот вечер устал Адриан Иванович от непривычных физических усилий и заснул, не дождавшись прихода Глаши. Утром они таки повозились, отчего все последующие события дня доктор Лаптев воспринимал через тонкий флер приятной расслабленности или умиротворённости. Увы, уезжать надо было сегодня же, литер до Киева, в распоряжение медуправления Юго-Западного фронта, был ему тотчас же выписан. Рискую опоздать на поезд, он, с обмундированием, сапогами и снаряжением, увязанными в плащ-палатку, притащился домой – и сделал это только затем, чтобы ещё раз попрощаться со

своими. А заодно выполнил слёзную просьбу Глаши оставить дома штатскую одежду и обувь: если прижмёт, будет что загнать на базаре. Глаша успела ещё пришить шпалы к петлицам, а он – нацарапать заявление в институт и доверенность для Коли, чтобы получил за отца расчёт. Все эти мелкие и не очень мелкие хлопоты затушевывали главную, зловещую сущность происходящего – и слава богу.

XXVII

До Москвы поезд дошёл сравнительно быстро, почти как в мирное время. А от стильного дебаркадера Киевского вокзала фирменный «второй» отчалил тоже бодро, но вот по дороге бесконечно останавливался, пропуская вперёд эшелоны из теплушек. Потом такие остановки на сутки и больше объясняли уже бомбёжками. Дважды Адриану Ивановичу приходилось покидать вагон и уходить от поезда в поле. Вспоминалась невольная картинка, оставленная памятью из мирного времени: рабочий поезд стоит в степи, а девки, бабы и дети посмелее разбрелись цветной россыпью собирать ромашки. Теперь не до ромашек, но оба раза немецкие бомбардировщики не соблазнились лёгкой добычей, летели на Москву, небось.

Долгий перегон предоставил Адриану Ивановичу массу времени для размышлений. Испытал он и определённое недовольство, у военного человека, пусть и мобилизованного, вполне естественное, своим назначением и полученной должностью – хирурга полевого подвижного госпиталя № 219 при медуправлении 8-ого механизированного корпуса. Ясно, что такая должность не соответствовала его штатской медицинской квалификации. Доктор медицинских наук и профессор должен был бы и в армии использоваться не как рядовой хирург, да и звание военврача 3-го ранга, с одной шпалой, что соответствует армейскому капитану, для специалиста его уровня низковато. Адриан Иванович нашёл два равноценных объяснения такой недооценки себя как военного медика. Согласно первому, вопрос о его использовании решал недостаточно грамотный чиновник, в спешке слово «доктор» понявший не как учёную степень, а как обозначение врача. Против такой трактовки свидетельствовала, однако, осведомлённость чиновника об окончании доктором Лаптевым в своё время фронтовой хирургической школы незабвенного Александра Ильича. Второе объяснение предполагало, что только последнее обстоятельство и высшее образование Адриана Ивановича принималось во внимание, а его основная специальность рассматривалась как несущественная для войск в военное время. Ну, это как сказать.

В Киеве новый и очень красивый вокзал был полуразрушен бомбами. С запада доносился отчётливо звуки орудийных выстрелов, на подъезде к вокзалу заглушенные, наверное, стуком вагонных колёс. В военной комендатуре вокзала Адриан Иванович узнал, что штаб КВО занимает здание бывших Высших женских курсов. На трамвае он доехал до Евбаза, а по Гершуни поднялся пешком. Дорогой удивлялся, с какой это дури военная судьба водит его по старым адресам. Пришёл к выводу, что все совпадения – чистая случайность. Оказалось, что военный округ превратился во фронт. В медицинском управлении щеголеватый и подтянутый дежурный с двумя шпалами, пробежав глазами направление, взглянул на военврача Лаптева сочувственно:

– Ваш 8-ой корпус доблестно сражается, но связи с ним нет. Ни один его подвижный госпиталь пока из окружения не вышел, нам тут о них ничего не известно. Есть информация, что готовится приказ по расформированию механизированных корпусов. Оставляю-ка я вас, военврач, в резерве фронта покамест. Получите койку в краскомовском общежитии и станете на довольствие, а каждый день в 9.00 подходите сюда.

– Так точно, – ответил военврач Лаптев, поедая глазами дежурного. Как быть, начальство ведь, кров дающее и пищей питающее.

Не успел он доесть обед в столовой, как понял, что ёрничает, стараясь побороть страх. Немецкая машина для убийств приближается, грохоча, а он вынужден топтать к ней навстречу, вооружённый стареньким наганом на ремешке, чтобы не потерял невзначай. Написал письма отдельно Коле и Глаше, потом Лизе, пошёл было узнать номер полевой почты медицинского управления фронта, но вернулся с полдороги, сообразив, что тот бесполезен. Тогда отправил письма без обратного адреса – хорошо бы, если и не «на деревню дедушке» ещё. Поскольку долгожданная речь Сталина прозвучала, когда он был в дороге, не пожалел времени, пошёл в «красный уголок» общежития и нашёл её в подшивке «Правды». Обращение «Братья и сёстры...» поразило. Не леди на первом плане, это понятно, почему: «братья» нужнее в военное время. Но столь сердечное обращение после ужасов «ежовщины», после десяти, почитай, лет единоличной диктатуры... Видно, дела, в действительности, скверные, а уж эта ласковость так точно не к добру.

Все страхи и плохие предчувствия вылетели из головы, и даже тревога за детей отодвинулась на второй план, когда пошла, наконец, настоящая служба. Началось спешное формирование 38-ой армии, куда вошли и остатки 8-го механизированного корпуса во главе со штабом. В условиях кадрового голода военврач Лаптев получил назначение начальником и ведущим хирургом одного из армейских эвакогоспиталей, собранного из остатков ещё не мобилизованного, не эвакуированного, не спрятавшегося и

не разбежавшегося киевского медицинского персонала. В двух грузовиках-полуприцепах личный состав и скудное медицинское имущество госпиталя были вывезены под Черкассы, где спешно окапывалась новосозданная армия, и занял просторное здание сельской школы-интерната в ближнем тылу. На западе гремело. Когда грузовики уехали, Адриан Иванович поёжился: свой транспорт госпиталю ой как мог понадобиться.

Едва успели медики устроиться на новом месте, как немецкие танковые части ударили по позициям 38-ой армии. Из медсанбатов наспех перевязанных раненых везли подводами, вели под руки, многие своим ходом приходили, никто, похоже, не приползал, и то хорошо. Адриан Иванович обратил внимание на «хэбэ»: все в тёмно-зелёном, то есть не выгоревшем, ещё не стиранном. Бойцы только что призванные, вот что это означает. Таким оказалось единственное его наблюдение за последующие две недели, не связанное с хирургией. Эвакогоспиталь вынужден был уже не только первично обрабатывать раненых и сортировать их, отправляя тяжёлых дальше в тыл, но и оперировать всех, кто заведомо не выдержит долгой поездки в тыловой стационарный госпиталь. Руководство личным составом военврач Лаптев передал замполиту, а сам оперировал день и ночь. Ведь не напрасно венеролога, имевшего кой-какие хирургические навыки с империалистической ещё войны, начальство назначило ведущим хирургом: кроме него, за операционными столами трудились стоматолог и женщина-педиатр. К счастью, пожилая операционная сестра показала себя настоящим мастером своего дела. Спал Адриан Иванович тогда по два-три часа в сутки, почти не ел, чтобы не терять времени, а мочился в литровую банку, подсунутую санитаркой ему под халат: иначе снова пришлось бы не меньше десяти минут отмывать руки. Канонаду он уже не воспринимал совсем, известия о том, что немецкие танки ворвались в Черкассы, а почти все части Юго-Западного фронта отбиваются уже в окружении, проходили мимо его сознания, во всяком случае, эмоции не затрагивали.

Но вот поток раненых ослабел. Военврач Лаптев, успевший отключиться на мгновение, встряхнул головой – и на месте Коленьки с теннисной ракеткой в руке увидел перед собою залитый кровью операционный стол, прежде обыкновенный письменный. Однако пуст стол, а за ним не топчутся санитары с очередным раненым. Неужто конец войне? И совершенно не приняв во внимание, что звуки боя по-прежнему слышны, более того, опасно приблизились, он сделал шаг назад, прислонился спиной к дрожащей стене и попробовал закрыть глаза. Они так устали, что не закрывались. Адриан Иванович руками опустил веки вниз – и тотчас же отключился.

Он очнулся, поднял голову. Осмотрелся. Темнота, за спиной зарево. Шаркают медленные шаги пеших. Он лежит на подводе, рядом неподвижный раненый белеет

бинтами. С двух сторон на грядках кузова сидит по раненому, они свесили головы. У подводы неясно темнеет силуэт. Знакомые очертания головы в фуражке и плеч, это политрук Свиридов.

– Ну как, оклемался, товарищ начальник? Я уж боялся, сердечный приступ у тебя.

– Бог миловал... А где мои сапоги, Иван Павлович?

– Да у тебя под боком, у борта. Портянки внутри. Если у тебя с ног отёки сошли, обувайся, будь добр, я на твоё место двух раненых посажу. Мост, заразу эту, два часа, как проехали.

– А подводы откуда? И сколько их у нас?

– Откуда? От верблюда! – ощерился, обернувшись, возчик. Крепкие молодые зубы блеснули красным.

– Помалкивай мне тут! – незло прикрикнул замполит. И пояснил. – Семь подвод нам санотдел армии прислал. Очень вовремя, и с возчиками из окрестных колхозов. Личный состав наш цел, почти цел. На мосту снаряд лопнул, так двух раненых добило и санитарку Филину осколками, тоже насмерть... Ещё санитар Бродского ранило, но ходячий. Имущество везём, искорёжен кипятильник, восстановлению не поддаётся.

Обуваясь, не только кряхтел от боли Адриан Иванович, но и производил несложные вычисления. Спросил, боясь услышать ответ:

– Лежачих всех забрали, Иван Павлович?

Не ответил замполит, ушёл выбирать, кого из ходячих раненых посадить на место начальника. Значит, пришлось ему большинство прооперированных оставить на милость Гансов. Проклятая война!

Спрыгнул на землю Адриан Иванович, едва удержался на ногах, голова закружилась. Спросил у одной медсестры, у другой и выяснил, что это ночь на двадцать третье августа. Два месяца исполнилось новой Германской войне! А какой рёв подняла и до чего же громко испускает газы! Тотчас же сжала сердце тревога за Коленьку, но он перемогся и полностью взял на себя руководство госпиталем. Когда рассвело, загремело уже на юге, со стороны, как выяснилось после обсуждений с персоналом, Кременчуга. Не смея сказать вслух, Адриан Иванович проклинал бедность РККА. Куда это годится, что связь в его госпитале на уровне Крымской войны? Ни радиоприёмника (а о передатчике и заикаться нелепо), ни полевого телефона даже, хоть от него в движении пользы ноль! Газет врачи не видели после отъезда из Киева, то бишь не меньше месяца. Связь с армейским начальством, с санотделом только через нарочных – а если убьют конника, а если перетрсит славянин или заедет не туда?

Лёгок на помине, прискакал нарочный, хрипло прокричал, чтобы располагались на задах горы Пивихи, в Лизках, а раненых отправили на станцию Рублёвку. Ну, гору уже можно разглядеть, и городок на склонах её, а насчёт станции принялись наводить справки у недовольных возчиков. Как выяснилось, селяне недовольны ещё и потому, что мост через Днепр у Черкасс взорван, и если и без того пришлось бы возвращаться навстречу немцам, то теперь не миновать хрен знает где другую переправу искать. Поразмыслив, решил военврач Лаптев отправить к железной дороге с ранеными политрука и с ним бывшего стоматолога Моисея Лазаревича, а теперь военврача Пихтеля, а самому заняться устройством госпиталя на новом месте. В этих самых Лизках оказалось только несколько хат, в самой большой и чистой устроил Адриан Иванович операционную, и не поинтересовавшись, что думает о его решении седобородый хозяин. Одного из санитаров послал в городок на склонах горы, называвшийся, как выяснилось, труднопроизносимо: Градижск. Санитар понёс донесение об отправке раненых на полустанок и напоминание, чтобы на Рублёвку был выслан санитарный поезд.

Казалось бы, всё сделал, что мог, Адриан Иванович для раненых, сохранённых в отступлении от Черкасс, но совесть продолжала его мучить. Уже и немецкие танки догнали успевшие окопаться полки новосформированной армии, и на переднем крае развернулась нешуточная заварушка. Гремела артиллерия, над горой поднимались столбы дыма, добрались до Лизок первые раненые. Адриан Иванович уже вовсю оперировал, когда операционная сестра показала ему глазами на дверь. Под подковой на счастье, прибитой над притолокой, стоял один из возчиков, тот самый сухорукий сельский парень, что улыбался военврачу, когда тот очнулся под Черкассами. Кепку он потерял, короткие волосы на голове поседели.

Санитары как раз втащили политрука Свиридова. Был он без сознания, с оторванной кистью правой руки, с осколками в животе. Адриан Иванович проверил раненых в очереди, политрук по тяжести ранений шёл внеочередным. Поэтому, закончив иссечение раны и передав пациента на перевязку, военврач Лаптев с чистой совестью занялся своим замполитом. Пока останавливал кровь из руки и формировал культю, выслушивал рассказ прежде смешливого возчика. Руки делали своё дело, а мозг отказывался верить. Немцы разбомбили санитарный поезд, когда он, наконец-то допыхтел до Рублёвки и погрузка подходила к концу. Самолёт трижды заходил на поезд, бросал бомбы, бил из пулемёта. На «красные кресты» не смотрят. Вагоны опрокинуты и сторели. Паровоз испорчен. Что с ранеными – ужас... Глядеть нельзя человеку. Чернявый доктор убит. Возчики посоветовались и решили прибиться к знакомым медикам, потому что везде страшно, а домой уже хода нет. Ужас? Ужас. И там, и здесь. Тут, у Ивана Павловича

и лапаратомия не нужна, осколок проделал сам разрез в брюшной полости. Адриан Иванович вынул осколки и кивнул операционной сестре, чтобы зашивала. Мало шансов у политрука выжить, но надо делать всё, чтобы спасти сослуживца. Адриан Иванович повернулся к возчику и принялся распоряжаться.

Положение в Рублёвке оказалось ещё хуже, чем предполагал военврач Лаптев. Расстрелянный и сожжённый санитарный поезд успел принять раненых от нескольких ППГ, полевых передвижных госпиталей, прежде чем пришёл на полустанок. В чёрных остовах вагонов и рядом с ними можно было найти только обгоревшие трупы, на них Адриан Иванович предпочитал не смотреть. Живые обнаруживались только на некотором расстоянии от вагонов, это были те, кто сумел уползти и не успел умереть. Их осматривал Адриан Иванович и, как правило, приказывал грузить на подводы. Возле него топтался железнодорожник в порванном мундире. Оглуший, показывал в сторону Кременчуга и повторял:

– Они сами пошли туды. Они сами...

Адриан Иванович сообразил, наконец, что это ходячие раненые по колее поковыляли в сторону, противоположную от фронта. Он прикусил губу: ведь там Кременчуг, и оттуда сильно гремело. Сейчас канонада притихла. Чёрт возьми, куда же собирался отвезти наших раненых злосчастный санитарный поезд? В плен к немцам, выходит?

Опасения его подтвердил начмед 169-ой стрелковой дивизии, тот самый некогда щеголеватый дежурный по медицинскому управлению фронта. На этой войне Адриан Иванович уже ничему не удивлялся. Начмед прибыл на одной из двух полуторок с полудюжиной санитаров и медсестёр, представился военврачом 1-го ранга Евстигнеевым. Он одобрил действия Адриана Ивановича, передал ему в подчинение машины и медиков. Потом, оглянувшись, отвёл в сторону и сообщил полголоса:

– Положение неважное. Немцы уже на левом берегу Днепра, заняли плацдарм от Черкасс до Кременчуга. Забудьте, что у вас эвакуогоспиталь, возите раненых с собою, пока не будет возможность оставить в стационаре, латайте уж как-нибудь на ходу. Правильно сделали, что обзавелись подводами, а вот вам ещё грузовики и люди. Это наследство от нашего ППГ, он отдал богу душу под Черкассами. Держитесь подальше от переднего края, чтобы снаряды не долетали, но бойтесь отстать или оторваться от войск. Вы стоите за нашей 169-ой стрелковой дивизией, она пришла сюда от самой границы, командир у неё был твёрдый, генерал-майор Турунов, жаль, тяжело ранен. Ну, эти бойцы и сейчас не разбегутся, и вас не бросят. Возчиков потом оформите, унести бы только с Украины ноги

и спасти побольше раненых. Я с вами откровенен, профессор, потому что читал ваше личное дело и надеюсь на хирурга-практика, имеющего опыт Германской войны.

– А что с Киевом, товарищ военврач 1-го ранга? – осмелился спросить Адриан Иванович.

– Пока держится, штаб фронта в городе, но чует моё сердце, профессор, что настанет время, когда мы ещё порадуемся и, фигурально выражаясь, восславим господу, что переброшены намного южнее.

И это время наступило, когда госпиталь Адриана Ивановича был уже доукомплектован, в тылу непробиваемой 169-ой дивизии оставил Полтаву и перебазировался в Волчанск. Поползли упорные слухи, что почти весь Юго-Восточный фронт остался в окружении, солдаты убиты или в огромных количествах захвачены немцами в плен, бредут теперь безоружными толпами на запад. Штаб фронта не сумел выйти из окружения и почти весь полёг в какой-то балке к востоку от Киева, а в Киеве немцы. Командующий фронтом генерал Кирпонос будто бы погиб с винтовкой в руках, как и многие штабные. Те же примерно сведения повторялись в немецких листовках, засыпавших с неба отступающие части 38-ой армии. Однако официальной советской пропагандой эта катастрофа замалчивалась.

Тогда-то и припомнил Адриан Иванович слова начмеда 169-ой дивизии, а вспомнив, испытал не радость, конечно, но нечто вроде болезненного облегчения: будто прорвал давно мучивший его нарыв. Стало очевидно, что немцы ещё сильнее, чем в Германскую, и что кремлёвские правители бездарно проиграли если не всю войну (чего не дай бог!), то уж её начало так точно. В те дни на лицах многих сослуживцев замечал военврач Лаптев странное, отрешенное какое-то выражение. Выходит, не он один сообразил, что на этой страшной войне не удастся выжить. Не рано ли радоваться, что оказался за пределами Киевского котла? Что помешает немцам устроить следующий котёл вокруг каких-нибудь Валук? Сдаваться в плен он не собирался, время от времени отдавал легкораненому почистить свой наган, а заветный патрон, для себя, постоянно носил в левом кармашке гимнастёрки. В правом вместе с удостоверением личности держал партбилет, надёжный пропуск на тот свет, если попадёшь в лапы к немцам. А когда наступал очередной раз ад аврала за операционным столом, бывало, что приходило ему в голову и такое: уж если суждено погибнуть на этой беспощадной войне, то к чему эти лишние предварительные мучения? Остался бы в котле, лежал бы уже в земле сырой, наслаждался бы вечным покоем... Слишком много народу погибало, в том числе и рядом с ним, а он считал наивным надеяться, что и на этот раз смерть минует его, как в прежних войнах.

Раненые строевые командиры не утаивали перед хирургом своей злости и горестного недоумения, вызванных катастрофой под Киевом. Один контуженный майор, иногда срываясь в бред, вспоминал, как на командирских собраниях читались приказы высшего начальства, где посылались «приветы» проштрафившимся командирам за ошибки на учениях, пьянку в части и прочие недостатки.

– Что ж теперь-то наверху молчат? Ведь ясно, что руководство фронта оказалось несостоятельным! Тысячи танков имел под рукой Кирпонос, а покажите мне теперь хоть один! Тупой помкомвзвод, выбравшийся наверх по трупам оклеветанных героев гражданской войны! Собаке собачья смерть!

Адриан Иванович заметил, что солдаты, бывало, что и восхищались геройством покойного командующего, тогда как командиры не могут простить ему поражения. Сам он сравнивал стратегическую безграмотность и неосведомлённость Кирпоноса, равно как и начальников над ним, с осмотрительностью и оправданной смелостью таких генералов Германской войны, как Брусилов, например. Приходило ему в голову, что и боевой опыт, накопленный сгинувшими в годы «ежовщины» прославленными полководцами гражданской войны, мог бы оказаться бесполезным в противоборстве с Вермахтом, не только зловещей и безжалостной, но также современной и совершенной машиной истребления. И ещё подумалось однажды Адриану Ивановичу, что обыкновение вывозить из окружения самолётом командира-генерала, оставляя его подчиненных на убой и плен, приходится признать целесообразным, наверное. Вот только Кирпоносу не помог бы и такой полёт. Расстреляли бы его свои же, как тех командиров-неудачников финской войны. Да и со временем рассказали Адриану Ивановичу, что в слухах личное геройство Кирпоноса сильно преувеличено: на самом деле он был смертельно ранен осколками мины во время обстрела немцами оврага, где со штабом пытался укрыться.

Между тем, хоть из Волчанска пришлось отступить, фронт стабилизировался – потому, наверное, что немецкое командование все силы бросало теперь на Москву. В 169-ой дивизии нашлась даже своя полевая почтовая станция, и Адриан Иванович в первые же полчаса свободного времени написал новые письма родным теперь уже со своим номером полевой почты. Порой теряя терпение, ожидал он ответов, но письма, отправленные из Краснодара и Карасубазара летом, пришли только поздней осенью, когда многое у Коленьки и Лизы наверняка уже снова изменилось. А в июле Коленька пожаловался на практику, которая вся свелась к отработке по две смены подряд дежурным слесарем на пищевом комбинате. Да уж, в мирной жизни свои проблемы. Лиза в начале августа писала, что обрадовалась весточке от отца, «чуть было не пропавшего без вести», как она выразилась. Лизины же новости сводились к тому, что её драгоценного Бронислава не

взяли в армию как поляка по национальности, но он добровольно записался в истребительный батальон. Стал «ястребком». Адриан Иванович всякий раз, как перечитывал это место, поднимал брови и обещал себе обязательно навести справку, что там за «ястребки» такие. Ещё она писала, что в Карасубазаре татары не смотрят в глаза и всё чаще притворяются, что не знают русского языка. Скорее бы в школе начались занятия! Вот что значит глубокий тыл...

А здесь пришлось размещать полевой госпиталь в спешно вырытых землянках, а их тут же начали заливать холодные дожди. К счастью, прибывшая из Ирана 76-ая горнострелковая дивизия, свежая и в полном составе, лихо ударила по немцам и, победив в бою под меловыми горами, отогнала их от Волчанска. Городок, хоть и невероятно разрушенный, всё-таки, в отличие от чистого поля, смог предоставить освободителям и отапливаемые помещения. Одно из них, чудом сохранившееся, здание медучилища, полевой госпиталь разделил со штабом 76-ой дивизии. Госпиталю досталось и кое-какое медицинское оборудование, которое не успели разграбить немцы за две недели оккупации. Немцев теперь всё чаще называли «фрицами», притом с насмешкой и пренебрежением. Что ж, это был совсем неплохой ход советской пропаганды – высмеивать по-прежнему могучего и страшного врага: военный народ попроще, посмотрев на листовке или фронтовой газете карикатуру на «фрица» или стишок о нём, чувствовал себя психологически комфортнее.

Теперь главные события происходили севернее. Скупые и тщательно отредактированные сообщения «от советского Информбюро» дополнялись слухами и частично реальной информацией о положении дел, иногда поступающей во время внеслужебной болтовни от штабных краскомов. Стало ясно, что Брянский фронт исчез в Брянском котле, а потом погибли войска, попавшие в Вяземский котёл. Фрицы стремительно приближались к Москве, их остановила только распутица, но раскисшие дороги, в октябре напоминавшие черное бланманже или слизистую кашу, точно также мешали и РККА подтягивать резервы.

А тем временем немцы ворвались в Крым! Адриан Иванович места себе не находил, ведь полученное в конце сентября письмо от Лизы так и осталось единственным. Зато Коленька писал часто, хоть некоторые из его писем и терялись по дороге. Прислал он и свою фотографию. Адриан Иванович часто доставал её, чтобы мысленно поговорить с сыном, к тому же приятно было ему посмотреть на молодого человека не в форме, от неё уже зеленело перед глазами, или не в ватнике, не измазанного и не голодного, как волчанские горожане.

Коля писал, что введены продовольственные карточки, и этого следовало ожидать. Глаша от карточек впала в ступор, что тоже не удивило Адриана Ивановича. Неожиданной оказалась другая новость. Подругу Колину, Варю, призвали, и она уехала в Ростов на курсы зенитчиц. Наверняка Коля сейчас испытывает сложные чувства, но на письме он не сумел бы их передать – и как бы он сумел, если и устно такое ему не удавалось? Впрочем, тогда, поздней осенью, и Коля мог уже потерять бронь: положение на фронтах настолько скверное, что едва ли военком станет ждать даже до конца учебного года.

А там и зима наступила, для фронтовиков время вдвойне хлопотное и тяжёлое, а порой и мучительное. Но в ту первую военную зиму красноармейцы радовались, что фрицы, не обеспеченные, как говорят, зимней формой, жестоко мёрзнут. То ли дело русские! Ведь хоть не у всех раненых, попавших в госпиталь, оказались с собой шинели, обморожений не наблюдалось. Крепок русский человек!

Зима оказалась повеселее осени, потому что лавину немцев, в конце концов, удалось остановить под Москвой. Но ещё прежде произошёл войсковой праздничный, на Седьмое ноября, парад на Красной площади – будто немцы не в Подмоскovie уже! Не сразу добыл Адриан Иванович затрёпанную фронтовую газетку с речью товарища Сталина. Трижды перечитал он удивительные, немислимые, казалось бы, слова: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Димитрия Донского, Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!». Невероятно! Образ покойного вождя на равных с образами социально чуждых полководцев прошлого, а главное, что все они – русские! Ведь даже Кузьма Минин, не говоря уж о князьях и дворянах, не может быть предком красноармейца-узбека, прооперированного вчера Адрианом Ивановичем, это одно. Выходит, что советский интернациональный патриотизм себя в пропаганде не оправдывает, и возрождаются втихомолку апелляции к имперскому российскому патриотизму прежних времён. Едва ли товарищ Сталин, учившийся, как всем известно, в семинарии, успел забыть, что Александр Невский – это не только победитель немцев и шведов, но и «благочестивый князь», православный святой. Это второй сигнал. И не о том ли, что близится и примирение с православной церковью, быть может, даже реальное возрождение патриаршества? Впрочем, если уж решился вождь вспомнить «наших великих предков», то уж Александра Невского, о котором был снят перед финской войной замечательный фильм и, конечно же, не без ведома самого товарища Сталина, он не мог обойти. Может быть, оттуда и идёт весь замысел. И хоть еретическая для старого большевика теория о

замысле вождя возродить Российскую империю получила новые подтверждения, собственная прозорливость не радовала военврача Лаптева.

Понятное дело, он не спешил делиться своими наблюдениями, но к тому, что говорит о речи вождя военный народ, прислушивался. Раненым красноармейцам понравилось, что вождь сначала обратился к ним, а затем уже ко всем прочим участникам войны, кроме того, многие испытали облегчение, услышав заверение, что война продлится «ещё несколько месяцев, ну полгода, ещё, может быть, годик», эти слова запоминали наизусть. Командиры обсуждали и слова о «великих предках», порой без должной осторожности. Один старший лейтенант заикнулся даже, что революцию, мол, делали евреи для евреев же, а как иноземца из страны выгонять – снова русские понадобятся! Кто-то посетовал, что худо придётся теперь школьникам и студентам: будут, бедные, учить историю не с революции девятьсот пятого года, а снова от Рюрика. Некий прозорливец с двумя шпалами пошутил, что коли так, то и до денщиков дойдёт, а то и до царских погон на плечах. Кто-то посмеялся: не для того, мол, рубали золотопогонников в гражданскую, чтобы самим погоны пришивать. Тут припомнил Адриан Иванович, что маршальское и генеральские звания были введены ещё перед войной, когда и кинокартина «Александр Невский» в народ запущена, но предпочёл не вступать в разговор.

А тем временем наступление немцев застопорилось. Говорили, что из Сибири переброшены полные дивизии, укомплектованные техникой и одетые как раз для сибирских морозов. Да что там сибиряки, если и личный состав 38-ой армии получил в начале декабря справное зимнее обмундирование: полушубки, валенки, тулупы, а под них ватные фуфайки и штаны, командиры вдобавок тёплое бельё, раненых в госпитале тоже защитили от холода. Боялись верить в победу, но она пришла: немцы покатались от Москвы, бросая технику, а толпы уже немецких пленных были проведены, как писали газеты, через опустевшую Москву. Между тем наступление РККА продолжалось: открывая передачу звуками фанфар, Информбюро почти каждый день ликующе сообщало об освобождении от врага посёлков и деревень, очень часто только тамошним жителям и известным.

Тем временем фронт на границе Полтавщины и Донбасса стабилизировался, противники закопались в землю и защитились минными полями. В тёмное время суток на горизонте поднимались в небо осветительные ракеты. Новогодней ночью, проведённой Адрианом Ивановичем на дежурстве по госпиталю, на которое он себя сам же и назначил, эти ракеты напоминали даже праздничный салют. В середине января госпиталь проверял начмед дивизии Евстигнеев, тот самый бывший чиновник Киевского военного округа, что определил некогда военврача Лаптева в 38-ую армию. Наедине и понизив голос, он

рассказал, что в военных кругах повыше дивизионного начальства очень недовольны качеством руководства наступательными операциями под Москвой. Если бы на сторону РККА перешли немецкие полководцы и если бы им Сталин доверил бы планирование наступления и руководство войсками, то группа армий «Центр» была бы не вытеснена с огромными трудами и потерями из Московской области, а уничтожена в котле, как это произошло летом с Юго-Западным фронтом. И мы бы ещё посмотрели, как сумел бы тогда Гитлер залатать свой Восточный фронт. Ну, нет у нас таких генералов, как Гудериан или Гальдер! И только одну немецкую дивизию удалось взять в клещи и уничтожить под Москвой.

– Поэтому на самом деле война затянется надолго, и многое решится летом. И не обязательно в нашу пользу решится, – закончил начмед уже шёпотом, обладая склонившегося к нему Адриана Ивановича сладковатым душком только что выпитого спирта.

Военврач Лаптев только кивнул. Он тоже не ждал от лета ничего хорошего. Ведь немцы захватили весь Крым, кроме Севастополя, и теперь Лиза уже сама пропала без вести. Зато откликнулся наконец-то Коленька, на сей раз, увы, из армии. Письмо о том, как призван был, затерялось. А в дошедшем сообщал, что в качестве без пяти минут инженера отправлен в Ульяновское танковое училище, в Предуралье. Жаловался на холод и голод в казарме, на грубость товарищей и командиров, мат и хамство на каждом шагу, изматывающие занятия по технике и тактике, «пеши по-машинному». В ответном письме отец попытался ему объяснить, что во время войны подготовка солдат и командиров специально строится таким изуверским способом – для того только, чтобы обучаемые захотели поскорее оказаться на фронте. На самом же деле годы и месяцы учения (и отсрочки от фронта!) позднее будут вспоминаться как время мирное, безопасное и сытое. Варя уже была на фронте, где-то на Севере, и Адриан Иванович, поразмыслив, посоветовал Коленьке не в коем случае не ныть, не жаловаться в письмах к ней. Иначе, мол, сложно будет построить отношения с Варей в будущей мирной жизни.

В ответном письме Коленька этот вопрос обошёл, что огорчило и несколько обидело отца. Адриан Иванович не знал, что никакие его советы уже ничему не смогут помочь.

XXVIII

Летом сорок второго, после жестокого поражения РККА под Харьковом, немецкие танковые клинья, словно стальное перо клочок рыхлой газетной бумаги, прорвали

оборону 38-ой армии. Людская песчинка, угодившая в смерч, военврач Лаптев, имея под началом медсестру и двух санитаров своего уже не существующего эвакогоспиталя, оказался среди жалкого остатка 169-ой дивизии, прорвавшегося из окружения. По количеству штыков дивизия не дотягивала до двух стрелковых батальонов полного состава. Эти красноармейцы и командиры, в основном, тыловых частей, были ошеломлены и подавлены молниеносным разгромом, смертью и пропажей без вести боевых товарищей. Однако сами они остались живы, не попали в плен, сохранили оружие и подчинялись своему расторопному и хладнокровному командиру – генерал-майору Рогачевскому. Началось отступление. Изредка огрызаясь, дивизия продолжала нести потери, хотя гораздо больше сослуживцев Адриана Ивановича по 169-ой погибали от авианалётов: отступали голыми, безлесными степями, укрыться стало негде. Порой немцы на танках, бронетранспортёрах и грузовиках так далеко продвигались на восток, что командиру дивизии с оставшимися штабистами приходилось прокладывать окольные маршруты, чтобы нагонять своих.

После ночной переправы через Дон они снова догнали отступающие части, получили полосу обороны на левом берегу, но так вымотались, что не стали, вопреки приказу, окапываться, заснули с полевыми лопатками, у кого были, в руках. На рассвете Адриана Ивановича растолкали, и ему пришлось встать в общий строй на правом фланге, с командирами. Высокорослый моложавый красавец Рогачевский, заметно спавший с лица и по-походному небритый, но сохранивший свою безупречную строевую выправку, поставил дивизию по команде «Смирно!» и зачитал, хрипя и теряя время от времени голос, «Приказ № 227 народного комиссара обороны». Товарищ Сталин, а это он как нарком обороны подписал приказ, жаловался на потерю страной огромных территорий, продовольствия и материальных ценностей, но объяснял всё это нехваткой порядка и дисциплины. И вывод: «Ни шагу назад без приказа высшего командования! Единственной причиной ухода с позиций может быть только смерть». К сему и распоряжение сформировать штрафные батальоны, используя при этом передовой опыт противника. Снова прозвучало, и со значением: «И. Сталин». После паузы сообщил комдив, что 38-я армия расформирована и что дивизия теперь будет воевать в составе 21-й армии. И скомандовал:

– Вольно. Разойтись!

Выученный исполнять эти команды тридцать лет тому назад, на строевом плацу перед казармами 13-го пехотного генерал-фельдмаршала князя Волконского Белозерского полка, военврач Лаптев машинально опустил голову и плечи, переставил правую ногу на шаг вправо и вперёд, а к ней подтянул левую. Ему тогда очень не хватало начмеда

дивизии Евстигнеева, чтобы наедине и без лишних ушей обсудить обидные и даже возмутительные идеи приказа, однако начмед лежал в неглубокой могилке у безымянного хутора километров за девяносто до Дона. Пулемётная очередь из немецкого штурмовика взбила пыль на степной дороге, наповал убила Евстигнеева и закончилась перед Адрианом Ивановичем, что брёл рядом. В гимнастёрке собеседника он нашёл пластмассовый смертный пенальчик, чтобы отдать начальнику штаба. Безотчётно не желая оставлять рядом со своим, лежавшим в часовом кармашке бриджей, сунул его в левый карман гимнастёрки. Потом санитары выкопали могилу, а доктор Лаптев сказал пару надгробных слов. Спешно похоронив умницу-начмеда, они не сразу догнали своих.

Теперь Адриан Иванович воротился на гребень горы и улёгся на месте, где должен был бы копать окопчик, если бы подсуелится и снял бы полевую лопатку с какого-нибудь убитого красноармейца. Он котелок не побрезговал таким образом раздобыть вместо своего, осколком пробитого, так почему бы не разжиться лопаткой? Что ж, санитары выкопают ячейку и ему, когда закончат свои. Голова во время бесконечного отступления, да что там, бегства, работает не нормально, вот в чём дело. Иначе почему он сейчас боится даже про себя, беззвучно сказать товарищу Сталину то, что сказал бы смелый, не боявшийся доноса начмед Евстигнеев, а теперь уже никогда не скажет? Да, товарищ Сталин, у тебя виноваты оказались честно и даже героически погибшие. А ведь русский солдат стоек, послушен командиру, бесстрашен, в бою забывает о себе. Если в частях нет порядка и дисциплины, то в этом командиры виноваты, а больше всех самый главный командир – понятно тебе кто, товарищ Сталин? Да и как ты оказался на должности наркома обороны? Догадываюсь, что сам себя назначил, как Николка Кровавый в пятнадцатом году, но были ли для этого серьёзные основания? Ты разве имеешь военное образование? Ты разве воевал когда-нибудь сам? А какой ты стратег, это стало понятно уже тогда, когда позволил Гитлеру внезапно напасть на СССР. Да военные люди прятали глаза, когда ты говорил, что всё дело во внезапности нападения! Какая там ещё внезапность, если у границы сосредоточились сто пятьдесят немецких дивизий? Ты обещал, что фашистская Германия развалится через полгода, но твои полгода прошли, а мы потеряли Харьков, Донбасс и вот отступили к самому Дону. Ты собираешься поправить дело обычной своей жестокостью, но война и без того безмерно жестока...

– Товарищ военврач, проснитесь!

Он встряхнул головой и всмотрелся в склонившееся над ним усатое лицо. Вестовой комдива! А бог ведь что померещилось...

– Комдив приказал всем командирам и начальникам служб пересчитать людей и доложить ему. Получен приказ. Нас выводят в тыл пехтурой на станицу Пролетарскую и оттуда железкой в Сталинград на переформирование.

Слышны были запахи дыма и подгоревшей каши от недалёкой полевой кухни. Над Доном всё не рассеивался туман, и за его белой пеленой урчали моторы немецких танков. Но это уже были чужие заботы.

В тыл, на переформирование... Про отдых никто и не заикался. Вот чувство сладкого бездействия Адриан Иванович испытал – в те несколько дней, когда эшелон 169-ой дивизии по забитой составами железной дороге и под немецкими бомбами пробивался к Сталинграду. Лёжа в сытом полубеспамятстве на голых нарах теплушки, он всё возвращался мыслями в то время, когда Коленька уже вырос, стал взрослым, и они вдвоём могли бы завязать между собой замечательные, светлые, для обоих радостные отношения, старый и молодой Лаптевы. Коленьке куда легче было бы вступить в сложную, грязную взрослую жизнь, если бы Адриан Иванович не пожалел бы времени, вечно занятый, не постеснялся бы, привыкший к духовному одиночеству, а открыл бы перед мальчиком свою душу, как светлое в ней, так и постыдное, чтобы Коленька яснее понимал собственные побуждения и осмысленно шёл по жизни. Но казалось, что есть ещё время... А теперь можно только локти кусать. После драки кулаками не машут ведь, а если точнее, то почти всегда машут, для собственного успокоения только.

Засыпая и просыпаясь, Адриан Иванович пытался заново сделать очень важные, принципиально важные расчёты. Во время отступления он навёл справки у командиров-танкистов, пешком отступавших рядом с ним, и выяснил, что в мирное время в танковом училище учатся три года, а в военное, само собой, срок обучения сокращённый. Спрашивал он, какой именно, с замиранием сердца спрашивал. Но танкисты, все, как назло, кончавшие училища до войны, не знали точно, а навскидку – от полугода до девяти месяцев. Вот тогда-то и начались мучительные расчёты. Письмо из училища было датировано 23 декабря. Судя по жалобам, это был первый месяц муштровки. Коли так, обучение могло начаться с 1 декабря. Стало быть, выпуск в войска должен состояться вот в эти именно дни, в конце июля! И как это он считал? На два месяца раньше... А вот если обучение девятимесячное, тогда Коленьке учиться ещё целый месяц. И остаётся надежда, что оставят его в училище преподавателем или что распределят в тыловую либо резервную часть, а то и направят на Дальний Восток, где японцы, вроде, раздумали воевать. Что преподавателем поставят, шансов мало. Не на образованность ведь и на ум смотрят в таких случаях, а на твёрдость и командные качества. Танковое училище не университет, и невозможна в нём карьера домашнего мальчика и мямли. Но, может быть,

Коленька в училище внутренне изменился и превратился в бессовестного служаку, способного цукать и гнобить таких же, как он недавно, зелёных курсантов? Тяжко задумался тут Адриан Иванович. И пришёл к выводу, что аналогия с его самого, деревенского лопухого парня, преобразованием царской казармой в унтера с вытаращенными глазами, как определила его Зизи, неправомерна. Исходный материал слишком разный: крестьянский выкормыш и профессорский сынок. Теплилась в нём надежда, что Коленьке передалась по наследству его военная удачливость, и только эта малость и грела ему сердце.

Тем временем эшелон достиг Сталинграда, но проехал без выгрузки через большой, по-южному белый и в мирное время, наверное, уютный город. Теперь и сам комдив едва ли снова назвал бы Сталинград тылом. Зловещий грохот доносился с запада, в небе гудели немецкие самолёты. И через открытую дверь теплушки нетрудно было разглядеть, что на улицах много военных, проезжали и мимо зенитных установок. Миновав Сталинград, эшелон ещё довольно долго тащился безлюдными степями, пока не остановился на полустанке. Высадились, остатки полков и отдельных подразделений дивизии были рассредоточены по ближайшим хуторам. Началось спешное пополнение новобранцами, бойцами и командирами разбитых частей, красноармейцами, выписанными из госпиталей. На хуторе Чапаевец в тесноте, да не в обиде заново формировались артиллерийский полк дивизии и её медсанбат, начальником которого военврач Лаптев неожиданно для себя оказался. Дел, и все неотложные, на него навалилось столько, что он до самого марша заново сформированной дивизии на Красноармейск под Сталинградом так и не собрался поразмыслить, оправдано ли явное понижение его в должности. В самом же Сталинграде дивизия попала в самое пекло, жизнь каждого висела на волоске, у соседей по нарам в подвале то и дело обрывалась, и только заклятые честолюбцы из кадровых краскомов, небось, находили время задумываться о карьере.

А перед броском на Сталинград 169-я дивизия переправилась через Волгу и сосредоточилась в Красноармейске, посёлке в городской черте Сталинграда. Это название, как выяснилось, получила древняя, с екатерининских времён, немецкая колония Сарепта. Не один Адриан Иванович принялся ошалело озираться, когда оказался вдруг на прямоугольной площади рядом с кирхой и в окружение домов старинной немецкой архитектуры. Местные немцы, были, понятно, отсюда вывезены. Но и разрушений не заметно, что казалось особенно удивительным на фоне жестоко разбомбленного, продолжающего догорать и дымить Сталинграда. Политработники рассказывали, что после фугасных бомб немецкие лётчики засыпали город «зажигалками», при этом центр

выжжен полностью, со всем населением. Потери среди мирных жителей горестно поражали воображение. Погибли и почти все ленинградские детдомовцы, вывезенные в безопасное, как казалось, место после первой блокадной зимы. Фашисты показали себя дикими зверями, конечно, но слушая политработника, Адриан Иванович не мог не удивляться головотяпству городского начальства: чтобы при приближении немцев эвакуировать хотя бы женщин и детей, большого ума не требовалось.

Построившись, 169-ая дивизия втянулась в разрушенные и дымящиеся кварталы, спешно заняла полосу обороны и до позднего вечера отбивалась от прорвавшихся на улицы Сталинграда фашистских механизированных частей. Развернув медсанбат в большом подвале под развалинами, Адриан Иванович снова, как и в начале войны, трудился, в основном, хирургом и испытывал такое же изнеможение и такую же потерю чувства времени, как тогда. Но здесь было немного полегче, потому что за Волгой существовал пока настоящий тыл, а в нём госпитали. Туда следовало отправлять тяжёлых раненых, если по медицинским показаниям возможна транспортировка, и хоть переправа через Волгу оставалась неимоверно опасной, для хирургов на переднем крае это было всё-таки большое подспорье. Постепенно и работы у медсанбата поубавилось. Личный состав дивизии снова повыбило в боях, а оставшиеся приспособились к условиям войны в городских развалинах. Русская смекалка в очередной раз посоревновалась с немецким техническим гением. Командарм 62-ой армии генерал Чуйков, прозванный генералом в «белых перчатках», додумался приблизить передовые позиции к немецким как можно ближе, и фрицы уже не могли воспользоваться своим превосходством в авиации и артиллерии. Эту тактическую новинку, равно как и сбивание пехоты в штурмовые группы, слаженно и дерзко нападавшие на немцев по ночам, переняли и в 64-ой армии, куда теперь входила сотня бойцов, оставшихся от 169-ой дивизии. Меньше стало поступать раненых осколками, всё больше наблюдалось контузий головы, выбитых плечевых суставов, резаных ран лица и рук. Дело в том, что противники теперь чаще сходились рукопашную, бились прикладами, а сапёрная лопатка превратилась в грозное холодное оружие. Повинуясь фронтовой моде, Адриан Иванович тоже обзавёлся сапёрной лопаткой, но не в надежде отмахаться ею при случае (не дай бог такого!) от немцев. Окопный народ придумал прикрывать ею лицо от мелких осколков, когда приходилось днём выбираться из подвала наружу. На поверхности немецкие снайперы не давали высунуть носа, но вскоре и русские меткие стрелки подхватили вражеский опыт.

Даже как-то и не сразу поверилось в такое диво, но сталинским генералам наконец-то удалось окружить сталинградскую группировку немцев. Парадокс, однако советским островкам сопротивления на правом берегу, оказавшимся в двойном окружении, немцев и

своих войск, не сразу стало легче. Единственно, что бомбёжки ослабели: немецкая авиация сосредоточилась на доставке боеприпасов и продовольствия своим частям в котле. Часто продуктовые посылки падали в распоряжении наших войск, и бойцы не забывали делиться с ранеными и медиками. Вот и Новый год, сорок третий, Адриан Иванович встретил в штабном подвале 169-й дивизии с командирами штаба и чокался жестяной кружкой, куда ординарец комдива не забывал доливать французского коньяка. Звучали, понятно, тосты за Сталина и за победу над фашистами, но даже политрабочие, первые в войсках оптимисты, и не заикались о том, что с Гитлером будет покончено в наступающем году.

Молодцеватый и черноусый генерал, которого его начальник штаба и замполит называли запросто Самуилом Мироновичем, подпив, загрустил и, как показалось тоже нетрезвому военврачу Лаптеву, стал больше походить на еврея, даже преисполнился, вроде бы, тысячелетней иудейской грусти. И ведь было отчего печалиться! Сам Адриан Иванович не принадлежал к специально и целеустремлённо уничтожаемому немецкими фашистами народу, но и перед собой в ту новогоднюю ночь видел только чёрную полосу. О судьбах детей и бывшей жены он не знал почти ничего, мучился тем, что, живой и здоровый, ничем не может им сейчас помочь, а если убьют, точнее, когда убьют, тогда тем более. Но после второй кружки коньяка накрыло его отчаянное чувство внутренней свободы. Такое чувство человек испытывает на самом краю жизни, зная, что в любой момент может соскользнуть в небытие. Это внутреннее чувство, независимое от угнетающего до предела давления армейского монстра, источника убийственной дисциплины и пожирателя трупов.

Но и сталинградские немцы слабели. По слухам, они съели всех лошадей румынской кавалерийской части, а также выкапывали из снега и жрали всякую падаль. Упрямые и по-прежнему организованные, фрицы уступать не собирались как будто, отстреливались, бились до последнего, но и красноармейцы зверели, не желая погибать по-пустому перед тем, когда проклятый враг вот-вот, наконец, ляжет в землю или сдастся в плен. В середине января фронтовой сталинградский народ в телогрейках, стёганных штанах, валенках или бурках, чёрнолицый от грязи и порохового дыма, с изумлением выслушал приказ наркома обороны № 24 о введении погон, офицерских званий и высоких твёрдых воротничков у гимнастёрок и мундиров вместо отложных. Услышав, что отныне запрещено появляться в театре в неглаженном обмундировании, а также сидеть в вагонах городского транспорта в присутствии старшего по званию, Адриан Иванович блаженно улыбнулся. Ему приятно было вспомнить, что где-то остались города не из одних только развалин, а в них ещё сохранились театры и трамваи. Огляделся – и увидел,

что краскомы, вдруг ставшие офицерами, тщательно удерживают маты на языке. Впрочем, о приказе этом заставили забыть новые сталинградские проблемы. Замысловато и гротескно утеплённая немчура начала понемногу сдаваться в плен, а там произошла и общая капитуляция. Ночами установилась тогда такая тишина, что фронтовики не могли заснуть.

Уж кому-кому, а военврачу Лаптеву не довелось долго почивать на лаврах. Он тотчас же, и вполне для себя неожиданно, попал в секретную военно-медицинскую комиссию, которая должна была срочно, пока не потеплело, решить проблему захоронения трупов. По разрушенному и засыпанному снегами Сталинграду было разбросано не меньше миллиона непогребённых тел красноармейцев, немецких солдат и мирных жителей. Мертвецы лежали с осени прошлого года, их плющили и рвали траками танки обеих армий, наши скрипели зубами, но что могли поделать? Под пулями снайперов раненых не всегда хватало духу вытащить до темноты, а неуважение к мёртвым приходилось терпеть. Весной покойники начнут разлагаться, неминуемы заражения земли и воды. А ведь город с таким названием и со всемирно известной судьбой будет отстраиваться одним из первых. И в то же время было совершенно очевидно, что вырыть необходимое количество могил, даже братских, не удастся, для этого просто нет людей. Ведь и войска-победители уводились из Сталинграда на переформирование и в резерв.

Итак, была создана комиссия, её возглавил прилетевший из Москвы на «Дугласе» известный врач, профессор, генерал-майор медицинской службы и главный терапевт Западного фронта. На ухо услышал Адриан Иванович, что это и личный врач товарища Сталина. Отмытый в корыте двумя санитарями, побритый полковым парикмахером, в выстиранном медсестрой и высушенном перед раскалённой буржуйкой гимнастёрке, военврач Лаптев прибыл на заседание комиссии в подвал, где ранее работал штаб генерала Чуйкова. Увидев чистенького генерала с золотыми погонами и двух помятых посталинградски полковников с угольниками на петлицах, он попятился. Однако обстановка оказалась деловой, присутствовали и штатские руководители, а главное, было даже приятно запустить мозги для решения научной проблемы. Во всяком случае, в натопленном подвале, откуда не видны были трупы, чернеющие на снегу, проблема могла осмысливаться как научная. На деле же она имела также политический и военный аспекты, и это стало ясно, как только москвич с ходу попросил высказать предложения по существу дела.

Именно с политического аспекта и начал один из полковников, представившийся членом военного совета 64-ой армии Сердюком. Речь его сводилась к тому, что устраивать обычное, как у немцев принято, кладбище для солдат погибшей здесь армии

фельдмаршала Паулюса – это подыгрывать немецкой пропаганде, как сегодняшней фашистской, Геббельсу, так и в будущем, после неминуемого разгрома фашизма. Второй полковник, инженерной службы, заявил решительно, что убирать трупы он категорически запрещает до полного и окончательного разминирования города. Известны случаи, когда немецкие сапёры минировали убитых. И надо вытребовать из всех штабов карты своих минных полей, пока части не ушли из Сталинграда. И пусть быстрее разбирают трофейные немецкие бумаги, ведь их карты минных полей тоже нужны как воздух. Из этого короткого выступления Адриан Иванович сделал вывод, что сапёры дают время комиссии не только вынести обоснованное решение, но и с толком подготовиться к его выполнению. Вот только найти решение оказалось трудно.

Член военного совета сообщил, глядя в пол, что под Харьковом немцы, как доносили разведчики, после ликвидации котла сбрасывали трупы тысяч и тысяч красноармейцев в большой овраг, а когда все не поместились, утрамбовывали сверху танками. Комиссия загудела.

– Да я, товарищи, только в качестве информации, – развёл короткими руками полковник.

– Мы не можем уподобляться фашистам! – рубанул рукой с зажатым в ней «вечным пером» московский чиновный медик и тотчас же сделал запись в блокноте. – Где это было, полковник? Нам же ещё придётся наводить там санитарный порядок...

– Да к востоку от Барвенково, будь оно неладно, где ж ещё, – ответил Сердюк, глядя в землю.

Тогда москвич спросил, есть ли в Сталинграде крематорий, на что один из штатских, секретарь горкома Чуянов заявил, что в городе есть теперь только развалины, в них военные заводы, частично – водопровод, частично – канализация и много битого кирпича. Крематория нет.

– Братские могилы, что ж тут ещё придумаешь? – выдавил из себя полковник-сапёр. – Ямы мы выроем взрывчаткой. Так и быть, ямы беру на себя.

– Только не в самом Сталинграде! – оживился Чуянов. – Город мы, несомненно, будем восстанавливать... Воссоздавать, как было до войны, или уж строить совсем наново – это уж, как товарищ Сталин решит. Но в любом случае, огромных захоронений в черте города быть не должно.

А пока другие члены комиссии нащупывали таким образом скорее ограничения для выполняемой миссии, нежели способ её осуществления, Адриан Иванович судорожно пытался поймать снова мыслишку, промелькнувшую, когда москвич спросил о крематории. Связана она была с гимназическим учебником истории Иловайского, некогда

вызубренным едва ли не наизусть. Наконец, привиделась ему пирамида из трупов, переложенных брёвнами, и страховидный древний воин с факелом, поджигающий сухой мох рядом с синей босой ногой. Адриан Иванович взял слово и предложил мёртвых немцев сжигать в штабелях, предварительно изымая у всех смертные жетоны. Понадобятся только дрова и солярка в разумных количествах. Понятно, за городом, и привлечь к работе пленных.

Москвич сморщил нос и произнёс неохотно:

– Кремация на пленэре? Пожалуй, нам ничего другого не остаётся. Обговорим, товарищи, детали. Кстати, можете курить, я и сам, с вашего позволения...

Обговорили детали, и постановили именно пленных задействовать, чтобы вынимали жетоны у своих и грузили мертвецов на гужевой транспорт. Резон был тот, что если останутся под немецкими мертвецами мины-ловушки, то пусть фрицы же на своих подарках и подрываются. Штабеля трупов располагать подальше от города, сообразуясь с прогнозом погоды, чтобы гарь несло в сторону. Немцев похоронных команд поставить на красноармейское котловое довольствие. И русскому конвою, и пленным наливать за ужином по двести грамм водки, заказать кинопередвижку и показывать комедии. Самый важный пункт члены комиссии принимали, друг на друга не глядя. Было решено до последней возможности хоронить своих в братских могилах, если же застигнет большая оттепель, и трупов в городе останется ещё неподъёмно, сжигать их тоже в штабелях.

После совещания московский начальник попросил военврача Лаптева остаться. Подошёл, протянул руку.

– Мне приятно лично с вами познакомиться, Адриан Иванович. Я читал некоторые ваши работы. И докторскую вашу просматривал. Как же вы, доктор и профессор, оказались в этом звании и всего лишь врачом в медсанбате?

– Я так понимаю, Пётр Иванович, что вы от меня в ответ не подробный отчёт желаете услышать, – усмехнулся Адриан Иванович. – А кратко сказать: и в более высоком звании, и на более почётной должности я бы делал то же, что делал. Оперировал бы, наверное.

– Не обязательно. И в ближайшие пару месяцев вам уж точно не придётся оперировать. Некогда будет. Я возвращаюсь в Москву к другим своим обязанностям, а вас оставляю вместо себя. О назначении вас начальником особой противоэпидемической команды будет приказ Главсанупра. Выбрал я вас, Адриан Иванович, помимо всех прочих полезных ваших качеств как медика, ещё и потому, что шпрехаете по-немецки. Знать, о чём пленные говорят между собой, будет полезно. Получите большие полномочия. Я

оставляю вам приказы и нужные бумаги. Разберитесь, пока сапёры не сработают. За колючей проволокой для лагеря обратитесь к Чуянову. Он, как я слышал, очень деловой.

– Если такой деловой, почему не эвакуировал из Сталинграда гражданских?

– Почему? Чуянову запретили, – начальник показал глазами вверх. – Он начал потом эвакуацию чуть ли не на свой страх и риск, но было уже поздно... Но это конфиденциальная информация. И вот ещё что я хотел вам сказать...

– Слушаю, Пётр Иванович.

– Не такое это задание, чтобы за его выполнение орден получить. Но я, Адриан Иванович, теперь о вас не забуду. Уж будьте уверены.

Разумеется, у самого Адриана Ивановича обещание высокого московского начальника тотчас же вылетело из головы. Новые обязанности обрушились на него, хоть не успел ещё сдать медсанбат. В душе затаилась обида: в то время, как для других страшное и беспросветное напряжение всех человеческих сил, газетчиками называемое Сталинградской битвой, закончилось, его битва, как и временных подчинённых, несправедливо продолжилась.

В первый же день формирования противозидемической команды один за другим и в разных районах города подорвались четверо сапёров, и полковник-сапёр матерился столь гнусно, что Адриан Иванович сам не заметил, как сделал ему совершенно излишнее, а учитывая разницу в воинских званиях, возможно, что и преступное замечание. Полковник только выкатил на него налитые кровью глаза, хорошо ещё, что пальцем у виска не покрутил. Чтобы не терять времени, Адриан Иванович помотался на санях вместе с представителем горкома по окрестностям Сталинграда, определяя места для братских могил, и часть умельцев-сапёров, снятых с разминирования, принялась, поднимая взрывами чёрные фонтаны земли, подготавливать ямы. Очень сложно оказалось отобрать из пленных немцев, буквально доходивших тогда от голода, болезней и вшей, хоть минимальное количество способных к работе тяжёлой, грязной и угнетающей душевное состояние. Врачебная комиссия приложила для этого поистине героические усилия, но свою задачу выполнила.

Маленьким лагерем для военнопленных, где содержались отобранные для команды немцы, занимались командиры, а по-нынешнему офицеры НКВД. Адриан Иванович несколько раз заглядывал на утренние построения, рассчитывая услышать, что говорят в строю после команды «Вольно». Немцы, однако, угрюмо молчали. Старший из энкаведистов, капитан госбезопасности Матвейчук, поделился с ним своей информацией. Оказалось, что между собой пленные высказывали самые фантастические предположения

о предназначении лагеря, вплоть до того, что их будут толпой гнать на минные поля, чтобы таким образом разминировать город.

Но вот полковник-сапёр дал, наконец, «добро», и немцы под конвоем отправились на зловещую свою работу. К концу того дня Адриана Ивановича, весь день протоптавшегося в квартале, что очищался от трупов, и лично наблюдавшего, как сжигалась первая страшная пирамида, начало мучить скверное предчувствие. Ночью он не сумел заснуть, а с рассветом отправился к пленным. Импровизированный плац оказался пуст, а на старшем энкаведисте Матвейчуке лица не было. Он доложил:

– Отказываются фрицы выходить из подвалов, требуют начальство. Вас требуют, доктор.

– Сговорились, значит. Что ж, пошли, помитингуем. Прихватите автомат, товарищ капитан госбезопасности. И пусть переводчик тоже возьмёт автомат и не зевает.

Но не успела тройка русских офицеров подойти к спуску в подвал, где содержались немецкие офицеры, непосредственно командовавшие на работах, как оттуда выскочили два ражих немца, стали по стойке «смирно» на бетонные блоки по бокам от ступеней, повернулись лицом друг к другу и запустили над входом этакую арку из мочи. Капитан госбезопасности взвыл, сорвал с плеча ППШ и прикладом уложил в снег одного за других обоих штукарей. Тут же подскочили конвоиры, связали их и уволокли. Пока подавляли энкаведисты мятеж и наводили в подвальном лагере свои порядки, Адриан Иванович, сцепив руки за спиной, прогуливался по «плацу», покрытому вытоптанном снегом и пытался разобраться в собственных чувствах. Уже было известно, что немцы протестуют против нарушения Женевской конвенции (это кому бы протестовать?) и отказываются от лучшей пищи и послаблений в режиме. Адриан Иванович чётко осознавал, что не решился бы на подобный бунт, когда сидел в четырнадцатом году в лагере для русских пленных в Восточной Пруссии, и что едва ли способны так же выступать в защиту собственного достоинства те несчастные красноармейцы, что маются сейчас во фрицевском плену. Неужели и в этом эпизоде немцы показали свои преимущества как более цивилизованный народ? Ведь это они, а не русские захватили в плен несколько миллионов, и это они дошли до нашей Волги, а не русские до их Шпрее. Тем не менее, скрипя подшитыми кожей подошвами валенок по снегу, он сумел сочинить-таки свою речь перед немцами, даже сделать её достаточно убедительной. Вот только, когда помятые, с подбитыми глазами и распухшими щеками пленные были выведены конвоирами из подвала и построены на плацу, раздумал Адриан Иванович обращаться к ним на немецком, похерил дополнительный эффект, на который рассчитывал. Дело в том, что оба командира-

энкаведиста не знали немецкого, а нарываться на донос... Нет уж, увольте. Пусть лучше этот мальчишка-переводчик потрудится.

Норма в тот день была выполнена. Наполовину заполненная вчера огромная братская могила забросана землей и превратилась в чёрный круг на белом поле. Адриан Иванович отвёл глаза от горки пластмассовых пенальчиков: писем от Коленьки не было по-прежнему. Избитые немцы, лишённые для дополнительной остротки завтрака, дисциплинированно трудились, и удалось пустить дымом ещё два жутких штабеля. Вечером Адриан Иванович, больше снимая пробу, нежели надеясь на терапевтический для себя эффект, выпил залпом кружку синей фронтовой водки, закусил трофейным паштетом, не чувствуя вкуса, а опьянение переживал, сидя рядом с киномехаником в вонючем тепле лагерного подвала. Наблюдал он тогда не столько за кадрами кинокартины «Свинарка и пастух», мелькавшими на грязных остатках штукатурки, сколько за реакцией зрителей-пленных. Немцы смеялись совсем не в тех местах, где стремился смешить советских зрителей режиссёр-орденоносец Пырьев. Было ли до этого дело военврачу Лаптеву? Было, если правду сказать.

На следующий день он добыл трофейный патефон с кучей немецких пластинок, и часа два на пару с капитаном госбезопасности Матвейчуком прокручивал их, проверяя, нет ли, не дай бог, с речами Гитлера. Патефон и пластинки отправились в подвал, а Адриан Иванович, пользуясь московскими полномочиями, начал искать более подходящие для немцев фильмы. Он помнил, что в декабре в наши боевые порядки заехал целый немецкий поезд с новогодними подарками для 6-ой армии, но кинокартин среди этих трофеев не оказалось. В конце концов, из Горького доставили потёртые копии фильмов «Петер» и «Маленькая мама». Поскольку игравшая главные роли Франческа Грааль оказалась еврейкой, часть пленных во время сеанса держалась к экрану спиной, но в основном проблема была решена. А на сеансах для конвоя и прочих русских членов особой санитарной команды эти фильмы имели оглушительный успех, ничуть не уступив «Весёлым ребятам» и «Цирку».

Урывая часы для организации досуга русских и немцев, Адриан Иванович с тайной радостью сокращал тем самым своё присутствие на душу вынимающих санитарных процедурах противоэпидемической команды. Следует признать, что её личный состав в понуканиях не нуждался. До всех уже дошло, что единственная возможность избавиться от ежедневного кошмара – это как можно быстрее очистить город от непогребённых мертвецов. Что двести грамм по вечерам, патефон и кино помогали не всем, доказывали два десятка самоубийств среди пленных команды. Правда, среди повесившихся числился и антифашист, тайный агент энкаведистов, а это означало, что немцы пользовались

печальными обстоятельствами, чтобы втихомолку сводить счёты между собой. Русские обошлись без жертв, внешне день ото дня мрачнели, а в свой внутренний мир не очень-то и позволяли тогда доктору заглядывать. Сам он долго думал, что отделался сединой во всю голову, однако ближе к концу сталинградской противоэпидемической эпопеи с ужасом почувствовал в себе прискорбное безразличие к происходящему.

Костры из трупов пылали и коптели, братские могилы наполнялись, и в середине марта Адриан Иванович не пожалел солярки и дров на последний штабель, куда с немецкими трупами вперемешку пришлось сложить и последние найденные в развалинах после оттепели останки красноармейцев и мирных сталинградцев. Посреди хлопот, возникших при ликвидации противоэпидемической команды, охрипший и злой Адриан Иванович получил из Москвы предписание немедленно выехать в распоряжение Главсанупра РККА.

XXIX

Правильно тогда, в праздничные дни после капитуляции армии Паулюса, сказал московский врач в погонах генерал-майора. За чёрную работу санитар-могильщика орден не положен, зато Адриан Иванович был переведён из фронта в столицу, получил должность старшего инспектора в Главсанупре и новое звание, теперь майора медицинской службы. Получил даже маленький кабинет в том самом здании Наркомата здравоохранения СССР на углу Петровки и Рахманского переулка, где доводилось бывать и в гражданскую, и в тридцатых. Стал он и членом Учёного медицинского совета при начальнике Главсанупра, заняв до того пустующую нишу специалиста по кожно-венерическим заболеваниям. Уже в сентябре нашла его и медаль «За оборону Сталинграда». Если бы не ужасы этой самой обороны, можно было бы расценивать её не как награду за отличие, а как памятный знак. Но тогда ему вовсе не до медали стало.

Эвакуированные осенью сорок первого года ещё не повалили назад в Москву, её улицы выглядели пустоватыми, молодые люди, те вообще будто испарились. Ночами действовало обязательное затемнение, соблюдался комендантский час, по улицам вышагивали парные патрули с примкнутыми штыками. Противотанковые заграждения оставались на восточной окраине, баррикады и даже бетонные «ежи» – кое-где и в пределах Бульварного кольца, но вот воздушные тревоги стали редкостью, хотя по вечерам в небо исправно поднимались аэростаты заграждения. Можно сказать, что Адриану Ивановичу повезло и с московской жилплощадью, а с ней и тогда, несмотря даже на массу оставленных эвакуированными квартир, была в столице, как и всегда в советские

времена, напряжёнка. Начхоз Главсанупра по гражданской ещё своей службе помнил, что гражданам со степенью или учёным званием положена жилищная льгота. Посему майор медицинской службы Лаптев получил вместо койки в офицерском общежитии хоть и крошечную, но отдельную комнатку. Впрочем, какое бесценное это было преимущество, вполне стало ясно только в сорок четвёртом, когда во всей огромной стране и на фронте, и в тылу военные медики, не прерывая своего бесконечного труда, вдруг огляделись и осознали, что разделены на мужчин и женщин.

Однако тогда Адриан Иванович только подивился удивительному комфорту, с тем же тупым изумлением окопного сидельца, с коим взирал на чистые душевые и унитазы офицерского общежития. В Учёном медицинском совете заседания случались только раз в месяц. Основные служебные обязанности состояли в инспекционных поездках в армейские и в тыловые госпитали, а по возвращении – в составлении отчётов об увиденном. Казалось бы, статистика обещала Адриану Ивановичу намного больше шансов остаться в живых, чем если бы он безвылазно оперировал во фронтовой полосе, но ему слишком хорошо были известны причуды и вероятностной статистики, и пресловутого скелета с косой.

Складывалось так, что куда больше негативных впечатлений приносили поездки в тыл, нежели на фронт. В сорок третьем году просто уже не мог Адриан Иванович столкнуться в заведениях фронтовой медицины с чем-нибудь, что затмевало бы бардаком и прочими безобразиями лично им пережитое за два первых года войны. А в тылу его поразил ужасный контраст между московскими госпиталями – чистенькими, укомплектованными врачами и прочим медицинским персоналом, худо-бедно оборудованными, и нищей безысходностью военных госпиталей провинции.

Случилось, что первой он проверял столичную больницу Министерства путей сообщения, преобразованную в хирургический госпиталь. На ходячих раненых тут было чистое бельё, пижамы с белыми воротничками и манжетами, белые же носки и новые домашние туфли, количество хирургов соответствовало штатному расписанию, работали рентген и физиотерапия. Когда же Адриан Иванович приехал в Тамбов, то узнал, что в местном кожно-венерологическом госпитале испорчена канализация, поэтому больные пользуются вместе со здоровыми одной уборной во дворе. Кроме того, вынуждены ходить туда босиком. Во всех тамбовских госпиталях постельное бельё изношено, многие раненые лежат на голых матрасах в том самом рваном обмундировании, что было на них при ранении. Были случаи гибели от кровопотери раненых, пытавшихся ночью добраться до уборной: падали в темноте. Другие вместо подкладных суден были вынуждены приспособлять банки из-под консервов. По рассказам выживших, эвакуировали их из-

подо Ржева пешком, ехали они в тыл в обычных товарных вагонах почти без ухода, лежали на грязном полу, голодали, из посуды в теплушке одна кружка на всех, по несколько дней обходились без воды, многие по дороге умерли. Кое-где между фронтом и тылом курсировали образцовые санитарные поезда, мелькавшие в кинохронике, но их было слишком мало. В тыловых эвакогоспиталях некомплект хирургов, нет рентгеновских кабинетов вообще или отсутствуют запчасти к рентгеновским установкам, не хватает самых необходимых лекарств. К стыду Адриана Ивановича, ассортимент и количество лекарств, отпускаемых в тыловые госпитали, были перед самой войной сокращены тем самым Учёным советом, членством в котором он уже начинал гордиться.

Но всё, всё это потеряло значение для Адриана Ивановича, когда в мае, а потом в июле сорок третьего года получил он два извещения о смерти Коленьки, в своей совокупности никакой надежды отцу не оставившие. Первой пришла бумага из краснодарского военкомата, пересланная из 169-ой дивизии. Это была типичная похоронка на типографском бланке, Адриану Ивановичу уже показывали такие, и он их с тайным страхом изучал. В этой, среди трафаретных напечатанных слов «В бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество», сообщалось, что «младший лейтенант Лаптев Николай Андрианович, уроженец г. Краснодара, Краснодарского кр.» «убит 15 декабря 1942 г.», что похоронен на «братском кладбище ст. Невская Дубровка, Всеволожского р-на, Ленинградской обл.». Ну, дальше о «возбуждении ходатайства о пенсии (приказ НКО № ___)». Именно так, и номера приказа нет. Первая мысль, пришедшая в голову Адриану Ивановичу, возвратила несмелую надежду: произошла ошибка, в похоронке не о Коленьке вовсе – «Андриановичем» назван, и какой же он краснодарский уроженец, если родился в Старобельске? Но тут же припомнилось, что Краснодар был освобождён от немцев только в феврале, а военкомат пришлось там воссоздавать на пустом, небось, месте.

Адриан Иванович всё ещё пытался разузнать номер полевой почты танковой части, воевавшей на Невской Дубровке в декабре сорок второго, и уже имел представление, какая там происходила жесточайшая мясорубка, когда получил фронтовой треугольник из той самой части, с тремя штемпелями – двумя почтовыми и третьим «Просмотрено военной цензурой 10859». Снова и снова перечитывал он выписанное химическим карандашом на гнупом-перегнутом листке из школьной тетради. «Неведомый мне батя моего покойного приятеля мл. л-нта Коли Лаптева, полевую почту вашу мне дал Коля на случай, если его убьют, чтобы я отписал. Вот и пишу, хоть и довольно времени протекло после прискорбного события, извиняюсь, не было времени отписать. Мы после танкового училища получили сюда назначение командирами танков и попали (далее две строки

залиты чёрной краской) танк загорелся, пехота отступила. Заряжающий и наводчик выползли на снег, их фрицы увели. Не знаю, расстреляли ли их потом, но возле танка трупов не нашлось. А ваш Коля и его механик-водитель не стали выходить, хоть фрицы и стучали им прикладами в броню. Сгорели оба. Танк ночью, в метель удалось вытащить к своим. Тогда обоих и похоронили. Вот погиб ваш Коля, но это ничего. Здесь все мы, танкисты, погибнем. Чувствую, и мне не быть живым. Зато немцев мы не пропустили к Ленинграду. С фронтовым приветом мл. л-нт Огуренков М. С.». Сначала обидело и даже возмутило Адриана Ивановича «это ничего», потом вспомнил он, в каком душевном состоянии он сам отступал к Дону и как воспринял внезапную смерть бесстрашного своего собеседника начмеда Евстигнеева. Да, осознание близости собственной смерти даёт, видимо, право на такое равнодушие. На деле мнимое или поверхностное. Он, конечно же, тотчас написал Огуренкову, благодарил за письмо и выспрашивал о месте братской могилы, где похоронен Коленька. Ответа так и не получил, а почему, не хотелось ему догадываться. Старобельск был освобождён от немцев ещё в начале года. Сгоряча, ещё не осознав случившегося, он написал о смерти сына Катишь по старому их адресу, но письмо вернулось с отметкой, что «не проживает». Крым оставался тогда под немцами, и связаться с Лизой попрежнему было невозможно.

А потом, посреди обыденных дел, вдруг накрыла Адриана Ивановича тёмная волна. Тогда, в коридоре наркомата, выйдя из канцелярии, он остановился перед пыльным, посеревшими бумажками крест-накрест заклеенным окном – и вдруг понял, что никогда больше не увидит Коленьку. Наяву, не во сне или в видении не увидит. Впоследствии он не мог вспомнить, почему положил только что полученное командировочное удостоверение на подоконник, но именно эту бумажку увидел, когда сознание вернулось к нему. Он собрался в дорогу как бы на автомате, съездил в командировку на Юго-Западный фронт, вернулся, написал донесение, и всё это время ощущал себя уже другим человеком. Полумёртвым, что ли. В таком состоянии просуществовал он и весну сорок четвёртого, когда сослуживцы и немногие сослуживицы вдруг принялись влюбляться, погуливать, жениться и выходить замуж.

Коллеги тогда принялись выпрашивать у него ключ от его отдельной каморки, а он отсиживал эти часы в красном уголке общежития, тупо пытаясь развивать тему своей докторской диссертации. Просил только не разбирать постель, а покрывало, купленное для этой цели на толчке, накидывать и на подушку. Но однажды другой старший инспектор, сидевший в общем их кабинетике за вторым столом, привёл к нему женщину-военврача средних лет, которая никак не соглашалась идти на свидание без подруги. Адриана Ивановича уговорили остаться. Правда, выпивать и слегка закусывать пришлось

стоя в коридоре у тумбочки с сапожными щётками, потому что в каморке пришлось бы дамам садиться на колени к кавалерам, чего стеснялись. Потом коллега уединился с сударкой, а её подруга Клава, курносая блондинка с большой грудью, затеяла с доктором Лаптевым светскую беседу, а точнее, так по своей медицинской специальности. А когда коллега и его раскрасневшаяся подруга освободили помещение, собеседница Адриана Ивановича, потупив неумело подкрашенные глаза, вошла первой. Вопреки опасениям, он в решающий момент не сплоховал, но сам почти ничего не почувствовал, разве что удивился, увидев голыми такие огромные груди. Зато для его партнёрши случившееся, судя во всему, было значительным переживанием. Она стонала и кричала на всё общежитие, а после благодарила, от души расцеловав. Потом эта талантливая врач-терапевт, подполковник медицинской службы, напрашивалась к нему в гости, и несколько раз он не находил поводов, чтобы уклониться. Их свидания были похожи на первое, будто близнецы. Сердечные узы между ним и Клавой так и не завязались.

Неожиданно получил Адриан Иванович весточку из Краснодара. Был он в командировке в Саратове и, чтобы убить свободное время, обязательно возвращавшее его мысли к несчастью, пошёл в кино. А там перед довоенным «Подкидышем» пустили киножурнал «Приговор народа», спецвыпуск о процессе в Краснодаре над пособниками фашистских оккупантов. Суд происходил в кинотеатре «Гигант», стол судей в военной форме с наградами стоял под экраном, огромный зал с галеркой был полон. Обвиняемые выглядели обычными молодыми людьми, двое-трое показались Адриану Ивановичу красивыми, а один – даже интеллигентным с виду. Их участие в страшных преступлениях немцев не подлежало сомнению. Повесили предателей и убийц на городской площади Краснодара, и создалось у доктора Лаптева впечатление, что собрался весь город и окрестные станицы. Празднично одетые люди забирались на развалины, пришло множество детей, и фактически происходило возвращение к средневековой практике публичных казней. Висельники покачивались на лёгком ветерке, а на их фоне корреспондент кинохроники брал интервью у свидетельницы. Она рассказывала, как сгорели в здании гестапо запертые там арестованные. Показалось ему, что он узнал в толпе Глашку, и он ушёл с дурачки идилического «Подкидыша», чтобы встать в очередь за билетом на следующий, последний сеанс. Увы, обознался тогда.

Тем временем немцев выдавили из Крыма, и Адриан Иванович засыпал учреждения Карасубазара запросами. В Крыму происходило неведомо что: татары вывезены с полуострова, Карасубазар переименован в Белогорск, а новые советские власти отменно бестолковы. Наконец, из районного отделения НКВД ему ответили, что, по полученным сведениям, Елизавета Андриановна Навроцкая, 1915 года рождения,

беспартийная, добровольно уехала из Джанкоя эшелонам с угнанными на принудработы в Германию советскими гражданами. Таким образом, след Лизочка, едва обнаруженный, тут же и потерялся. И добровольно в Германию? Умненькая Лизочек? Недоразумение какое-то...

В начале сорок пятого Адриан Иванович был отправлен самолётом под Будапешт. Ему довелось принять участие в отражении немецкой атаки с использованием биологического оружия, иначе не назовёшь. До этого такие попытки случались с обеих сторон, но скорее анекдотические: и немцы, и наши мастерили катапульты, чтобы забрасывать в траншеи противника горшки с дерьмом. На сей раз в оперативном тылу 1-го Украинского фронта оказалось множество проституток из всех стран Европы. Податливые дамы вовсе не заботились, чтобы донжуаны в шинелях и телогрейках платили за их услуги. Но вскоре выяснилось, что заплатить-таки пришлось. Здоровьем. Настоящая эпидемия гонореи и сифилиса принялась косить солдат и офицеров, а командование было вынуждено отводить с линии фронта ставшие небоеспособными части.

Пустив в ход всегдашнюю хватку и специфические свои знания, доктор Лаптев в короткий срок сумел создать буквально на пустом месте полевой кожно-венерологический госпиталь, подвергнуть в нём лечению весь воинский контингент, подхвативший в весёлый, но недобрый час гонореею, а сифилитиков отправить в тыл. Было в том гротескном госпитале и отделение под охраной солдат НКВД, там содержались зарубежные «жрицы любви», не успевшие вовремя удрать. Адриан Иванович догадывался, что как только их подлечит, крикливые бабёнки отправятся путешествовать в Сибирь, и не хотел угадывать, обрадуются ли им оставшиеся в тылу седобородые сибиряки и таёжные медведи.

Лечение же и этих дамочек в жакетах с широкими плечами, и стыдно пострадавших от них, сбитых с толку русских солдат применял он традиционное, вот только о деликатной анонимности не могло быть и речи. Надо ли говорить, что опустошил при этом ещё не разорённые войной венгерские аптеки и аптечные склады? Параллельно же доктор Лаптев разрабатывал меры профилактические и прямо предохранительные, чтобы избежать подобных катастроф или по крайней мере смягчить последствия при неизбежном дальнейшем проникновении мужественной РККА вглубь развратной Западной Европы.

В этих прифронтовых трудах он не жалел себя, и переутомление на фоне так и не избытого им угнетённого состояния психики сделало своё дело: Адриан Иванович свалился с инфарктом. Диагноз ему поставил заместитель, по специальности тоже венеролог. Лёжа пластом в отдельном закутке госпитальной палатки, он терпеливо

пережидал боли. Хотел было расценить их как наказание за грехи, но разве не был уже наказан несуществованием отныне Коленьки? Зато благодарил судьбу, что не insult его и не нервный срыв подкосил. В бессознательном состоянии пребывая, такого мог бы наговорить – ого! Вылечили бы его, конечно, а потом отправился бы – и это в лучшем случае – вслед за «жрицами любви».

В чистеньком, хоть и несколько уже потрёпанном санитарном поезде доктор Лаптев был перевезён в Москву и помещён в подчинённый Главсанупру Главный военный госпиталь Красной Армии. Подполковник медицинской службы Клава, которую Адриан Иванович не сразу и узнал в крахмальном белом халате, осмотрев его, подтвердила первичный диагноз.

– Ничего страшного, Адик! – и тут же погрозила толстым пальцем. – Это тебе первый звоночек! Чтобы по молодым девкам меньше бегал!

Только усмехнулся уголком рта Адриан Иванович. По молодым девкам? Ему вспомнилась полузабытая за эти годы Глашка. Но она если и девка, то давно перестарок. За кем же ему теперь бегать? Отлежавшись, он прошёл медкомиссию и был отправлен в запас в звании подполковника медицинской службы. Слабо соображая, что с ним происходит, доктор Лаптев в последний раз в жизни использовал военный литер и получил билет в классный вагон до Краснодара.

Краснодарский вокзал оказался разрушенным. Носильщик не понадобился Адриану Ивановичу: ему разрешалось поднимать не больше трёх килограммов, однако его чемоданчик и того легче. На Привокзальной площади он стоворил подводчика, а подъезжая к кооперативному дому на Ставропольской, увидел, что стена в его кабинете проломана снарядом и не заделана. Он попросил подождать, после некоторых колебаний оставил чемоданчик в подводе и с расстановкой, передыхая на площадках, поднялся на свой этаж. В дверь квартиры Лаптевых был врезан новый замок. Адриан Иванович постучал. То ли за дверью зашелестело легко, то ли показалось ему... Он крикнул, уже поспешней спустился по лестнице и, обнаружив у подъезда бесхитростно ожидавшего его станичника, снова нанял его, теперь до мединститута.

День Победы Адриан Иванович встретил, лёжа на кровати в комнате студенческого общежития в парадной форме с медалью и в начищенных хромовых сапогах. Настоящая радость, такое счастье, что и осмыслить его трудно, эти чувства охватили шинельный люд на фронтах, ведь всеобщая робкая надежда выжить осуществилась, как в сказке! А здесь... Изголодавшийся по праздникам тыловой народ веселился на улицах Краснодара и в клетушках общаги, а доктор Лаптев оплакивал погибших в невыносимо долгой, тупо и цинично проведённой Сталиным войне. Плакал он беззвучно, хоть кровати за ширмой

были пусты: соседи, профессор-эндокринолог с супругой, тоже бездомные, ушли сразу после обеда. Вообще же любые бытовые неудобства на гражданке воспринимались как сущая чепуха: ведь здесь не сыпались с неба бомбы и снаряды.

Адриан Иванович восстановился на должности профессора в мединституте, постепенно приловчился выполнять без сердечных приступов педагогическую нагрузку, а удачно нанятый толковый адвокат сумел вернуть ему квартиру. Кооперативные дома давно, до войны ещё, государство национализировало, но тут сыграло свою роль, что речь идёт о фронтовике, вернувшемся на прежнюю жилплощадь. Глашка, как оказалось, сбежала с немцами, точнее с полицаем-предателем. Этому её хахалю, тоже, видать, красивому молодчику, повезло больше, чем повешенным в сорок третьем на площади. Пока то есть везло. Ибо он служил у фашистов водителем «душегубки», в запертом фургоне которой травил отработанными газами, окисью углерода собственно, земляков-кубанцев, в том числе детей из больницы.

Импровизированного несгораемого ящика Адриана Ивановича в подвале не оказалось, но он почти и не надеялся найти. В качестве утешения ему доставило горькое удовольствие представлять, как Глашка и её жадный молодчик перетряхивают его бумаги, но ничего ценного для себя не обнаруживают. Жаль было, конечно, дипломов, но советские можно восстановить, а они перекрывают швейцарский. Да и заверенные копии сохранились ведь. И ещё радовало, что семья, занимавшая квартиру после бегства Глашки и её кавалера, сохранила уважение к протекавшей здесь прежде жизни. На подоконнике в углу нашёлся «Травник» (жив, курилка!), а под ним альбом фотографий Лаптевых, заведенный Лизочком. Его бархатную фиолетовую обложку увидев, едва не прослезился тогда Адриан Иванович, будто привет она ему передала. И почти совсем не огорчилась, увидев, что неведомое дитя всем сфотографированным женщинам пририсовало химическим карандашом роскошные закрученные усы.

А там и сама Лизочек объявилась. Сначала письмо прислала из Керчи, а потом уже, когда голод пошёл на спад, осенью сорок седьмого приплыла пароходом в Новороссийск, а оттуда уже поездом доехала до Краснодара. Из письма узнал Адриан Иванович, что Лиза вернулась в СССР с мужем Брониславом и сыночком Владиком, а Катишь умерла в Старобельске в прошлом году, перед смертью служила кастеляншей в госпитале. Сначала в письме, а потом уже и устно, долгими вечерами наедине с отцом, поведала ему Лизочек свои сказки Шехерезады и в более полном изложении. Тогда, в октябре сорок первого, её драгоценный Броник, заслышав с окраины Карасубазара рокот немецких танков, поддался общей панике. Он бросил, как и прочие бойцы истребительного батальона, винтовку возле окопчика и огородами прибежал домой. Однако приятель, крымский татарин Касумов,

выдал его немцам, и те угнали Броника как военнопленного. Как узнала Лиза, всех плененных свозили в Джанкой. Тогда она достала из тайника бабушкины драгоценности и пешком пришла на полустанок Сеитлер, откуда сумела по железной дороге доехать до Джанкоя. В городке-станции немцы устроили два лагеря для русских плененных. В одном из них, в школе, до отказа набитой голодными и грязными красноармейцами, она нашла своего мужа. Даже не узнала его, до того исхудал и запаршивел, это Броник окликнул, её увидев.

Школу охраняли украинцы в красноармейской форме с белыми повязками. Коренная старобельчанка, Лиза обратилась к ним на украинском и попросила выпустить её мужа, тоже, мол, украинца, за хорошие деньги. Посоветавшись со своим старшим, полицаи ответили, что выпустить они никого не могут ни за какие деньги, однако, поскольку чоловик пани в цивильном одягу, а не в шинели, возможно будет, как начнётся посадка на станции, пересадить его из эшелона, что повезёт плененных в Польшу на верную смерть, в эшелон мобилизованных для работы в Германии. На станции она отдала драгоценности старшему из полицаев, и тот лично договорился с охраной эшелона остарбайтеров. Так её Броник спасся от смерти, а она села с ним в теплушку добровольно, чтобы не терять больше мужа.

На этом месте рассказа Адриан Иванович крикнул.

– Что такое, папа? – спросила Лиза подозрительно.

– Я вовсе не осуждаю тебя, – ответил он, – вот только не повезло вам. На Украине летом сорок первого, как мне рассказывали, бывало и такое, что немцы выпускали пленного без проверки и без всяких взяток, если женщина говорила им, что это её муж. Многие солдатики таким образом спаслись. Зато сейчас бедолаги в основном лес валят за Уралом.

– Значит, не повезло, – кивнула она и расслабилась. – А то я, грешным делом, подумала, что ты бирюльки те пожалел.

– Ты же знаешь, Лизочек, что я к ним всегда относился индифферентно. Просто подумал, что они помогли бы вам в голод, если бы ты часть оставила себе.

– Из-за драгоценностей меня могли зарезать прямо в поезде. А как мы выжили в голод, я потом расскажу. Давай лучше я по порядку, а то уже спать хочется.

И Лиза рассказала, что эшелон завёз их, как выяснилось потом, аж в землю Вестфалия, в город Билефельд. Сразу пришлось нашить знак «OST» на пальто, и стало ясно, что они тут люди ещё более низкого сорта, чем иностранные рабочие из оккупированных стран Западной Европы или даже поляки. Её Бронислав попал рабочим в

цех, где делали снаряды, а сама Лиза – помощницей немецкой домохозяйки, но не в самом Билефельде, а в пригороде Херцэброк.

– Прислугой? – поднял седые брови доктор Лаптев.

– Да, папа. Но это были хорошие люди. Адвокат, его жена и ребёнок, девочка. Герр Вайс, как подопьёт, Гитлера ругал. Не были против, если Бронислав проводил выходные у меня в каморке.

Жизнь, и без того в фактическом рабстве несладкая, стала и смертельно опасной в сорок втором году, когда начались массовые воздушные налёты. Сначала английские самолёты бомбили, потом огромные американские «воздушные крепости». Цехи завода не раз выгорали, а Бронислава с товарищами засыпало в бомбоубежище, пожарники полдня откапывали. Производство было переведено на детали для «Фау-1», оружия возмездия. Немецких рабочих мобилизовали в армию, а иностранцев заставили занять их места за станками. В сорок четвёртом году случилась многодневная бомбардировка, небо почернело от самолётов: союзники пытались разрушить железнодорожный мост, а к тому времени, как большая, тонн в десять, не меньше, бомба попала-таки в него, снесли жилые кварталы в его окрестностях...

– Ты погоди, Лиза, погоди, – остановил её доктор Лаптев. – Твой Бронислав был в плену, потом делал для немцев «Фау-1», фашистскую летающую сверхбомбу, о ней тут у нас страшилки рассказывали, ты поехала в Германию добровольно – и вам органы тотчас же позволили поселиться в Керчи? Ты что-то скрываешь.

– Я не скрываю, ты просто не даёшь мне рассказать... Мы оба вступили в подпольную организацию Видерстанда... ну, антифашистского Сопротивления. Руководил ею доктор Берут. Броник организовывал саботаж на заводе, калечил на время остарбайтеров, вводя шприцом бензин в ляжку. Он был принят в подпольную ячейку Коммунистической партии Германии. Я, уже на сносях, прятала на чердаке в хозяйском доме сбитого английского лётчика. Обо всём этом мы привезли справки, напечатанные по-русски латинскими буквами, и показали их в фильтровальном лагере. Нас проверяли. Ну и...

– Ты сказала «на сносях»... Прости мне этот вопрос, Лиза, но это... это ребёнок Бронислава?

– Вот именно, – отчеканила она. – Рождённый в законном браке, не то, о чём ты подумал. Бог миловал. Немцы у себя дома вели себя с нами жестоко, но пристойно. Пугали, что половые связи наших с немками караются смертью, но в концлагерь такой ловелас мог запросто загреметь, как и немец, имевший дело с остарбайтершей.

– А что они тут творили... – вздохнул Адриан Иванович.

Лизочек рассказала, что бургеры на улице и даже шуцманы предупредительны были к ней, беременной, хоть и видели нашивку «OST». Рожала она в хорошей больнице, потому что Броник очень вовремя крупно выиграл в «очко» (тут доктор Лаптев хмыкнул), вот только в самый решительный момент медсестры-монашки спустились в подвал, потому что началась бомбёжка. Операционная в той больнице на самом верхнем этаже. Она осталась одна на операционном столе, и Владик появился на свет под взрывы бомб и свист осколков от зенитных снарядов.

– Владик? – удивился доктор Лаптев.

– Неужели ты уже забыл имя своего собственного внука? – изумилась она. – Я же тебе писала... Назвали в честь крестного отца его, поляка Владека, друга – не разлей вода моего Бронислава.

Освободили их англичане. Свезли всех иностранных рабочих в лагерь для перемещённых лиц, но режим содержания был свободный. Потом лагерь охраняли уже американцы, народ попроще англичан, не такой заносчивый и на русских похожий. Бронислав иногда занимал у знакомого часового автомат, чтобы сходить с товарищами на хутор, отбить у бауэра свинью. А потом свобода ударила ему в голову, счастливый, казалось бы, муж и отец сел в поезд, увозивший французов на родину, и отправился в Париж. Правда, через две недели опомнился и вернулся.

Тут Адриан Иванович показал Лизе, чтобы нагнулась к нему, и прошептал ей на ухо:

– Ему надо было не возвращаться, а сразу прихватить вас с собой.

Она оглянулась и ответила тихонько:

– Нас всё равно из Франции выслали бы. Потом мы узнали, что по соглашению с союзниками все иностранные рабочие из СССР и Югославии без исключения должны были вернуться в свои страны. Но странно мне было, папа, такое услышать от старого большевика.

Он пожал плечами, потом она рассказала, как они на трофейных велосипедах проехали через Германию и несколько других стран, при этом коляска с Владиком была привязана к велосипеду отца, и малый не позволял накрыть чем-нибудь себе голову: вопил, хотя в младенцах был молчалив, да и сейчас такой. А когда ехали на Восток через Польшу, именно маленький Владик спас всю команду (они большой группой ехали, так легче было бы отбиться, если что), когда вдруг захныкал ночью. Они тогда устроили ночёвку в пустом лагере для военнопленных. Поужинали, потом женщины легли спать, а мужчины выставили у барака часового (пистолетами все уже обзавелись) и сели перекинуться в картишки под шнапс. Часовой постоял, постоял, да и ушёл в барак

поглядеть, как там игра. А в это время мимо лагеря пробирався на запад, в противоположном направлении, отряд бандеровцев. Они увидели в окнах одного из барачков свет и окружили его. Хотели уже через окна забросать гранатами, но тут Владик подал голос. Тогда старший у бандеровцев вызвал к окну старшего их группы (комроты Градова из офицерского лагеря военнопленных) и объяснил ему, что к чему.

– Ну и дела! А как вы пережили голод?

– Когда мы приехали в Керчь, нас поселили в общежитии, а Броник устроился бухгалтером в рыболовецкую артель. Через год уже столько денег заработал, что мы сумели купить дом на горе Митридат. А как ударил голод... Ну, знаешь ли, рыбака без рыбы не останется. Вот и ели чуть ли не год подряд одну только рыбу, видеть уже не могу этих бычков. А ты, папа, как ты питался в это время?

– Мне много не нужно. Как раз в сорок шестом, нам, вузовским преподавателям, подняли ставки, и я получаю сейчас чуть больше четырёх тысяч рублей в месяц. Спокойно хватало, чтобы покупать продукты у спекулянтов, да и пайки иногда, как отставной офицер-фронтовик получал. Однако пришлось тогда снова завести частную практику. Я мог бы также комнату, а то и две сдавать интеллигентной какой паре, но всё придерживаю: вдруг ты с семейством приедешь или Коленька вернётся.

Лизочек как-то странно на него посмотрела. Он было обиделся, подумав, что она считает зряшной его надежду на возвращение Коленьки, но потом понял, что хочет о чём-то попросить. Деньги ей нужны? Да ради бога, он ведь сам хотел предложить...

– Папа, я хочу с тобой посоветоваться как с врачом. Случилось так, что я снова забеременела через малое время после рождения Владика. Где уж рожать второго дитёнка в таких условиях? Пришлось делать аборт. Теперь у меня странности с месячными.

Он подумал.

– Знаешь, сейчас тёмненькое освещение, да у меня и нет мощной лампы. Давай-ка я тебя на утреннем солнышке посмотрю.

Утром доктор Лаптев уже мыл руки после осмотра, а всё не мог сформулировать диагноз. Конечно же, в глаза бросалась трагическая гротескность ситуации: маленькая Лизочек вдруг стала тридцатидвухлетней зрелой женщиной и попала в паскудную передрыгу, но об этом будет время и после подумать, в тягучие полчаса ночью перед сном. Наконец, решился и сказал, не глядя на неё:

– Тебя, Лизочек, чистил коновал, а не гинеколог. Он вырезал тебе всю матку. Ты больше никогда не сможешь родить ребёнка. Это немец был?

– Что такое? Какая теперь разница, немец ли... Нет, русский, но делал операцию в немецкой больнице. Нет, как же так, папа?

– Он выполнял фашистскую установку. Немцам не нужны были славяне на нашей земле, а только чистая земля для них, арийцев.

– Ведь уже после Победы, в июне... Боже мой...

– Вот что я тебе скажу, Лиза. У тебя есть сын. Ты и без того поздно вато его родила, в тридцать. Так береги теперь как зеницу ока.

XXX

В конце сорок девятого года Адриан Иванович удивился, найдя в почтовом ящике письмо от Лизы со штампом Старобельска. Внутри был тетрадный листок с просьбой взять на почте письмо «до востребования». Утром он, прихватив с собой паспорт, по дороге в мединститут зашёл на почту. Письмо прочитал только после лекций, на скамейке в парке. Прочитав же, пожалел, что не курит, а потому и не носит с собою постоянно спичек. Ладно, уже дома сожжёт.

Лиза писала обиняками, но было понятно, что у них с Брониславом настолько серьёзные неприятности, что пришлось за бесценок продать дом в Керчи и уехать в Старобельск. Пока поселились в съёмной комнате, Бронислав ищет работу. В войну у Лизы пропал диплом, архив Краснодарского пединститута сгорел, не в работницы же ей идти, конфеты в фантики закручивать. Надо покупать своё жильё, но у них наличными только пять тысяч рублей, а к ним бочонок солёной хамсы. Если у него есть возможность, пусть пришлёт денег, ведь в её приезд сам предлагал.

После денежной реформы финансовые возможности Адриан Иванович заметно сократились, но он снял со сберкнижки всё, что там осталось, кроме десяти рублей, и перевёл почтой Лизе. При этом очень надеялся, что неприятности связаны с жульничеством зятя в этой его рыболовецкой артели или с карточным долгом, а не со статусом Лизы и Бронислава как бывших остарбайтеров. Несколько успокаивало его простое соображение, что от вездесущих органов так просто они не убежали бы. Через две недели Лиза ответила, что Броник устроился главным бухгалтером на пищекомбинат, они купили полдомика с участком земли и сараем в Красном переулке, очень благодарят за помощь. Адриан Иванович облегчённо вздохнул.

А в начале декабря пятьдесят второго года Адриана Ивановича пригласил к себе на большой переменке ректор мединститута Колинько. Про себя доктор Лаптев называл этого начальника не иначе, как «хитрый хохол».

– Дмитрий Васильевич говорят, что очень-очень срочно, товарищ профессор, – округлила пустенькие глаза секретарша, приятно картавя.

Он собрал конспект лекции в портфель, вышел из комнаты кафедры и по длинным коридорам поплёлся вслед за девушкой, брюнеткой в сером костюме с покатыми плечами и в длинной юбке. По дороге одновременно вспоминал только что прочитанную лекцию, прикидывал, что могло понадобиться ректору, и посматривал на юбку секретарши. Новейшая женская мода разорительна, ведь короткую юбку при всём желании нельзя перешить на длинную. Услышанное от ректора заставило его забыть о всех на свете юбках.

– До вас, Адриан Иванович, дошли ли вести об арестах высокопоставленных врачей в Москве? – спросил его ректор. Перед этим он молча пожал руку и выходил в предбанник. Через неприкрытую дверь можно было услышать, как отправлял секретаршу Машу в отдел кадров канцелярии за личным делом профессора Лаптева.

– Слухи ходят, что сажают евреев за участие в какой-то организации, – вымолвил Адриан Иванович, глядя на ректора во все глаза. Без приглашения, с некоторым трудом, отжимаясь руками от поручней и положив трость на колени, уселся в низкое кресло для посетителей.

– Да если бы... – Колинько сорвался с кресла, подскочил к окну, отодвинул в сторону штору на окне, выглянул, вернулся на место. Снова заговорил, понизив голос. – Смотрел, не курят ли какие-нибудь студентки под окном. А наша Маша, как всем известно, глупа. Надежду имею, если что и услышит, то донести не догадается. Теперь коротко, Адриан Иванович. Дело не в евреях, хоть их и берут, арестованы врачи высшей квалификации, в том числе и русские. У нас преподаватель из Москвы приехал, там ходят ужасные слухи о допросах. Вы поняли? Теперь, как в Ежовщину, поиск врагов распространяется на провинцию. Не удивлюсь, если краевое управление известной вам организации получило разнарядку на арест видных врачей и у нас в крае. Во всяком случае, пока вы были на лекции, меня навестил молодой человек в костюме-двойке и блестящих офицерских сапогах. Даже не позаботившись показать мне своё грозное удостоверение, он поинтересовался неким профессором кафедры общей терапии, доктором медицинских наук, профессором Лаптевым Андрианом Ивановичем.

– Андрианом, с вашего позволения, – буркнул он. – И я не еврей, и не светило медицины, наркомов не лечил. Перед войной, после возвращения из конгресса во Франкфурте-на-Майне, я просидел два месяца на Лубянке, но коллеги вашего молодого человека меня отпустили. Невиновен, стало быть.

– А я повторил сказанное молодым человеком, Адриан Иванович. Неправильное произнесение вашего имени тоже ведь содержит информацию, разве нет? Вы не еврей, да, и что не иудей, вам очень легко доказать. Но вспомните, какой из оппонентов вашей

докторской ускорил её защиту в тридцатые, и кто, как вы рассказывали, перевёл вас из фронтового медсанбата в Москву. Вот он-то, ваш в науке единомышленник и покровитель, и арестован в числе первых. И если то, о чём шепчутся в Москве, правда...

– Я понял, Дмитрий Васильевич. От всей души благодарю вас, что предупредили.

– О! Вы ещё не знаете, за что именно благодарите меня! – и «хитрый хохол» впервые прямо взглянул в глаза Адриану Ивановичу. – То, что он не арестовал вас прямо на лекции, свидетельствует, что вопрос о вашей посадке ещё не решён. Сообразив это, я и решил заявить со всей ответственностью, что вы пенсионер и фактически у нас уже не работаете. Что вы поймали меня в коридоре и подали заявление об увольнении в связи с переходом на пенсию, но я его вам вернул из-за того, что написано не по форме, а вы обещали прийти на приём с правильно составленным заявлением. Вот вам чистая бумага, вот вам образец, садитесь к столу и пишите, Адриан Иванович. Сегодняшним числом. Не подводите меня.

Он подсунул к себе бумажки, перевернул чистую. На обороте увидел зачёркнутую карандашом машинопись. Вместо того, чтобы прочесть, уставился в пыльное зелёное сукно на середине столешницы и спросил негромко:

– Дмитрий Васильевич, а вам-то какая корысть меня выручать? Профессорская ставка моя понадобилась, что ли? И неужели вы не понимаете, что, выручив меня (это если получится), вы автоматически увеличиваете вероятность собственного ареста?

Ректор ухмыльнулся. Нашёл на столе и сунул Адриану Ивановичу свою авторучку. Объяснил вполголоса:

– Ставка ваша будет для меня, известного махинатора, не лишней, я не отрицаю. Но что мне совсем не нужно, так это, чтобы наш институт, когда начнётся процесс, склоняли и клеймили в «Правде» и на всех партсобраниях здесь. Плохой славы для своего института, вот чего я пытаюсь избежать! А насчёт вас... Нашим доблестным защитникам от происков международного империализма и сионизма нужны активные, много практикующие, известные в обществе врачи, такие, как арестованные в Москве. Вот почему я и надеюсь, что от пенсионера отстанут. Только уезжайте из города сразу, а соседям скажите, что на отдых. Если, не дай того бог, вас станут искать и обнаружат не на курорте, говорите им, что передумали. Спасибо вам, что моей судьбой озаботились. Да, я это оценил, Адриан Иванович. Однако же я, и это всем врачам в Краснодаре, да и последнему бродячему псу известно, никакое не светило медицины, даже не учёный, хоть звания и степени имею, а только хозяйственник и администратор. На это и надеюсь. А вы пишите заявление, пишите.

Вот так и оказался Адриан Иванович через неполных три дня в Старобельске. Вагон рабочего поезда «Валуйки-Старобельск» закрипел, стукнул буферами и остановился. Схлынула толпа пассажиров в телогрейках и ушанках, с мешками и корзинами, душноватый, несмотря на холод, вагон опустел. В профессорских мехах и лисьей шапке, доктор Лаптев с некоторым трудом спустил свою ручную кладь на перрон, взял трость под мышку, нагрузил левую руку саквояжем, а правую чемоданом и огляделся. Хоть и в один этаж, старобельский вокзал, из кирпича, заштукатуренный, побеленный и белым снегом засыпанный, выглядел достаточно стильным. Да хоть бы вместо него и деревянная будка стояла! Главное, что железная дорога всё-таки, хоть и поздновато, дотянулась до Старобельска, а это знаменовало для города значительный шаг вперед по пути прогресса. Да только давно исчезли шустрые купцы и важные толстосумы, владельцы лавок и магазинов, устроители ярмарок и заводчики. Те живо использовали бы во благо уездному городишке новое, хоть на деле весьма старое благо цивилизации, а нынешняя власть как раз в экономике неповоротлива и жестока к своим гражданам. А в чём не жестока? И этому вот чего от него надо?

Красный нос под шапкой с железнодорожной сломанной кокардой, чёрная шинель, запах перегара. Носильщик, хоть и без бляхи.

– А не завелось ли, земляк, в Старобельске такси? – спросил его Адриан Иванович, сам ощущая неловкость.

– Какие-такие ещё такси, гражданин-товарищ? Если Ваську сей момент не наняли, мы вам сейчас удобнейшие сани предоставим.

Адриан Иванович поставил чемодан на растоптанный недавний снег, а носильщик подхватил поклажу. Наверное, в другое время стоило бы до поры до времени сдать багаж в камеру хранения, но он не хотел оставлять лишние следы в каких-либо записях и квитанциях, а также подолгу торчать в общественных местах. Они прошли через сквозной вестибюль вокзала и на заснеженной привокзальной площади обнаружили Ваську в классическом извозчиьем тулупе. Он явно обрадовался пассажиру. Адриан Иванович расплатился с носильщиком, дав поверх обычной таксы трёшку на пиво и обратился к Ваське:

– Правильно ли я догадываюсь, Василий Батькович, что гостиница в городе имеется, вот только мест в ней никогда нет?

– А вы в командировку? То не для вас написано... Хай на табличке «Местов нет», куда-нибудь да поелят. Или... – тут Васька потёр большим пальцем правой руки об указательный.

Проигнорировав выразительный жест извозчика, Адриан Иванович попросил подвезти его к доске объявлений, чтобы найти предложения сдать комнату. Так началось турне по городу, где он не был больше тридцати лет. Начался снегопад, и полужнакомые здания магазинов, присутствий, школ и мещанские дома словно не из белой пелены, снежинками сотканной, перед ним выглядывали, а проявлялись в памяти. Через полчаса он снял на улице Кирова, бывшей Монастырской, в частном доме комнату с отдельным входом из коридора. Печь прямо в комнате, ну, да ладно. Хозяйка, правда, ему не понравилась. Мрачная старуха, она к тому же напоминала какую-то из неприятных ему женщин. Ну, с лица её не воду пить, а комната тёплая, светлая, и металлическая сетка на железной кровати не продавлена. Адриан Иванович заплатил за месяц вперёд. Наскоро побрился, переделся, и на тех же санях отправился в Красный переулок, где в доме номер три поселились, купив половину строения, Лизочек с мужем и сыном.

Дом оказался небольшим, и на два жилья его разделили не от хорошей жизни. Собаки залаяли сразу у двух хозяев, но именно из той половины дома, напротив которой Васька остановил сани, выскочила Лизочек с волосами в папильотках и в пальто, наброшенном на халат. Голые ноги в старушечьих бурках. О! Она разом и обрадовалась отцу, и смутилась. Загнала ворчащего пса в будку и упрекнула:

– Ты бы нас, папа, хоть телеграммой предупредил...

Он только плечами пожал. Ему только не хватало ещё телеграммы сюда присылать... После неизбежных родственных объятий они прошли через сени, где на захламленном полу стоял примус (кухня, стало быть, не предусмотрена), и попали в столовую, она же, судя по двуспальной кровати, и спальня родителей. Вторая дверь вела в смежную комнату, детскую, небось. Бедность, бедность... Единственная дорогая вещь – позолоченные часы с крутильным маятником и под стеклянным колпаком. Трофей, и спрашивать не нужно.

А вот и они, Бронислав с Владиком. Стоят чуть ли не навтыжку перед круглым столом, заставленным грязной посудой. Адриану Ивановичу сейчас Бронислав больше интересен, ведь он специально не стал сегодня отдыхать с дороги, а помчался сюда вот именно в день приезда, в воскресенье, чтобы застать дома этого молодого ещё человека, выкупленного за фамильные драгоценности Сколимовских, а если точнее, то Дементьевых. И это в стране, где урка может зарезать из-за полста рублей, а на войне человеческая жизнь копейки не стоила. Что ж, высокого роста, и снизу видно, что в тридцать с небольшим уже лысоват, выражение лица самолюбивое, видно, обижен, что тесть-благодетель застал в домашнем затрапезе. А насколько умён при минимуме

образования (курсы счетоводов после шести классов, только подумать!), станет ясно, когда рот откроет. Мальчик на него скорее похож, бледноват только, недоедает, наверное.

– Скажите мне, Навроцкие, – повторно оглядевшись, не удержал языка Адриан Иванович, – зачем вы завели злого сторожевого пса?

Супруги переглянулись. Ответила Лиза:

– А чтобы нашу козу Машку не увели, вот для чего, папа. Что мы тогда без неё делали бы? Вообще же тут зимой трудновато, конечно, зато летом во дворе благодать. Утром собрать с огорода огурцы и помидоры, нарвать зелёного лука – вот тебе и салат. А постное масло у нас всегда есть: Броник с работы приносит.

– Это как – «Жрец да кормится от жертвенника», что ли? И разве я тебя не научил говорить «подсолнечное»?

Лизин муж поглядел на него недоумённо. Ну да, советский поляк, латинской Библии не читал, не говоря уже о нашей церковнославянской. Адриан Иванович прикрыл веки, вспоминая недавно увиденное. Так, во дворе справа дровяной сарай, там и содержится коза-кормилица. Слева в углу будка туалета, возле неё горка засыпанных снегом круглых жестяных футляров от немецких противогазов. Вот тебе и все удобства. Он открыл глаза и заявил напористо:

– Пожалуйста, займите Владика чем-нибудь в другой комнате. Нам надо кое-что рассказать друг другу. Не для детских ушей. И я не могу долго сидеть, а то извозчика Ваську вместе с лошадейю снегом заметёт.

Хотел было дать мальчику свою авторучку поиграться. Лиза ужаснулась, вручила сыну дешёвенький альбомчик для рисования и карандаш, пусть, мол порисует. Владик не хотел уходить, но послушался.

– Так что у вас там в Керчи тогда стряслось?

Рассказывала Лиза. Когда отношения с союзниками испортились, органы неизвестно в какой связи установили, что доктор Берут, их с Броником командир в Сопротивлении, был английским агентом. В новой системе ценностей выходит уже, что шпионом. По логике «холодной войны», Бронислав и Лиза оказывались подручными английского шпиона, и в этом качестве должны были пойти под суд. А Владику светил детский дом. Вот и убежали. И это тогда, когда в горьком должны были вместо членского билета КПГ выдать Брониславу карточку кандидата в члены ВКП(б)!

Подумал Адриан Иванович. Потом выговорил тихо, глядя на Бронислава:

– А ведь вас предупредили, иначе вам бы не уехать, дорогие мои. Кто? Или это секрет?

Супруги одинаково тяжело вздохнули, переглянулись, и Лиза нехотя пояснила, что вообще-то об этом они никому не говорили, даже ему, папе. Отец Бронислава – один из первых чекистов, из бердичевских сапожников, революционер, в ЧК с самого создания в восемнадцатом году, человек заслуженный, с Дзержинским и Менжинским здоровался за руку. В тридцать шестом был уволен из органов, официально из-за последствий ранения, на самом же деле после того, как назвал начальника «жидом». Однако удержался в партии и перед войной работал зампредела горисполкома в Евпатории. При немцах уклонился от регистрации коммунистов и перебивался в Алушке холодным сапожником, а сейчас кустарь-одиночка, тачает сапоги и полуботинки на заказ. Его старый приятель, которому он спас жизнь в гражданскую, занимает в МВД высокий пост. Он увидел в документе имя «Б. Я. Навроцкого, 1917 г. рожд.», припомнил, что у приятеля Яна был маленький сын Броник и дочка Рузя, и вчитался в документ. По своим каналам чекист предупредил отца Броника, а тот, наняв владельца трофейного мотоцикла, тотчас же помчался в Керчь...

– А где теперь эта дочка Рузя?

– Она ушла из дому и пропала ещё до войны, – глядя в пол, ответил зять. – Мать моя умерла в оккупации. Отец мой с нею развёлся ещё раньше, потому что употребляла газеты на хозяйственные надобности раньше, чем он успевал их прочитывать.

– Извините, Бронислав, мне всё это надо переварить... Постоите-ка, а как вам удалось прописаться в Старобельске?

– Нам помогли старенькие тётки покойной мамы, – заявила Лизочек. – Мы к ним ходили по приезду, они устроили смотрины Брониславу, одобрили его и через родственницу в паспортном столе помогли.

– Надо же, живы до сих пор... – удивился он. Отхлебнул жидкого чаю без сахара и удивлённо заглянул в стакан. – Я их называл ареопагом Деменковых.

– Не все, папа, – поджала губы Лизочек.

– Я понял, – кивнул Адриан Иванович. – Теперь извольте выслушать мою историю... А скажите, не читали ли уже в газетах о процессе над врачами-шпионами и убийцами ответственных совработников?

На этот раз Бронислав ответил ему, что домой он выписывает «Правду», а на работе в свободное время заглядывает в «Известия», в «Красную звезду» и в местную, но ничего такого не сообщалось. Адриан Иванович сообразил, что Лизочка политика сейчас не очень-то интересуется, и кивнул:

– Тогда как слухи сюда, в заштатный и занесённый снегом Старобельск, ещё не дошли...

Закончил же он свое короткое сообщение выводом, который сам по ходу дела одобрил за научную чёткость:

– В Ежовщину бывали случаи, когда смельчаки предупреждали арест и удачно прятались, но это, понятно, исключения. А как мне расценивать оба наши случая, когда в одной семье удалось увернуться от карающей руки органов и вам, и мне? Математическая статистика определила бы такому совпадению ничтожную, исчезающую вероятность. Попростому же сказать, быть такого не может. Можно было бы сослаться на обычную русскую бестолковость, но это всё-таки чекисты. Следовательно, тот ваш доброжелатель не только предупредил вашего отца, Бронислав, но и сумел остановить дело. Тем более, что оно основано было на казуистике, собственно. В моём случае тоже арест не стали производить тотчас же, потому что были приняты во внимание какие-то неизвестные нам обстоятельства. Я, например, в отличие от арестованных в Москве, не клиницист и никогда не лечил высших чинов советской власти. Нестор Иванович Махно не в счёт.

Бронислав разинул рот. Договорились, что промолчат на допросе о сегодняшнем разговоре в случае, если удача им изменит. Адриан Иванович не станет сюда часто приходить, чтобы не мозолить глаза соседям. А связываться будут письмами «до востребования». Уже прощаясь, он хлопнул ладонью в тёплой перчатке себя по лбу и попросил у Лизочка беловодский адрес тёти её Зизи, ведь они переписывались. Лиза криво улыбнулась, но адрес нашла и продиктовала. Разумно, что не стала писать сама.

Долгая, с пересадками, дорога, а потом и поездки по Старобельску в метель на санях утомили доктора Лаптева, он заснул в тот вечер рано и спал до позднего утра как убитый. Его настолько потрясло нечаянное обретение родственника-чекиста, что сват приснился ему той ночью в образе лысого как колено Бронислава с большими чёрными усами, с маузером в деревянной кобуре и недошитым сапогом в руках.

Выспавшись и отдохнув после довольно-таки напряжённого семестра и зимней дороги, доктор Лаптев решил не тянуть с реализацией задумки, вызревшей у него в голове ещё на пути в поезде «Харьков-Валуйки», и съездить в Беловодск навестить Зизи. Метель прекратилась, но надо было подождать, пока дороги снова накатаются. Наконец, он решился и ранним утром рабочего дня, во вторник, отправился на автостанцию, в Старобельске без затей расположенную на привокзальной площади. Однако кассирша разочаровала его, объявив, что утренний рейс на Беловодск не состоится, автобус пойдёт только в четыре часа. Адриан Иванович всё-таки купил билет, попросив удобное место. Закутанная в пуховый платок кассирша странно на него взглянула, но промолчала, высыпая в выдвинутой лоток мелочь на сдачу. Почта устроена теперь через дорогу, в одном из крыльев вокзала. Он на всякий случай проверил, нет ли ему писем «до

востребования» и, поразмыслив, решил отбить Зизи телеграмму-«молнию»: ведь если её муж до сих пор служит телеграфистом в Беловодске, он сам же и примет. Как же его всё-таки звали, этого хроменького и застенчивого молодого человека?

Времени впереди было вагон, но Адриан Иванович не захотел возвращаться на квартиру. С недалекого центра доносились, пульсируя, замысловатые звуковые волны. На исполнение симфоническим оркестром «Венгерского танца № 5» Брамса накладывался громко бубнящий мужской баритон. Адриан Иванович догадался, что это в парке для политпросвещения и культурного развлечения горожан транслируют Всесоюзное радио, а в кинотеатре через вынесенный наружу репродуктор воспроизводится звуковая дорожка идущего сейчас фильма – тоже для того, чтобы свою долю пропаганды получил и старобельчанин, не купивший билет. Вот прогрохотало: «Товарищ комиссар, вас вызывает член Реввоенсовета товарищ Сталин!». Он завернул за угол, вышел на главную площадь городка и понял, что не ошибся: из длинного дома Руднева звуки происходили, а издавала их всё та же древняя киношка «Фурор», как бы она теперь не называлась. И, судя по знакомой афише, идёт, действительно, «Незабываемый 1919 год». Адриан Иванович скользнул взглядом по матросу-великану, свысока вззирающему на букашек-империалистов, и проскрипел по натоптанному снегу к витрине, где рекламировался фильм следующей недели, его копию только везут в Старобельск. И что ж это будет? А вдруг «Леди Гамильтон»... Он уже трижды ходил на этот фильм, потому что на нескольких кадрах Вивьен Ли казалась поразительно похожей на забываемую, вот уж поистине забываемую Зизи. А... «Сельский врач». Хоть цветные фотографии из кинокартины и прикрыты стеклом витрины, от них шибает рыбьим клеем. Поэтому он не стал рассматривать вынырывающие порой из пятен изморози изображения красивой брюнетки Тамары Макаровой на фоне то немыслимой в сельской больнице операционной, то живописных деревенских пейзажей, а сразу направился в кассу, купил билет и, пользуясь провинциальным послаблением правил, проник в зрительный зал. Дневной сеанс, свободных мест много, и можно выбрать удобное.

На экране цветной митинг. Голос с грузинским, теперь легко различаемым акцентом говорит: «В этих цехах выросли лучшие представители рабочего класса. Путиловцы...». Постепенно Адриан Иванович увлёкся сюжетом. Ох, уж эти советские кинодеятели! Называют Голливуд фабрикой снов, а сами какие сказочки снимают... Председателя Реввоенсовета Льва Давидовича Троцкого, а ведь именно он на самом-то деле добился порядка в РККА, будто и на свете не было. Невероятно уже и то, что теперешний колоссальный авторитет товарища Сталина бестрепетно перенесён на годы гражданской войны. Развлекли его и кадры славного противоборства балтийского флота с

английской эскадрой, припомнилось ему, как они с незабываемой Радкой проспали эти военно-морские ужасы в объятиях друг друга. Не очень-то привлекало его советское кино, особенно в последние годы, но полюбил читать газетные и журнальные статейки об искусстве, которое Ленин считал наиважнейшим. Вот и в поезде от скуки выпросил у соседки уже прочитанный ею «Советский экран» и узнал, в частности, из него, что этот фильм поставлен по пьесе революционно-романтического Всеволода Вишневского. По пьесе! Быть может, и основные беды фильма оттуда? Соскучился к концу Адриан Иванович, однако уйти и не порывался. Ведь в финале будет апофеоз товарища Сталина. Ага, вот какой-то огромный и непередаваемо пышный зал наполняется из всех дверей рукоплещущим народом, и Сталин из рук Ленина получает орден Красного знамени. Зрители рядом с доктором Лаптевым начали вставать, но оставались на местах. Вот Сталин на бронепоезде пронесется мимо кинокамеры. На фоне красного флага белыми буквами пояснение для самых тупых, с чьим именем связаны самые славные победы нашей Красной Армии, и на красном фоне, уже сплошном, гладком – «Конец фильма». Все продолжают стоять, теперь и в зрительном зале слышны аплодисменты.

В тех немногих случаях, когда Адриан Иванович в послевоенные годы всё-таки забредал в кинотеатр, он выходил наружу, в мир реальности, со всегдашним чувством детской обиды на то, что зрелище окончилось. Сейчас скорее с облегчением. Когда глаза привыкли к снежной белизне вокруг, он отодвинул рукав шубы, открыв циферблат наручных часов «Победа». До автобуса ещё не менее двух часов. А не навестить ли старушек Дементьевых? Кстати, и подробности о смерти Катишь наконец-то узнает: Лизочек снова предпочла отмолчаться.

Ноги доктора Лаптева, получше головы запомнившие улицы городов его молодости, сами привели его к особняку на бывшей Второй Дворянской. Он постучал в дверь, думая о том, что появление в ней старинушки-лакея противоречило бы базовым законам природы. Чуда не случилось. Дверь отворилась со скрипом, и из щели высунула носик одна из пожилых барышень. Адриан Иванович и не попытался угадать, не Софи ли она.

– С кем имею честь? О, неужели это вы, доктор Онучин? Невероятно...

– Профессор Лаптев из Краснодара, с вашего позволения. Здесь проездом, решил навестить бывших невольных родственников.

– Прошу, профессор. Конечно же, заходите...

Под руководством сутулой барышни он освободился от саквояжа, шубы, шапки и галош в прихожей. В темноватой комнате прохладно, но хрустальная люстра и мебель как будто те же, что и тридцать с лишним лет назад. Барышень теперь три, а не четыре. Две,

условно говоря, младших – в креслах, старшая, но не в пенсне, а в очках, сидит, накрытая ветхим пледом, в кресле-каталке. Лёгкий запах лежачего больного, не обеспеченного профессиональным уходом. На диванчике спит чёрный кот. Адриан Иванович поздоровался, на всякий случай ещё раз представился, подождал, не пригласят ли сесть. Не дождавшись приглашения, осторожно, стараясь не потревожить кота, уселся на диванчик.

– Извините, что уселся... Бродил улицами по морозцу, ноги приустиали.

– Это вы нас извините. Не каждый день можно увидеть привидение, – выпалила вторая младшая, не та, которая впустила его. Наверное, это и есть та самая бойкая Софи, что тридцать два года тому назад пошутила про ширинку на перелицованных штанах.

– Ну, что вы, я вполне материален. Кстати, приехал в Старобельск по железной дороге, и порадовался за старобельчан. Наконец-то.

– И мы были бы рады железке, если бы для постройки вокзала коммунисты не взорвали бы, чтобы разобрать на кирпич, наш любимый Покровский собор. Этому их подвигу, правду сказать, почти полтора десятка лет. Давненько уже не жареный факт.

Это старшая, в очках, прошамкала. Адриан Иванович присмотрелся и обратился теперь уже прямо к ней:

– То-то я гляжу: чего-то мне в центре Старобельска не хватает... Мы с покойной Катишь ведь в Покровском соборе венчались, отец Евлогий нас венчал. Честно говоря, дамы, я пришёл, чтобы узнать у вас об обстоятельствах смерти моей бывшей жены. Лиза не говорит мне почему-то. А вы, почтенная, уж точно должны бы знать, как это случилось – ведь у вас на руке браслет из той половины фамильных драгоценностей, которую Катишь оставила себе.

Внутренне подобрался доктор Лаптев, но вопреки опасениям, старуха с браслетом не погрозила ему палкой и не зашипела, отвечая. Грустно усмехнулась и ответила вопросом на вопрос:

– Вот вы с девяностого года, правда?

– Угадали.

– А уже белый, как лунь. Однако ездите железкой, бегаєте по городу. Я старше вас лет на двадцать и всего в жизни лишена. Могу только любоваться красивыми старинными безделушками и представлять себе бабушек и прабабушек, как они ими украшались. Бедную Катишь мы не обижали, старались помочь, как и всем родичам.

– Но ведь этот же браслет можно было продать и купить ей еды, – пробормотал он.

– А с чего вы взяли, профессор, что Катишь умерла от голода? Мы бы не позволили ей. И служила ваша жена в военном госпитале, кастеляншей. Там своих подкармливали. Вот по времени, да, смерть Катишь совпала с голодовкой, но умерла она от рака.

– Рак молочной железы. Убийца жён, которым не повезло с мужьями, – отчеканила предполагаемая Софи.

– Ну, причин канцера наука до сих пор не знает, хотя фактор тяжёлых душевных переживаний никто не станет отбрасывать, – как бы согласился он. И перешёл в атаку. – А я когда-то слышал на лекции, что к канцеру молочной железы приводит, в частности, отсутствие у женщины детей. Но Катишь... Почему же она не сделала операцию? Опять-таки продала бы камешки, и могла бы выбирать лучшего хирурга-онколога, хотя бы и в Харькове.

Старуха в кресле каталке помолчала. Переглянулась с сёстрами и только тогда выговорила неохотно:

– Дурочка Катишь не захотела лечиться. Она вбила себе в глупую головку, что Бог наказал её мучительной болезнью за тяжкие грехи. Не смогла сообразить, что грех адюльтера – ничто в сравнении со страшными испытаниями, в которые Господь швырнул нас, русское дворянство, будто не нужных ему щенят в помойное ведро. Мир праху её. Сейчас кладбище занесено снегом, а вы приезжайте летом, и мои сёстры покажут вам её могилку.

– Мир её праху. Спасибо вам, – он встал и склонил голову. – Знаете, я засиделся у вас. Пойду, пожалуй.

– Пойдите, я хотела спросить... Вы ведь были уже дома у Лизы? Может быть, и остановились у них?

– Конечно же, я первым делом поехал к Лизе. Она предлагала пожить в их квартирке, но я не хотел мешать. Снял комнату на Монастырской. На Кирова теперь.

– Вы медик, вам важно это знать. Они не едят мяса. Бронислав к тому же не курит и совсем не пьёт.

– Религиозные какие причины? – озаботился Адриан Иванович. – Он баптист? Только этого Лизе не хватало...

– Да нет, у Бронислава отвращение к мясу. Вроде бы ничего религиозного. Рассказывал ей, будто где-то в Германии обнаружил в своей тарелке человеческий палец. И с тех пор будто бы...

– Глупости, народные байки... Обычно рассказчики такие находки делают в колбасе. Я думаю, он не зарабатывает семье на мясо, а это попытка оправдания. Ладно, если взрослые переходят на вегетарианство, для них оно как будто не вредно, но ребёнок

должен полноценно питаться животными белками и протеинами. То-то смотрю, мальчик такой бледненький. И ничем меня не угостили в выходной, кроме бледного чая даже без сахарина... Спасибо, что сказали. Очень-очень вам благодарен, теперь-то я наведу в рационе Владика порядок. И Лизе незачем страдать за компанию.

Лёд растаял. Старухи много интересного рассказали о Старобельске перед войной и во время войны, а доктор Лаптев поделился сталинградскими воспоминаниями. Пришли к совместному выводу, что Старобельску сказочно повезло, когда его сдавали и брали без уличных боёв. Расстались едва ли не друзьями и, уж во всяком случае, дружно осудили вегетарианство и его последователей.

ЭПИЛОГ: декабрь 1952 – январь 1953

Адриан Иванович успел на автостанцию вовремя, как раз начиналась посадка на автобус «Старобельск–Беловодск». На автобус? На грузовик-полупортку с фанерным фургоном на месте кузова. Внутри попадали через дверь сзади, по лесенке. Он пошатнулся было на её перекладинах, но старушка, по глаза закутанная в пестрый холщовый платок, без церемоний поддержала. И подтолкнула. Для пассажиров предназначены скамейки вдоль бортов, как на «Дугласе», номера мест отсутствуют – вот почему усмехнулась тогда кассирша! Он сел поближе к кабине водителя, чтобы меньше трясло на ухабах. Окошки в салоне чересчур малы, едва ли через них на ходу можно будет что-нибудь интересное разглядеть, да и заиндевеют неизбежно от дыхания пассажиров.

И действительно, поначалу виднелись в окошке меловые горы в снегу, а потом и их уже не разобрать. Автобус часто останавливался, и тогда пожилой водитель в ватнике с грохотом распахивал дверь и вытаскивал лесенку. После высадки и посадки он засовывал её на место, под ноги пассажирам. Спутники Адриана Ивановича обновлялись постоянно, утеплены все были так, что лиц не разглядеть, разговора никто не начинал. Его начало клонить ко сну, но прежде, чем погрузиться в дремоту, успел задуматься он над тем, почему не испугался, когда водитель в первый раз, ещё в Старобельске, захлопнул дверь фургона? Почему не представилось, что попал в «душегубку»? Почему скамейки, как на «Дугласе», не напомнили про опасный перелёт в Венгрию? Видно, незаметно для него самого отступили от души чёрные тени войны, и слава богу. Но ведь и нынешние времена только наивный дурачок назвал бы безопасными. Недаром же он перед этой поездкой выпорол свои капиталы из матраса, куда было зашил, и припрятал на себе. Потом начало ему мерещиться, что тот желтоглазый чёрный кот на ампирном диванчике был и не кот вовсе, а воплощение души старинушки-лакея в чёрной тройке, и после смерти своей не

позволившего себе оставить барышень без присмотра. Еле отбился от кота-лакея, требовавшего от него отчёта о графинчике с коньяком покойного Сколимовского, а там вдруг начали мерещиться ему белые грудки-грушки Катишь-новобрачной, и всё не мог припомнить, что же плохое и даже ужасное может прятаться за этой юной красотой. Потом он понял, что Николенька вот-вот вернётся, хотя и во сне... О, автобус снова затормозил.

– Беловодск! Приехали, граждане!

Снаружи уже стемнело. Адриан Иванович страхнул дрёму и огляделся: это же надо – остался в салоне сам-друг со стариком в немецкой шинели, длинная борода попутчика заиндевила возле открытого рта, он спал, прислонившись к стенке. Невдалеке горел скрытый за фургоном автобуса фонарь. В его свете увидел Адриан Иванович не только поднадоевшую уже красную рожу водителя, тот вытаскивал лесенку, но и сразу же узнанного им Сергея... Да, да, именно Сергеем Сергеевичем зовут мужа Зизи, а за ними, но к фонарю ближе, рассмотрел он самоё Зизи, красивую, как всегда, и на диво молоденькую. Она смеялась от счастья, хлопала в ладоши и прыгала на месте – до того была рада его приезду. Слёзы навернулись Адриану Ивановичу на глаза.

Орлом вылетел он из фургона, его поддержал и принял в объятия муж красавицы. Вблизи лицо телеграфиста, испещрённое морщинами, походило на печёную картошку. Сергей Сергеевич заговорил громко и, к удивлению бывшего зятя, не пытаясь утаить сказанное от прыгающей рядом жены:

– С приездом! Хочу сразу предупредить вас, Адриан Иванович, что Зиночка на войне контуженная и ровным счётом ничего не слышит. Может быть, слух и вернётся к нашей Зиночке. Уже года три, как у неё головка перестала трястись, и перестала Зиночка смотреть не меня, будто не узнаёт. Мы решили...

– Адриан, милый! – воскликнула Зизи, подпрыгнула и повисла на шее у доктора Лаптева. – Я так счастлива!

Потом супруги Тараненковы взяли его под руки с двух сторон, а Сергей Сергеевич забрал саквояж и забубнил, ковыляя справа:

– Мы решили вас встретить, потому что вечером вам трудно было бы найти нашу усадьбу. Днём вы разыскали бы меня на почте, если бы догадались, да и в райисполкоме вам могли бы дать справку. Вечером же всё закрыто, люди запираются в домах, на улицах пусто, темень...

Темень и впрямь. Как только миновали центр (Тараненковы называли его «городком»), фонари сразу кончились. Идти пришлось посередине улицы. За заборами тянулись белые хаты, собаки на скрип подошв разными голосами отзывались. Поворот,

ещё один, и в конце очередной длинной улицы супруги остановились у штакетника, за ним белел домик и тянулось что-то вроде заснеженной лесополосы. Пока хозяин открывал калитку, Адриан Иванович вместе с повисшей на его руке Зизи обернулся: неяркие огни «городка» подсвечивали низкую пелену облаков.

– Как я счастлива, что ты приехал, Адриан! – прозвенела Зизи.

В домике, когда все избавились от верхней одежды, Сергей Сергеевич пошёл подбросить дров в печь, а Зизи принялась собирать на стол. Адриан Иванович, пошептавшись с хозяином, снова набросил шубу, вступил в калоши и выскочил на минуту наружу. Помыл руки под ручкой в ванной и отправился осмотреться. Видно было, что в комнатках десятки лет живут всё те же люди. Как в берлоге барышень Дементьевых, собственно. Но там при принципиальной старомодности сохранялось единство стиля, а здесь налицо противодействие (или совместное влияние?) женского и мужского начал. На счёт Зизи можно было отнести картинки из модных журналов двадцатых годов в паспарту, обшитый шнуром письменник и вышивки болгарским крестом на стенах гостиной, на счёт мужа-телеграфиста – рамки под стеклом для этих картинок и вышивок, а главное, часть предметов мебели, вещей удобных, но простых и слишком уж явно самодельных.

– Мужчины, за стол! – прокричала Зизи.

А когда они уселись, торжественно сдёрнула старый кожух с чугунок, где доспевала изумительно приготовленная тушёная картошка со шкварками. На столе была также сушёная рыба, солёные огурцы. Сергей Сергеевич разлил по стопкам вишнёвую наливку из большой бутылки и произнёс длинный, путанный тост. Зизи со счастливой улыбкой переводила взгляд с мужа на гостя. Чокнулись, и только пригубив сладкой тёмной жидкости, Адриан Иванович решился взглянуть на Зизи, хорошо освещённую под оранжевым, с кистями, шёлковым абажуром. По дороге от автостанции он вычислил, что ей лет пятьдесят пять. Работала бы, и только подумывала бы, не пойти ли на пенсию, если бы не контузия. Но на свои года уж точно не выглядит. Голова перестала трястись? Увы, еле заметный тремор остался. Такая счастливая сейчас...

– ...призвали нашу Зиночку почти сразу же после начала войны. Как сейчас помню, двадцать пятого июня сорок первого. Со всех сёл района собрались военнообязанные на площадь перед райвоенкоматом, и мы там с Зиночкой стояли. Ну, постояли-постояли, и отправил тогдашний военком всех мобилизованных пешком на Старобельск, где ближайшая станция железной дороги. Я ж, вы сами понимаете, не смог далеко провозить. А в Старобельске (или в Валуйках уже?) посадка в эшелон и на Харьков. И определена была Зиночка в Харькове, хоть и не молоденькая тогда, медсестрой в эвакогоспиталь,

сержантом-медичкой. Чего только не пережила... Была ранена осколком в руку, но в своём же госпитале и лечилась. А в сорок четвёртом палатку-операционную накрыло тяжёлым снарядом. Ну, теперь имеем результат... Долго лежала наша Зиночка в невралгическом госпитале. А в сорок шестом приехала домой. Её пенсия да паёк в тот голодный год и меня подкормили. Я ведь без работы был, потому что считалось, будто служил на почте при немцах. Телеграф отключили фрицы, а на разборке писем из фашистской неволи приходилось мне иногда подрабатывать, не без того. Разносить вот не мог...

– ...что ты приехал, Адриан! Перестань трещать, Сережа, я хочу выпить за Победу! У тебя орденские планки, милый... Я вижу, что у тебя медаль «За Победу», я потому и узнала ленточку, что у меня самой такая. А две другие награды за что?

– Это медали за «За Сталинград» и «За Будапешт». Их тоже давали всем, кто там был, – засмутился он. Помнил ситуацию и начинал говорить, только поймав взгляд Зизи, при этом тщательно выговаривал слова. – Я не хотел носить планки, но меня на работе ректор заставил, ради студентов. Да так и остались на пиджаке.

– А в каком звании вы воевали, Адриан Иванович? – строго спросил Сергей Сергеевич, доливая себе и жене. Адриан Иванович заметил, что наливка быстро ударила бывшему зятю в голову.

– Начинал войну военврачом 3-го ранга, а закончил подполковником медицинской службы, – отрапортовал он, поднялся, заскрипев коленями, и выпрямился возле стола со стопкой в руке. – За победу, товарищи!

Тараненковы дружно поднялись на ноги и выпили, при этом Зизи счастливо засмеялась. А потом положила мужчинам и себе по новой порции картошечки из чугунка. Адриан Иванович пригубил снова наливки и пожалел, что не догадался привезти гостинцев из старобельского гастронома: баночка чёрной икры и шпроты, например, сейчас очень бы не помешали. И ещё подумал он, угощаясь замечательной Зиной картошечкой, что бедные, несчастные живут в Стране Советов люди. Не имеют ничего, кроме этой страшной, большой кровью и уму непостижимыми жертвами добытой победы, нет у нас за душой ничего святого, кроме неё, вот и пьём за победу уже шестой год. Всё радуемся Великой победе, хотя стоило бы, наверное, её оплакивать.

Потом Сергей Сергеевич принялся рассказывать об интригах телеграфного начальства и сослуживцев, помешавших ему сделать карьеру. У Адриана Ивановича начали слипаться глаза, ему постелили на диванчике в гостиной, и хозяин притащил стопку неказистых, на серой бумаге отпечатанных брошюр, чтобы гостю было чего почитать на сон грядущий. Перед тем, как потушить свет в торшере, Адриан Иванович

взглянул одним глазом. Да, он не ошибся, это пропагандистские книжечки о том, как немцы зверски замучивают и убивают пленных, такие специально печатались для красноармейцев, чтобы боялись сдаваться в плен. Вздохнул Адриан Иванович: неужели Сергей Сергеевич знает, что он был любовником Зизи, и пытается таким окольным способом запугать?

Слава богу, никакие казни немецкие и пытки не снились ему, а разбудила его хозяйка дома. Белый холодный свет заливал гостиную через два маленьких, в изморози окошка, а Зизи перед диванчиком развязала пояс халата, сбросила его и молча залезла под одеяло к Адриану Ивановичу. То восхитительное слияние, что последовало, он воспринял как продолжение сна, а чем иным, кроме сна наяву оно могло быть? Бесконечно благодарный, он целовал Зизи, а она, продолжая свои ласки, принялась рассказывать.

– У нас весь день впереди, милый. Я покормила Серёжу завтраком, он пошёл на службу и будет дома только к вечеру. Ты ему не верь, это неправда, что я теперь глуха, как пень. Я слышу только то, что мне хочется слушать, а прочему, ненужному, позволяю скользить мимо меня. Как ты постарел, милый, как поседел весь! Но я просто не могла поверить, что тебе, когда ты меня увидишь, не захочется того же, чего безумно захотелось мне, тоже старой и больной, стоило только снова увидеть тебя. Я стольким в жизни обязана тебе, что ты этого просто не представляешь...

– Всё было прекрасно, всё замечательно, – повторял он, целуя её изящные, худые пальцы.

– Как только твоя Лиза нашла меня, я тотчас же завязала с нею переписку и знаю основные события твоей жизни. Покойная Катишь всегда была не шибко умной, она тебя не стоила, я давно уже тебе это говорила. И умерла по-глупому, хоть мне и безумно жаль сестру. Сделали бы ей операцию, и жива была бы теперь. Ну, без одной груди, но это малая плата за возможность ещё пожить. Вот побывала бы Катишь на фронте, поняла бы, как она ценна, жизнь. Я очень рада, что Лизочек сумела выпутаться из передраги, в которую влипла со своим поляком, вернулась из Германии живой. А наша Мано – ты же помнишь её? – так и пропала навсегда. Если Мано с тем белым офицериком добралась до Парижа, а она Париж обожала, то во время оккупации вполне могла послать письмо на этот адрес, Серёжа бы получил. Знал бы ты, милый, как меня огорчила гибель твоего Коли, как я понимаю твоё отчаяние! Ведь ты, конечно же, мечтал продолжить свою жизнь в сыне. У нас ведь с Серёжей не было детей, одно время я надеялась, что понесу от тебя, мы ведь жили в Киеве открыто, однако...

– Слушай, а это у вас откуда? – желая перевести разговор, встрял Адриан Иванович и, свесившись с диванчика, поднял с полу книжечку из рассыпавшейся стопки. Показал Зизи, отвёл глаза от картинки на обложке и положил назад.

– А-а-а... Эту макулатуру оставил Серёже какой-то политработник из штаба армии, стоял на квартире у него в сорок третьем. Или уже в сорок четвёртом? Серёжа над книжонками просто трясётся, он убеждён, что коллекционеры будут платить большие деньги за этот ширпотреб. А мне как-то с души воротит, противны они. Немцы и похуже мерзости творили, чем там описано, но, видно, в том вся заковыка, милый, как именно описано.

– Вот-вот, дорогая! И у меня возникла брезгливость... Но по другой причине: мне представилось, как сидит такой, с позволения сказать, писатель в тёплой московской квартире и пугает красноармейцев, насмерть простуженных в мёрзлых траншеях.

– В тёплой московской квартире, говоришь? Знаешь, милый, я с утра не только растопила печь, но и нагрела воды. Она в ванной. А после спокойно, вдвоём, позавтракаем. У меня в кои-то веки праздничек вчера и сегодня, я нажарю нам яичницы-глазуньи... Ой, я же совсем забыла!

Зизи подхватила с постели, быстро оделась, сунула жалостно исхудавшие ноги в тапки, исчезла. И не успел Адриан Иванович погрузиться в сладкую дрёму, как она вернулась с тонометром. Сноровисто посчитал ему частоту пульса, измерила давление.

– Терпимо, милый. После таких-то трудов...

– Ты удивишься, Зиночка, – признался он, – но я, хоть и врач, никогда не интересуюсь своим давлением. Пульсом тоже.

– А вам, мужчинам, вообще наплевать на своё здоровье.

После неспешного завтрака, снова с вишнёвой наливкой, Зизи вытащила его на прогулку. Выяснилось, что вечером в темноте он принял за лесополосу лесистый речной берег, теперь поразивший своей белой и дробной, каждая заиндевшая веточка отдельно, филигранной красотой. Прямо под домом и огородом Тараненковых, застыла, промёрзнув тогда, небось, до самого дна, игрушечная речка, узкая, словно ручей. Зизи сказала, как она называется, однако он сразу же забыл короткое и непонятное наименование. Древнее, наверное.

Хохоча, Зизи выскочила на лёд и начала проделывать дорожки в снегу. Она разгонялась и скользила на подошвах и каблуках своих «румынок», словно на коньках. Звала Адриана Ивановича, но он не мог присоединиться к забаве, ведь в резиновых галошах не покатаешься. А по-настоящему ему испортили настроение тянущие

загрудинные боли. Неужели приступ стенокардии на носу? Он замахал руками, а когда, по-прежнему счастливо смеясь, Зизи подъехала к бережку, попросился снова на диванчик.

Она повисла на его руке и начала рассказывать о пережитом на войне, продолжила уже дома, в тепле. Призналась, что завела фронтовой роман с очень красивым и душевным военврачом, главным хирургом её госпиталя. Капитан медицинской службы Евсеев был тоже пожилым, как и он, Адриан, почти таким же умным и сильно напоминал ей главную любовь её жизни. И, разумеется, женатым. Тут смутился Адриан Иванович, улыбнулся ей поощрительно и спросил лёгким тоном, не весной ли сорок четвёртого это происходило? Зизи услышала и кивнула. Личико её на морозе покраснелось, но теперь и погрузнело. Уже вполне серьёзно описала она нелепую гибель капитана Евсеева. Бомба упала на кабину полуторки, когда он сопровождал раненых на железнодорожную станцию Гродно. После его похорон судьба, всю войну щадившая Зизи, от неё отвернулось. Первым звоночком стало пустяковое ранение осколком в предплечье, а потом прилетел тот самый снаряд.

– Знаешь, милый, я ведь рассказала Серёже о капитане Евсееве, когда возвратилась в Беловодск. У нас и перед войной не было уже близких отношений, давно всё в душах отгорело, просто жили одним хозяйством, как привыкшие друг ко другу дальние родственники. И меня очень удивило, что он приревновал и горько обиделся на меня. Вот когда я возблагодарила господ, что ни словом не промолвилась Серёже о нашей с тобой любви. Как было бы неприятно, если бы в наших дурацких мещанских ссорах звучало твоё имя, милый!

В ответ Адриан Иванович честно признался ей, что не представляет, как теперь посмотрит в глаза Сергею Сергеевичу, и что очень хотелось бы ему возвратиться в Старобельк ещё засветло. Если есть такой автобус.

Зизи сникла, однако со своей новой, не запомнившейся ему в ней прежней, деловитостью помогла собраться. Перед выходом Адриан Иванович пробовал поделиться с нею своими деньгами, уделив треть, но она решительно отказалась.

Молча дошли они до «городка», и Адриан Иванович всё озирался. Трудно было представить себе, что именно здесь, посреди этой идиллической и облагороженной снегом застройки кипели в гражданскую такие страсти, что священник обезумел и погнался с вилами за казаками. Он поделился этим соображением с Зизи.

– Повыбивала, милый, наша власть за минувшие годы тех бедовых мужиков, – нехотя, явно думая о другом, пояснила она. Тут же откинула задорно голову, блеснула на него глазами и понизила голос. – А немцы и свои полководцы загнали в землю их сыновей. Вон там, в клубе, пышно названном Дворцом культуры, всего-то из культуры –

киношка, танцы и кружок радиолюбителей... Ну, там есть комната с вывеской над дверью «Городской краеведческий музей». Ближе к окну висит на стене снимок большой толпы военнообязанных, сделанный, как на нём написано, 25 июня 1941 года. Там и я в своём светлом плащике стою справа, а Серёжа топтался рядом, но на пластинку не попал. Вечный неудачник. Так вот, из той полутысячи молодых и здоровых мобилизованных возвратились домой буквально единицы. Вот и присмирели Белые Воды. Укатали Сивку крутые горки.

Адриан Иванович купил билет на автобус до Старобельска, потом повёл Зизи в «Продмаг». На крыше магазина зачем-то красовалась деревянная звезда. Выбор был не ахти, но он купил в подарок Зизи кулёк «Белочек» и стограммовую ленинградскую шоколадку «Миньён», Сергею Сергеевичу – «Столичную», а обоим совокупно – бутылку вишнёвого ликёра, палку московской колбасы и банку рижских шпрот. А чтобы Зизи донесла всё это домой, засунул подарки в авоську, вытащенную из саквояжа. Он завёл авоську и привык носить её с собой сразу после войны. Ничего, теперь купит себе новую.

– Думаешь, дорогая, я не догадался, что вы потратили на моё угощение припасы, приготовленные для Нового года? А это мои скромные подарочки вам к празднику. Перед Новым годом вы и не сможете сами купить, ведь в последние дни тут всё наверняка разметут, останутся пустые полки.

Она кивнула, соглашаясь, безропотно на сей раз приняла авоську, только не отводила от него своих красиво вырезанных, как у Вивьен Ли, своих страдающих глаз. Автобус отправлялся через час. Адриан Иванович беспомощно огляделся. На другой стороне заснеженной площади торчала кирпичная коробка, украшенная колоннами новейшего ампира. То самый клуб, он же Дворец культуры... Присмотрелся к афише слева от входа, где по традиции рекламировался фильм, идущий сегодня. Нет, не «Леди Гамильтон» там, а «Девушка моей мечты». И хорошо, что не советская, а тоже трофейная, только немецкая лента. И повезло, что не «Леди Гамильтон»: Зизи неизбежно начала бы сравнивать своего красивого военврача с Нельсоном. А этот пустячок её развлечёт, даже если и не пропустила в сорок седьмом.

– Послушай меня, дорогая, – заговорил он, всё так же тщательно артикулируя. И как только губы до сих пор не заболели! – Послушай, Зиночка. Пойдём в кино на «Девушку моей мечты», а? Было бы пошлостью сейчас сказать, что ты всегда была девушкой моей мечты, но это правда истинная. Пойдём, дорогая, в киношку! Нас пустят в зрительный зал, даже если фильм уже пошёл. Взявшись за руки, будто дети, мы понаблюдаем в цвете, как развлекались немцы и немки в тылу, когда солдаты погибали на

фронтах. Потом я уйду, а ты останься, дорогая. Я хочу запомнить тебя такой, как ты встречала меня вчера, такой весёленькой!

Возвратившись в Старобельск и водворившись в свою съёмную комнату, Адриан Иванович первым делом пересчитал деньги, у него оставшиеся. Половину положил в старый, ненужный конверт и спрятал под отпоровшуюся шёлковую подкладку саквояжа, вторую спрятал в матрасе. Когда зашивал матрас грубыми стежками, развеселило его, что иголку и нитку он хранит по старой, ещё солдатской привычке в шапке. Настроение испортилось, как только вспомнил, какой змеиной усмешкой встретила его старуха-хозяйка. Если придётся задержаться в Старобельске, лучше бы поменять квартиру.

Новый год он встретил у Навроцких. Угощение было молочное, мучное и растительное. С собой принёс бутылку «Советского шампанского», её сам же и распил в компании с Лизочком, позаботился и о подарках для всех. Получил и он подарок: самодельную открытку-поздравление, вручённую Владиком. Старательной работы, во всяком случае. Развлечения состояли в прослушивании радиопередачи по дешёвенькому «Рекорду» и рассказах Бронислава о мытарствах в Германии. Как он, в частности, с приятелями ночами сбивал пломбы с товарных вагонов, застрявших на тёмных тупиках, и тащил, что плохо лежит. Но когда наткнулись они на ящик с «Парабеллумами», то побоялись его украсть. Хотя какая, казалось бы, разница? За кражу сигарет или тушёнки точно так же полагался расстрел. Про себя Адриан Иванович сделал вывод, что немцам удалось-таки запугать восточных рабочих, даже самых бедовых.

Целую неделю потратил доктор Лаптев, прощупывая возможности возобновить в Старобельске свою частную практику. Увы, законы ужесточились, многие из существовавших раньше лазеек были перекрыты. Без прописки теперь никуда, и лекарства в аптеке не купишь, пришлось бы доставать в больнице. Объявление в местной газетке не разместишь – так что же, к столбам приклеивать? Пришлось отложить это начинание до возвращения в Краснодар. В утешение себе купил чернил для «вечного пера» и несколько школьных тетрадок, попытался набросать послесловие к монографии, да не писалось что-то.

Зато он написал письмо Лизе, попросил навестить его вместе с Владиком на старый Новый год, в четверг, когда Владик вернётся из школы. Был весьма доволен своей хитростью: старый Новый год пришёлся на среду, рабочий день, и Бронислав будет на работе. Не стал перестраховываться с «До востребования», на конверте написал адрес Навроцких. Утром вышел прогуляться до почтового ящика и отправил письмо.

Наутро после старого Нового года, сразу же после завтрака, Адриан Иванович прошёлся до ближайшего продуктового магазина купить гостинцев. Торговая точка располагалась как раз напротив входа в главный собор бывшего женского монастыря. Увы, возле неё стояла хлебовозка, и два мужика в грязных белых халатах сноровисто тасовали поддоны – пустые и заполненные ноздреватыми серыми буханками. Под стеной, чтобы не мешать грузчикам, протянулась небольшая терпеливая очередь. Адриан Иванович решил не стоять, не терять времени. Предпочёл продолжить прогулку до ближайшего киоска «Союзпечати». Он был открыт, и Адриан Иванович попросил у пожилой продавщицы «Правду», «Известия» и местную газетку «Під прапором Леніна».

– Свежайшие, мужчина! – похвалилась продавщица, забирая с тарелки учтиво отвергнутую доктором Лаптевым сдачу.

И на самом-то деле свежайшие! Центральные газеты и впрямь только вчерашние, за тринадцатое декабря. И едва успел раскрыть «Правду», как заголовок редакционной статьи прямо-таки прыгнул в глаза: «Подлые шпионы и убийцы под маской профессоро-врачей». Он инстинктивно отступил за угол киоска, наскоро пробежал глазами: обычные для передовицы общие места и расплывчатые угрозы врагам, то бишь «шпионским бандам» и «еврейским националистам», но есть и ссылка на сообщение ТАСС... Где? На четвёртой странице. Ага, вот:

«Арест группы врачей-вредителей.

Некоторое время тому назад органами Государственной безопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью, путём вредительского лечения, сократить жизнь активным деятелям Советского Союза. В числе участников этой террористической группы оказались: профессор Вовси М. С., врач-терапевт, профессор Виноградов В. Н., врач-терапевт, профессор Коган М. Б., врач-терапевт, профессор Коган Б. Б., врач-терапевт, профессор Егоров П. И., врач-терапевт...».

Вот! И Петра Ивановича взяли! Не обманул «хитрый хохол», а ведь оставалась ничтожная возможность, что он воспользовался ситуацией, чтобы получить профессорскую ставку для зятя, новоиспеченного доктора медицины... Адриан Иванович пробежал глазами заметку до конца. Жив ли ещё, не замучили ли уже на Лубянке Петра Ивановича? Назван как вроде живой, но и об Якове Гиляриевиче Этингере, блестящем учёном, сказано так же, а ведь шептались, что умер после пыток...

Доктор Лаптев перечитал сообщение ТАСС, сложил газету, сунул её вместе с другими в саквояж и защёлкнул замочек. Уже возвращался на квартиру, когда вспомнил, зачем пришёл к монастырю. Его гости не должны были пострадать! Очередь перед лавкой исчезла, фургон «Хлеб» тоже. Быстро скупившись, на обратном пути он вспомнил

некоторые важные детали сообщения. По-прежнему, как и в слухах, упор сделан на еврейский национализм, сам он посажен был бы, вроде Петра Ивановича, как один из русских, примкнувших (зачем это им?) к еврейскому заговору. Поэтому и на местах преследуют сейчас в первую очередь врачей-евреев. Далее, то основное, в первой же строчке высказанное обвинение, оно какое? Жаль, что газеты оказались под покупками, нельзя сейчас уточнить... В общем, обвиняют его коллег во вредоносном лечении советских деятелей. Вот в Краснодаре – это секретарь крайкома ВКП(б). Был у нас партийный вельможа Николай Григорьевич Игнатов, теперь тоже кандидат наук, бывший второй секретарь Суслов. Доктор Лаптев их не пользовал, а если бы лечил, то, понятно, в качестве лучшего на Кубани венеролога. Но появление венеролога в таком списке, как в сообщении ТАСС, просто немыслимо. Ведь все обвинения, конечно же, придуманы. Товарищ Сталин и его ближайшее окружение затеяли пропагандистскую компанию не только против еврейства (а чем это оно провинилось?), но и против медицинской интеллигенции вообще. Так что, даже если и лечил бы доктор Лаптев кого-нибудь из советских деятелей края от гонореи, об этом нельзя было бы сообщать в газете. А если нельзя и если пропагандистский эффект невозможен, то зачем и арестовывать? Адриан Иванович приободрился.

Принаряженные Лиза с Владиком пришли, когда обедать было уже поздно, но он всё равно повёл их в ближайшую столовую, где на второе взял каждому по две порции гуляша с макаронами. Хоть вместо соуса повар явно использовал жирную юшку из кастрюли с борщом, на тарелках было всё-таки мясо. А когда возвратились на квартиру, Адриан Иванович убедился, что Владик поглощён игрой с заводным танком, и вполголоса, в дальнем углу комнаты, переговорил с Лизой о важных вещах. Он заявил, что у её Бронислава могут быть какие угодно задвиги насчёт режима питания, но пусть изгаляется только над собой. И она, и мальчик не должны рисковать своим здоровьем, лишаясь витаминов А и D. Он передал Лизе все деньги, оставшиеся за подкладкой саквояжа, и попросил покупать на них мясо и сливочное масло, чтобы подкармливать себя и ребёнка. Лиза сначала отнекивалась, потом пересчитала банкноты, звучно поцеловала отца в щёку и отпросилась на полчаса, заглянуть в ближайший гастроном. А Владик пока с ним поговорит.

– И о чём, дедушка, мы будем с тобой разговаривать? – со всей серьёзностью спросил Владик, когда Адриан Иванович, проводив Лизу до входной двери дома, возвратился в комнату. При этом мальчик не переставал возиться со своей игрушкой, глаз от неё не отрывая.

– А разве двум мужчинам так уж и не о чём потолковать? – усмехнулся Адриан Иванович, присаживаясь на простецкую скамью под окном.

Он понимал, что надо держать ухо востро. Лиза рассказывала, что, придя в сентябре в первый раз в первый класс, Владик на первом уроке посидел немного, потом собрал своё имущество и направился к двери:

– Скучно тут у вас, Марья Ивановна, пойду-ка я домой.

Зато теперь не верит матери, что надо говорить «мышь», ведь Марья Ивановна сказала на уроке «мыша»... Эй, да парень и сейчас, кажется, выдал.

– Папа сказал, что мне надо поговорить с тобой, пока ты не умер, – чётко выговаривая, повторил Владик и снова принялся рычать, изображая двигатель Т-34. А Адриан Иванович чуть со скамьи не упал. Отсмеявшись, уточнил робко:

– Гм, признаться, я не собирался вскорости умирать...

– А я собрался было умирать, – заявил мальчик, прервав снова рычание, а глаза от игрушки не отрывая. – Это когда у меня врачиха обнаружила ту-бер-ку-лёз. Я уже обрадовался, что поживу в санатории, посреди соснового леса, и меня напоследок будут кормить вкуснятиной, а не маминым рисовым супом. Но болезнь пропала, и санаторий накрылся.

– Накрылся – выражение нехорошее, Владик... – пробормотал доктор Лаптев, копясь в саквояже.

– Так это Колька Будаев выражается, и ещё добавляет неприличное, чем накрылся... Я же не сказал тебе чем, дедушка.

– Хорошо ещё, что Колька Будаев, а не Марья Ивановна, – снова сквозь зубы отозвался он. А найдя стетоскоп, попросил погромче. – Ты подойди, пожалуйста, Владик, ко мне, я сам тебя послушаю. А танк пускай отдохнёт, а то он у тебя сразу все моточасы выработает.

– А что такое моточасы, дедушка?

Доктор Лаптев тщательно выслушал лёгкие Владика, а потом протянул ему стетоскоп и снял пиджак.

– У тебя сейчас нет никакого ТБЦ. А вот послушай теперь ты меня. Стетоскопом, как я тебя.

Владик мучил его долго, с видимым удовольствием командуя то «Дыши!», то «Не дыши!». Возвращая стетоскоп, заявил:

– Можете одеваться, пациент. А что это у тебя, дедушка, в груди хрипит?

– Это на Германской войне, Владик, немцы травили меня газом, но жив остался. А ты сядь на стул, посиди со мной.

– На Великой Отечественной войне, что ли? – спросил Владик, забираясь на поцарапанный венский стул.

– Да нет, на старой, теперь её называют Первой мировой войной, ещё империалистической. И видишь, больные лёгкие не помешали мне и Вторую мировую войну пройти, вот только бегать не мог себе позволить, – и доктор Лаптев неожиданно для себя захихикал. Он отвык общаться с детьми и теперь не совсем понимал, что можно сказать ребёнку и чего нельзя. – С лёгкими вообще возможны чудеса. Многие от чахотки мгновенно сгорают, а вот Максим Горький прожил с ТБЦ сорок лет и умер под семьдесят от сильной простуды.

– Великого пролетарского писателя Максима Горького убили враги народа, врачи, агенты мировых империалистов, – отчеканил Владик.

– Кто же тебе сказал такое? – ахнул Адриан Иванович.

– А когда мы с мамой к тебе шли, два дяди в шинелях были впереди и разговаривали. Мама не хотела их обгонять, – Владек достал из кармана брочек носовой платок и обстоятельно прочистил нос. – Военные пошли дальше по той стороне, а мы с мамой постояли, постояли, да и перешли через дорогу к этому дому. Скажи, а твоя хозяйка – ведьма?

– Ведьм не бывает, Владик... Как ты меня обрадовал, что вытер нос пристойно! Мой покойный сынок Коленька очень любил вытирать нос рукавом, вот так... Мне стоило больших трудов отучить его от вульгарной привычки.

– Да, я знаю. Он мой дядя Николай, мамин брат. Танкист, погиб на войне.

Тут на улице выглянуло солнце. Лучи пробились через стёкла окна за спиной Адриана Ивановича и по-новому осветили Владика, скорчившего печальную рожицу. И тут деда будто чугунной лапой по плечу ударили. Новое освещение преобразило Владика и сделало точной копией Николеньки в таком же мелком возрасте. Естествоиспытатель, привыкший не доверять первому впечатлению, доктор Лаптев закрыл глаза, сосредоточился, потом распахнул их снова. Нет, это не наваждение... Невероятно, однако и эта линия плеч, и развалистая немного походка – точно, как у Коленьки. Как же он раньше не замечал?

– Дедушка, тебе плохо?

– Ничего, внучек, сейчас пройдёт...

Боже мой, а это значит, что и Лизочек – его настоящая дочь. Ну конечно, лицом она всегда напоминала ему Катишь и Зизи, но почему же не обращал внимания на её фигуру? Ведь в самом деле не столь Лизочек фигуриста и изящна, как мать и тётки, вот именно, что несколько неуклюжа и мужиковата, похожа в том на него самого. Господи! Выходит,

Катишь не забеременела от своего пожилого и женатого любовника, у неё тогда просто случилась задержка. Девичья дурость, дамская нервность, невежественность в вопросах пола провинциальной барышни... А Лизочек – плод уже их с Катишь брачной ночи, быть может, той самой первой, нелепой. Она просто родилась раньше времени, несколько недоношенной, только и всего...

– Дедушка, может быть, ты поиграешь со мной в танкистов, и тебе станет лучше? И ты так и не объяснил, что такое моточасы. Ты кем хочешь быть?

– Я? – изумился доктор Лаптев. – Зачем мне кем-то становиться?

– Ну, я буду командиром танка, заодно наводчиком. И заряжать самому придётся, потому что заряжающий у меня отпросился по естественным надобностям. Хочешь быть механиком-водителем, дедушка?

Он кивнул. Объяснил как можно проще, что такое моточасы, и с кряхтением переместился на пол. Хорошо хоть, из крашенных досок, а не земляной.

Игру прервала квартирная хозяйка Галина Тарасовна. В тёплом затрапезе, замотанная платком, она швырнул на пол перед печкой охапку дров, ловко отворила чугунную дверцу и переместила дрова в печь. За дверцей загудело. Адриан Иванович заставил Владика с нею поздороваться, а тот вежливо:

– Здравствуйте, Галина Тарасовна. Скажите, пожалуйста, а вы случайно не ведьма?

– Водят сюда разных малых баламутов...

Возвратившись, Лиза обнаружила своих отца и сына на полу у танка-игрушки, причём двигал её по полу именно седой доктор Лаптев, тогда как Владик с глубокомысленным видом объяснял ему, что стреляющий искорками пулемёт танка – не какой-нибудь, а именно курсовой.

Адриан Иванович с трудом, держась за стол, поднялся с пола – и с ходу заключил удивлённую, жующую, не успевшую снять пальто Лизочка в объятия. Она еле успела отломать и сунуть не менее удивлённому Владиду кусок колбасы. Счастливые слёзы мешали отцу разглядеть её пристально, перед глазами маячили только красные пятна разрумившихся на морозе милых щёк.

– Как здорово, дорогой ты мой Лизочек, что вы с Владиком у меня есть! Вы – моё порождение, моё продолжение, мною самим запущенное в этот тёмный мир, я не угасну теперь насовсем, не растворюсь в энтропии весь и навеки... Я всё сделаю, чтобы дать Владиду настоящее русское (ты слышала?) мужское воспитание, чтобы узнал всё, что положено мужчине, чтобы сориентировать его в прихотливом и случайном устройстве нашего общества, столь жестокого к отдельному мыслящему человеку... Чтобы не

бессознательно, как утёнок в луже, бултыхался он в житейском море, а руководствовался компасом чётких научных критериев... Впрочем, я зарпортовался, Лизочек.

Она принялась – и широко, во весь рот, улыбнулась. Стало видно, что не хватает правого резца. Надо вставить, и как можно скорее... Лучше в Харькове, а не у здешнего стоматолога.

– Нет, папа, я ошиблась. От тебя не пахнет спиртным, – констатировала. – Откуда столько энтузиазма? Всегда такой отстранённый, ироничный джентльмен – и на тебе...

Той ночью Адриан Иванович долго не мог заснуть. Сладкие семейные мечты преисполняли его. Готов был уже соскользнуть в сон, когда вдруг встала перед глазами размалёванная и полураздетая Мими, проститутка из борделя в Ломже, и она точно так же презрительно глядела на него, и в той же похабной позе, как тогда. Округлые и гладкие, её голые ягодицы молодо поблескивали под луной, но лицо имела теперь старое и отвратительное – лицо квартирной хозяйки Галины Тарасовны. Он восторженно забеспокоился, но сон уже победил его и унёс в свои мутные, даже доктору Фрейду не всегда понятные глубины.

Через десять минут после того, как квартирант перестал вскрикивать, бормотать и ворочаться на своей постели, терпеливо стоявшая под дверью его комнаты квартирная хозяйка начала действовать. Тихонько, придерживая за ручку, открыла она дверь, беспечным жильцом оставленную незапертой. Была это не Мими, от той уже и следа не осталось на земле, и не Галина Тарасовна, как называла себя по украденному паспорту, а уголовница, после отсидки укрывшаяся в тихом Старобельске. Неслышно, на цыпочках проскользнула она к печи и задвинула вьюшку. Тотчас же вышла и тщательно прикрыла дверь, чтобы самой не угореть. Заначку жильца вынула из матраца и дыру зашила ещё днём, когда убрался из дому. Теперь она злобилась на буржуй-терпилу за то, что ухитрился переполовинить уже, почитай, принадлежавшую ей добычу.

2017 г.

Оглавление

ПРОЛОГ: август 1914	1
I	11
II	22
III	31
IV	41
V	51
VI	61
VII	73
VIII	83
IX	98
X	111
XI	125
XII	137
XIII	151
XIV	164
XV	179
XVI	193
XVII	206
XVIII	215
XIX	228
XX	240
XXI	251
XXII	268
XXIII	285
XXIV	297
XXV	309
XXVI	320
XXVII	332
XXVIII	343
XXIX	356
XXX	367
ЭПИЛОГ: декабрь 1952 – январь 1952	380